

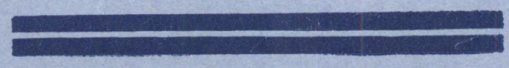
Н О В Ы Й
М И Р

|| 5 ||

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1972 ||

5



1972

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 5

Май, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| НАУМ КИСЛИК — Пристань , стихи | 3 |
| ГАРИЙ НЕМЧЕНКО — Красный петух плимутрок , рассказ | 6 |
| БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — Из новой книги , стихи | 24 |
| ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — Вечер. Окна. Люди . Продолжение | 26 |
| ГЕОРГИЙ САВЧЕНКО — Чико, Чико , рассказ | 140 |
| ВИЛЛЕМ ЭЛСХОТ — Блуждающий огонек , повесть. Перевела с фламандского Р. Райт-Ковалева | 159 |

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|-----|
| Л. КАРПИНСКИЙ — Новая рабочая арена (Научно-техническая революция и советский рабочий класс) | 179 |
|---|-----|

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

| | |
|---|-----|
| Н. И. КРЫЛОВ — Огненный бастион . Конец первой части | 207 |
|---|-----|

В МИРЕ НАУКИ

| | |
|--|-----|
| М. ШАРГОРОДСКИЙ — Этика или генетика? | 232 |
| Б. НИКИФОРОВ, С. ОСТРОУМОВ, Н. СТРУЧКОВ — Посередине — проблема | 245 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|--|-----|
| А. ДУБРОВИН — Постулаты на очной ставке | 256 |
|--|-----|

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| <i>Литература и искусство</i> | 274 |
| Л. Финк. Нравственность человеческая...— Лев Озеров. Глоток кислорода. | |
| <i>Политика и наука</i> | 281 |
| Б. Марушкин. Из истории политических процессов на Западе. | |
| КОРОТКО О КНИГАХ — Алексей Мусатов. — Вл. Разумневич. Степная радуга. Повесть-быль. Владимир Разумневич. Сердце Чапая | 286 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 |

НАУМ КИСЛИК

★

ПРИСТАНЬ

Тысячу душ спасенных
выплеснуло в поселок
силой взрывной волны...

Набережные Челны,
Набережные Челны
на тихой воде качнулись
за тысячу верст от войны.

Тучкою угловатой
вороны метнулись в лёт.
Лесозавод.
Элеватор.
Пристань, встывшая в лед.

Сыплется с неба манна,
дух промерзает до дна.
Река называется Кама,
а мама твердит:
Двина.

Набережные Челны.
Набережные Челны —
зыбкий причал надежды
в тысяче рек от Двины.

Как пароход в затоне,
жду не дождусь весны.

Шмотки
на барахолку,
чтоб разогреть котлы,
бью челом пароходству
с пристани Яр Чаллы.

Щепки швыряет пена,
в сваях вода поет.
Кончена первая смена,
выбран хлебный паек.

Набережные Челны,
Набережные Челны,

ни порошинки друг другу
больше мы не должны.

Средняя школа направо,
прямо — военкомат.
Здорово держится мама,
хлюпает маленький брат.

Вышла на Каму Лелька,
камушек из-под ног...
Лодочка моя, лодка,
утлый ты мой челнок.

Ходко тебя выносили
на пережат войны
из глубины России
Набережные Челны.

Набережные Челны,
Набережные Челны,
впрямь ничего друг другу
в жизни мы не должны.

Кроме одной сокровенной,
спрятанной от людей
тайны моей военной,
школьной тетрадки моей.

Из глубины России,
из сердцевины ствола —
кровью живой древесины
вскормленные слова.

Рубленая неловко
сплотка начальных строк...
Лодочка моя, лодка,
утлый ты мой челнок.

Мает меня ночами,
кружит меня наяву...
Видно уж, мне не причалить —
так с тех пор и плыву.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОКЗАЛАХ

Там, в залах больших ожиданий,
шатучих от сквозняка,
я слушал рождение преданий
из горького родника,
читал эпопею скитаний
в бездомных глазах детворы...

Вокзалы военной поры —
пороги задымленных зданий,
дороги в большие миры.

Хмельным от свирепой махры,
улегшимся на полы,
что только не снилось тут людям!..

Вокзалы военной поры —
железных артерий узлы,
узлы человеческих судеб.

Вы столько связали сердец
и столько сердец разорвали!

Но вы меня в жизнь вызывали —
дождался и я наконец.

И голосом старшины
глас божий вопил:

«По вагонам!»

Перроны под небом войны —
как берег над руслом бездонным,
где матери ждут сыновей
у края глубинной печали,
закутаны в старые шали,
согреты надеждой своей.
Прими же, промозглый перрон
и зал ожиданий ненастный,
проклятье от ждавших напрасно,
от всех ожидавших —

поклон.

Суровую суть бытия
вы сами собой выражали,
когда меня в жизнь провожали...

Дорога-ворожея
колоду свою раскидала.
Но то, что под грохот колес
она мне тогда нагадала,
еще не сбылось,

не сбылось...



ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

★

КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК

Рассказ

1

Летом Вальке Дементьеву жить стало совсем худо. То и в школе он отдохнет, и бабушка Настя каждый день, бывало, придет, поможет ему братца нянчить. А теперь и школы нет, и бабушка никогда во двор не заглянет, если мать или отец дома. Только изредка, когда Валька да Митя одни, тихонько прокрадется задами, сядет в тени на скамеечке, положит на земле рядом маленький узелок. Митю возьмет на руки, начнет тетешкать да вкусненьким угощать, а Вальке скажет:

— Сбегай пока, детка, искупнись... Да только не подведи меня — быстренько!

На речку Валька несется как на пожар. А там прыгнул два раза с кручи, маленько поплавал и не успел как следует песком на мокрой груди «орла» отпечатать — уже домой возвращаться.

Правда, у него оставалось минут пятнадцать, можно бы не спешить, но ему еще надо добежать до большого болота, которое тянется за дамбой, нарвать там водяного перца — перец этот Валька сушит и сдает в аптеку...

В прошлом году все лето проходил с облупленным носом, а нынче о том, чтобы полчаса поваляться с дружками на берегу, он даже и не мечтал — некогда.

Да что прошлое поминать: раньше Вальку и пальцем никто не тронет, а теперь то мать всыплет, а то отец ремень снимет — и давай.

Вдохнул Валька, приспустил трусы и, выгибаясь, попробовал взглянуть пониже спины.

Густой, почти до черноты загар обрывала красная каемка от резинки, а дальше все оставалось белым, как и зимой, и он еще сильнее вытянул шею, скосил глаза и теперь увидел край сизого пятна.

Сидевший в пыли Митрошка заторопился, становясь на четвереньки, приподнял зад и быстро пополз, вытягивая голову, словно черепаха, и с любопытством глядя на него снизу вверх.

Валька упрекнул его:

— Ты понял — из-за тебя. Папка: а! на-на-Валю... А! на-на...

Митрошка снова сел, задрал измазанную мордашу, миролюбиво проворковал:

— Кылгы-кылгы!

Валька постарался придать своему голосу побольше обиды:

— Конечно, тебе — кылгы! А мне, знаешь, как было больно?

Митя улыбнулся еще беззаботней.

— Кылгы-кылгы!

— Маленьких бить нельзя, понял, у них косточки,— объяснил Валька.— А вот вырастешь такой, как я, тогда узнаешь...

Митрошка опять радостно запнулся языком:

— Кылгы!

Пыль под ним сначала намочила, потом черный островок около трусов разом затопило, хлынуло шире.

Валька снова вздохнул и покачал головой:

— Это где ж на тебя настачиться — последние сухие штаны!

И тут он увидал, как на ногу братцу села маленькая злая оса. Подергивая полосатым своим животом, она быстро поползла сбоку по лодыжке, а Митрошка тут же погнался за ней рукой, попробовал поймать, да только и раз и другой рыжая оса проскользнула у него между пальцами.

Валька даже не крикнул, а сдавленным горлом прошипел:

— Нельзя, Митечка!..

Схватил братца за руки, а осу хотел сбить щелчком, но малыш, наверно, подумал, что они играют, — засмеялся, задергался, вырвал из Валькиных пальцев одну ладошку, накрыл осу растопыренной пятерней и тут же вскрикнул так пронзительно, что у Вальки по спине пробежали мурашки.

Он отшвырнул мятую осу, вытащил у братца из ноги еле заметное жало, а тот все только беззвучно закатывался, и, казалось, нельзя было дожидаться, когда он снова и закричит и задышит.

— Больно, Митечка?.. Больно? Ах ты ж, такая оса!

Валька кинулся, раздавил осу пяткой, присел перед братцем, отер ему вокруг посиневшего рта горькие слезы, и тот только теперь наконец снова залился в голос, да так жалостно, что Вальке самому невольно захотелось заплакать.

— Не надо, Митечка, ну, не надо!

Из-за плетня выглянула прибежавшая на голос соседка тетя Даша, крикнула строго:

— Валька! Небось ударил?

Валька хмуро сказал:

— Чего б я его ударил?

— А почему он как резаный?

— Оса его укусила...

— Оса?

— А то кто...

— А ты куда глядел — оса!

— Я только хотел, а она...

— Он хотел! Лучше надо смотреть! — И уже помягче тетя Даша сказала:— Мокрую тряпочку приложи, если оса...

Никакой тряпки, как назло, поблизости не было, и тогда Валька приподнял с земли ревущего братца, одною рукою прижал его к ноге, а другою стащил с него трусики — все равно их надо менять. Сбежал за угол дома и намочил их в железной бочке под водосточной трубой.

Митрошка сидел теперь на земле совсем голый, скомканные его штанишки горкой лежали чуть повыше колена, и то ли из-за несчастного его вида, то ли из-за того, что он все еще безутешно рыдал, неотрывно глядя на старшего полными слез глазами, у Вальки у самого

вдруг защипало в носу, повело губы, и он почувствовал, как лицо у него жалобно кривится.

Глуховатая бабка Федотьевна, старшая сестра тети Даши, громко спросила за плетнем:

— Чего они там?

И тетя Даша ответила тоже громко:

— Да чего? Отец с матерью чертуются, а детишкам покою нет.

Бабка вздохнула:

— Охо-хо!.. Они думают, наверно, всю водку выпить!

— Да вот же!

— А она работает?

— Да все ж доказывает ему... Он говорит — не буду пить, дак попробуй на одну зарплату проживи, без моего калыма... А она: проживу. Да она теперь с утра и до вечера работает, а он с утра и до вечера пьет.

— А с мальчишки — какая нянька?

— Да вот же! Вчера косточки бил, а этот возьми да сунь пальчик. Да он чуть калекой не сделал Вальку...

— Охо-хо!

— Я ему говорю: Толик, да ты подумай, когда трезвый, — да разве можно? Хоть уже и большенький, а тоже — дите.

И Валька вспомнил, как вчера вечером, когда он уже засыпал в саду под яблоней, отец присел на краешек скрипучей кровати, положил ему на плечо тяжелую руку, от которой пахло бензином и пылью, наклонился, задышал табаком да водкой: «Ты меня не ругай, Валюх, а? Я, конечно, того... не подрассчитал. Сёдни еду, рука на баранке, вдруг слышу, чёй-то зудится. Думаю: чёй-то?.. А потом вспомнил: да это ж я, думаю, Валюхе своему врезал... аж чуть не заплакал, ты веришь?..»

И скрипнул зубами.

Воспоминание это было последней каплей, и Валька раз и другой шмыгнул носом, клоня голову к грязным своим коленкам...

И тут он вспомнил и сказал себе, чуть не крикнул: «А про петуха ты забыл?!»

Ах ты, этот петух!..

Как светлое солнышко брызнет вдруг сквозь мокрые деревья да сквозь весенний проливной дождь, так за летучими слезами блеснули у Вальки глаза.

— Митечка!.. Смотри!

Сколько раз он уже это проделывал!

Слегка разведенные ладони с растопыренными пальцами понес от груди к Митрошкиным ногам: поставил на землю красного петуха. Потом невидимую балалайку ловко подкинул в руке и прижал чуть выше живота:

--- Музыка!..

И Валька ударил ногтями по звонким струнам, и красный петух подпрыгнул и по-шел, по-о-шел перебирать большими своими костяными лапами с кривою шпорою сзади.

— А у нас будет петух! — громко кричал Валька, и глаза у него горели. — А у нас будет балалайка!.. А Валя на балалаечке: трень-брень!.. Трень-брень!.. А петух чоботами: цок!.. цок!..

И Валька то наярывал что есть силы на балалайке, а то отплясывал, приподняв руки, словно крылья, и задирая подбородок, и кося глазом.

— Трень-трень-брень!.. Цок-цок-цок!..

Митрошка затих и смотрел на него недоверчиво, готовый заплакать тут же, как только Валька перестанет плясать...

2

Пока только у горбуна Никодимыча был красный петух, который умел плясать, и была раскрашенная разноцветными полосками балалайка...

Жил Никодимыч в конце улицы, недалеко от лужка, где мальчишки гоняли футбол, и, бывало иногда, он сам приходил сюда с петухом на веревочке и с балалайкой. Тогда мяч оставался лежать где-нибудь посреди поля или за опустевшими вмиг воротами, а вся ребятня, игроки и болельщики, обступала счастливого хозяина ученой птицы.

— Пускай он станцует, скажите, дядь!..

И Никодимыч ловко подбрасывал тогда свою раскрашенную балалайку, с прихлопом ударял ее о грудь и невсамделишно тонким голосом выкрикивал:

— Музыка!..

Он и сам смешной, этот Никодимыч, у него всегда такой вид, будто его только что сняли с гвоздика, на котором он провисел очень долго,— шиворот топорщится, а большая голова ниже плеч, длинные руки, вылезшие из кургузого пиджачка почти по локоть, опущены и слегка болтаются, словно Никодимыч все еще никак не соберется остановить их и выпрямиться...

И когда он одной рукой уже прижимал балалайку к груди у самого подбородка и резко дергал плечом, нескладная его ладонь как будто невольно подпрыгивала и падала на струны... бр-р-рень!

И в это самое время петух торопливо вскидывал голову, перебрасывая с одной стороны на другую литой малиновый гребень, туго бил крыльями, подскакивал и начинал быстро-быстро перебирать лапами и с боку на бок покачиваться — как будто пробовал, на какой ноге может повыше вытянуться.

А Никодимыч снова дергал плечом, голова его начинала мелко трястись, он хитро подмигивал и тоненько кричал:

— И-е-эх, х-ходи, милай!..

И петух тоже вскрикивал, клекоча, и начинал выделывать ногами еще чище.

Он и так смешной, этот Никодимыч, а рядом с петухом и совсем комик. И мальчишки толкались и надрывали животики: вот два друга — и как только Никодимыч его выучил?

Первый раз Валька Дементьев увидел петуха два или три года назад и сразу, конечно, подумал, что такого хорошо бы занять и себе... С ним не пропадешь — стало тебе скучно или тебя кто-нибудь обидел, а ты балалайку в руки: а ну-ка, петя, спляши! Ударил по струнам — и кочет уже задирает голову да подпрыгивает, а с разных концов улицы уже бегут к твоему дому мальчишки взглянуть хотя бы одним глазком.

Валька и раньше об этом думал, да кто его знает — может быть, у него были другие дела? И завести ученого петуха он так тогда и не собрался. Но нынешней весной он прямо-таки потерял покой с этим петухом: как только выдавалась у него свободная минута, бежал он к своему другу Андрюшке Мельникову и начинал его уговаривать вдвоем пойти к Никодимычу: не станет же тот устраивать цирк для одного Вальки. И они шли, и Никодимыч никогда не отказывался, если у него было время, — все равно, он говорил: как всякому танцору, петуху надо побольше тренироваться. За это время они с Никодимычем подружились, и тот пообещал, что выучит и Валькиного петуха — пусть только он найдет подходящего.

Валька с тех пор не отставал от матери, все говорил что ему уже

страх как надоело пасти индюшек да уток, что надо им развести дома кур, да только мать не хотела его и слушать — ей теперь и в самом деле было не до того.

И тогда Валька решил помочь себе сам.

Всю весну бегали они с Андриюшкой на инкубатор — там на задворках есть яма, куда выбрасывают задохликов да калек. Другой раз в этой яме можно найти и хорошего птенчонка, мальчишки с их улицы сколько раз и находили и выкармливали. Два года назад Валька и сам подобрал здесь маленького слепого гусенка, и еще какой гусак из него потом вырос, ну да это ведь всегда так: когда ты не очень-то думаешь — пожалуйста, а если тебе надо позарез — то поищешь!.. И Вальке теперь не везло как никогда: цыплята попадались ему все больше белые, а из тех цветных, что ему удалось-таки раздобыть, выжил один-единственный хромой цыплек, из которого выросла рябенькая курочка...

Никодимыч говорит, что по крайности можно и курицу научить и утку можно, если хорошо постараться, да только всякому ясно: интерес, конечно, уже не тот.

И по двору вслед за рябенькой хромоножкой бегали белые курицы, одна была совсем слепая, а другая волочила крыло, но Валька на них уже и не смотрел.

Он решил, что красивого петуха придется ему купить, и давно уже собирал для этого деньги.

Как получается: он и раньше, когда не накопил и копеечки, не раз пытался себе представить, что за веселая начнется жизнь, если у него появится наконец ученый кочет. До этого дня было еще ой как далеко, а он другой раз думал о нем и сладко вздыхал: здорово!.. Он приносил с болота около речки водяной перец, под плетнем у колхозного сада рвал жигуку. Два или три раза бегали они с Андриюшкой в станичный парк собирать пустые бутылки. А как-то около автостанции Валька нашел новенький полтинник и с тех пор, куда бы его ни послали, так и ходит глаза в землю, не разгибается, шея потом слегка побаливает. И чем больше было у него теперь денег, тем меньше оставалось терпения: с недавних пор этот петух, которого Валька должен купить да выучить, стал ему даже сниться.

Если бы у него было побольше времени, он бы давно уже насобирал сколько надо, но попробуй ты что-нибудь придумай, если с утра и до вечера на руках у тебя младший братишка, — только когда уложишь его спать, на часок-другой и вырвешься. Валька за пятерку тайком продал одному богатому пацану военный бинокль, который подарила ему бабушка, — его забыли у нее немцы, когда их наши погнали.

Теперь у Вальки уже хватало денег и на петуха и на балалайку, но до воскресного базара оставалось еще целых пять дней, и тогда он решил сначала сбежать в культмаг и купить балалайку.

Сперва он разыскал и хорошенько вытряхнул пахнущий бензином старый мешок. Потом положил спать Митрошку. Стоя на цыпочках за дверью, подождал, пока тот уснет, вынул у него изо рта соску, замкнул дом, схватил мешок и галопом помчался в центр.

В культмаге штук семь или восемь телевизоров разом показывали мультик, и перед ними стояли и мальчишки и взрослые, но Валька на всякий случай краем глаза взглянул, нет ли знакомых.

Пожилая продавщица тоже смотрела мультик, и он не захотел ее отрывать, звать не стал, неудобно, а только локтем на витрину поставил вытянутую руку, в которой держал за кончик трубочкой свернутые трешки.

Продавщица так и не повернула головы, однако почти тут же пошла бочком вдоль прилавка, протянула согнутую ладошку, медленно повела ею, но с первого раза деньги не нащупала, задела перстнем Валькин кулак, зато со второго захода взяла трешки ловко.

— Чего тебе?

— Мне, тетя, балалайку,— негромко сказал Валька, и голос у него почему-то дрогнул.

Она снова боком пошла вдоль прилавка, а он уже развернул и опустил вниз мешок, держа его за край левой рукой, а правой управляя горловину. Сейчас туда балалайку — хоп!.. А то каждого на улице стесняйся да каждому объясняй.

Продавщица вернулась и, все так же не глядя, положила на прилавок рядом с витриной небольшой барабан с синими боками, а сверху опустила на него и тут же придержала, чтобы они не скатились, две тонкие палочки. Рядом с ними выложила бумажку и серебро — сдачу.

Валька не успел и рта раскрыть, а она уже снова не спеша плыла к своим телевизорам.

И ему сделалось и неловко и почему-то страшно — может быть, потому, что он хотел окликнуть продавщицу, но сразу не окликнул, а с каждой секундой это как будто становилось теперь все невозможней... ему представилось и то, как он берет этот барабан, кладет его в свой мешок и одиноко бредет домой. И как дома глупый Митрошка со счастливой мордахой сидит на земле, а барабан лежит у него между ног, и он тоненькими палочками чиркает по шершавой коже и, довольный, кылгыкает, словно журавленок, а сам Валька стоит рядом, понурил голову... никогда уже у него не будет ни балалайки, ни красного петуха!

У него навернулись слезы, в горле странно булькнуло от обиды, и он заторопился, только бы в самом деле не заплакать:

— ...просил балалайку!

Продавщица посмотрела на него, но раньше он увидел, как разом обернулись от телевизоров взрослые — наверное, вышло очень громко.

— Так бы и сказал! — укорила продавщица, подавая наконец балалайку.— Сам не знаешь, чего тебе надо, а я ходи.

Валька прямо-таки мучился от стыда, на виду у всех опуская в грубый и не очень чистый мешок новенькую трехструнку.

— Я говорил!

Взрослые по одному стали отворачиваться, и он пошел из магазина, все убыстряя шаг...

На улице он, торопясь, сунул руку в мешок и с бьющимся сердцем нащупал головку балалайки и струны. Все-таки она была здесь, никуда не делась, и тогда он закинул мешок за спину и побежал. Он домчался до парка, свернул в пустынную аллею, а здесь снова понесся галопом, и на душе у него опять стало вольно и радостно — он даже взбрыкивал иногда, летел снова, останавливался и кружился на месте, плавно поводя над головой своею ношей.

От мешка отлетал бензиновый дух, но мальчишка сейчас не замечал, ему казалось: когда он кружится, легкая балалайка тихонько звенит.

Дома он первым делом отомкнул дверь, Митрошка спокойно спал поперек кровати, и в теплой его головке запуталось перо из подушки.

И Валька вернулся во двор, осторожно вытащил балалайку и на каменной ступеньке бережно приставил ее к стенке, а мешок скомкал и бросил в сарай. Потом он, поднявшись на цыпочках, заглянул в ру-

комойник, долил в него воды и с мылом хорошенько помыл руки. Поблизости не было ни полотенца, ни тряпки, и он закружился, потряхивая ладонями, проветривая растопыренные пальцы. Ему показалось, что это очень похоже на то, как будет плясать петух, и он рассмехался и покружился еще чуть-чуть, уже нарочно изображая петуха.

Но вот он наконец сел на ступеньку и положил балалайку себе на колени. От нее почему-то пахло свежей соломой, и Валька наклонился, специально пригнувшись и одновременно вглядываясь в небольшую круглую дырку посреди треугольника. Рядом с нею под струнами лежала мохнатая нитка от мешка, и Валька приподнял балалайку и дунул что было сил. И белые струны тоненько, совсем еле слышно отозвались: тз-зин-нь!

Нет, что там ни говори, замечательную он купил балалайку! И как Вальке повезло, просто удивительно ему повезло, что он в последний момент все-таки продавщицу окликнул... Фигушки, зачем ему барабан?!

Очень хорошо жить на свете... эх ты! А то ли еще будет, когда он купит себе наконец красного петуха?!

Митрошка начнет хныкать, а Валька тут же: «Музыка!..» Дернет, как Никодимыч, плечом, ударит по струнам — тот и рот раскроет, глядя на кочета с золотой грудью и с высоким гребнем, с острыми шпорами и с длинным тугим хвостом... Тогда и нянчить братишку будет одно удовольствие, что ты! И станут они с Митрошкой да с петухом как три друга. Братец скоро уже совсем хорошо будет ходить, а петух к этому времени научится плясать и обвыкнет, можно вместе куда хочешь. Надо ремешок привязать к балалайке или веревочку. Ее за спину, Митрошке сунул маленький узелок с едой и взял за руку, а в другую руку палку на всякий случай, такую, как бабушкин посошок, петька — следом, и пошли себе и за реку, и мимо стада по зеленым горам, пошли куда глаза глядят, хоть на край света...

3

Вот шли они так и шли по горам, по долам, и в синем небе над ними заливались жаворонки, с дороги и на дорогу прыгали кузнечики, рядом в цветах путались и гудели шмели, а дальше в высокой траве куцыми хвостами мелькали зайцы...

Митрошке уже надоело нести еду, белый узелок висел теперь на посошке за спиной у Вальки, а братец сжимал в руке подкову, из которой еще не выпал последний гвоздик.

Нигде никого не было, но впереди на повороте дороги виднелась голубая тележка с полосатым зонтиком, а около нее в белой курточке стояла продавщица, и они взяли у нее два мороженных, и Валька так и не понял, заплатили они или нет.

Они начали обламывать зубами хрустящую корочку, а продавщица заторопилась, толкнула тележку, и та сама рванулась вперед, как будто ее подхватило ветром, и белое с голубым да полосатый зонтик мелькнули за одним холмом, за другим, и все это остановилось как раз там, где им с братцем снова захочется мороженого.

Или не было мороженого? Нет, не было.

Откуда оно в далеких краях, в безлюдной степи.

Им хотелось, а его не было, Митрошка стал хныкать, и тогда Валька сказал: ничего, Митрошка, переживем, главное, что у нас с тобой есть такой хороший петух, петька. А братец уже совсем устал, ноги у него заплетались и не хотели идти. Он бросил подкову с последним гвоздиком и положил руку на спину петьке, который шел от него с другого бока.

И тогда они свернули с дороги и уселись на бережку совсем крошечного родничка, который неслышно бил под большим черным камнем, обросшим темно-зеленым мхом. Тут они развернули узелок, и Валька очистил для братца яичко, а сам стал хрумкать зеленый лук. Рядом с братцем падали на траву желтые яичные крошки, и петька тут же подбирал их, а иногда осторожно склевывал у Мити с пухлой его ножонки, и тот смеялся и взмахивал руками.

И они поели и попили студеной воды, наклоняясь над родничком на четвереньках, а потом Валька взял в руки балалайку.

— Ну что, петя,— спросил,— может, спляшешь?

Было тихо и хорошо, и петька тоже не стал торопиться: конечно, спляшет, а как же, но раньше он еще раз напился из родничка, каждый раз задирая красную свою голову с малиновым гребнем, и по золотой его грудке катились прозрачные капли.

А затем Валька ударил по струнам, и кочет и пошел, и по-ошел!

Плясал он так весело да хорошо, что Митрошка сначала дергался, сидя на земле, а потом привстал и давай..

Они снова пошли, и солнце уже садилось позади них, на дороге впереди двигались длинные тени, и у Вальки из-за спины, как старинное ружье с раструбом на конце ствола, виднелась балалайка.

Вдруг где-то далеко ударил гром, а на дорогу из куста дерезы выскочил серый волк. Хищно изогнулся, еще раз подпрыгнул и сел перед ними, наострив уши.

— Попались! — сказал и клацнул зубами.— Сейчас я вас съем, а вашего петуха отдам лисе... Эй, лиса!..

Между двумя большими клыками опустил волк длиннющий красный язык и стал облизываться.

— Не ешь нас,— попросил Валька, которому было все-таки чуть-чуть страшно.— И не отдавай лисе нашего кочета. Ты знаешь, какой это кочет? Он умеет плясать под балалайку.

— Иди ты! — не поверил волк.

Валька достал из-за спины балалайку и пожал плечами.

— Смотри, если не веришь!

И он играл, а петька плясал, серый волк сначала внимательно присматривался, а потом невольно стал кивать лохматой башкой и большим хвостом выбивать за спиной по дороге: стук-стук!..

А когда они с петухом закончили, волк мотнул лохматой башкой:

— Вот законно!

— Я тебе говорил,— сказал Валька.

— А это твой братан? — кивнул волк на Митрошку.

— Братишка.

— Хороший у тебя братан, глаза добрые,— сказал волк. И предложил: — Давай корешевать?

— Договорились,— сказал Валька.

А в это время загудел на сильном газу мотор, и на дороге показался грузовик. Впереди, держась руками за кабину, стояла мама, и ветер трепал у нее на шее косынку.

Волк неохотно приподнялся, но Валька успокоил его:

— Это мои.

Машина затормозила и остановилась, качнувшись, хлопнула дверца, и с подножки прыгнул отец с большим ключом для гаек в руке.

— Сейчас я тебе рога обломаю,— пригрозил волку.

Валька крикнул:

— Не трогай, это мой друг!

— У него на лбу не написано,— буркнул отец.

Волк посоветовал:

— Ты бы лучше помог женщине слезть.

Но мама уже прыгнула с колеса и бросилась обнимать Митрошку. Потом обернулась к Вальке и строго спросила:

— А ты хоть покормил его?

— А то нет?

— Да ты, слава богу, такой, что сам поешь, а о нем и не вспомнишь,— с укором сказала мама.

Волк спросил у отца:

— А ты шофером?

Отец бросил ключ обратно в кабину:

— Глаз нету?

— То-то от тебя бензином,— дружелюбно сказал волк.— Да это не беда, что ж тут такого? Мне даже нравится, что от тебя пахнет бензином да теплой машиной. Это не беда. А беда, что от тебя водкой на километр...

— А ты попробуй проживи без калыма,— накинулся на него папа.— Думаешь, проживешь? Нет, брат, никак не прожить!..

— Никак не прожить без умной головы! — сердито сказала мама.

Отец вспыхнул:

— Тебе не нравится моя голова? Поищи себе другого!

— Постеснялись бы ребенка,— сказал волк.

Отец обиделся:

— А ты меня не учи. И так ученый.

А волк кивнул Вальке:

— А ну, давай отойдем.—И петуху кивнул:— И ты...

Они отошли на край дороги и стали около куста дерезы, из которого волк высочил. И тот показал глазами на отца и участливо спросил Вальку:

— Тебе небось достается?

— Да что ты! — удивился Валька.— Ни разу в жизни...

И покраснел.

Тут сложная такая штука. Каждый раз, когда отец бил Вальку, тому казалось, что это вышло как-то случайно, сгоряча, что произошла стыдная ошибка, ведь такого не может быть, чтобы большой человек, родной отец, бил своего сынка, нет же, не может быть — не было!..

— А то у тебя такой вид, как будто ты не хочешь домой,— сказал волк.

А Валька улыбнулся:

— Да теперь у меня петька!

Волк поглядел на кочета.

— А ты, если что, кукарекни — громко-громко... И я сразу. Я за вас за всех буду заступаться. Глянь — зубы.

И показал свои огромные зубища.

— Ты в гости приходи,— пригласил Валька.

— Скажи адрес.

— Братская, сто пятьдесят два.

Волк покачал головой:

— Ого, и не запомнишь.

— Пятьдесят умножить на три,— сказал Валька,— и еще прибавить два — сто... пятьдесят... два!

— Ну уж как-нибудь найду,— пообещал волк.

И они поехали домой, волк остался. А через несколько дней они с Митрошкой сидели на краю огорода, где на плетне густо висит хмель, а под плетнем растет тугой хрен да укроп.

Валька тихонько играл на балалайке, а петька снова плясал, как вдруг слабо затрещала сухая кора, и через плетень ловко перемахнул серый волк.

Митрошка сначала было испугался, но тут же узнал волка и, как журавленок, закильгикал, а волк снова стал покачивать головой и стучать по укропу хвостом в такт балалайке, а в конце сказал:

— Вот законно... а собачья конура у вас есть?

— А что? — спросил Валька.

— Да я у вас буду жить...

На нос волку села желтая бабочка, но он не стал клацать зубами, не съел бабочку, а только слегка скривился, дунул вверх, и бабочка отлетела и села на хмель.

4

Рассвет едва занимался, над ярмаркой еще синел зябкий туманец, а здесь уже было не протолкнуться. Перед узкими воротами давка стояла почище чем на детский сеанс, а за ними все хоть и расходилось в разные стороны, зато навстречу им неизвестно куда торопились те, кто уже отбазарил, и толпа кишмя кишела.

Валька то и дело натыкался на какую-нибудь одетую в зимнее пальто тетку с пустой кошелкой, а потом, когда уже выбрался из толкучки и кинулся бегом, тут же налетел на толстого пожилого дядьку в странной шляпе, очень похожей на детскую панамку. Валька вбок — и дядька вбок. Валька обратно — и тот следом... Каждый раз Вальке казалось, что он хоть немножко опередил толстого и успеет проскочить сбоку. И каждый раз натыкался на живот — просто удивительно, как тот успевал его подставить!

В конце концов дядька остановился, поднял на трясущейся руке короткий палец и, заикнувшись, громко сказал:

— Б-безобразие, понимаешь!

Но Валька и увидел это вполглаза и услышал вполуха, потому что теперь-то был далеко.

Валька спешил.

Вчера вечером он сказал наконец маме, что у него есть балалайка и что он хочет купить красного петуха, которого Никодимыч научит плясать. Мама еще и не дослушала — стала кричать, что глупости, оказывается, время валять дурака у Вальки имеется, а как что помочь, так его нету, не дозовешься, не допросишься... Он попробовал было сказать, кто ж тогда, интересно, возится целый день с Митрошкой, если он, Валька, валяет дурака, кто ж тогда братца нянчит, — но мама снова не стала слушать. Отобрала у Вальки деньги, положила в верхний ящик старого комода и закрыла на ключ.

Целый вечер проплакал он на своей раскладушке под яблоней. Это он-то не помогает? Он ничего не делает? И в самом деле обидно.

А сегодня мама сама разбудила его чуть свет:

— Давай беги тогда, если хочешь успеть красивого...

И вернула деньги...

Валька обрадовался, не знал что и сказать, а мама притянула его к себе:

— Пойди быстренько умойся. Ишь, глаза...

А у самой лицо тоже было опухшее.

Кто его знает, что такое творится с Валькиной мамой: сперва поругает его, а потом плачет, сама первая пристаёт. Раскритичится и передумает. Да только все ненадолго: тут же начинает жалеть, что уступила. И снова начинается крик.

Валька и теперь бежал так, словно кто-то уже гнался за ним следом, чтобы сказать: какой там тебе петух?.. А ну, возвращайся домой, там поговорим!

Ряд, в котором продавали птицу, тянулся далеко, и он побежал

мимо, почти не сбавляя хода. Здесь были всё куры да утки, изредка попадались гуси или индюшки, но петухов он пока не замечал... а может, на бегу просмотрел? Валька решил, что обратно вдоль ряда он пойдет совсем медленно, будет интересоваться да спрашивать — что, если подходящий петух преспокойно лежит себе где-нибудь тут в мешке?

И вдруг он увидел!

Еще не рассмотрел хорошенько, куда тут издали, только и заметил гребень да бороду, но уже знал, что это по всем статьям тот самый кочет, о котором столько мечтал.

Сердце у Вальки ударилось так, будто это оно подтолкнуло его вперед.

Он подбежал и замер чуть наискосок от маленькой старушки, которая держала петуха, обеими руками прижимая его к боку. Ей, видно, было тяжело, и она стояла, чуть вскинувшись и отклонясь назад, и петух, выгнув шею над своей каштановой грудью, тоже отклонял назад голову с малиновым гребнем и большой огненной бородой и слегка косил рыжим глазом — словно хотел рассмотреть изжелта-белые свои серьги...

Пальцы у старушки были широко растопырены на его крутых боках, на тугих крыльях, но она все равно, видно, боялась, что петух еще, чего доброго, может вырваться, а потому зажимала под мышкой хвост, но он был такой длинный, что красные его перья с черными и темно-зелеными отметинами на концах пучком висели сзади из-под руки, — Валька увидел их, когда слегка наклонился.

Он все разглядывал петуха, сразу даже не прислушался к разговору, который хозяйка вела со стоявшей напротив высокой худой старухой, и только сейчас наконец до него дошло, что они давно уже торгуются.

— Токо посмотреть, какой он тяжелый, — сказала теперь его хозяйка, слегка приподняла руку, под которой был зажат хвост, и протянула петью бабке напротив. — Где ты нонче такого кочета?..

Та осторожно взяла его, качнула в руках, взвешивая. Кочет рванулся, вытягивая голову, недовольно закокотал и дернул хвостом. Красные косицы на конце его сильно затряслись.

Бабка, отдавая петуха, покачала головой:

— Ох, тяжеленный!..

— А красавец какой! — продолжала нахваливать хозяйка.

И бабка с удовольствием растянула:

— Кра-аса-а-а-авец!

Валька сжался: неужели купит?

Но бабка снова покачала головой и сказала:

— Я б такого ни за что не продала!

У хозяйки лицо и без того было сморщенное, а тут стало и совсем как печеное яблоко.

— А я б, кума, разве стала, если б не молодой хозяин? — спросила жалостно. — Да в жизни б не рассталась!.. А он пристал хоть убей: он на меня не так смотрит... А петьяка этот и правда дуже смелый. Тот выпивший с работы придет да ногой его, сапогом в бок, а этот нет чтобы убежать. На месте подскочит, грудь вперед и голову от так вверх задерет, вот-вот подпрыгнет да кинется. Я скажу: Вася, от и хорошо, что он такой боевой, это ж петух, а не голубь. А он прямо с такой злостью: пускай с кем другим как хочет, а на меня так не смотрит, пускай не кидается, я тут — хозяин! Чего он на меня так глядит? Чего гордится? А недавно опять пришел да идет прямо на петуха — как не видит. А этот такой боевой тоже — никогда не свернет. И сейчас. А он тогда его — раз! — в бок. А тувель слетел. От он

то-олько его поднимать, а петух подскочит да ка-ак клюнет! Чуть не в глаз. Да хорошо, как раз говарищи его, зятя, пришли, так он за ними забыл, а то б тут было делов! А я сегодня встала пораньше, да и думаю: лучше я его продам от греха... а разве не жалко?

У Вальки в горле пересохло, пока он с открытым ртом слушал: вот это петух! С таким и правда не пропадешь.

А вторая бабка сказала:

— Да им к кому бы ни прицепиться... ай-яй-яй, это беда! Значит, кочет ему дорогу перешел?

— Дюже, говорит, гордый...

Валька больше не выдержал:

— Бабушка, почем он у вас?

Старушка посмотрела на него, удивившись:

— По деньгам, детка... А ты что, купишь?

— Конечно, куплю,— быстро заговорил Валька.— Мне такой петух нужен... нам нужен, дома!

— А ты его, упаси бог, не в суп?

Валька даже руками замахал:

— Не-а, что вы!.. Он у нас будет жить.

— А тебя мама послала? Или кто?

— Мама! — с гордостью сказал Валька, и ему стало вдруг очень приятно, что тут он ни капельки не соврал: и в самом деле ведь это мама разбудила его нынче утром.

А старушка все как будто раздумывала:

— Ты знаешь, какой это кочет?.. Золото, а не птица. Зовут его плимутрок. Порода такая. Тебе скажут, что не бывает красных плимутроков. Так ты не верь. Это настоящий плимутрок. Вишь, какой красивый.

— Он у нас будет жить,— снова горячо сказал Валька.

— А ты чей сам?

— Дементьев...

— Это не Настя Дементьевой внучек?

— Она моя бабушка,— обрадовался Валька.

А та снова повернулась к высокой старухе напротив:

— Вот тоже горе!.. Встречаю ее давеча, Настю, жалится, бедная: сказала сыну — не буду ходить, пока пьешь. И не знаю, говорит, кого больше наказала... Он теперь что хочет, то и делает, а я внучат целыми днями не вижу да подумаю другой раз: как они там без меня?

Правда, Вальке жаль было сейчас свою бабушку, и себя с Митрошкой тоже стало очень жалко, и маму, но жалость эта промелькнула где-то очень далеко, задела его только краем, сейчас мальчишке было не до нее — он снова во все глаза смотрел на красного, с каштановой грудью петуха.

— Так сколько он стоит, тетъ?

— Да скажешь своей бабушке: Стеша Софрониха хотела за семь, да узнала, что ее внучек... Пять рублей у тебя, детка, будет? Да только сам его не обижай и другим не давай в обиду.

— Да что вы, тетъ, не-а!..

А бабка длинно вздохнула, одновременно что-то шепча, и негромко спросила:

— Куда ты его, детка? В мешок?

Теперь Валька по дороге домой чувствовал за спиной живую и словно теплую тяжесть, ему иногда казалось, что петуху в мешке неудобно или, может быть, больно, и он выпячивал живот и прогибал спину...

Это просто удивительно, как ему снова повезло!

Ему казалось, что точно так бежала с петухом за плечами рыжая

лиса, и он иногда оглядывался с тревогой, но и с довольством в глазах и как будто слушал, не мчатся ли следом собаки — чтобы и совсем уж было похоже...

5

Вот бежал так Валька с петухом за плечами, бежал, и собаки не успевали и тявкнуть, как оставались далеко позади, и чужие мальчишки с другого края станицы не успевали замахнуться, как тут же с открытым ртом замирали и смотрели ему вслед — то ли на мешок, а то ли на стимильные сапоги...

Иногда он перелетал через целый квартал, подпрыгивал и несся над огородами и над садами в росе — одна нога вперед, другая назад. По дворам плавно скользила его тень, и куры и утки бросались от нее врассыпную — как от коршуна или от маленького почтового самолета.

Он боялся, что сапоги в это время еще, чего доброго, спадут, шлепнутся куда-нибудь в сырую ботву, но они ничего, держались, и лишь слегка хлябали, когда он стучался подошвами о землю.

На углу их улицы стоял горбун Никодимыч с балалайкой в руке, и на нем была голубая атласная рубашка навывпуск и вместо пояса висел витой шелковый шнурок с махрами на боку.

— Я тебя жду! — радостно закричал Никодимыч, — А ну-ка, покажи своего друга, похвались!

Валька достал из мешка красного кочета с каштановой грудью, и тот задергался у него в руках и закокотал, Никодимыч пригляделся получше и ударил себя по колену:

— Да это же плимутрок!

Они пошли домой, и тут к ним бросились и мама, и отец, и маленький Митрошка, все ахали, хвалили петуха и просили его подержать, а братец, конечно, уже плакал, потому что ему-то ведь как раз и нельзя было дать петуха, пока тот не обвык...

Посреди двора стояла машина, и папа вдруг бросился к ней, а маме закричал:

— А ну, хозяйюшка, открывай ворота!

— А ты куда это?

— Да подскочу за поллитрой, надо бы...

Нет, не так.

Наоборот, это мама говорит:

— Ты чего за поллитрой — петуха обмыть?

А папа с подножки смеется:

— Да ну, ты придумашь, еще чего? Надо уже бросать эту дурь. Я за мамой съезжу, давно она у нас не была, наша бабушка. Пускай она тоже на петуха глянет... как его? Плимутрок?

Мама обрадовалась:

— И устроим пир на весь мир!

Не успел никто еще и оглянуться, а машина уже снова стояла во дворе и бабушка уже вылезала из кабины и нарочно побряхтывала, будто чем была недовольна, а отец уже открывал задний борт. А там весь кузов был уставлен трехлитровыми баллонами с компотом, и каких тут компотов не было: и желтый — яблочный, и коричневый — из груш, и розовый — из черешни, и совсем темный — из вишен...

И папа подавал эти баллоны вниз один за другим, а Валька с мамой да Никодимыч их подхватывали и ставили на порог — на одну ступеньку, на вторую, на третью... куда бы еще?

— Уж чего лучше искать, чем этот компот? — смеялась бабушка. — Сядем за стол и будем пить, у меня его еще на сто лет!.. И за-

куски хорошей сейчас приготовим — и фаршированного перчика, и тушеного яйца, и перепелочек с рисом!

И они с мамой пошли на кухню. Митрошка сидел в пыли и во все глаза смотрел на привязанного к яблоне петуха, который клевал белую кукурузу-ледянку и запивал ее водой из консервной баночки, а отец уже стучал в кузове молотком, пилил какие-то досочки, что-то ладил...

Никодимыч спросил:

— А ты чего там кумекаешь, Анатолий Потапыч?

Отец разогнул спину и отер со лба пот.

— Да ты знаешь, чего я придумал? Сделаю я тут в кузове маленькую такую клетку. Посадим сюда плимутрока, а Валюха с Митрошкой в кабинку рядом со мной — и поехали. Чего им тут одним сидеть дома, когда мы на работе? Чего они тут хорошего видят? А то и пускай со мной ездят по белому свету. У меня, знаешь, какая машина? У меня машина военная, нет, правда. От тут в кабинке и крючок для автомата есть, ты посмотри. А мы туда балалайку повесим, а чё, пусть висит. На кочках да на ямах: трень-брень! А потом я куда за путевкой побежал или еще что, а они в кузов залезли, петьку выпустили... ты ж его научишь плясать?

А Никодимыч в это время пощипывал струны на своей балалайке, подкручивал, но тут голову слегка оторвал от груди, затряс подбородком, засмеялся:

— А ты знаешь что? Я вот гляжу на него и думаю: а может, его и учить-то вовсе не надо? Это ж плимутрок. А они, знаешь, какие премудрые — все и так понимают...

Ударил по струнам совсем тихонько, а петух встрепенулся, захлопал крыльями... Дрыгнул лапой, чтобы освободиться от веревки, скинул ее и давай потихонечку приплясывать.

Из кухни вышла бабушка, остановилась, вытирает о фартук руки. Увидела, как пляшет петух, и головой закачала:

— Да будь ты неладно — вот это кочет! У кого ж только ты такого купил?

Валька сказал:

— Тетя Стеша Софрониха хотела за семь рублей, а узнала, что я твой, бабушка, внук, и за пять отдала...

А кочет старался!

Бабушка в ладоши стала прихлопывать:

— Ишь ты!.. Ишь ты! — Обернулась к Вальке и строго сказала:— А ты ему колодезной воды в банке поставил, беда! А ну-ка, быстренько сполосни ее да влей туда кизилового компоту!

Тут кочет громко закукарекал и сделал сальто.

6

С тех пор как Валька купил красного петуха, прошло больше трех месяцев, но плясать его так пока и не выучили — это ведь только сперва кажется, что все просто...

Сначала Вальке самому было недосуг. Только начнет у матери отпрашиваться, а она:

— Опять гулять! Думала, разрешу ему это баловство с петухом, так хоть немножко дома посидит, а он и тут — нет!

И Валька все ходил в няньках: за Митрошкой теперь и по давню нужен был глаз да глаз. И откуда взял такую привычку — каждый камушек тащить в рот. Только ты отвернулся, а он уже губы сжал, и мордочка хитренькая. Значит, во рту что-то есть. Только отобрал камушек или комочек земли, только заставил выплюнуть, а он —

опять. Рот у него теперь, вытирай не вытирай, всё в пыли; от капустной кочерыжки хоть и не давай откусить — тут же замусолит. Яблоко ему очистишь, оно белое, а он что ни укусит — следок. Как будто перед этим песок жевал.

Валька прямо замаялся.

А после надолго заболел Никодимыч. Сперва его положили в здешнюю больницу, а затем прилетел за ним санитарный самолет и увез в край.

Пока его не было, Валька попробовал было сам с петухом позаниматься, да ничего у него не вышло. Петька не обращал на балалайку ровно никакого внимания и, когда Валька начинал брэнчать, спокойно себе греб да поклевывал. Он привязывал к петушиной ноге веревочку и пробовал его подергивать, но кочет обиженно кокотал и начинал упираться. Пробовали они так: Валька брэнчит, а Андрюшка Мельников петуха подбрасывает. Давали ему после этого сахар-песок или конфеты «горошек» — нет, и тут бесполезно. Недаром же Никодимыч предупреждал: без него и не берись — надо секрет знать.

И Валька, когда им с Митрошкой было невесело, просто выносил балалайку, брэнчал на ней да вздыхал, на петуха при этом только посматривал... Митрошка плакать переставал, тянулся к балалайке: может быть, тоже что понимал — про петуха?..

Другой раз около Валькиного двора собиралась вся улица, и тогда, если дома никого не было, он выносил сюда и нехитрый свой инструмент и красного кочета. Его привязывали к лавочке, и он начинал грести на новом месте и вообще занимался чем хотел, а мальчишки по очереди брали балалайку и дрынькали и тоже смотрели на петуха... Эх, скорей бы выздоравливал да прилетал домой на своем самолете Никодимыч!

А недавно он наконец вернулся, не на самолете, а приехал в автобусе. Валька сбегал к нему домой, и тот сказал, что хорошо, ладно — он еще две недельки побудет дома, тут они денек и выберут, с петухом и займутся.

И вот долгожданный этот денек настал. Правда, они хотели прийти с Андрюшкой вдвоем, но Никодимыч сказал, что нет, много народу ни к чему, один хозяин петуха и должен быть...

Валька поставил мешок с петухом у ног и ладошки поднес ко рту:

— Дядя Никоди-и-мыч!..

Ему всегда почему-то казалось, что хоть и работает горбун Никодимыч в райфо бухгалтером, живет он все равно как-нибудь странно, и теперь, заглядывая во двор, Валька снова невольно искал следы этой особой, таинственной жизни.

Все здесь было как и во многих других дворах: цветущие белым да розовым дубки в палисаднике около забора... старый дом с застекленной верандой, над которой от карниза до земли чуть наискосок висели на ржавой проволоке засохшие плети вьюнков... такой же старый сарай с односкатною черепичной крышей да загородка для кур... просторный осенью огород, на котором среди облетевших деревьев одиноко стояло вылинявшее пугало в обвисшей кепке. И чуть покосившийся скворечник уборной, как и у всех, был подперт сзади толстым дрючком...

— Дядя Никоди-и-мыч!.. Дядя!

Он услышал, как клацнула щеколда, дверь открылась, и Никодимыч стал на пороге. Резковатым, немного похожим на скрип голосом крикнул:

— Чего стоишь, заходи!

Валька открыл калитку и по дорожке, выложенной битым кирпичом, пошел к дому.

Никодимыч держал одну руку, слегка приподняв ее и растопырив пальцы, будто перед этим чистил селедку, и Валька понял, что пришел, пожалуй, не вовремя.

— Давай сюда,— пригласил Никодимыч.— Может, с нами поешь?

Валька только потом представил, как он сидит за одним столом с Никодимычем да с его худющей женой — она в старших классах по химии учит. Но раньше он испуганно сказал:

— Не-а, что вы! Я тут...

Все-таки и правда, Никодимыча как с гвоздика сняли и он до сих пор еще не привык: сперва подбородок приподнял с груди, а потом уже голову повернул.

— Может, тогда ты сразу — делом? -- сказал, взглянув на сарай.— Примус умеешь разводить?

Валька засомневался:

— Да как когда...

У Никодимыча на тяжелом подбородке собрались складки:

— Суду все ясно! Когда не ругаются — можешь. Как под руку накричат — так нет.

И Валька рот раскрыл: пожалуй, правда!

А Никодимыч пошел со ступенек вниз:

— Пойдем, все тебе покажу, а сам доем... Идет?

Осмелевший Валька улыбнулся:

— Даже едет!

В сарае он первым делом выпростал из мешка петушиную шею, чтобы кочету не было душно, а крылья не стал освобождать — пусть пока посидит. Потом взялся за примус.

Никодимыч правильно сказал: когда тебя не дергают, оно всегда лучше. Скоро примус загудел, и над раскаленной его горелкой ровным кружком задрожало синее пламя, а Валька, присев на низенькую скамеечку, оглядывал сарай. Но и здесь у Никодимыча, пожалуй, ничего такого особенного не было.

На давно не беленных стенах поверх пожелтевших газет висела старая одежда, а рядом всякие домашние вещи — то бельевая веревка, а то пила, в одном углу опускались с потолка три или четыре пучка калины да пыльный букетик какой-то сухой травы, а чуть поодаль свисали перехваченные толстой алюминиевой проволокой старые рамки с кусочками воска на деревяшках — Никодимыч держал пчел.

Около самодельной — из фанерных ящичков — тумбочки, сплошь заставленной склянками, увидел Валька согнутую козлиную ножку, вбитую в стену вместо вешалки, и он встал и потрогал остренький край задранного вверх черного копытца.

Никодимыча все не было, и Валька подсел поближе к петуху и стал гладить его по пышным и тугим перьям на шее.

— Петя! Петя!

Раньше кочет с руками и близко не подпускал, клевался, а теперь уже привык, шею под ладошкой так и выгибает — как балованный кот, которому ты только дай руку, а он сам об нее спину погладит.

— Петя!.. Тут будет твоя школа...

И кочет мелкими рывками тянул вверх голову и рыжим глазом косил на гудевший примус, на синее его пламя.

Валька думал, что Никодимыч принесет подогреть на примусе еще что-нибудь для своего обеда, но тот пришел уже, видно, сытый.

Рядом с печкой, на которой шумел примус, положил на сундук раскрашенную свою балалайку, потер большие ладони.

— Говоришь, приступим?

Валька кивнул и плечами повел от нетерпения.

Никодимыч достал из-за сундука странную жестяную посудину, похожую на громадную сковородку, поставил ее на глиняный пол. Потом откуда-то из-под стола вытащил большую плетеную корзину, очень редкую и без ручек. Поставил ее вверх дном на жестяную посудину, посмотрел-посмотрел и ладонь слегка приподнял, подержал, да и опустил почти тут же.

Приподнял с груди подбородок и на мальчишку опять глянул:

— У тебя нервы вообще-то... как?

А тот подумал, что Никодимыч спрашивает потому, что петух вполне может сразу что-нибудь не понять или заупрямиться, а он, Валька, чего доброго, станет его бить.

— Да не-ет,— сказал,— не беспокойтесь, он все поймет!

Никодимыч почесал наконец затылок и сказал:

— Понять-то он, конечно, поймет...

И Валька заверить поспешил:

— Он такой!

— А ну-ка, привяжи к ноге веревочку, да покрепше...— Сдернул со стенки моток шпагата и протянул Вальке.— На вот...

Валька привязывал, стараясь сделать так; чтобы шпагат хорошо держался, но не давил петуху ногу.

Никодимыч перенес гудящий примус на маленькую скамеечку, а по бокам от него поставил две больших табуретки.

— Готово?

— Готово! — радостно сказал Валька.

— Держи веревочку,— распорядился Никодимыч.

Поставил над примусом жестяную свою посудину, взял у Вальки петуха и быстро сунул его под корзину. Тот, оступившись, царапнул по железу когтями и затих.

Валька еще не совсем понял, что будет дальше, но ему вдруг стало не по себе.

Никодимыч это почувствовал:

— Оно, брат, конечно... ему какая радость? Потому и говорил, один приходи...

Петька негромко закокотал под корзиной, забеспокоился, раз и другой переступил с ноги на ногу, сильно цокнув когтями, и Никодимыч быстро взял свою балалайку и подкинул. Попробовал улыбнуться Вальке, собрал складки на подбородке, подмигнул:

— Музыка!

А петька уже обиженно клекотал, бил крыльями и все чаще и чаще подпрыгивал. Никодимыч быстрее и быстрее бил по струнам, потом дурашливо подмигнул:

— И-ех, ходи, милай!

А кочет то часто семенял по нагретому железу, а то с криком подпрыгивал и словно оскользался, становясь обратно, подсакивал тут же снова и кричал еще жалостней и громче.

В прохладном сарае запахло паленой роговицей.

Никодимыч разом перестал играть:

— Держи хорошенько! — И снял с жаровни корзинку.

Кочет сильно ударил тугими крыльями и рванулся под потолок, так что Валька невольно дернул за шпагат и подставил руки, подхватывая его снизу.

Петух забился теперь у него на плече, одной лапой вцепившись в пиджачок, а вторую сжав на Валькиных пальцах, и тот чуть не закричал — когти у петьки были очень горячие.

И Валька медленно стащил петуха с плеча, прижал к груди и склонился над ним, ткнувшись лбом в разогретые его перья.

— Ну-у... ну, вот грех! — Голос у Никодимыча сделался виноватым. — А ты думал, он от большого веселья пляшет? Ну-ну, не плачь...

Валька и не плакал — только посильнее жмурил глаза.

— Ты маленький... потом-то знать будешь, — торопливо говорил Никодимыч. — Радость да печаль, они всегда вместе. Радости ждешь, а печаль — уже тут. Печаль гонишь, а глядишь, и радость ушла...

Голос у Никодимыча сорвался, он задышал так, будто ему было душно... Крупные его ладони не находили себе места — он то ерошил волосы и пятернею вел по лицу, то начинал тереть грудь под пиджаком, а второю рукой трогал что-либо на стене, а потом вдруг боком шатнулся к примусу, сильно и часто стал подкачивать — и кочет, словно что поняв, вскинулся под ладонями у Вальки и задрал голову...

И Валька бросился из сарая, прижимая его к себе.

Он бежал, будто не дыша, будто что-то в себе сдерживая, и лишь когда стал на колени на краю лужка и опустил на землю петуха с распаренной и местами размятой роговицей на лапах, лишь тогда он бросился на землю и тихонько и жалостно заплакал, прижимаясь щекою к волглой осенней траве...

7

День был, какие бывают в середине ноября, когда в станицу на неделю, на две возвращается давно ушедшее лето...

Припекает низкое солнышко, на улице ясно да тепло, а тишина такая, что пролети сейчас запоздавшие журавли — и от их тоненького клика вздрогнет и упадет на землю последний листок, который чудом еще держится на самой макушке старого ясеня.

Прозрачными стали сады, кругом посветлело, и сквозь голые ветки хорошо видны и рыжие, с яркой прозеленью холмы вокруг станицы, и дальние горы. Холодком лежит на их белых вершинах синеватая дымка, и на нее почему-то тянет и тянет тебя смотреть, когда ты сидишь под плетнем на толстом ворохе палых листьев...

Валька сидит, рядом притулился спиной к плетню Митрошка.

Он тоже смотрит на синие горы и негромко тянет: а-а-а. Тянет, куда хватает сил, а потом снова набирает воздуха: а-а-а...

Лицо у Митрошки при этом очень серьезное, а взгляд отрешенный, и песня выходит у него задумчивая... Спасибо, у Вальки есть братец! Хоть говорить он пока не научился, зато смотреть умеет так радостно да хорошо, как никто другой на тебя не посмотрит.

Вздохнул Валька, глядя на далекие горы.

Опять вспомнил он и лето и вспомнил то, что случилось еще совсем недавно, и ему показалось немножко странным — все это разом от него отодвинулось и осталось вдруг в прошлом, в таком далеком, — теперь в точности и не различить, что было на самом деле, а чего, может, вовсе и не было, а только хотелось, чтобы оно было...

Собирал он водяной перец? Собирал. Хотели ему вместо балалайки подсунуть барабан? За малым не подсунули. Купил он у бабушки Софронихи красного кочета с каштановой грудью? За пять рублей. И они с Митрошкой шли и шли, и за спиной у него была балалайка, и на посошке висел узелок, и навстречу им выходил на дорогу волк...



БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* * *

...И отстояв за упокой
в осенний день обыкновенный,
вдруг все поймут, что перемены
не совершилось никакой.

Что несплатные долги
висят на всех, как и висели,—
все те же боли, те же цели,
друзья все те же и враги.

И ни у тех, ни у других
не поубавилось заботы —
существовали те же счеты,
когда еще он был в живых.

И только женщина одна
под плеск дождя по свежей глине
поймет внезапно, что отныне
необратимо прощена.

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю: душа не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было: страшусь и спешу,
есмь сегодня, а буду ли снова? —
и на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался,
и остался от этих времен
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им,
лишь скучая, но не сострадаю,
и прошу: тот, кто молод, любим,
а тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнет прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность.
Только старости недостает.
Остальное — уже совершилось.

* * *

Ремесло наши души свело,
заклеймило звездой голубою.
Я любила значенье свое
лишь в связи и соседстве с тобою.

Несказанно была хороша
только тем, что в первейшем сиротстве
бескорыстно умела душа
хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твое:
я видала сама, как дымилось
меж бровей золотое тавро,
чьё значенье — всевышняя милость.

А про лоб, что взошел надо мной,
говорила: не будет он лучшим —
не долеплен до пяди седой
и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,
пересилю и перелукавлю:
в час расплаты за нашу звезду
я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,
похваляясь: мой грех — безусловен,
а второй — он не то чтобы плох,
он — меньшей, он ни в чем не виновен.

Так положено мне по уму,
так исполнено будет судьбою.
Только вот что: когда я умру,
страшно думать, что будет с тобою.



ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

★

ВЕЧЕР. ОКНА. ЛЮДИ*

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ (В ИСТОРИЮ)

Итак, я должна вернуться в те же места и к тем же событиям, которые уже вспоминала, — как они виделись в детстве. Взрослыми глазами наново прочитать одну жизнь — жизнь отца, — не умалчивая о том, что хотелось бы вычеркнуть, и не преувеличивая того, чем я вправе гордиться.

Пусть фигура моего отца не так уж заметна, а мурманские события первых недель революции — лишь малая частичка огромных событий, потрясших мир, — все же и они имели значение в общем ходе истории. В частных судьбах и событиях отразились сложнейшие процессы революционной эпохи. Их нельзя оскорблять ни ложью, ни полуправдой. Их надо изучить без высокомерия и понять такими, какими они были в той обстановке и в том времени.

Я долго не решалась взяться за непривычный труд, надеясь, что рано или поздно это сделают без меня. Да, рано или поздно... А если — поздно? Если другие темы отеснят частную, мурманскую?.. Ведь уже есть книги и диссертации с неверными, бездоказательными утверждениями, их читают с полным доверием молодые историки, студенты, да и все, кого почему-либо заинтересуют «дела давно минувших дней» на Мурмане. Вышел же роман, опирающийся на изложенные в этих книгах неверные концепции!

Признаюсь, в молодости я попросту отмахивалась: порвала со своим классом ради борьбы за коммунистические идеалы, так какое мне дело до родственных корней! Смотреть хотелось только вперед.

Однако на моем пути не раз попадались люди, смотревшие только назад. И мне не раз приходилось — всегда в самые тяжелые периоды жизни — отбивать чудовищные упреки в том, что я дочь контрреволюционера! Как ни тяжело давалась борьба с ними, эти наскоки принесли своеобразную пользу — они буквально заставили меня всерьез заняться изучением давней истории. Параллельно со мною таким же изучением вынужденно занимались комиссии нарастающей авторитетности. Изучив все материалы, комиссии каждый раз приходили к выводу, что мои обвинители не правы. Отряхнувшись от пережитого, я снова с размаху бросалась в жизнь — в сегодняшнюю, горячую... Добиться того, чтобы эти выводы стали общеизвестными, не схоронились в архивных папках? И руки не доходили, и казалось — дочери неудобно настаивать...

В одну из годовщин освобождения Ленинграда от блокады на вечере в Музее города выступал с воспоминаниями персональный пен-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4 с. г.

сионер, в годы войны руководивший одним из ленинградских предприятий. Преодолевая одышку, он говорил по-стариковски долго, перегружал рассказ подробностями... Это мешало восприятию, хотя рассказывал он о делах героических. После него дали слово мне. Когда я кончила, старик подошел и, здороваясь, с улыбкой сказал:

— Вот, значит, кем стала одна из мурманских девочек с косичками!

Передо мною был Тимофей Дмитриевич Аверченко, тот самый комиссар Аверченко, чье имя некоторые историки, не утруждая себя доказательствами, сопровождали довесками — «эсер» и «некий»... Много лет он защищался как мог и умел. Слушая его, я понимала, что он оскорблен и обижен до потери самообладания, но опровергнуть обвинения логично, с документами в руках — вряд ли в силах.

Спустя несколько лет я получила от Тимофея Дмитриевича письмо — он просил навестить его в дачном поселке старых большевиков на озере Долгом. Разыскав дачу, я не сразу узнала Аверченко: так он одряхлел. Руки его тряслись, когда он передавал мне экземпляр своих воспоминаний и своего ответа историку Тарасову.

— Неужели я так и умру с этим клеймом?..

К счастью, он успел получить сборник документов «Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане», положивший начало реабилитации его имени, но не дожил буквально недели до выхода обстоятельного исторического труда «Очерки истории Мурманской организации КПСС», где правдиво сказано и об отдельных ошибках молодого большевика, и о заслугах его, о том, как Аверченко вместе с другими большевиками возглавлял выступления рабочих и матросов против начинающейся интервенции.

— Вот, написал как сумел,— проворчал он, сидя на крылечке дачи и коротко, трудно дыша,— а вы, писатель, почему вы-то не пишете? Или вам все равно, что отца зря порочат?

Глядя на его отечное лицо, окруженное редкими седыми волосами, я вдруг остро почувствовала свою вину и перед ним и перед другими мурманцами, потому что большинства из них уже нет в живых или они не умеют опровергнуть ложные концепции некоторых историков, а ведь эти ложные концепции порочат не только моего отца, но и многих большевиков, матросов, рабочих, причастных к мурманским событиям!.. Глядя на состарившегося Тимофея Аверченко и вспоминая давнего, двадцатилетнего, в лихой кожаной кепочке, я до зримости ясно представила себе, как молода и неопытна была наша революция, какие неподготовленные, но преданные революции пласты народные она подняла к активной политической жизни и как в вихре небывалых событий эти рядовые борцы на ощупь находили решения, спотыкались, обжигались, снова бросались в бой и в боях мужали, в боях учились... Как же бережно, с каким пониманием первоначальности их опыта должны мы относиться к их именам!

Примерно тогда же мне написал Александр Михайлович Ларионов. Мурманский Ларионов-старший, соратник и однофамилец Коли, начальник контрразведки Мурманского укрепрайона и одновременно — секретарь уездкома партии в 1920—1922 годах.

«Вы обязаны,— писал он,— рассказать правду о своем отце и о мурманских событиях, вы же знаете отца и лучше других можете понять его!»

Вот ведь как бывает. Не я его, а он меня нашел и потребовал, чтобы я защитила от поклепов имя отца. Почему? По существу, мы незнакомы с Александром Михайловичем. Вряд ли он помнит в лицо девочку-комсомолку, которую видел мельком на собраниях и суб-

ботниках, да и я представляю его себе — крутолобого, в энергичных морщинах, — только таким, каким увидела на газетном листе в день его семидесятилетия рядом со статьей, удачно названной «Неугомонный».

«Вы знаете отца и лучше других можете понять его», — написал Неугомонный. А я вчитывалась в строки статьи и старалась понять его самого...

Передо мною возник крестьянский паренек с берегов холодной Онеги, упорный паренек, сызмала закаленный трудом на северной неласковой земле, от которой вполсилы ничего не возьмешь. Шла первая мировая война, мужиков в селе становилось все меньше. Забрили и Сашу Ларионова, но отправили не к фронту, а от фронта — в Иркутск. Сколько он увидел, услышал, продумал на долгом пути через Сибирь! В родном Подпорожье его мир ограничивался кругом односельчан, а тут — множество людей с иным жизненным опытом и новыми для Саши мыслями, невиданные места и немыслимые просторы: едешь сутки, едешь неделю, едешь две недели — и все Россия, все Россия!.. В Иркутске его определили в школу прапорщиков. В те времена говорили: «Курица не птица, прапор не офицер!» Как их косила война, этих юных прапорщиков! Краткосрочные школы военного времени не успевали восполнять убыль...

Наскоро обучив, Ларионова отправили на Юго-Западный фронт. Эшелон тащился через всю страну — а страна раскачалась, растревожилась, гудела митингами, искала путей и решений... Шел 1917 год. Много ли понимал в политике юный прапор? Понимал мало, но пылливо прислушивался, приглядывался, искал — где правда. В 306-м Мокшанском пехотном полку, куда он прибыл, солдаты уже много месяцев изнывали в сырых окопах возле речки Стоход. Их усталость и злоба были Ларионову понятней и ближе, чем разговоры офицеров о войне до победного конца. Может, он еще и не осознавал своего места в борьбе, но когда грянула Октябрьская революция — «Долой войну!», «Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!» — это была его революция, его власть. Офицеры разбежались кто куда, солдаты сами выбирали себе командиров — и 11-я рота выбрала прапорщика Ларионова.

Но царская армия разваливалась неудержимо, демобилизация только узаконила стихийный процесс. Тут и там уже сколачивались части новой, Красной Армии, на забитых солдатами станциях агитаторы в кожанках и шинелях охрипшими голосами призывали встать на защиту революции... Я стараюсь себе представить Сашу Ларионова на одной из таких станций — я их видела из окна вагона в ноябре 1917 года, — но ярче собственных детских впечатлений вспоминается рассказ одной замечательной женщины, комиссара гражданской войны Елены У. о том, как она, двадцати лет от роду, на большой узловой станции призывала солдат в Красную Армию:

— На перроне ступить некуда, тут и спят, и едят, и вшей давят, кто что. Влезла я на какие-то ящики, кричу: «Товарищи солдаты! Товарищи солдаты!» — какое там, никто слушать не хочет: заткнись, не жужжи как муха. Вид у меня, конечно, несерьезный, голос тонкий, но делать-то нечего, нужно! Я зываю к их сознательности, а они... уйди ты, кричат, и самыми дурными словами... в общем, послали подальше. Убежать? Разреветься? Так ведь поручение партии! И тогда с отчаянья я припомнила все дурные слова, какие когда-либо слышала, и разом выпалила их. Подряд — да во весь голос. Раздался такой хохот! Уж мне потом объяснили, что я все перепутала... Но дело сделала. Окружили меня: а ну, давай! И тут я им выложила все — дескать, генеральская контра задуть нас хочет, революция в

опасности, а вы, такие-сякие, расселись тут, девушку оскорбить умеете, а революцию предаете!.. В общем, девяносто человек ушли со мною в Красную Армию, хорошие были ребята, со многими мы потом дружили.

Попадались ли Саше Ларионову такие беззаветные агитаторы на длинном пути от реки Стоход до реки Онеги? Видимо, нет. Или он еще не был готов к борьбе за революцию? Или все пересилило властное желание — домой, в родное село, где по справедливости делят землю и приходит конец мироедам?.. В родном селе Сашу как фронтовика и человека грамотного выбрали председателем волостного исполкома.

Если до этого жизненного рубежа мне приходится угадывать, что понимал и как решал Саша Ларионов, то с этого апрельского дня 1918 года его жизнь ясна: он рос в темпе событий — месяц за год. В конце июля в Архангельске взяли верх белогвардейцы, прикрываемые чужеземными пушками, английские войска вместе с беляками высадились в низовьях Онеги и поперли в глубь страны... Ларионов, не раздумывая, вступил в партизанский отряд В. Гончарика. Гончарик разглядел в новом бойце и ум, и надежность, и вот эту неутомимость характера — не в бой и не в поход с отрядом, нет, послал он Ларионова обратно в Подпорожье с разведывательным заданием. И не ошибся. Через месяц Ларионову доверили командовать другим партизанским отрядом, Онежским, и где-то между боевыми действиями Ларионов вступил в члены партии большевиков, а когда партизанские отряды влились в регулярные части Красной Армии, стал Ларионов начальником разведки 18-й дивизии 6-й армии, не раз проникал во вражеский тыл, смело шел к обманутым солдатам белой армии — разъяснял им правду.

Вот как сложился жизненный путь Александра Ларионова до осени 1920 года, когда в освобожденном Мурманске он так естественно стал заводилой самых главных дел, что его вскоре избрали секретарем уездного комитета партии.

Ну а п о с л е? После двух с лишним лет, проработанных на Мурмане?

Биографическая справка скупа, но мне давно знакомы и милы такие люди, рядом с ними, бок о бок, прошли и мои полвека, я их наблюдала, познавала всю жизнь в родном Ленинграде и на Сахалине, в Комсомольске-на-Амуре, в шахтерском Донбассе, в Москве и в Мингечауре, на стройках Сибири и Заполярья — и даже на берегах Янцзы и Нила. Без них, без таких людей, обеднел бы и мой внутренний мир, они, говоря профессиональным языком, — главный материал моего литературного труда.

Простое слово н у ж н о — определяющее слово всей их жизни.

Началась индустриализация страны. Ларионов создает первую на Севере тракторную базу... Организует Северную опытную станцию по механизации лесозаготовок... Управляет трестом Севхимлес... Строит первый в стране опытный гидролизный завод в Цигломени, под Архангельском... Хорошая, целеустремленная жизнь! Про таких людей иногда говорят — вышел из народа. Нет, такие люди и есть н а р о д, его активное, жизнеобразующее ядро.

...Да, так почему же Ларионов, прожив после Мурманска еще полвека, нашел время и охоту вступить в спор с первыми историками мурманских событий, и даже написать большую «Историческую справку о К. Ф. Кетлинском», и добиваться установления исторической истины вопреки авторам иных книг и диссертаций?

Я много раз задумывалась над этим «почему»? А перелистала его жизнь и поняла: потому что у Александра Михайловича Ларионо-

ва совесть и энергия большевика, он не может промолчать, когда доподлинно знает, где истина, а где ложь. То, что я предполагала по детским воспоминаниям, он доподлинно установил как партийный руководитель и как разведчик — прошел по свежим следам событий, изучил свидетельства участников и документы, а затем все проанализировал — вдумчиво и заинтересованно, потому что ему близка и дорога та эпоха и люди, жившие в той эпохе, с их тогдашними заблуждениями и убеждениями. Он повидал в жизни немало специалистов — военных и невоенных — и хорошо знал, как непросто был их путь в революцию. Он сам начинал рядовым бойцом, а потому прекрасно понимал первых мурманских большевиков и оценивал их поступки без высокомерия.

Как не хватает некоторым историкам такого вдумчивого, непредвзятого отношения к прошлому! Вот ведь читают они, наверно, Алексея Толстого, Шолохова, Лавренева и многих других писателей, воссоздавших судьбы людей в революции, смотрят пьесы Тренева, Булгакова, Погодина и прекрасно понимают историческую сложность тех бурных лет, крутую ломку человеческой психологии и человеческих судеб, воспринимают и сомнения, и озарения, и душевные переломы... А когда речь идет не о литературе, отразившей процессы жизни, а о самой жизни — те же люди порой становятся слепы и глухи, обвиняя своих предшественников в непонимании того, что установил лишь последующий опыт!

Октябрьская революция жестко разграничила классы и столкнула их в беспощадной борьбе, но коренной переворот, который она совершила в истории, открывал перспективу всему человечеству. Как же не понять, что могучее воздействие великого переворота, его идей, его бесстрашных деяний покоряло и притягивало многих людей, поначалу далеких, даже чуждых революции?!

Судьба офицера царского флота, военного интеллигента в революции, в обстановке первоначального, часто стихийно-революционного творчества масс — вот что я попытаюсь разглядеть в этом своем путешествии назад, в прошлое.

Жизнь отца... Передо мною кипы документов, начиная с офицерского послужного списка — свода назначений, плаваний и боев. Многие события этой жизни с детства закрепились в памяти, и все же мне гораздо труднее понять родного мне человека, чем, скажем, Ларионова! Другое время, другая среда...

Почему мальчика, выросшего в семье скромного врача в Карпатах, вдруг потянуло к морю, которого он не знал, на морскую, на военную службу? Как бы там ни было, четырнадцать лет от роду он поступил в морской кадетский корпус, в 1895 году закончил его и начал службу на Черном море, специализируясь как артиллерист. Повидимому, он стал знающим специалистом, в 1900 году его командировали в Америку на строящийся для нашего флота броненосец «Ретвизан» наблюдать за установкой артиллерийских систем. Наверно, сыграло роль и то, что он владел тремя языками — английским, французским и немецким.

Спустя два года на вступившем в строй «Ретвизане» лейтенант Кетлинский совершил переход через Атлантику в Балтийское море, а затем длительное плавание на Тихий океан, в Порт-Артур. Приблизилась русско-японская война...

Читаю выписки из дневника старшего минноартиллерийского содержателя «Ретвизана», который он вел (и весьма откровенно) в Порт-Артуре; Аркадий Алексеевич Денисов ложил в Ленинграде до преклонного возраста, после его смерти сын, Алексей Аркадьевич, нашел в бумагах отца дневник, любезно показал мне места, где упо-

минается Кетлинский, а затем предложил дневник Военно-морскому архиву.

Взволнованно и раздраженно пишет Денисов, как он вместе с лейтенантом Кетлинским добивался изготовления приборов для наведения пушек, «так как имеющиеся у орудий часто ломаются, а запасных не имеется»:

«Несмотря на всю их важность и на то, что «война на носу», наряд на выделку их был дан после переписки, длившейся около месяца, и после двукратных личных просьб у идиота главного артиллериста подполковника Трофимова, который, не понимая важности вопроса и будучи всецело преданным формализму, твердил одно и то же: «По штату не положено».

Далее Денисов пересказывает разговор на катере двух офицеров, Кетлинского и Шереметьева, возвращавшихся с ним вместе на «Ретвизан» вечером 26 января 1904 года — то есть за несколько часов до внезапного нападения японцев. Обсуждалась новость — переговоры с Японией прерваны, японский посланник покинул Петербург. Лейтенант Кетлинский (ему шел в ту пору двадцать девятый год) утверждал:

«Япония во что бы то ни стало желает войны и начнет ее теперь немедленно, и отозвание посланника нужно понимать как объявление войны и других объявлений ожидать было бы глупо. Ну, рассудите, неужели японцы настолько рыцарски вежливы, что придут к нам на рейд и пришлют объявление — вот-де мы вызываем вас, господа русские, на бой — давайте драться! (Все бывшие на катере засмеялись.) Нет, — продолжал Кетлинский, — ждать еще каких-то объявлений было бы преступно глупо, теперь нам немедленно нужно напасть на их флот или же ждать начала войны со стороны японцев, но ждать в полной боевой готовности и со всевозможными предосторожностями...»

Видимо, иллюзии были еще сильны — его собеседник считал, что японцы не решатся напасть без предварительного объявления войны, так как «слишком дорожат мнением Европы». Впрочем, он сообщил о некоторых мерах предосторожности — якобы наместник приказал сегодня ночью выйти в море двум кораблям, «Палладе» и «Диане»...

«— Ага, следовательно, наконец и наши правители начинают сознавать серьезность положения, — отвечал Кетлинский, — ну, а в отношении сетевого заграждения ничего не слышно, сегодня не придется ли его ставить?»

— Нет, сети ставить Наместник запретил потому, что этим мы покажем японцам, что мы их боимся...»

С горечью пишет Денисов о том, что «Паллада» и «Диана» так и не ушли в дозор. На кораблях «все спало и дремало»... Денисов тоже лег и уже задремал, когда от страшного удара в борт броненосца его выбросило из койки — это японские миноносцы, ворвавшись на порт-артурский рейд, произвели минную атаку на лучшие корабли эскадры, нанеся серьезные раны «Палладе», «Цесаревичу» и особенно «Ретвизану»...

Несколько страниц дневника посвящено описанию паники, поднявшейся среди ошеломленных, перепуганных матросов и офицеров. Вода хлынула через огромную пробоину, свистел пар, вырываясь из пробитых труб, погас свет, корабль кренился... А люди рвались из глубины корабля наверх, осаждая трапы, вырывая друг у друга пробковые матрасы и спасательные круги...

«Господа офицеры отличались от матросов еще большим испугом и растерянностью и были похожи больше на барышень в мундирах, чем на мужчин... Но не могу сказать, что все они были негодяи и бездарные трусы, были действительно исключения...»

Крен в это время достигал до 18 градусов и на палубе стоять было невозможно. Вода достигла до открытых пушечных портов левого борта и готовилась хлынуть в них,

после чего наша гибель была бы неизбежна. Но в это время лейтенант Кетлинский совместно со старшим комендором Спрудисом уже принимали меры предотвращения этой опасности путем затопления патронных погребов правого борта».

В послужном списке Кетлинского записано: «Награжден золотой саблейю с надписью «За храбрость» за проявление особого мужества во время внезапной минной атаки на эскадру Тихого океана 26 и в бою 27 января 1904 г.».

Артиллерист Кетлинский не раз упоминается в романе А. Степанова «Порт-Артур». Его отметил как отличившегося во время перекидной стрельбы знаменитый адмирал С. О. Макаров — перекидная стрельба с порт-артурского рейда через Ляотешанские высоты по невидимой цели была тогда артиллерийской новинкой. Огонь вели орудия «Ретвизана» и «Победы» по японским броненосцам.

Вот что пишет адмирал Макаров:

«Стрельба наша была настолько меткой, что снаряды ложились близ неприятельских судов, а один из них попал в «Фуджи», что и заставило неприятеля прекратить бомбардировку».

В послужном списке Кетлинского записано:

«Участвовал в сражениях 26 и 27 января, 10, 11 и 26 февраля 1904 года; 9 марта, 2 апреля 1904 года. обстреливаниях с моря японских позиций в мае, июне и июле 1904 года, выход и траления японских мин 10 июня, в морском бою 28 июля 1904 года, контужен был 26 февраля 1904 года и получил ожоги, 16 мелких ран в бою 28 июля 1904 года».

Последняя запись говорит о тяжелом многочасовом бое, известном в новой исторической литературе как морской бой 10 августа, когда наша эскадра пыталась прорваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Лейтенант Кетлинский в качестве флагманского артиллериста походного штаба был на броненосце «Цесаревич», на мостике, где стоял командующий эскадрой контр-адмирал Витгефт.

«Броненосцы и броненосные крейсера неприятеля вели огонь главным образом по «Цесаревичу», стараясь вывести из строя флагманский броненосец русских и нарушить управление эскадрой.

...В начале шестого часа 12-дюймовый снаряд противника разорвался между верхним и нижним мостиками в середине фок-мачты и произвел сильные разрушения. Мостик, где находился командующий и некоторые офицеры его штаба, заволокло дымом; Витгефт был разорван (тело его не нашли)... Большая часть офицеров, находившихся на мостике... были тяжело ранены...»

(А. И. Сорокин. Оборона Порт-Артура. М. Воениздат. 1948, стр. 109).

В трудах Исторической комиссии Морского Генштаба «Русско-японская война 1904—1905 гг.» в числе раненых дважды упоминается и лейтенант К. Ф. Кетлинский.

После бесславного окончания войны отец вернулся на Черное море. Что он извлек из тяжкого опыта войны?.. Стала очевидной «несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа», о которой писал Ленин после падения Порт-Артура. В войне царизм саморазоблачился — все мыслящие люди России это ощущали, хотя не все доходили до осознания неизбежности его революционного разрушения. Наверно, и отец этого не осознавал, но отсталость всей военной организации, необходимость ее перестройки с учетом новых требований и новой техники — это он, конечно, хорошо понял.

Его послужной список тех лет заполнен записями о работе в разных комиссиях — по выработке наставлений о подготовке судов и

эскадры к бою, нового свода боевых сигналов, по производству опытных артиллерийских стрельб, по выработке новых программ для артиллерийских классов, по установке оптических прицелов и т. д. Он и сам преподавал в артиллерийской школе. Затем, в 1909 году, его назначили старшим офицером на новый минный корабль «Иоанн Златоуст».

Каждый, кто хоть немного соприкасался с флотом, знает, что должность старшего офицера — неприятная должность: дотошное наблюдение за чистотой и порядком во всех уголках корабля, любые конфликты, провинности и наказания — все проходит через его руки, ему полагается быть педантично требовательным. Тем приятней рассказать случай, который, как штрих, что-то проясняет в еще неясном портрете.

Сообщил мне о нем поэт Борис Лихарев незадолго до войны. На литературном вечере — то ли на заводе подъемно-транспортного оборудования имени Кирова, то ли во Дворце культуры, где собралось много работников этого завода, — к Лихареву подошел пожилой человек: «Появилась у вас писательница Кетлинская, не был ли ее отец морским офицером на Черном море?» Борис Лихарев подтвердил — и поинтересовался: кто вы и почему это вас интересует? Человек ответил, что сейчас директорствует, а в молодости был матросом, арестовывался за революционную пропаганду, потом служил на минном корабле «Иоанн Златоуст».

И тут он поведал случай, который пересказал мне Борис Лихарев. В двойном пересказе возможны неточности, но я ручаюсь, что передаю суть происшествия и диалог в каюте старшего офицера так, как услышала от Лихарева:

«Поймали меня на распространении революционных листовок, при обыске нашли в моем рундучке, под бельем, еще пачку. Вечером приказывают: иди к старшему офицеру. Старшим был Кетлинский. Команда его любила, справедливый он был, с матросами на «вы», но все же — офицер! А за мною хвост еще из Питера — за неблагонадежность выгоняли с завода и арест на флоте... Струхнул, конечно, — следствие, трибунал, тюрьма, а то и каторга... Прихожу, стучу в каюту. «Войдите!» Он сидит за столом спиной ко мне. Докладываю по всей форме. Он, не оборачиваясь, спрашивает: «Вы принесли на корабль листовки?» — «Так точно, ваше благородие, я!» — «Вы знаете, что вам грозит за это?» — «Так точно, знаю». Он помолчал, а все не оборачивается, спрашивает: «Вы понимаете, что я должен дать этому делу ход?» Опять говорю: «Так точно, понимаю». Ну, молчим. Потом он поворачивается ко мне и говорит: «Я не хочу этого делать. Но вы должны дать честное слово, что больше на этом корабле заниматься такими делами не будете. Подумайте. Не торопитесь». Я подумал и отвечаю: «Честное слово даю!» Он поглядел мне в глаза и строго-строго говорит: «Я вам верю. Можете идти».

— Ну и как же вы потом? — спросил Лихарев.

— Сдержал слово. На этом корабле».

Лихарев передал мне записку с фамилией, именем-отчеством и номером телефона бывшего матроса — позвони, он будет рад. Но я в то время ждала рождения сына, потом закрутилась в материнских заботах — и тут началась война, блокада... В послевоенные годы, когда снова пришлось заняться делами давнего прошлого, записки не нашла — затерялась. Пробовала вспомнить фамилию — выветрилась из памяти. Борис Лихарев тоже не мог вспомнить, сказал только, что старый большевик то ли с завода имени Кирова, то ли со «Второй пятилетки», где-то директорствовал...

Попытки найти довоенного директора из матросов долго не приводили к успеху. Людей с похожими данными было немало, но каждый раз что-то не сходилось. К счастью, один из опытейших ленинградских журналистов посоветовал мне разыскать на заводе имени Кирова старого рабкора Юрьева — он-де всех и вся знает. Позвонила в партком завода и попала прямо на Александра Алексеевича Юрьева...

Об этом человеке надо бы рассказать особо — кажется, все главные события нашей истории за полвека отразились в его биографии. И он действительно знал «всех и вся». Сперва по памяти, потом с проверкой по документам выдвигал он возможных кандидатов, но... тот служил на флоте позже, другой революционной пропагандой на флоте еще не занимался, или занимался, да не было у него «хвоста» неблагонадежности и ареста, или все сходится, но на «Иоанне Златоусте» не служил... Наконец Александр Алексеевич позвонил мне:

— Нашел! Евстропов Николай Степанович! Все сходится точно. Достану его автобиографию, увидите сами.

Все сошлось точно. Большевик с 1905 года. Работал в железнодорожных мастерских (ныне завод имени Кирова) и до призыва на флот, и после демобилизации. Как неблагонадежного его не раз увольняли, а в 1907 году, сразу по прибытии на Черноморский флот, он был арестован и отправлен в особый экипаж. Через семь месяцев Николая Евстропова списали на новостроящийся «Иоанн Златоуст», где он служил вплоть до 1913 года. Вел на флоте революционную пропаганду, а после Ленского расстрела вместе с другими революционными моряками участвовал в подготовке восстания...

Вся биография Евстропова — интереснейшая биография питерского большевика. Был первым организатором большевистского коллектива в мастерских и депутатом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, добывал оружие для рабочих, в дни Октябрьской революции занимал Варшавский вокзал и телеграф, работал в ЧК, участвовал в обороне Петрограда... Затем учился в Промакадемии и на Курсах красных директоров (были такие в Детском Селе, нынешнем Пушкине!)... До войны директорствовал на асбестовом заводе объединения «Красный треугольник». Умер от голода в 1943 году в осажденном Ленинграде...

Все сходится. Только человека уже нет в живых, чтобы подтвердить — да, это было со мной! Пока не откликнется кто-либо, кто слышал эту историю от самого Евстропова, она, конечно, не может служить неопровержимым свидетельством, но и я ведь не на суде и не сужу отца, а стараюсь его понять. И уж очень эта история достоверна, уж очень похоже на отца и то, как он поступил, и весь стиль его разговора с матросом вплоть до последних слов «я вам верю». Он любил верить людям... но ох как его обманули некоторые люди, которым он верил!..

Однако я забегаю вперед. Не знаю, почему артиллериста Кетлинского назначили старшим офицером, но, по-видимому, он обнаруживал больше склонностей к военной науке, а не к командирской карьере, так как в 1911 году был приглашен делать доклад в Морской академии и затем послан за границу для изучения разных флотов, после чего читал в академии курс лекций «Иностранные флоты». В бумагах отца сохранилась программа курса, это анализ состояния разных флотов на фоне экономического и политического состояния государств, а сквозной мыслью курса является мысль о том, что каждый флот имеет свою особую задачу, рожденную экономикой и политикой данной страны, и поэтому должен развивать те виды кораблей и техники, которые соответствуют его задаче. Лучшим в мире

флотом по организации флотской службы он считал английский. Вероятно, по тем временам так оно и было? Или сказалось личное пристрастие? Чего не знаю, того не знаю. Но мне ясно, что, не будь мировой войны, стал бы отец научным работником, тогда вся его судьба повернулась бы по-иному...

Перед началом мировой войны его отозвали на Черноморский флот, правда, с оставлением в штате преподавателей академии. Вернуться к науке ему не пришлось. Почитаемый им английский флот загадочно «пропустил» через все Средиземное море немецкие корабли «Гебен» и «Бреслау», которые, неожиданно появившись в Черном море, «с ходу» потопили несколько русских транспортов и бомбардировали Севастополь. Так Германия втравила свою союзницу Турцию в войну с Россией, а Англия добилась того, что ее союзница Россия оттянула на себя не только австро-германские, но и турецкие силы!..

Я не помню у отца и в его окружении патриотических восторгов, но, конечно, он хотел воевать умно, не ждать нападения, а владеть инициативой. Только не мог начальник оперативной части штаба задумывать и проводить смелые операции, когда над ним сидели бездарные адмиралы!

Я уже приводила строки из горького стихотворения, ходившего на флоте, о медлительности «трех адмиралов» и упоминала докладную записку командиру флотом Эбергарду, написанную отцом. При всей почтительности тона, она весьма резка:

«Причина всех неурядиц и нежелательных явлений только одна — отсутствие штаба при Командующем флотом. Нельзя же серьезно называть штабом кусткамеру отдельных лиц, ничем не объединенных, никем не направляемых, среди которых есть талантливые и хорошие работники, способные дать много при другой постановке дела, и люди абсолютно бесполезные, даже вредные. Лебедь, рак и щука».

И дальше:

«Недавний переход к сложной технике еще держит нас в своих оковах. Мы из-за деревьев не видим лесу. У нас еще до сих пор адмиралы изобретают свои сети... А командование, замысел и решение, управление массой и созидание нужного военного духа — все это какие-то случайные инциденты, без плана и системы».

В послужном списке Кетлинского записано:

«Находился в походах и делах против неприятеля в Черном море: в 1914 году 16 октября, 5 ноября и 24 декабря; в 1915 году 22 февраля, 15 марта, 12, 19 и 27 апреля и 25 мая».

Послужной список доведен лишь до середины 1915 года, но и по истории первой мировой войны известно, что особых побед на Черном море не было. Единственная по-настоящему удачная операция была в марте—апреле 1916 года — взятие Трапезунда, отец непосредственно участвовал в ее проведении, координируя боевые действия флота с действиями армий Кавказского фронта. Насколько можно судить по литературе, прошла она легко, а раскатать на нее командование флотом было тяжело.

Участник первой мировой войны А. И. Верховский, впоследствии много лет плодотворно работавший в Красной Армии, дает интересное свидетельство «со стороны»:

«...Вместо продолжения бесплодных атак на западной границе России надо было сосредоточить усилия на ее Черноморском фронте. Здесь было наиболее слабое звено Тройственного союза. По нему и следовало наносить удар».

Адмирал Каськов... направил меня в штаб флота к начальнику оперативного отдела капитану второго ранга Кетлинскому. Этот высокообразованный офицер был в трагическом положении человека, связанного по рукам и ногам своим ограниченным и боязливым командующим».

Во второй половине 1916 года Эбергарда наконец сняли. На его место прибыл Колчак. Кетлинский получил назначение на крейсер «Аскольд», который ремонтировался во Франции, в Тулоне, и на котором что-то случилось — шло следствие...

На этом заканчивается предыстория. Может быть, она кому-нибудь покажется излишне подробной? Но я должна была уяснить, как же складывался жизненный путь морского офицера К. Ф. Кетлинского до тех событий, что вместились в последние год и четыре месяца его жизни.

Тесно сплетенные с бурным развитием крупнейших исторических событий 1916—1917 годов, они в то же время сплетены и между собою, переходят одно в другое — и кончаются гибелью отца. Если условно разграничить их, получается как бы пять разделов: тулонская трагедия, переход из Тулона в Мурманск, Октябрьская революция, три послеоктябрьских месяца, обстоятельства убийства...

Вокруг этих пунктов идет спор историков, о них сказано немало правды и немало неправды. Я постараюсь быть предельно объективной и опираться на документы.

Тулонская трагедия. О том, что произошло на крейсере «Аскольд» летом и осенью 1916 года, в советских журналах есть несколько публикаций, среди которых выделяется большая статья известного публициста Д. Заславского «Темное дело» (журнал «Былое», 1923, № 22), — в ней подробно рассказывается, как назревал кризис, породивший трагедию.

С начала войны «Аскольд» конвоировал транспорты в Индийском океане, потом в Средиземном море, где он участвовал в блокаде сирийского побережья и в знаменитой Дарданелльской операции. Служба была тяжелой, в постоянном напряжении из-за новой, особенно пугающей опасности — немецких подводных лодок. Усталость и раздражение привели к падению дисциплины. Офицеры во главе с малоспособным, неумным командиром Ивановым-6 и старшим офицером Быстроумовым, человеком жестоким и грубым, усилили репрессии за малейший проступок, матросы озлобились и считали, что их обкрадывают на питании, на пополнении библиотеки и в судовой сберкассе, где циничный корабельный поп явно мошенничал, принимая вклады матросов франками, а выдавая их по непонятному пересчету на курс рубля.

В январе 1916 года «Аскольд» пришел на ремонт в Тулон. После военных тягот и опасностей — шумная жизнь большого порта со всеми его соблазнами... Вслед за командиром, который снял дачу и выписал жену, офицеры съехали на берег, их разудалые кутежи поражали и выдавших виды жителей Тулона. Матросы отводили душу в кабаках, в дешевых театрах и публичных домах. Ремонт долго не начинался, потом французский завод начал присылать группки рабочих военного времени — стариков и подростков, которые, по мнению матросов, делали не так и не то, что нужно. Корабельный инженер-механик, высокомерный и резкий Петерсен, приходил на крейсер, бегло осматривал работы и уезжал. «Дело нечисто!» — так решили матросы: командование стакнулось с заводом, нарочно затягивает ремонт, наживается на нем и оберегает свою вольготную жизнь...

Скандалный характер ремонта усилил и без того накипевшую злобу. Возвращаясь пьяными на корабль, некоторые матросы к обыч-

ной ругани присоединяли угрозы в адрес офицеров: «Погодите, мы вам покажем!» Иногда угрозы были и похуже... «Во время войны,— пишет Заславский,— не только на кораблях, но и на заводах распространена была боязнь взрывов. Всюду искали и видели германских шпионов, закладывающих бомбы, адские машины, бикфордовы шнуры. Боязнь была преувеличена... но основания для такой боязни были. За время войны было взорвано в разных местах несколько заводов и кораблей. Для германских агентов разлагающаяся, полная острого недовольства и злобы среда матросов «Аскольда» должна была представлять немалый соблазн. Но и без всяких агентов могла в минуту раздражения сорваться у того или иного матроса шальная фраза о взрыве крейсера».

¹ Офицеры не обращали внимания на угрозы, считая их пьяным бахвальством. Не замечали они и того, что на берегу отнюдь не все матросы спешат в значные места, многие встречаются с русскими людьми и покупают русские газеты разных направлений. В кубриках газеты жадно читали, спорили о прочитанном и все чаще задумывались: ради чего идет война? Надо ли умирать за чужие проливы и неведомый Константинополь? И неужели после войны все пойдет в России по-прежнему?..

На пасху группа матросов ездила в отпуск в Париж. В кафе встречали русских эмигрантов, наслушались революционных речей, начитались политических брошюр. Уезжая, матросы наладили связи и условились о получении революционной литературы. Кочегар, унтер-офицер Самохин, начал на корабле тайный сбор денег на выпуск газет...

Сигнал командиру пришел сверху, из Петрограда и Парижа,— на крейсере крамола! Прекратить, изъять, покарать! Командир в испуге заметался. Сыск возглавил Петерсен, который халатно относился к ремонту, а тут проявил «богатые жандармские способности». Был проведен поголовный обыск, нашли кое-какую литературу, а главное, «списки с обозначением фамилий и сумм» — ту самую складчину. Все единодушно показали, что собирали деньги на граммофон. Но Петерсен знал больше, чем думали матросы, потому что в их среду проник провокатор...

Из статьи Заславского, но особенно из интересной публикации С. Лукашевича («Красный флот», №№ 1—2 за 1923 год), разыскавшего рапорт Иванова-6 морскому министру на следующий день после обыска, а также два матросских заявления, написанных министру Временного правительства после Февральской революции, вырисовывается отвратительная фигура провокатора-любителя Виндинга (Гарина); стараясь выслужиться, чтобы попасть на службу в заграничную русскую полицию, этот прохвост выдавал себя матросам за революционера и провоцировал их на подготовку восстания, а командованию — за агента охраны, призванного предотвратить восстание!.. Надо сказать, что и Иванов-6, и прибывший из Парижа следователь Найденов с гадливостью отнеслись к провокатору. По свидетельству аскольдовцев, командир сообщил о его двойной подлой роли всей команде. Однако «крамолу» было велено искоренить, и двадцать восемь «неблагонадежных» матросов во главе с Самохиным были списаны с крейсера и 9 августа 1916 года отправлены в Россию в штрафные части.

Неотступная слежка продолжалась. Тяжелый, пристальный взгляд Петерсена чувствовал на себе каждый матрос. Хотя разоблаченный провокатор Виндинг уже исчез из Тулона, в воздухе пахло провокацией. А затем произошло роковое событие, которое до сих пор ос-

тается «темным делом», хотя известны все материалы, которые могли бы осветить его суть.

«Около трех часов ночи 19 августа,— рассказывает Д. Заславский,— стоявший на дежурстве у офицерских проходов матрос Семенов услышал негромкий и глухой звук — как будто упал тяжелый предмет или выстрелил кто из револьвера. Подошедшему в это время другому матросу Семенов сказал: «Уж не застрелился ли офицер какой-нибудь? — И тут же прибавил: — Одной собакой меньше».

На палубу выскочил полураздетый мичман Гунин.

— Что случилось?

Семенов высказал свое предположение. Пошли посмотреть в кают-компанию, там было пусто и тихо. Но дневальные тоже слышали странный и подозрительный удар. И вдруг запахло дымом. Он пробивался из закрытого люка кормового погреба со снарядами. Приподняли крышку, дым повалил гуще.

Матросы засуетились, прибежал старший офицер Быстроумов, вызвали боцманов. Погреб открыли, но спуститься туда нельзя было. Стали качать в погреб воду. Полагалось бы бить немедленно пожарную тревогу; однако Быстроумов приказал не шуметь и команду не будить.

Дым вскоре рассеялся. Когда унтер-офицер Мухин, а за ним боцман Труш и старший офицер спустились в погреб, они нашли на полу осколки разорвавшегося снаряда и остатки сгоревшей швабры. Первая мысль была о самовозгорании пороха. Но дальнейшие розыски тут же обнаружили фитиль, свечу и спички; а дальше оказалось, что погреб был открыт поддельным ключом, а трубки в трех снарядах вывинчены. Не было ни малейшего сомнения в умышленности взрыва. В погребе было свыше тысячи оружейных снарядов. Покушение было выполнено грубо, неумело; при лучшей и более искусной подготовке легко мог погибнуть весь крейсер...

Ночью был обыск у всех гальванеров, искали ключи от орудий. Началось следствие, и сразу же арестовано было свыше ста матросов... Офицеры были твердо убеждены, что взрыв произведен матросами из команды «Аскольда». Легко представить себе, с каким озлоблением относились они к тем, на кого падало подозрение. Но и матросами овладела растерянность. Многие готовы были собственными руками растерзать виновных; с трудом допускали они мысль, чтобы свои же товарищи матросы решились погубить ночью во время сна весь экипаж...»

Вспомнили, что один унтер-офицер, отправленный на салоникский фронт, сказал: «Я вот уезжаю, а вы взлетите на воздух!» Что в пьяном виде матрос Ляпков то ли сам рассказывал, то ли ему рассказывали, что за взрыв крейсера предлагают сорок тысяч франков... Что комендор Бирюков, отчаянная голова, в пьяном виде похвалялся, что взорвет корабль и «все узнают, каков Сашка Бирюков!». К этому добавились факты действительные и факты выдуманные, о которых сообщили следователям некоторые фельдфебели, кондукторы и вороватый штрафной матрос Пивинский. Это помогло следствию построить обвинение против восьми матросов, отвечавших за погреб или дежуривших в ту ночь.

«Виновными они себя не признали,— пишет Заславский.— Суд был организован тут же на «Аскольде», но командира Иванова-6 к этому времени по распоряжению из Петрограда убрали, и вместо него назначен был капитан Кетлинский, человек энергичный, умный, но с матросами «Аскольда» совершенно незнакомый».

Итак, Кетлинский прибыл на корабль в самые роковые дни тулонской трагедии. Перед отъездом его вызвал морской министр Гри-

горович. Среди документов тех дней известна телеграмма Григоровича, адресованная еще Иванову-6, где он предписывал «принять меры самые решительные». Надо думать, директивы, данные новому командиру, были не мягче, но, кроме того, Кетлинский получил приказ как можно скорей закончить ремонт и следовать в Мурманск — на охрану северной морской коммуникации, по которой шло снабжение России со стороны ее союзников.

7 сентября 1916 года Кетлинский прибыл в Тулон, а 10 сентября принял командование «Аскольдом».

Сколько раз я думала с тоской — если бы он задержался в пути... если бы он принял командование после суда... Когда я обещала в начале главы не умолчать о том, что хотела бы вычеркнуть, я имела в виду именно эти несколько дней в Тулоне. Вычеркнуть бы их из жизни отца!..

Но эмоции — в сторону. Моя задача — разобраться, что же в эти несколько дней произошло. Сделать это теперь не так уж трудно, поскольку известны многие документы, включая материалы следствия и суда, переписку о приведении приговора в исполнение, показания матросов и самого Кетлинского, данные уже летом 1917 года. И даже показания одного из подсудимых, написанные им в 1948 году!.. Все эти материалы суммированы в специальной разработке ЦГА ВМФ, завизированной Ленинградским истпартом, которой я и руководствуюсь:

...Анализ всех следственных материалов 1916—1917 гг. показал, что никаких обвинений в организации революционного восстания или заговора никому из обвиняемых не предъявлялось. В свидетельских показаниях и приговоре суда ничего о революционном заговоре не записано. Наоборот, суд и ряд свидетелей считали покушение на взрыв крейсера как акт диверсионный, а не политический, повлекший за собой, при настоящем взрыве, гибель всей команды, спавшей на корабле. Никаких материалов о революционной деятельности 4 расстрелянных матросов в документальных материалах суда и следствия, а также в секретной переписке по «Аскольду» не обнаружено.

Улики — наличие поддельного ключа к погребу, вывинченные ударные трубки, шнур, свеча, спички и нахождение 4 расстрелянных в наиболее безопасных местах на корабле в бодрствующем состоянии были против обвиняемых.

Законченное следственное производство по делу о взрыве на крейсере «Аскольд» 10 сентября 1916 г. было представлено на заключение командиру крейсера Иванову военно-морским следователем Найденовым.

Иванов на рапорте Найденова наложил резолюцию: «Рассмотрев следственное производство, предаю суду Особой комиссией... привлеченных в качестве обвиняемых нижеследующих чинов: Захарова, Бешенцева, Терлеева, Шестакова, Ляпкина, Бирюкова, Сафонова и Бессонова.

...в силу телеграфного предписания Морского Министра списываю с корабля и предлагаю отправить в Россию всех нижних чинов, так или иначе скомпрометированных или причастных к фактам, изложенным в постановлении и рапорте».

Последними приказами Иванова-6 был приказ об отправке в Россию новой большой группы «ненадежных» матросов, свыше ста человек, и приказ от 10 сентября о назначении состава суда Особой комиссией под председательством Пашкова.

В показаниях Кетлинского записано:

«Хотя приказ о составе суда был подписан еще капитаном 1-го ранга Ивановым, но уже при мне, и я просил включить туда возможно больше офицеров со стороны, боясь, что собственные будут недостаточно справедливы вследствие дурных отношений.

Особенно я просил о назначении председателем инженер-механика, капитана 2-го ранга Пашкова, считавшегося «красным неблагонадежным».

Это я сделал потому, что был уверен, что взрыв не имеет ничего общего с политикой, почему в суде должны быть люди, которые не были бы склонны все привязывать к «крамоле».

Поэтому же я просил о назначении из судебных офицеров лейт. Мальчиковского, который пострадал за свои политические убеждения, как я тогда думал, в 1905 г.

Я присутствовал на суде все время как зритель, внимательно слушал все показания и для меня явилось бесспорным, что судьи очень внимательно и правильно разбирались в деле, стараясь открыть истину и боясь засудить невиновного, а также и то, что осужденные действительно виновны и что взрыв — дело подкупа, не имеющее ничего общего с политикой».

Стоп! Так ли это? Вряд ли на суде царила добродушная обстановка, но из документов несомненно, что из восьми подсудимых четверо были оправданы «по недоказанности участия в преступлении», что даже один из подсудимых, старший комендор П. М. Ляпков, который на следствии и суде отрицал свою вину (и был оправдан), высказал «предположение, что взрыв на корабле произведен по указанию немцев, не иначе как с их науки».

Из послереволюционного коллективного письма матросов (все они были отправлены 10 сентября в Россию в Особую бригаду штрафных) видно, что даже они вовсе не считают, что засудили наиболее ненавистных офицерам революционных матросов, как утверждает историк В. Тарасов («Борьба с интервентами на Мурмане в 1918—1920 гг.»), а тех, кто непосредственно отвечал за погреб и его охрану (публикация С. Лукашевича). Но ведь в таких обстоятельствах, во время войны, за попытку взрыва корабля суровая мера ждет непосредственно отвечающих за погреба в любой стране и в любое время. Да, на любом флоте, в любой стране и в любое время, пока существуют, будь они прокляты, пороховые погреба, шпионаж, диверсии и все прочее!..

Я стараюсь представить себе состояние нового командира корабля в дни, когда он сидел наблюдателем на суде, зная, что ему предстоит утвердить приговор. Профессионал-военный, не революционер, но и не реакционер, он был человеком по натуре мягким и справедливым. Может быть, если бы он лучше знал команду, если бы он успел разобраться в том, как в последние два года сгущалась на крейсере атмосфера ненависти, подозрительности, недоверия... но все это он узнал позже. А тогда...

«У Кетлинского, пробывшего всего неделю на крейсере,— пишет Заславский,— сложилось убеждение, что подсудимые действительно виновны. Он не колебался ни минуты и утвердил приговор».

Несколько иначе рассказывает об этом сам Кетлинский в показаниях, данных следственной комиссии в июне 1917 года:

«Когда ночью суд вынес свой приговор и мы все ушли, приговоренные потребовали меня и просили позвать к ним Княжева. Я разрешил, и вот в каземате 6, у пушки № 19 произошло свидание. Я отлично помню их лица и, главное, глаза. Обвиненные впились глазами в Княжева и сказали: «Сознавайся, Алеша». Княжев ответил: «Мне не в чем сознаваться». На повторное их убеждение он ответил: «А вам разве это поможет». И отвернулся. Это все. Этот разговор, в котором больше говорили глаза, произвел на меня впечатление, что Княжев был или главным, или подговорил их, но не пойман. Они же были исполнители. Мне предстояло подтвердить приговор.

Я над ним продумал всю ночь. Будучи всю жизнь против смертных приговоров (одно время даже толстовцем), я не без мучительных колебаний принял это решение. Но дело было слишком ясно: люди, которые решились взорвать крейсер, на котором мирно спало 500 человек их же товарищей, не могли действовать по убеждениям. Это звери, которые взялись за свой гнусный поступок за деньги... Да, я слышал, что почти одновременно с «Аскольдом» была попытка взорвать франц. крейсер «Кассини» в том же Тулоне тоже взрывом погреба. Деталей не знаю, но слышал, что было казнено 6 чел., обнаруженных и выданных самой командой».

Напомню, что той же осенью 1916 года на севастопольском рейде ранним утром, когда все еще спали, от взрыва порохового погреба погиб новый дредноут «Императрица Мария» — в течение нескольких минут он перевернулся килем вверх и затонул, унеся с собою несколько сотен молодых жизней.

Однако на «Аскольде» среди команды, истомленной репрессиями и тайным сыском, крепло представление о том, что Иванов-6, Петерсен и его помощники сами инсценировали взрыв, чтобы расправиться с командой и, кроме всего прочего, убрать свидетелей их аферы с ремонтом корабля... Но в горькие дни осени 1916 года матросы подавленно молчали. Сотня их товарищей под конвоем следовала навстречу тяжелой неизвестности — то ли в кронштадтские тюрьмы, то ли на фронт, на передовую. А четверо осужденных ждали расстрела на чужой земле, во французской тюрьме...

Некоторые историки, излагая эти трагические события, обвиняют Кетлинского в том, что он отдал распоряжение о приведении приговора в исполнение «несмотря на попытки военно-морского атташе во Франции отменить приговор».

Но в архиве есть телеграмма морскому министру, которую нельзя не увидеть, изучая дело:

«Конфирмовал приговор по делу о взрыве 20 августа. Обратился лично к префекту вице-адмиралу Руйс, прося разрешения привести его в исполнение на берегу и расстрелять нашей командой 4 человека в среду на рассвете. Префект не разрешил. На мой доклад о бывших уже прецедентах и об очевидности преступления, не имеющего политического характера, и о серьезности положения, префект ответил так: «Позвольте мне высказать Вам откровенно свое мнение: во всей этой истории вина падает исключительно на офицеров, которые не выполнили своего долга здесь, в Тулоне,— я не говорю о прежней их службе,— которые бывали слишком много на берегу и веселились, нарочно затягивая ремонт, и не занимались командой. Здесь это все знают, поэтому впечатление от расстрела было бы ужасно. Я человек суровый, но на это пойти не могу и не разрешу экзекуции ни на берегу, ни в наших водах».

На мои слова,— пишет Кетлинский,— что мне придется телеграфировать Морскому министру, адмирал (префект) сказал: «Прошу Вас передать конфиденциально адмиралу Григоровичу все это как личное мнение человека, видевшего все многие месяцы». После этого мы (Кетлинский и Руйс) условились так: завтра на рассвете жандармы при участии нашего офицера возьмут осужденных из арестного дома при депо и отведут их в Морскую тюрьму, где они будут помещены в отдельные казематы с сохранением абсолютной тайны. Наша команда будет уверена, что они казнены французскими властями. Никто не будет знать об их существовании. Дальнейшая же их участь будет зависеть от сношения Правительств (Франции и России). Прошу телеграфировать распоряжение — оставить ли в силе мое соглашение с префектом или же просить отправить осужденных в Россию или генералу Жилинскому. Кроме меня, это известно подполковнику Найденову, старшему офицеру и ревизору...» Подписал Кетлинский.

Значит, была намечена возможность не приводить приговор в исполнение?! Договоренность Кетлинского с префектом позволяла команде корабля перейти к основным обязанностям, а осужденным давала какой-то шанс на жизнь. Судьба четырех осужденных зависела от решений правительств Франции и России.

Ответа на этот запрос не последовало. Каковы были переговоры между Парижем и Петроградом, можно судить по следующему документу:

«14 сент. 1916 г. Кетлинский телеграфировал Морскому министру: «Сегодня, среда, префект призвал меня и показал телеграмму Морского министра (Франции), где сказано, что Правительство предоставляет союзным державам полную свободу применения их военных законов, почему префект отменил свое запрещение на исполнение приговора суда. Условлено, что приговор будет приведен в исполнение завтра, в четверг, на рассвете».

15 сент. 1916 г. в 10 ч. 00 м. (в день приведения в исполнение приговора суда) Кетлинский телеграфировал Морскому министру, что «приговор суда сегодня приведен в исполнение».

В журнале входящих бумаг «Аскольда» 15.IX-1916 г. в 17 ч. 00 м записано получение в адрес Кетлинского срочной телеграммы из Морского Генерального Штаба следующего содержания: «Задержите исполнение приговора». Подписал Русин.

Чем можно объяснить отсутствие ответа на первую телеграмму, а потом запоздалое приказание об отсрочке? Скорее всего тем, что в обстановке растущего недовольства русского общества министр попытался, не помешав расстрелу, снять с себя ответственность за него. Что же касается его парижского представителя, то военно-морской атташе не только не пытался «отменить приговор», он удосужился передать аналогичный приказ Русина командиру «Аскольда» лишь спустя два дня после расстрела.

Так завершилась тулонская трагедия.

Однако закончить ее анализ приходится неожиданным сообщением, полученным ЦГА ВМФ в 1948 году. От того самого комендора П. М. Ляпкова, который спьяну хвастался, что за взрыв корабля предлагают сорок тысяч франков, считал взрыв делом «немцев, не иначе чем с их науки», и был оправдан «по недоказанности участия». Даю его сообщение так, как оно изложено в разработке ЦГА ВМФ:

«В декабре 1948 года Ляпков обратился в архив с просьбой о выдаче ему справки о прохождении службы во флоте. В своем заявлении из Пятигорска Ляпков сообщил: «Во Франции, в Тулоне, мы пробыли 11 месяцев... научились там революционному духу и в конце августа 1916 г. мы сделали восстание на крейсере «Аскольд». Нас изловили 8 человек». Архивом было направлено письмо Ляпкову с просьбой сообщить подробности об организации и ходе восстания на крейсере. В ответ на это Ляпков прислал второе письмо, в котором никаких сведений о революционном восстании не сообщил, но внес некоторую ясность в отношении взрыва на крейсере. Ляпков пишет: «Начальство (в Тулоне) вело разгульную жизнь на глазах команды. Не найдя виновников в хищении (трех) винтовок, начальство еще хуже стало обращаться с командой, били по щекам и арестовывали. И в одну из полоек офицерства комендор Бирюков решил взорвать пороховой погреб, близ офицерской кают-компании, но это ему не удалось, он взорвал один патрон 75 м/м, а пороховой погреб остался невредим. Этот (Бирюков) был мой друг, и я об этом (готовящемся взрыве) знал».

Можно ли безусловно верить запоздалому признанию? Не знаю. Так же, как не знаю, куда делся комендор Алексей Княжев, которого осужденные просили сознаться... в чем? Какая тайна осталась нераскрытой?..

Переход Тулон — Мурманск. От крупной зыби с толчеей дрожит корпус корабля, он жидковато построен, этот корпус, при встречной волне приходится уменьшать ход до минимума, вместо 16 узлов с самого выхода из Гибралтарского пролива делали то по 7—8, а то и по 3—4 узла... Позавчера волна накрыла бак, выбила железную дверь и в двух местах покорежила надстройку... ночью десятибалльным ветром сорвало воздушную сеть радиотелеграфа...

Кетлинский понимает: новые корабли надо строить иначе, большая надводная поверхность крейсера, особенно труб, и необходимость снижать ход в бурном море вызывают непроизводительную трату угля... принятый расчет района плавания в две тысячи четыреста миль — кабинетный расчет, для штилевой погоды. Но по этому кабинетному расчету английский адмиралтейство дало курс — отойти на триста миль от испанских берегов и только затем повернуть на норд, обходя районы действия немецких подводных лодок. Конечно, так безопасней, но не хватило бы угля до Англии! Решение правильно — идти напрямик через опасные районы, это всего около полутора тысяч миль, да и то угля хватит лишь в случае, если поутихнет ветер.

Он смотрит на людей, с которыми его свела служба. Третьи сутки все до единого, матросы и офицеры, в две смены стоят по местам:

«отражение минной атаки». Матросы подтянуты, внимательны, только изредка быстро протрут заслезившиеся от напряжения глаза — все неотрывно вглядываются в крутую толчею волн: не мелькнет ли темное. рыбе тело лодки, не блеснет ли глазок перископа, не прорежет ли волны бурунчик движущейся мины, как было в ноябре, когда выходили на испытание машин... И тогда на испытании, и на учениях, и на всех работах видно было — настоящие моряки! В большинстве своем — прекрасные, надежные и разумные люди, только ожесточились, устали, издергались. Шутка сказать — по восемь лет не видели родного дома! Даже письма почти не доходили до них, а когда доходили — не радовали, семьи бедствуют, война вконец разорила и без того нищую деревню. До конца войны — вот тут их родина и дом! А ими никто не занимался, только требовали с них, да еще с угрозами и зуботычинами.

Он перебирает офицеров — одного за другим. Среди них много хороших молодых людей, мечтавших о морской романтике, о подвигах. А вот разболтались, распустились, кутежами ославились на весь Тулон, а долг свой забыли. Как это вышло? Неумный и безвольный командир, да в тяжелых условиях войны, вдали от родных берегов! А рядом — Быстроумов. Как будто бы прекрасный, опытный офицер, все приказания выполняет умело и точно, но груб, жесток, неприязнен, наказывать умеет, но никогда никого не поощрит хотя бы добрым словом. Нет, не такой сейчас нужен на крейсере старший офицер!..

На корабле — глубокая, плохо скрываемая ненависть всей команды ко всему офицерству. Результат революционной пропаганды? Нет. Пропаганда велась на всех кораблях, в России не меньше, чем за границей, но нигде не было таких враждебных отношений, как на «Аскольде». Казалось бы, попытка взорвать крейсер — несомненно, дело немецких агентов — должна сплотить матросов и офицеров против внешнего врага... а получилось наоборот. Отчего? Как можно было создавать на корабле эту атмосферу всеобщего недоверия, тайного сыска, массовых списаний?..

Роль «штатного расследователя крамолы» взял на себя инженер-механик. Пришлось приказать ему немедленно прекратить сыск и заняться ремонтом. Многое надо менять, переламывать, создавать заново на этом корабле!..

До сих пор, куда бы Кетлинского ни назначали, по «матросской почте» его опережала добрая слава, а сюда, за тридевять земель, и «почта» не могла прийти, и начать пришлось с утверждения приговора, и наследство труднейшее...

А ветер стихает. Тяжелые океанские волны уже не толкутся сшибаясь, а медленно перекачивают длинные валы. Улягутся они еще не скоро. В шторм подлодки вряд ли вышли. Угля хватит в обрез, но хватит... Все это кажется добрым предзнаменованием. Он не обольщается — ему еще не удалось создать на корабле те человеческие отношения, к которым он привык, без которых не мыслит морской службы. Первые тонкие ниточки доверия протянулись, когда, беседа с экипажем, он попросил матросов самих следить за сохранностью погребов. С его приходом служба стала не легче, а тяжелей, много работ и учений, но он заметил, как понравилось команде, что он первым делом подтянул офицеров — запретил им жить на берегу, приказал выходить на все разводки и участвовать в работах вместе с командой... Понравилось, что дело с ремонтом пошло на лад и вообще налажился порядок — если нет порядка, служить невозможно. Нравится команде и то, что организовал занятия с неграмотными и

малограмотными, освобождая их для учения от вахт... что наиболее грамотных матросов засадил в классы и за месяц подготовил из них недостающих специалистов — кочегарных, машинных, строевых... что стали показывать кинематограф, что выписал много художественной и учебной литературы, что постоянно читаются лекции — о ходе войны, о мироздании, об истории развития человечества, о строении человеческого тела, о венерических болезнях, о гигиене... Нравится, что ввел занятия гимнастикой и загородные прогулки, особенно для тех, кто работает внутри корабля... А то, что перед походом много раз выходили в море на испытание машин и на учения, хоть и трудно приходилось, но тоже, наверно, оценили?

В Англии надо завершить ремонт, установить параваны. Эта новинка, защищающая корабль от мин, очень своевременна, от Англии до Мурманска — зона действия немецких лодок и минных заграждений. Ремонт и установку можно бы делать одновременно и во много раз быстрее, если бы командир был вправе решать самостоятельно, а не вести затяжную переписку через министерских бюрократов, как будто им издали видней!

Все эти мысли он записал в разных документах тех дней.

Февральская революция застала «Аскольда» в Девенпорте.

«Весть о совершившемся перевороте была восторженно принята личным составом,— сообщил Кетлинский в очередном рапорте.— Совершенно убежден в том, что на крейсере нет ни одного человека, который сожалел бы о прошлом режиме и желал бы его возвращения... Подавляющее большинство, насколько я могу судить по высказываемым мнениям, стоит за демократическую республику. Конечно, новый порядок вещей и новые понятия явились настолько ошеломляющими, все мы настолько к ним не подготовлены, что у большинства мнения весьма шаткие».

Пятьсот матросов, до сих пор молчавших, вдруг ощутили себя свободными людьми и начали высказывать без оглядки то, что накопило давно, но до тех пор говорилось шепотом, в кубрике или в кочегарке, если рядом нет соглядатая. Не очень-то грамотные, они были обучены самой жизнью таким классовым понятиям и такой ненависти к «старому прижиму», что мыслили остро и непримиримо, не по книгам и программам, а по безошибочному чутью — что нужно народу и с чем надо покончить. Они не отвергали флотского порядка, поскольку идет война и они — на военном корабле, Кетлинский рапортовал, что дисциплина стала сознательной и команда гуляет на берегу лучше, чем до революции,— но подчиняться они соглашались только тем, кто заслуживает их доверия.

«Командиру Кетлинскому удалось привлечь к себе часть команды,— пишет Заславский.— Он держал себя с тактом, искренно принял новый порядок и беседовал с матросами дружески и запросто. Старые матросы не могли все же простить ему участия в казни четырех матросов. Теперь на крейсере говорили уже открыто, что взрыв был произведен провокаторами по инициативе офицеров и что погибли в Тулоне невинные».

Верил ли Кетлинский этим утверждениям? Не знаю. Но у него хватило честности и желания понять команду, прислушаться к возбужденным голосам, взглянуть по-новому на недавние события.

«Мы не могли при старом режиме ожидать особой любви или доверия команды к офицерскому составу,— писал он в рапорте новому морскому министру,— но должен сознаться, то, что открылось после того, как люди получили возможность высказывать то, что они думают и чувствуют, гораздо хуже, чем я ожидал. Ясно, что для раз-

вития этой подозрительности и нелюбви к офицерам, кроме общих всероссийских причин, были на крейсере причины частные, местные, явившиеся следствием тулонских событий прошлого лета. Для искоренения их необходимо немедленно по приходе крейсера в Россию произвести всестороннее расследование всего ремонта и всех событий в Тулоне в 1916 году».

Но матросы не хотели ждать прихода в Россию. Наиболее ненавистных им офицеров и кондукторов, а также их соглядатаев они попросили убрать с корабля до принесения новой, революционной присяги.

Уже 19 марта Кетлинский телеграфом запросил у министра разрешения списать с крейсера старшего лейтенанта Быстроумова, Петерсена и еще трех офицеров, боцмана Труша и нескольких кондукторов. Разговор с матросами был, видимо, откровенным и дружелюбным, потому что в той же телеграмме Кетлинский дал наилучшую оценку команде, заверяя, что команда обещала «не допускать ущерба дисциплины из-за прецедента этого списания».

Некоторые историки утверждают, что Кетлинский якобы потропился пристроить списанных офицеров на заграничную службу. Это опровергается телеграммой, в которой Кетлинский от имени команды просит министра скорейшего возвращения этих лиц в Россию и предания их суду, добавляя: «Как известно, ст. лейт. Петерсен уже получил место в Лондоне и такие же места могут быть даны другим лицам, что является совершенно несправедливой наградой для тех, кого обвиняют в серьезных проступках».

На корабле был избран судовой комитет, выборные сформулировали свои обвинения, и Кетлинский переслал их как материал для будущей следственной комиссии.

Читая подряд документы тех дней, я понимаю, что отцу было нелегко ориентироваться в событиях, нелегко создавать новые отношения с командой, с матросским комитетом... Но я вижу, что он был честен и с командой и с самим собой. И вспоминаю слова кандидата исторических наук М. И. Сбойчакова, одного из первых историков, попытавшихся без предвзятости разобраться в личности Кетлинского: «Он не был революционером, но он стремился понять революцию».

А между тем крейсер ремонтировался, на нем устанавливали параваны, команда обучалась управляться с ними, «Аскольд» переходил из Девенпорта в Гринок и Глазго, его встречали торжественно как представителя революционной России, устраивались митинги, приезжали делегации профсоюзов... Командир приглашал выступить перед матросами находящимся в Англии русских — от почтенного земца до анархиста Кропоткина. Матросы захлеб читали русские газеты. Командир устроил несколько экскурсий на фермы для ознакомления с методами ведения сельского хозяйства в Англии, а большую группу матросов отправил на пять дней в Ливерпуль «для осмотра знаменитого мыловаренного завода Ливера, где... практически проведено участие самих рабочих в выгодах предприятия»... Видимо, Кетлинский считал его возможным образцом?

Да, он стремился понять революцию и нащупывал новые формы развития России. Психологическая сложность была в том, что, понимая необходимость коренной переделки созданного царизмом неповоротливого, косного, антинародного управления, он сам был одним из винтиков прежнего военного механизма, сам три года активно участвовал в войне и успел впитать ее цели в свое сознание.

Временное правительство заверяло, что будет вести войну до победного конца. Кетлинский не только безоговорочно принимал это,

но, вероятно, и не представлял себе иной возможности — во всяком случае в марте—апреле 1917 года. Он охотно подписал резолюцию, единогласно принятую всем экипажем крейсера, где говорилось: «Война должна быть доведена до полной победы над германским империализмом и милитаризмом, дабы Россия и все народы с ней получили возможность свободного и мирного развития на пользу трудящихся масс. России не нужно чужих земель, но своя земля должна быть наша и принадлежать тем, кто ее обрабатывает». И в это же время он сожалел, что благодаря «крайним течениям» среди матросов из резолюции вычеркнули последнюю фразу, гласившую: «Для экономического процветания и спокойствия России южные проливы — Босфор и Дарданеллы — должны быть наши!»

Однако справедливость требует добавить, что в том же месяце он дал возможность гальванеру Покушко выступить с докладом «О вреде требования Россией Босфора и Дарданелл». Почему? Под напором «крайних течений»? Вероятно. Но и потому, что он считал: «...новые условия жизни требуют от каждого гражданина России, не исключая и военных, умения разбираться во всех вопросах внутренней и внешней политики».

По просьбе матросов он тогда же начал читать им курс лекций о государственном устройстве разных стран, причем в конце собирався изложить свои мысли о будущем устройстве России. Дочитать курс он не успел, но конспект заключительных лекций составил. Конспект сохранился — и позволил некоторым историкам, в частности И. С. Шангину («Моряки в боях за Советский Север», Воениздат, 1959), крайне недоброжелательно утверждать, что Кетлинский пытался доказать «невозможность осуществления теперь социал-демократического строя в России». Действительно, строка о «невозможности осуществления теперь» в конспекте есть, но она имеет продолжение весьма любопытное: «Маркс — капитал сам себе роет могилу. Развитие капитализма приведет к социализму». Тут, в крайнем случае, можно сочувственно улыбнуться: человек старательно читал Маркса (вероятно, впервые!), а воспринял его ученически. Впрочем, и гораздо более искусственные умы делали из этого положения Маркса подобные выводы!

Если без предвзятости (не надо дружелюбия, только без предвзятости!) прочесть конспект Кетлинского, там можно найти немало доброго и даже удивительного для человека его круга и воспитания: «Социализация предприятий... Участие в прибылях и переход предприятий в руки рабочих», «Необходимость передачи земли в руки крестьян... Передача земли крестьянам не решит вопроса без повышения земельной культуры. Культурные хозяйства: агрономические, метеорологические и т. п. станции»... В конспекте можно найти рассуждения о том, что основная задача государства — «способствовать развитию сил человека и использованию нужных ему сил природы», а потому «пресекать возможность эксплуатации сильным — слабого», «охранять личность, свободу, достижения и труд каждого»... «Что даст мир всему миру? — спрашивает автор конспекта и отвечает: — Только одно — осуществление на деле свободного самоопределения всех народов». Из конспекта видно, что автор, сравнив государственный строй разных стран, склоняется к республике федеративной, где разные народы, населяющие Россию, будут объединены добровольно. Так ли уж плохо он мыслил, этот офицер?! А если мы дочитаем до конца, то найдем и такое: «Совет рабочих и солдатских депутатов как единственная крупная организация, имеющая под собой почву» — или: «Сила государственной власти до Учредительного собрания в руках правительства, опирающегося на Совет рабочих и

солдатских депутатов»... Можно ли требовать большего от беспартийного военного специалиста в первой половине 1917 года?!

А матросы слушали лекции и речи, читали подряд газеты разных направлений, не торопились никому верить, ничего не собирались забывать или прощать, искали свою правду и всей душой рвались в Россию — скорей, скорей в Россию, там во всем разберемся!

18 июня «Аскольд» вошел в Кольскую губу и встал на рейде напротив небольшого деревянного городка.

Чтобы понять ход дальнейших событий, вспомним, что Мурманску в то время не было и трех лет; что породила его мировая война — то есть потребность в кратчайшем пути, по которому Англия, Франция и США могли бы систематически снабжать Россию оружием, самолетами, боеприпасами и многим другим; что морской путь из Англии в незамерзающий мурманский порт (особенно опасный с тех пор, как Германия повела беспощадную подводную войну) был проложен и охранялся английским флотом; что порт еще строился, железная дорога тоже еще строилась, а промышленность царской России была такова, что за границей покупали не только рельсы, паровозы и вагоны, но даже болты и гвозди! Все это определяло характер молодого города — хозяевами чувствовали себя англичане, английские и французские военные корабли стояли на рейде, старшим морским начальником в русском порту был английский контр-адмирал Кемп! А население города было пришлое, не пустившее здесь корней, зачастую мечтающее поскорей «вернуться в Россию». С начала 1916 года в Кольский залив стали стягиваться русские военные корабли — броненосец «Чесма», миноносцы, посыльные суда, тральщики, а с ними в Мурманске появилась и новая, революционная сила — матросы. Среди строителей железной дороги (хотя там было много сезонников и случайных элементов, укрывавшихся от посылки на фронт) ввиду крайне тяжелых условий труда и вопиющих злоупотреблений подрядчиков тоже росло недовольство...

Некоторые историки, считая Мурманск отсталой окраиной без сложившегося рабочего класса, склонны были не замечать его революционных сил, а мурманских большевиков брали в кавычки или обзывали эсерами и соглашателями. К сожалению, начало этому положил М. С. Кедров, в 1930 году выпустивший первую книжку о мурманских событиях, которую так и назвал — «Без большевистского руководства». Если ошибку Кедрова можно объяснить тем, что в двадцатые годы многочисленные документы еще не были собраны и систематизированы в архивах (в его книге даже приказы ревкома цитируются по дневнику белогвардейца Веселаго, а не по подлинникам), то некоторых более поздних исследователей нельзя не упрекнуть в том, что они на веру приняли концепцию предшественника и, пользуясь архивами, не проанализировали заново собранных там документов.

А по документам видно, что на далекой «отсталой» окраине в день получения телеграммы о свержении самодержавия собрался трехтысячный митинг (при населении в четырнадцать—пятнадцать тысяч), где сразу решили переименовать город, названный в честь императорской фамилии Романовом, в Мурманск и создать Совет рабочих и солдатских депутатов — депутаты были избраны быстро, уже 8 марта Совет собрался на свое первое заседание. «Председатель Совета прапорщик С. И. Архангельский, — говорится в «Очерках истории Мурманской организации КПСС» — по спискам делегатов II, III, IV и V Всероссийских съездов Советов проходил как большевик, и у нас есть все основания считать, что если в первой половине 1917 года

он и не был формально в РСДРП(б), то, безусловно, сочувствовал большевикам и поддерживал их. Заместителем председателя был большевик А. И. Сковородин». Из матросов в первые же недели выделялись своей активностью несколько большевиков, среди них связист В. Ф. Полухин, председатель Военного совета, созданного военными депутатами, — тот самый Полухин, который в 1918 году трагически погиб в числе двадцати шести бакинских комиссаров. Передо мною его фотография: мужественное красивое лицо с небольшими темными усами, энергичный склад губ, крупная голова на широкой сильной шее, свободно обрамленной матросским воротником, — да, такими богатырями красна русская земля!

Сейчас нет необходимости доказывать, что большевики на Мурмане сыграли большую роль в развернувшихся событиях: это уже установлено группой историков мурманских, ленинградских, петрозаводских, московских, результаты их исследований и разысканий опубликованы. Читаешь эти публикации и видишь, как начисто рушится старая, неверная концепция, как бы отринувшая Мурман от революционных процессов, что охватили всю страну и были так проницательно угаданы Лениным в его Апрельских тезисах.

Заново, в который раз перечитываю их — удивительные тезисы! Только что вернувшись в Россию, Ленин с добрым пониманием говорил и о «несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества», и о том, что массы в условиях первых месяцев свободы охвачены «доверчиво-бессознательным отношением» к Временному правительству — правительству капиталистов. Со свойственным ему напором Ленин требовал от большевиков «особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять» массам их ошибки и иллюзии...

Именно это и делали мурманские большевики, иногда сами ошибаясь, путаясь в новизне обстановки, принимая на веру революционную фразеологию иных ловких ораторов. Возьмешь резолюции тех дней — формулировки зачастую меньшевистско-эсеровские, рядом с ними — чисто большевистские требования, а доходит дело до выборов — выбирают большевика. Вглядишься в практическую деятельность мурманских организаций — ввели восьмичасовой рабочий день, во всех конфликтах отстаивали интересы рабочих... Широко и многообразно было первоначальное творчество — от борьбы с казнокрадством и бесхозяйственностью до создания Морского клуба, от контроля над производством и строительством до распределения продовольствия.

Вот в эту революционную бучу, еще во многом стихийную и путаную, в середине июня 1917 года влилась по-боевому настроенная команда «Аскольда» — пятьсот двадцать человек, много переживших и передумавших. Они быстро определили свою отчетливо большевистскую позицию, что видно и по сохранившимся резолюциям команды, и по деятельности аскольдовцев в разных организациях Мурманска, и даже по особой жестокости белогвардейцев и англичан, которые год спустя предательски разоружили матросов «Аскольда» и бросили их в свои страшные концлагеря.

Историк В. Тарасов без ссылок на источники пишет, что по прибытии «Аскольда» в Мурманск «Кетлинский распустил половину команды в отпуск, причем в списки уволенных попали прежде всего наиболее революционно настроенные элементы». По документам видно иное: вместо того чтобы растянуть отпуск на четыре смены, то есть на восемь месяцев, командир предложил дать отпуска в две смены, с тем чтобы через четыре месяца крейсер с полным составом отдохнувшей команды был готов к любому заданию. Вероятно, в ус-

ловиях войны он был прав. В первую очередь получили отпуск старослужащие матросы, которые не были дома по семь-восемь лет. Если бы командир отказал им в этом естественном праве — тогда действительно можно было бы говорить о жестокости.

Но еще до начала отпусков судовой комитет провел следствие по тулонскому делу. К судовому комитету присоединилась и следственная комиссия из Петрограда. С 19 по 30 июня было допрошено сто девяносто восемь офицеров и матросов. Матросы выдвигали обвинения в злоупотреблениях и зверском обращении с командой бывшего командира Иванову-6 и отдельным офицерам. Ничего компрометирующего Кетлинского в показаниях матросов не было. Оставалось только одно обвинение — утверждение приговора.

Тем же летом (дата точно не установлена) на «Аскольд» вернулась группа матросов, списанных с крейсера в августе 1916 года, во главе с кочегаром С. Л. Самохиным. Самохин приехал расквитаться с виновниками тулонских событий. Он был настроен непримиримо и в отношении Кетлинского. Когда вину Кетлинского разбирало общее собрание команды, Самохин стоял на мостике, скрестив на груди руки, и вел допрос...

Протокола этого суда не сохранилось, возможно, его и не вели, так как собрание команды происходило на палубе. Но по другим документам известно, что «команда крейсера обсудила всесторонне эти обвинения и совершенно оправдала Кетлинского».

В августе Кетлинского вызвали для доклада в Главный морской штаб, а в сентябре 1917 года произвели в контр-адмиралы и назначили главным начальником вновь созданного Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов.

Обязанности главному, как он сокращенно назывался, были огромны: охрана морских путей от норвежской границы до горла Белого моря; оборона Кольского полуострова как с моря, так и со стороны государственной границы; командование всеми морскими и сухопутными силами; достройка и охрана Мурманской железной дороги вплоть до станции Званка (впоследствии Волховстрой); общее руководство перегрузочными операциями в порту и на железной дороге; снабжение и управление всем обширным районом с правами коменданта крепости... Кто-то из историков определил эту должность словом «наместник». Что ж, пожалуй, и так. Однако в конкретных условиях Мурманска такое решение было оправданно — отныне главным морским начальником становился русский контр-адмирал, а не английский, и Кемп уже не хозяйничал как хотел, уже не настаивал на своем нагловатом требовании подчинить русские тральщики английскому командире... Что же касается огромной власти, сосредоточенной в руках главному, да, он мог стать контрреволюционной силой, но мог стать и силой полезной.

Чем же он стал?

«Получив назначение на столь высокий пост, — пишет А. М. Ларионов, — адмирал в служебном вагоне двигался только днем — останавливаясь на каждом разъезде, на каждой станции и на каждом стройучастке. Лично осматривал многие объекты, беседовал с рабочими-строителями, инженерами и администрацией, — стараясь уловить не только объективные, но и субъективные факторы... Результатом этой кропотливой работы явился доклад от 21 октября 1917 года... Характерной чертой этого доклада является конкретность и четкость формулировок, глубина проникновения в суть дела и деловитость тех предложений, которые вносит сугубо военно-оперативный работник в сугубо специфические строительные дела.

...Представляет несомненный интерес та «программа действий», которую четко сформулировал адмирал в этом докладе... написанном буквально накануне — за пять дней до Октябрьской революции:

«— дифференциация труда и ответственности,

— согласование работы учреждений,
 — поднятие дисциплины и самостоятельности,
 — привлечение демократических организаций и всего населения к общей созидательной работе».

Кто может оспаривать, что такую программу действий мог наметить только умный, талантливый и демократически настроенный патриот — интеллигент в лучшем смысле этого понятия... В дооктябрьской России очень немного было подобных Кетлинскому высших военных специалистов, и еще меньше таких людей с первого дня Советской власти отдали свой талант, знания и жизнь на службу новой власти, родине и народу.

...практические предложения, которые адмирал внес в министерство и главное управление правительства, буквально доживавшего последние дни... наверно достигли адресатов и были зарегистрированы уже после 25 октября 1917 года... Ни одно из внешних предложений не противоречило интересам Советской власти (что забывают историки)».

В Октябрьские дни. Да, чтобы найти верное решение в эти «десять дней, которые потрясли мир», военачальнику высшего ранга нужно было до них понять народные чаяния и найти общий язык с людьми, их выражающими. Нужно было внутренне свести счеты со своим прошлым, продумать и переоценить возможные пути развития государства, освоиться в новой среде, которая стала движущей силой грядущих перемен. Иначе родилось бы сопротивление или в лучшем случае выжидание — вспомним, что не только крупное офицерство и деятели государственных учреждений, но и все партии, за исключением большевиков, считали молодую Советскую власть «властью на две недели»!..

Известие об Октябрьской революции было получено в Мурманске 26 октября. В тот же день на объединенном заседании всех общественно-демократических организаций города было принято решение о полной поддержке Советской власти, и в тот же день, через срок и н у т после получения известия, были посланы две телеграммы:

ВСЕМ СОВЕТАМ, КОМИТЕТАМ И ВСЕМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУРМАНСКОГО РАЙОНА

Для блага всего края я, со всеми мне подчиненными лицами и учреждениями, подчиняюсь той власти, которая установлена Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов

Контр-адмирал Кетлинский

ВСЕМ ЛИЦАМ АДМИНИСТРАЦИИ. КОПИЯ ВСЕМ СОВЕТАМ
 И КОМИТЕТАМ

Памятуя об ответственности перед Родиной и Революцией, приказываю всем исполнять свои служебные обязанности впредь до распоряжения нового Правительства

Контр-адмирал Кетлинский

На следующий день, 27 октября, при Мурманском Совдепе был создан Временный ревком во главе с большевиком Сквородиным, который в первом своем приказе довел до сведения «граждан Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов и по линии от Мурманска до Званки, по Ледовитому океану до Александровска и до норвежской границы, что всею полнотой власти обладает Мурманский революционный комитет»... Во втором приказе ревком потребовал, чтобы все рабочие, служащие и чины администрации исполняли свой долг, «помня, что от этого зависит правильность действия столь нужного для всей России Мурманского пути», и исполняли приказы и распоряжения главнамура Кетлинского, «который действует по поручению и под контролем Временного революционного комитета».

Еще через три-четыре дня были проведены демократические выборы ревкома, и его председателем стал Т. Д. Аверченко, питерский рабочий с путиловской верфи, большевик. Этот ревком тоже ставил своей задачей не допустить нарушения работ на государственно важных объектах — в порту и на железной дороге, и считал правильным работать в контакте с главнамуrom — военачальником, признавшим Советскую власть и контроль ревкома.

Некоторые историки говорят об этом как об эсеро-меньшевистском соглашательстве. Но ведь Ленин старался, сломив массовый саботаж различных специалистов, привлечь их к общей работе, так как обойтись без их знаний Советская власть не могла, и в то же время писал в воззвании «К населению»:

«Арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу, будет ли такой вред проявляться в саботировании (порче, торожении, подрыве) производства или в скрывании запасов хлеба и продуктов или в задержании грузов хлеба, или в расстройстве железнодорожной, почтовой, телеграфной, телефонной деятельности и вообще в каком бы то ни было сопротивлении великому делу мира...»

Вместо того, чтобы вдуматься в благотворность делового контакта, который сумели установить молодые мурманские большевики с военным начальником края, вместо того, чтобы перелистать хотя бы подшивку «Правды» и убедиться, что Мурман был первой и единственной окраиной, где Советская власть утвердилась в первый же день Октябрьской революции без сопротивления и саботажа старого руководящего аппарата... вместо всего этого, отмахнувшись от фактов, некоторые историки предпочли взять под сомнение искренность Кетлинского, а заодно опорочить ревком, Центромур и Совет.

По документам видно, что состав ревкома избирался весьма демократично; так, представителей флота избирали экипажи кораблей, собравшись по группам. Но В. Тарасов пишет: «По всем данным, второй состав ревкома был закулисным путем подобран мурманскими дельцами из наиболее антисоветски настроенных меньшевистско-эсеровских элементов», а чтобы оправдать этот явный поклеп, утверждает, что председателем ревкома «был поставлен явный враг пролетарской революции эсер Аверченко!» В другом месте В. Тарасов расхваливает большевика Радченко и вообще Кольскую роту, хотя как раз в Кольской роте было, видимо, немало анархистствующих элементов... но не в роте дело, а в Радченко — он же был членом ревкома? Тарасов это знает (см. «Борьба с интервентами на Мурмане в 1918—1920 гг.», стр. 46), но на странице 44 не называет фамилий членов ревкома, потому что тогда лопнет версия о «закулисно подобранных» и «наиболее антисоветских»... В. Тарасов не может не признать, что команда «Аскольда» занимала ярко выраженную большевистскую позицию, а кочегара Самохина сам же называет руководителем революционной организации на «Аскольде» еще в 1916 году. Как же быть с тем, что аскольдовцы играли видную роль и в ревкоме и в Центромуре, а большевик С. Л. Самохин с октября 1917 года до начала февраля 1918 года был председателем Центромура? Очень просто — В. Тарасов не упоминает ни аскольдовцев, ни Самохина, а меньшевистско-эсеровским вождем Центромура почему-то называет Ляуданского, хотя по документам ясно, что Ляуданский стал председателем Центромура лишь в начале февраля, после отъезда Самохина!

В согласии с В. Тарасовым всю эту неправду повторяют и некоторые другие историки, воспринявшие его концепцию Вынужденный

сообщить о признании главнамуром Советской власти, В. Тарасов тут же называет это «маневром мурманской контрреволюции с целью во что бы то ни стало удержать власть в своих руках», тщательно обходит все свидетельства мурманских большевиков, зато вытаскивает показания какого-то белогвардейца Бондарева с домыслами, которые характеризуют только их автора. Но В. Тарасов почему-то верит именно белогвардейцу Бондареву, а затем заявляет дословно следующее: «Главнамур, «признав» 26 октября Советскую власть, уже 27 октября опубликовал телеграммы Керенского и генерала Духонина, призывавших не подчиняться Советской власти и выступить против большевиков. Этот факт показывает подлинное лицо Главнамур...» и т. п.

Но, позвольте, так ли это?! Признав Советскую власть в первый же день, когда было далеко не ясно, удержится ли она, адмирал, конечно, рисковал головой — он же был человек военный, подчиненный высшему командованию. Таким высшим начальником являлся для него Духонин, который оставался на посту и. о. верховного главнокомандующего вплоть до 22 ноября, когда Советское правительство отстранило его от должности и назначило на его место Крыленко. 27 октября, когда в Мурманск пришла телеграмма Духонина, призывающая к борьбе с большевиками и к безусловному подчинению Временному правительству, главнамур не имел права умолчать о ней, но сопроводил ее (а также телеграмму Керенского) своим приказом, который придется привести целиком:

«Объявляю телеграмму Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего за № 7950, напоминая, что в Мурманском Укрепленном районе и на Мурманском отряде судов в настоящий момент вся власть принадлежит Временному Революционному Комитету, по поручению и под контролем которого я действую вместе со всей администрацией, мне подчиненной.

Пусть же каждый гражданин делает спокойно свое дело, помня, что как личные его интересы, так и интересы всего Мурманского края находятся в руках людей, преданных народному делу.

Контр-адмирал Кетлинский».

Подлинное лицо главнамур тут выглядит несколько иначе, чем изображает Тарасов!.. И «маневр с целью удержать власть» — по меньшей мере неправдоподобное утверждение: ведь, по Тарасову, все руководство общественных организаций, Совета и Центромур было «меньшевистско-эсеровским» и предательским, — если бы Кетлинский захотел, что стоило ему не идти на риск признания?! Вспомним, что Мурман того времени был крайне плохо связан с центром, даже радиосвязи не было, только телеграф да газеты, приходящие на пятый, восьмой, а то и десятый день. Вся реальная власть была в руках главнамур. Все продовольственное и вещевое снабжение Мурманска и железной дороги до Кандалакши обеспечивалось англичанами, даже уголь для русских военных кораблей получали от англичан! Иностранные военные корабли грозной силой стояли на мурманском рейде, и эта грозная сила только и ждала, чтобы русский начальник попросил помощи «для обеспечения порядка». Если бы Кетлинский захотел, что мешало ему прибегнуть к их помощи?!

Он этого не хотел. Видимо, он был твердо убежден, что «Советы рабочих и солдатских депутатов — единственная организация, имеющая под собою почву». Видимо, его духовное развитие тоже шло в темпе событий — месяц за год. Видимо, пережив потрясение от того, что ему открылось в связи с тулонским делом, он с полной искренностью сказал слова, которые приводит в своих воспоминаниях матрос П. И. Коваленко, большевик, член судового комитета «Аскольда» и председатель матросского товарищеского суда: «Я свои знания

отдам тому молодому государству, которое будет признано народом». Так Кетлинский обещал. Так он и поступил в Октябрьские дни.

Значит ли это, что он стал большевиком и заговорил большевистским языком? Нет, конечно.

Есть два документа ревкома и главному, датированных 1 и 4 ноября, которые содержат отнюдь не большевистские формулировки и были поводом для нападок историков на Кетлинского и особенно на Аверченко. Действительно, в приказе ревкома от 1 ноября говорится о том, что «вопрос о власти решается на улицах Петрограда и Москвы», что Мурманский край слишком далек, чтобы воздействовать на ход борьбы, но что Мурманский путь насущно необходим родине и поэтому «перед каждым гражданином, к какой бы партии он ни принадлежал, если только он любит Россию и русский народ, стоит одна задача — обеспечить нормальный и безостановочный ход работ на дороге и в порту и для этого предохранить весь район от братоубийственной гражданской войны и всяких самочинных выступлений».

Нейтралистская позиция — позиция не большевистская. Но можно ли из этого приказа сделать вывод, как это делает В. Тарасов, что «пышными декларациями»... «эти враги народа пытались прикрасить свою позорную роль ближайших помощников контрреволюционной буржуазии»?!

Ведь в первые послеоктябрьские дни все контрреволюционные силы объединились в стремлении свергнуть молодую Советскую власть: восстание юнкеров, новый поход Корнилова, злостный саботаж государственных служащих, призыв Викжеля (Всероссийского исполнительного комитета железнодорожного профсоюза) к антисоветской забастовке... Правительство Керенского было свергнуто, но Керенский не смирился и пытался организовать вооруженную борьбу против Советов.

«На этой неделе,— признал Ленин на заседании ВЦИК 4(17) ноября,— все телеграфы были в руках Керенского. Викжель был на их стороне».

Да, в ту неделю по телеграфу шли сообщения и призывы врагов Советской власти. В Мурманске, естественно, путались в противоречивых сообщениях и возваниях, понимали, что идет вооруженная борьба, но не знали истинного хода событий. А местная жизнь выдвигала свои неотложные требования. В казначействе кончились деньги для выплаты жалования рабочим, служащим и военным, настойчивые телеграммы в Петроград о высылке дензнаков оставались без ответа (очевидно, из-за саботажа чиновников). Северный участок Мурманской железной дороги был закончен, и предстояло увольнение примерно пяти тысяч строителей, железнодорожное начальство — генералы Горячковский и Крутиков — явно провоцировало конфликт, предлагая выплатить им дополнительную зарплату — в общей сложности около тридцати миллионов рублей (конечно, без перевода денег!). Иностранцы везли в Россию очередные грузы, военные и продовольственные, но английские и французские представители уже намекали, что союзники не будут доверять стране, «находящейся в состоянии анархии»...

Если зримо представить себе положение мурманских руководителей, в ином свете выступает и приказ-воззвание от 1 ноября, — пусть формулировки не те, но ведь направлен-то приказ против развала на дороге и анархических выступлений, на организованность и хозяйскую заинтересованность «всех граждан, к каким бы партиям они ни принадлежали», в бесперебойной работе государственно важного Мурманского пути. А контрреволюционеры всех мастей, вклю-

чая меньшевиков и эсеров, в те же дни стремились усилить саботаж, развал работы, анархию!..

4 ноября мурманские руководители, не зная, что происходит в Петрограде, и не получая ответа на свои настойчивые запросы, послали по телеграфу обращение, где писали, что «уже десятые сутки кипит братоубийственная гражданская война, в стране все еще нет центральной власти», что безвластие может повлечь «полное расстройство всей жизни страны», а с гибелью страны «погибнет завоеванная свобода, погибнут земля и воля». Главное место в этой телеграмме, кроме первых довольно панических фраз, занимало сообщение, что ревком в контакте с высшей администрацией сберегли край от гражданской войны, «порядок в районе ни на одну минуту не был нарушен и работы общегосударственного значения шли до сих пор в полном порядке», затем излагалось бедственное положение Мурманска с деньгами и продовольствием, а в конце выдвигались требования: «1. Немедленного прекращения братоубийственной борьбы за власть и образования сильной центральной всенародной власти; 2. Направления всей политики нового правительства к скорейшему заключению демократического мира при обязательном условии тесного единения с союзниками, без помощи которых нам грозит гибель».

Телеграмма, конечно же, ошибочная и паникерская, но вряд ли ее можно толковать как «от начала до конца продиктованную ревкому союзниками и их русскими лакеями», как утверждает Тарасов, или что она — «плевок в революцию очень ядовитой слюной», как писал М. Кедров. Ведь за паникерскими формулировками можно прочитать и тревогу по поводу разворачивающейся гражданской войны, а начали ее не большевики, а корниловы и красновы. Ленин еще 30 октября, сообщая по радио «Всем. Всем» о новом корниловском походе, заявлял, что «Советское правительство принимает все меры к тому, чтобы предупредить кровопролитие». Что же касается союзников, то они, как известно, усиленно вдохновляли начавшуюся борьбу против Советской власти, и в первую очередь против «скорейшего заключения демократического мира».

В этой телеграмме с неверными формулировками можно прочитать — и даже невозможно не прочитать — гордость руководителей, которым удалось уберечь порученный им край от саботажа и контрреволюционных выступлений, а также несколько наивную, но, в общем-то, хорошую их убежденность в государственной важности бесперебойной работы Мурманской дороги. Да она и действительно имела огромное значение, эта дорога от центра к незамерзающему порту, что доказала вся последующая советская история и история Великой Отечественной войны в частности!..

Так что же такое эта телеграмма — кратковременная ошибка или «начало контрреволюции», как уверяют некоторые историки?

Судить вернее не по словам, а по делам. А дела таковы: в те же дни ревком и главнамур издали подробный приказ о скорейшем ремонте паровозов и вагонов в связи с предстоящим переходом в эксплуатацию железной дороги; ревкомом разработано подробное Положение о комиссарах на участках Мурманстройки и выделены комиссары; в связи с недостатком наличных денег, после делового совещания ревкома с главнамуром и железнодорожниками, издан приказ о порядке расплаты с отъезжающими рабочими и инженерами — двадцать процентов на руки, остальное денежными переводами по месту жительства; такой же порядок выплаты жалованья временно установлен для всех мурманских служащих и офицеров; происходили назначения новых работников; главнамур издал приказ о порядке ремонтных работ на кораблях флотилии; вместе с Центромму-

ром разработал положение о педагогическом совете при Машинной школе флотилии...

5 или 6 ноября телеграф принес в Мурманск воззвание «К населению», подписанное Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным, где сообщалось о подавлении восстаний Керенского, корниловцев, юнкеров и контрреволюционного «Комитета спасения» в Москве... После этого дня, как бы ни придирались, в документах ревкома, Совета и главмура не найдешь колебаний — только заботу о многосторонней деятельности на пользу молодого Советского государства, на пользу развития Мурманского края.

Отрадно, что за последние годы ряд новых исследователей — кандидат исторических наук полковник М. И. Сбойчаков в Москве, доктор исторических наук М. И. Шумилов в Петрозаводске, доктор исторических наук Ю. Н. Климов в Мурманске и другие — заново изучил и осмыслил имеющиеся документы, разыскал материалы, начисто опровергающие самую основу прежней, ошибочной концепции об отсутствии большевистских сил и руководства на Мурмане, и тогда в новом свете проявились и события и люди тех давних лет. Особенно большой труд проделала группа мурманских историков в содружестве с научными работниками Ленинградского института истории КПСС и Ленинградского университета, в результате чего появился сперва сборник документов, а затем и «Очерки истории Мурманской организации КПСС».

«Очерки» не охватывают, конечно, всего материала, но опираются на основательное знание его и поэтому правдиво раскрывают сложность событий 1917—1918 годов на Мурмане и революционное творчество первых мурманских большевиков, рабочих и матросов. О Кетлинском в книге сказано не так уж много, но точно:

«Почему же контр-адмирал, ставленник Временного правительства, обладавший реальной силой для того, чтобы подавить всякие революционные проявления на Мурмане, сразу же, через сорок минут после получения вести о событиях в Петрограде, признал Советскую власть?»

Было бы ошибкой считать Кетлинского твердым сторонником большевистских взглядов, но он не являлся и контрреволюционером. Патриотически настроенный и умный человек, адмирал понимал беспомощность Временного правительства в судьбах России, видел силу революционных матросов, солдат и рабочих на Мурмане и предпочел работать с новой властью, а не бороться против нее.

Так, благодаря деятельности и политическому авторитету большевиков, благодаря их руководству и влиянию на массы, Октябрьская социалистическая революция победила на Мурмане мирным путем, без кровопролития и вооруженных столкновений».

Последние три месяца. Они светлы и драматичны, эти последние месяцы жизни отца. Решение было принято, на избранном пути все было ново, интересно, хотя и трудно. Месяц за год? — в послеоктябрьские дни, пожалуй, неделя за год! Отмирало чувство офицерской кастовости, по-иному воспринимались вопросы войны и мира, по-иному виделись и союзники России, которые в те дни все чаще именовались союзниками в кавычках...

«В частных беседах, после деловых заседаний Кетлинский подолгу засиживался и делился с нами своими мыслями,— вспоминает Т. Д. Аверченко.— Немцев и англичан он смешивал в одну кучу, называя их колонизаторами, Керенского он презирал и называл все Временное правительство бездарным и авантюристическим... Решительные действия Ленина, как он говорил, кружат ему голову. Он здесь же выразил уверенность в успехе Октябрьской революции. «На мой взгляд,— говорил К. Ф. Кетлинский,— только Ленин может спасти Россию от катастрофы».

Перспективы развития страны, которые уже тогда раскрывал Ленин, видимо, вдохновляли и отца на планы всестороннего разви-

тия Мурманского края. Вспоминая, каким он был оживленным и деятельным в те дни, я понимаю — всю жизнь стиснутый военной дисциплиной и узкими рамками службы, он тогда впервые почувствовал возможность многое сделать, полно расходуя свою незаурядную силу.

Но все ли это понимали? И могли ли понять? Нет, не все верили в его искреннее желание служить народу и новому строю, да и не все принимали стремление главнамур, Совета и Центромур навести порядок и сознательную дисциплину на железной дороге, в порту, на кораблях, на стройках. Кроме естественного недоверия к адмиралу, некоторых революционных рабочих и матросов раздражал самый факт, что сохраняется на посту прежний военачальник — зачем это? Что смотрит Совет и Центромур? Сложность задач военных и строительных, благодаря которым и местные организации и Советское правительство сохраняли должность главнамур, многим была непонятна. Если это сознавали большевистские экипажи таких крупных кораблей, как «Чесма» и «Аскольд», то среди матросов мелких кораблей и береговой Кольской роты были сильны и анархистские элементы и местные интересы — ведь матросы мелких воинских частей не прошли той школы сплоченности и революционной закалки, какую прошли, к примеру, аскольдовцы. Что же говорить о строительных рабочих, нанятых по деревням или устремившихся «на Мурманку» ради освобождения от фронта! Спровоцированные Викжемем и железнодорожным начальством, эти строительные рабочие из-за отсутствия денег чуть не убили Аверченко, пришлось члену ревкома Радченко привести ему на выручку группу вооруженных матросов... а когда те же рабочие узнали, что деньги им все же вы платят, они начали восторженно качать и Аверченко и матросов!..

В этом взбаламученном человеческом море Кетлинскому было нелегко. Но я думаю сейчас о человеке, которому наверняка было всех трудней, — о кочегаре Степане Леонтьевиче Самохине, председателе Центромур. Он, бесспорно, был опытней и политически грамотней других мурманских большевиков — за его плечами была подпольная революционная работа на «Аскольде», высылка, тюрьма, «штрафная» служба в Иоканьге. Во главе основной революционной силы Мурманска — нескольких тысяч матросов — он нес ответственность гораздо большую, чем руководители Совета, поскольку и город — военный, и административная власть в руках военно-морского начальника. Еще недавно — три месяца назад! — он примчался на «Аскольд» судить Кетлинского. Судил. Если бы тогда он дал волю чувствам и не захотел вдуматься, разобраться в личности нового командира, стоило ему крикнуть «за борт его!» — и в возбужденной толпе нашлись бы исполнители. Но он вдумался, разобрался. Сам предложил в конце суда: оправдать. И вот теперь он работает в контакте с этим самым офицером. Можно ли верить в искренность и честность Кетлинского? Самохин приглядывается и повседневно, в беседах и в делах, проверяет. Еще не сформулировал Ленин политику партии в отношении военных специалистов, но Самохин чутьем большевика понимает: они нам нужны.

На редкость сдержанным и вдумчивым человеком выступает Самохин во всех событиях тех дней. Вот разгорелся конфликт с Кольской ротой... Началось с мелкого повода — на Кольской базе, где до недавних дней царили бесконтрольность и всяческие злоупотребления, главнамур и Центромур освободили от работы одного офицера и одного чиновника. Матросы Кольской роты за них заступились, доказывая, что они «могут приносить пользу только в этой базе». Дальше — больше, и уже Центромур оказался «не соответствующим духу времени», и главнамур «не считается с ротой», и в Совет рота

пошлет своих депутатов независимо от Центромур... Сдержав возмущение, Самохин спокойно передал решение Кольской роты на обсуждение всем командам флотилии. «Аскольд» и «Чесма» целиком осудили решение роты, миноносники осудили сепаратизм роты, но согласились с необходимостью реорганизовать штаб главнамура, более мелкие суда и команды батарей и постов в основном роту подержали. Но на 1-м делегатском съезде Мурманской флотилии, происходившем в первых числах декабря, крайний сепаратизм и анархические выходы роты настолько выявились, что было даже выказано обвинение — «Кольская рота идет... к социализму скопления денег и превращения матросов в класс буржуа». За предложение роты голосовали всего три делегата, после чего трое представителей роты (из четырех) демонстративно покинули съезд, хотя их уговаривали «не делать саботажа». Матросы проводили их выкриками: «Скатортью дорожка!», «Они всегда и везде так!» А съезд под руководством Самохина принял ряд боевых, большевистских решений, в том числе декларацию «За власть Советов», уточнил обязанности Центромура и формы контроля над главнамуром и его штабом, принял наказ комиссарам и т. д.

Но еще перед этим съездом, 29 ноября, Самохин специально поставил вопрос о главнамуре на совместном заседании исполкомов Совета и Центромура. Поставил прямо, чтобы все высказались до конца. Протокол обсуждения сохранился. В. Тарасов упустил самое главное и выписал только первые два абзаца и часть третьего. Для ясности приведу текст целиком:

«...Пункт 6. О Главнамуре и штабе.

Слово берет т. Самохин, в котором он указывает, чтобы удалить все подозрения и чтоб успокоить как рабочие, так и военные массы, необходимо или уничтожить пост Главнамура, или чтоб Главнамур работал под контролем.

Тов. Архангельский высказал, что можно было бы удалить адм. Кетлинского, если бы он был плохой администратор или был бы замешан в каком-либо походе против демократии.

Как администратор Кетлинский великолепен, ждуть от него какого-либо контрреволюционного выступления не приходится, ибо его даже Военно-Революционный Комитет признал своим полноправным членом и он в этом отношении как жена Цезаря — вне всяких подозрений, и убрать Кетлинского, чтоб получить другого, может быть худшего, нет никакого смысла.

Т. Радченко высказывает, что адм. Кетлинский хотя и подчиняется демократии и не идет открыто против нас, но действует ли он от чистого сердца, а не держит ли просто нос по ветру, в этом т. Радченко очень и очень сомневается.

Далее прения были настолько долгие, что коснулись прошлого адмирала, причем все делегаты с крейсера «Аскольд», хорошо знающие адм. Кетлинского, ибо он был командиром «Аскольда», горячо оправдывали Кетлинского от обвинений, на него возлагаемых, и высказали, что эти обвинения может представить только команда крейсера «Аскольд», ибо это происходило на «Аскольде» и команда крейсера обсудила всесторонне эти обвинения и совершенно оправдала Кетлинского, и, поднимая вновь это дело, товарищи как будто бы не доверяют команде крейсера «Аскольд».

Председатель ставит на голосование: «Оставить ли нам на месте Главнамура Кетлинского или его сменить.

Голосованием при 7 воздержавшихся принято: «Оставить адмирала Кетлинского». Вопрос о штабе остается открытым и решение его предоставляется Центромуру. Заседание закрывается в 12 часов ночи».

Через неделю после этого обсуждения делегатский съезд флотилии уточнил: «Центромур является ответственным перед высшими органами... и общим собранием делегатов Мурм. флотилии. Оперативной, военно-морской и распорядительной частью ведает Главнамур с комиссаром, назначенные Центромуром и под контролем Центромура...»

Сообщая о решениях особого съезда флотилии, В. Тарасов, как ни странно, добавляет: «Политически правильное решение о создании

института комиссаров не достигло своей цели, так как комиссарами были назначены по рекомендации лейтенанта Веселаго (разрядка моя.— В. К.) люди либо с неопределившимися, либо с меньшевистскими убеждениями». Это на странице 52. А на странице 53 автор, забыв о своем утверждении, правильно сообщает, что Веселаго в конце ноября уехал в Петроград — как же он мог в начале декабря рекомендовать комиссаров? И чем может подтвердить Тарасов напраслину, возводимую им и на Центромур и на комиссаров?

Сообщая о большевистской резолюции команды «Аскольда» в связи с роспуском Учредительного собрания, Тарасов приписывает: «Матросы требовали удаления старых офицеров с их постов, ликвидации Главнамура и сосредоточения власти в руках Совета». Вчитываясь в резолюцию «Аскольда» — ничего подобного там нет. Пересматриваю все сохранившиеся резолюции матросских собраний со дня делегатского съезда и до гибели Кетлинского — там этого тоже нет! А Тарасов продолжает: Кетлинский якобы отказался принять в Мурманске возвращающихся из Франции русских солдат. Но по документам видно, что Кетлинский справедливо беспокоился о том, чтобы сорок тысяч солдат прибывали не сразу, а партиями и были снабжены продовольствием, так как пропускная способность железной дороги весьма мала, а в Мурманске такую массу солдат негде разместить и нечем кормить. Придумав «отказ», Тарасов обвиняет Кетлинского в «саботаже распоряжений Советской власти».

Что же сделал за несколько послеоктябрьских недель «саботажник» Кетлинский? Работал вовсю, в полном контакте с Советом и Центромуром. А. М. Ларионов, тщательно изучив деловые документы, приводит длинный перечень — в двадцать шесть пунктов! — конкретных дел главнамура, совершенных за четыре послеоктябрьских недели. Примерно две трети из них связаны с заботами о налаживании деятельности флота, порта и железной дороги, я упомяну только то, что имеет несомненно политический характер: налажено снабжение кораблей углем по м и м о а н г л и ч а н и послано революционному Петрограду из запасов флотской базы тридцать тысяч пудов белой муки! Впрочем, политический смысл имело в те дни и открытие первых школ для детей и для взрослых, и создание ежедневной газеты, и борьба с саботажем и спекуляцией, и разработка задания к проекту водоснабжения и канализации города, и срочное обследование ряда районов полуострова для выявления земельных участков, годных для сельскохозяйственных целей... Не случайно ведь во время выборов в Учредительное собрание за большевиков из тысячи пятисот мурманчан проголосовало больше тысячи человек!..

«Росло влияние большевиков в политической, военной и хозяйственной жизни края,— говорится в «Очерках истории Мурманской организации КПСС». — В составе Мурманского Совета более половины депутатов были большевиками».

В условиях начавшейся гражданской войны Мурман оставался спокойным, верным Советской власти краем. И это знало не только Советское правительство, но и англичане, зарившиеся на стратегически важную русскую окраину. Недаром английский посол Бьюкенен, как сообщила «Правда» 17 января 1918 года, сказал представителю шведской газеты «Свенска тиднинген», что «большевикам удалось достигнуть такого положения, которого в настоящее время никому не достигнуть... несмотря на это, державы Согласия не могут считать их представителями России, ибо, правда, они имеют власть, но их господство ограничивается лишь севером».

Господство большевиков на Севере не могло нравиться английским и французским деятелям, исподволь готовившим интервенцию.

Не нравилось оно и русским контрреволюционерам всех мастей. А они были и среди прямых начальников Кетлинского, и в штабе главнамура, среди сотрудников, им самим подобранных...

Вот еще страница жизни отца, которую мне хотелось бы если не вычеркнуть, то переписать по-иному,— те дни начала сентября, когда он подбирал в Петрограде свой штаб. Не потому, что он в чем-то виноват (откуда он мог знать, кто как себя проявит!), а потому что, быть может, возьми он других работников, не оборвалась бы так рано его жизнь.

Старший лейтенант Г. М. Веселаго... Кетлинский знал его молодым сотрудником оперативного отдела Черноморского флота,— исполнителный, способный офицер, вполне подходит на должность начальника оперативной части штаба. Думаю, отец сам выбрал его. И, как видно, доверял ему!.. А совсем незнакомого «солдата 171-го пехотного полка», юриста по образованию В. М. Брамсона, члена РСДРП (меньшевиков),— принял, вероятно искренне думая, что берет на гражданскую часть штаба вполне демократическую фигуру.

«Для блага всего края я, со всеми мне подчиненными лицами и учреждениями, подчиняюсь...»

Своим авторитетом и силой воли он подчинил их всех Советской власти. Кто-то из них, возможно, принял перемену искренне, кто-то— пассивно, кому-то такое решение казалось способом «переждать», а у кого-то сжимались кулаки в кармане. Веселаго, видимо, и переживал и кулаки сжимал. Был по-прежнему исполнителен. Офицер, назначенный начальником штаба, не приехал, Веселаго исполнял его обязанности. Никакой роли в общественных организациях Мурманска он в ту пору не играл, это видно по всем решительно документам первых послеоктябрьских недель. В конце ноября Кетлинский командировал его в Петроград — доложить положение дел на Мурмане, добиться кредитов и решений по другим неотложным делам, а также выяснить, как стоит вопрос о войне или мирных переговорах, в частности — чего ждать на Севере, в Ледовитом океане.

Веселаго пробыл в Петрограде с 29 ноября 1917 по конец января 1918 года и вернулся в Мурманск на следующий день после убийства Кетлинского.

Чем же занимался Веселаго в Петрограде? Конечно, он выполнял некоторые поручения, и заседал в комиссии по перемирию на Ледовитом океане, и добился необходимых кредитов, за что получил благодарность от главнамура. Но одновременно Веселаго искал и находил людей, которые «пережидали бурю» и с надеждой глядели в сторону англо-французов. На свой страх и риск Веселаго начал переговоры в иностранных миссиях, а также вербовку «надежных» офицеров для Мурманна.

Все это время общение между Кетлинским и Веселаго происходило записками, передаваемыми по прямому проводу через Александровск (нынешний Полярный). Не знаю, все ли записки сохранились, но когда я читаю те, что хранятся в архивах, я отчетливо ощущаю трагедию отца — трагедию столкновения доверчивости с вероломством, честности с подлостью. А если одновременно прочитать так называемый «дневник» Веселаго, подробно излагающий его действия в Петрограде,— впечатление еще усиливается.

Пока Веселаго сплетает первые нити белогвардейского заговора и глухо намекает главнамуру на «необходимость именно личного разговора» и на то, что без такого разговора вынужден действовать «втемную», «на свой страх», Кетлинский весь в заботах о деле: сделан ли заказ на фураж и провиант? Добейтесь кредитов во что бы то ни стало, это вопрос первой важности, обращайтесь вплоть до са-

мых высших чинов республики! Закупите учебники для младших классов. Радиостанцию для горы Горелой вышлите возможно скорей, закажите фермы для кольских мостов, если не обеспечите, «ле-то будем опять отрезаны от России!».

Веселаго уже обговорил в посольствах свои тайные дела и хочет вернуться в Мурманск, Кетлинский не разрешает: «Не считайте своей задачи оконченной, пока не добьетесь постройки обоих кольских мостов до весны».

Для железной дороги нужна охрана, Веселаго поручено подобрать начальника железнодорожной милиции. Но Веселаго мало озабочен отправкой грузов в Петроград, он вербует кавалерийского генерала Звегинцева (впоследствии активного белогвардейца) — и с восторженными эпитетами рекомендует его на работу в штаб. Кетлинский с раздражением отвечает: «Звегинцев очень знающий и талантливый, но он так же для этого не годится, как и Вы. Если Вы рекомендуете Звегинцева на должность начальника милиции, то это другой вопрос». Веселаго продолжает настаивать, чтобы Звегинцев был зачислен не на железную дорогу, а в штаб, он готов уступить ему свое место: «Пусть будет зачислен на вакансию начальника штаба. Ручаюсь, что делаю редко, за полную его пригодность во всех отношениях!» И Веселаго окольным путем добивается своего — с подписанием Главного морского штаба Звегинцев прибывает в Мурманск за две недели до убийства...

Одной из забот Кетлинского было привлечение специалистов по мелиорации — для осушения болот в зонах возможного земледелия. Переговоры с мелиораторами были тоже поручены Веселаго, и Кетлинский ждал их приезда в середине января.

9 января по приказу народного комиссара по морским делам Дыбенко Кетлинский был арестован. За что? В связи с новым расследованием тулонских событий.

Находясь под домашним арестом, он продолжал думать о начатых делах и, в частности, отправил Веселаго телеграмму, что для пользы края считает нужным организовать Общество изучения Мурманна до приезда мелиораторов, но под арестом сделать это не может, поэтому просит привезти мелиораторов не раньше чем через неделю после его освобождения. «Если такое будет», — добавил он. Но, судя по телеграмме, он в это твердо верил.

Так и вышло.

10 января на III съезде Советов выступил матрос Железняков (тот самый легендарный матрос Железняк из песни!), вспомнил тулонское дело и прямо назвал виновника — Иванова-6.

11 января Верховная морская коллегия постановила освободить Кетлинского, с тем чтобы он продолжал работать главнамуром под контролем Совета и Центромур.

В Справке Ленинградского испарта и ЦГА ВМФ, на которую я уже ссылаюсь, сообщается факт, которого я раньше не знала. Оказывается, «Дыбенко и его заместитель Раскольников, подозревая Кетлинского в связях с англичанами, интересовались отношением англичан к аресту Кетлинского. Центромур ответил, что англичане к аресту Кетлинского относятся спокойно».

Пробыв под арестом неполных четыре дня, Кетлинский вернулся к работе, и одним из первых его дел было создание при штабе мелиоративно-экономического отдела для осуществления «плана подготовительных работ по оживлению Мурманна в тесном сотрудничестве с общественными организациями».

«...Кетлинский под контролем Центромур,— говорится в Справке,— продолжал энергичную деятельность, направленную на укрепление района в военном отношении, занимался комплектованием судов кадрами, строительством военных сооружений, организацией работы и охраной ж. д., ж.-д. перевозками, снабжением и другими хозяйственными и военными вопросами. Вся деятельность Кетлинского, отраженная в многочисленных приказах, циркулярах, телеграммах и официальных письмах, была направлена на сохранение Мурманского р-на для Советской власти...»

Я знаю не столько по воспоминаниям — в детстве не так уж приглядываешься к родным! — сколько по опыту сердца и по опыту познания человеческой психологии... да, знаю, что в те последние шестнадцать дней своей жизни отец был счастлив. Приказ, вернувший ему свободу и начатое дело, был для него признанием со стороны новой и все еще несколько загадочной народной власти, это был знак доверия. Можно преодолевать немислимые препятствия и справляться с горчайшей бедой, но без доверия сохнет энергия и дрябнут руки, без доверия жить тошно и работать нельзя.

Ему было хорошо в эти последние шестнадцать дней, хотя обстановка была сложнейшая, все давалось напряжением всех сил, каждый день возникали новые проблемы... Он не вершил большой политики, где-то далеко и независимо от него решались судьбы войны и мира, шли переговоры в Бресте, немцы были наглы, а бывшие союзники хитрили, прикидывались друзьями русской революции, а сами стремились к одному — заставить Россию воевать вот сейчас, обескровленную, разрушенную, воевать за их интересы...

В Мурманске это ощущалось повседневно. А военные и продовольственные грузы продолжали прибывать, их нужно было перегружать и отправлять по еле работающей дороге, бдительно охраняя в пути. Приезжал к главнамур прежежливейший контр-адмирал Кемп и делал деликатнейшие намеки на «отсутствие уверенности» и «необеспеченность порядка»... Вот и 28 января приехал — транспорт «Дора» уже на подходе к Мурману получил приказ английского адмиралтейства повернуть обратно, так как до правительства его величества дошли слухи, что грузы расхищаются в Мурманске и в пути. Пришлось убеждать Кемпа, что охрана будет обеспечена.

— Но ведь теперь над вами есть Центромур, может ли и он дать такую гарантию? Кроме того, «Дора» уже у берегов Норвегии и у нее такой слабый беспроволочный телеграф, что она вряд ли примет наше сообщение!

— Наш миноносец сумеет догнать ее.

Кетлинский по телефону попросил Самохина срочно собрать членов Центромур и пошел в Центромур, а Кемп остался ждать в управлении. Центромур, конечно, решил дать полную гарантию сохранности грузов; вместе рассчитали ход «Доры» и ход миноносца, решили попросить на борт миноносца английского офицера...

Кетлинский торопливо шел обратно, когда раздались выстрелы. Три выстрела в спину. У него хватило сил подняться, обливаясь кровью, на ближайшее крыльцо. Через двадцать минут его не стало.

Кто? Почему? Ради чего? — на эти вопросы в Мурманске тех дней отвечали примерно одинаково, хотя убийцам удалось скрыться. Я уже вспоминала речь С. Л. Самохина на похоронах и решение Центромур — хоронить Кетлинского «при всех почестях революционного долга»...

Было выпущено специальное обращение к населению:

«Мурманский Совет рабочих и солдатских депутатов осуждает... бессмысленное, никому не нужное убийство, а особенно убийство Кетлинского, который своей деятельностью на пользу народа и Мурманского края заслужил доверие всех демократических организаций.

...Советское правительство никогда не может оправдать самосудов, так как такие наносят удар в спину революции и борьбе пролетариата за свое лучшее будущее... Помните, товарищи, что выступление отдельных личностей, скрывающих свое лицо, грозит провокацией...»

Вопреки мнению некоторых историков, Мурманский Совет все не был в те дни соглашательским; о ясной и бескомпромиссной позиции Совдега свидетельствует «Ответ Мурманского Совета контрреволюционерам», опубликованный в «Правде» 6 января 1918 года, где мурманцы подчеркивают, что единственной законной властью считают Советы, и просят Совнарком принять меры к полной ликвидации контрреволюционного «Комитета спасения».

Приведу еще одно свидетельство, интересное тем, что оно отразило тревогу части военных специалистов, лояльно сотрудничавших с Советами.

«Мурманске настроение нервное слухами угрожают работникам действительно работающим в контакте с организациями такой же расправой что вызывает у многих желание уехать с Мурманска...»

Это — из телеграммы начальника Кольской военно-морской базы инженер-механика Ф. М. Соколовского (которого не надо путать с есаулом А. Н. Соколовским, белогвардейцем). Напуганный этими слухами, сам инженер-механик на время удрал из Мурманска.

Хотя в сообщении говорится, что стреляли двое неизвестных, «одетых в морскую форму», никто в Мурманске не считал, что убийство — дело рук революционных матросов.

«Кетлинский пользовался популярностью во флотилии, и подозревать в его убийстве местных матросов невозможно... Центромур и Кетлинский действовали в полном контакте...»

Это — из показаний Павла Поппеля, машиниста 1-й статьи с «Аскольда», большевика и члена Центромура, брошенного англичанами и белогвардейцами в концлагерь на острове Мудьюг.

Другой матрос-большевик, П. Коваленко, писал в своих воспоминаниях уже в январе 1935 года:

«По моему мнению, убийцами Кетлинского были не моряки с «Аскольда», а убийцей был его же флаг-капитан Метесевич и еще кто-то из офицеров. Чем это объяснить? Метесевич был против поворота Кетлинского в сторону большевиков... У нас в узком кругу Центр. комитета (я, Самохин и еще пара матросов) обсуждали этот вопрос, и сложилось впечатление, что убийцей был Метесевич».

Очевидно, их подозрение не оправдалось в ходе расследования, но оно показывает, в каком направлении шли поиски убийц — искали среди тех, кто был «против поворота Кетлинского в сторону большевиков». Могли ли быть такие недовольные среди матросов? Вряд ли, но какое-то количество людей разболтанных, идущих за эсерами и анархистами, помахивающих браунингами и не желающих никому подчиняться, — какое-то количество таких людей нашлось, вероятно, и в Мурманске. Могло ли быть, что кто-то из них был спровоцирован теми, кому было выгодно убрать Кетлинского с дороги? Возможно. Крупные убийцы не стреляют сами, они находят исполнителей.

Вспомним, что за неделю до мурманского убийства на всю страну разнеслась весть об убийстве неизвестными матросами двух арестованных министров Временного правительства — Шингарева и Кошкина. В «Правде» от 22 января на первой странице жирным шрифтом было выделено сообщение:

«Советские войска сокрушают врагов рабочих и крестьян. Взяты Полтава, Ахтырка и Троицк... Пусть не омрачается эта победа дикими самосудами, выгодными только контрреволюционным провокаторам!».

В том же номере опубликована телеграмма под заголовком «Срочная без малейшего промедления», адресованная всем Советам, ревкомам, штабам Красной гвардии и т. д. с предписанием «совершенно немедленно» расследовать убийство и арестовать виновных. Телеграмма подписана Председателем Совнаркома В. Ульяновым (Лениным). В том же номере напечатано и «Объявление по флоту» об осуждении и расследовании убийства, подписанное наркомом по морским делам Дыбенко.

Так отозвались партия большевиков и Советское правительство на террористический акт против явных врагов Советской власти. Телеграммы Ленина и Дыбенко читались во всех воинских частях. Как же можно подозревать, что неделю спустя революционные матросы, сторонники Советской власти, могли пойти на убийство человека, признавшего Советскую власть и сотрудничавшего со всеми демократическими организациями?

А ведь именно такое объяснение дает М. Кедров:

«Причина убийства, думается, ясна: желание устранить препятствие, стоящее на пути установления действительно Советской власти».

Вслед за ним и В. Тарасов и некоторые другие историки рассматривают убийство Кетлинского как акт революционный, направленный против «контрреволюционного Главмура». Доказательства? А никаких доказательств!

Между тем стоит без предвзятости проанализировать события, развернувшиеся сразу после убийства Кетлинского, чтобы понять: с катастрофической быстротой дела пошли к сговору с «союзниками», к высадке английских войск и подготовке интервенции.

Генерал Звегинцев прибыл в Мурманск 10 января.

Веселаго вернулся в Мурманск 29 января, то есть на следующий день после убийства Кетлинского, и немедленно помчался к адмиралу Кемпу, чтобы сообщить ему о своих переговорах с английскими представителями в Петрограде и просить содействия и помощи. В тот же вечер на квартире английского консула состоялась секретная встреча, на которой присутствовали Кемп, Веселаго и Звегинцев. Кемп обещал свое содействие и одобрил (!) намечаемую Веселаго новую форму правления — создание Народной коллегии... Оттуда Веселаго помчался информировать начальника французской военной миссии капитана де-Лягатинери, а «несколько позже» и американского представителя лейтенанта Мартина.

Как свидетельствует член Центромур П. Поппель, «после смерти Кетлинского Центромур взял на себя военную власть... в то же время просил Петроградский морской комиссариат прислать на место Кетлинского опытного морского офицера». В связи с этим Самохин выехал в Петроград, где он, видимо, был указан на какое-то время в Генштабе, так как на его телеграммах указан обратный адрес — Нагенмор. Вместо Самохина возглавил Центромур эсер Ляуданский.

Тогда же, видимо, уехал в очередную командировку и председатель Совдепа Архангельский, его заменил А. М. Юрьев (Алексеев), пробывший около девяти лет за границей, плававший кочегаром на русских и иностранных судах, сотрудничавший в Нью-Йорке с Троцким и считавший себя другом Троцкого.

2 февраля Совдеп утвердил Народную коллегию из трех лиц: самого Юрьева, Ляуданского и представителя железной дороги Лукьянова. Решение на первый взгляд вполне демократическое — вместо единоначальника-адмирала коллегия из представителей трех основных организаций! Могли ли знать депутаты Совета, голосуя за нее, что состав коллегии согласован с английским адмиралом Кемпом и что сама коллегия — лишь ширма для Веселаго, занявшего должность «управделами» коллегии, и для генерала Звегинцева, ставшего командующим вооруженными силами!..

Да, со дня убийства Кетлинского все пошло по плану, намеченному Веселаго еще в Петрограде, в английском посольстве, военных миссиях и русских контрреволюционных кругах. Осуществлению этих планов помогла начавшаяся демобилизация — уезжали самые революционные матросы и солдаты, уезжали многие большевики...

В. Тарасов вопреки фактам старается убедить читателей, что после убийства «все шло по-прежнему», так как Кетлинский якобы был в курсе контрреволюционных замыслов Веселаго; чтобы как-то доказать недоказуемое, он выхватил из «дневника» Веселаго строку, что Кетлинский телеграфировал «разрешение действовать, собираюсь с обстановкой», хотя двумя строчками выше сам Веселаго пишет, что о сути его действий адмирал не мог «догадаться даже приблизительно»... При этом в угоду своей ложной концепции тщательно обходится единственным местом в «дневнике» Веселаго, где тот прямо говорит о позиции Кетлинского и своей:

«Я здесь решительно отмечаю, что все происходившее на Мурмане начиная с февраля, как по идее, так и по форме не имело ничего общего с работой, начатой покойным адмиралом... То, что я делал затем, идя по совершенно иному, чем он, пути — конечно, не было ни в какой мере продолжением его деятельности».

Вывод напрашивается сам собою: «и по идее и по форме» Кетлинский с его авторитетом и властью стоял на пути разворачивающегося заговора. Веселаго это понял, вероятно, в Петрограде, когда не мог уговорить главномура взять в свой штаб генерала Звегинцева. Понял это, видимо, и адмирал Кемп, так как, по свидетельству члена Центромура П. Коваленко, Кетлинский «ни одного вопроса не разрешил без центрального комитета. Когда он совещался с адмиралом Кемпом у себя в кабинете, он приглашал либо комиссара, либо Самохина...»

Разбираясь по свежим следам, в начале двадцатых годов, в сложном переплетении мурманских событий, А. М. Ларионов уже тогда установил, кому было нужно устранение Кетлинского и кто мог спровоцировать так или иначе убийство. Это позволило ему впоследствии написать, что Веселаго «был единственным человеком, который мог бы сказать правду по поводу убийства 28 января в Мурманске адмирала Кетлинского К. Ф.». Как контрразведчик, Ларионов нюхом чувствовал следы, ведущие от исполнителей убийства, кто бы они ни были, к деятелям «контрреволюционных центров и союзных разведок».

Он не одинок в таком понимании событий. Еще в 1929 году в журнале «Карело-Мурманский край» в № 4-5 появилась статья «За Советский Мурман (К истории интервенции на Севере)», где ее автор, И. Хропов, писал:

«С первых же дней Октября англичане повели скрытую подготовку для захвата Мурмана на тот случай, если им не удастся втянуть Советскую Россию в войну с Германией.

Такая политика англичан скоро обнаружилась. Главнамур, адмирал Кетлинский, не являясь противником союзников, все же был достаточно честен, чтобы не пойти

на тайную службу к англичанам. Видя в Кетлинском камень преткновения своим планам, англичане выстрелом в спину в январе 1918 г. убирают Кетлинского с дороги, а на смену ему появляется начальник штаба Главнамура, явный агент английской миссии в Петрограде, лейтенант Веселаго, с первых же дней приступивший к подготовке интервенции».

В книге А. А. Самойло и М. И. Сбойчакова «Поучительный урок», вышедшей в Воениздате в 1962 году, говорится:

«Кто же убил Кетлинского? Мы не располагаем материалами английской разведки и, следовательно, не имеем прямых улик. Но логика приводит к выводу, что контр-адмирал убран с дороги как неудобное английским империалистам лицо, мешавшее осуществлению их замыслов — оккупации Мурманска».

В 1968 году к их точке зрения присоединился доктор исторических наук М. Шумилов. В большой статье, напечатанной в архангельской газете «Правда Севера», он проанализировал на основе документов ошибки историка Мырина в оценке мурманских событий и подробно остановился на положительной роли Кетлинского. Его критика, адресованная Мырину, в такой же мере может быть отнесена и к Тарасову — та же концепция, то же вольное обращение с документами! И полное пренебрежение к естественному для историка-марксиста вопросу: кто выиграл от устранения Кетлинского?..

Веселаго... Звезгинцев... «Интеллидженс сервис»... а на конце зловещей цепочки — «двое в морской форме», быть может, переодетые, чтоб легче было свалить вину на матросов, а быть может, спровоцированные на убийство за бутылкой виски самими что ни есть бунтарскими, «архирреволюционными» разговорами...

Недавно в Мурманском партархиве, в воспоминаниях бывшего офицера коммуниста Бжезинского, я прочитала: во время встречи на Волжской флотилии Раскольников и Лариса Рейсер рассказали ему, что в январе 1918 года нарком по морским делам Дыбенко уже решил перевести Кетлинского к себе в наркомат — создавать советские военно-морские учебные заведения. Как много пользы он мог бы там принести! Но подлые выстрелы из-за угла опередили приказ наркома.

К красному флагу, укрывшему гроб адмирала, к скромному винтовочному залпу и мелодии «Вы жертвою пали» над его могилой я хочу присоединить вместо венка несколько добрых слов тех людей, которые знали его и работали с ним.

Петр Романович Болдырев, матрос, большевик с 1906 года:

«Кетлинский был преданным Революции. А к матросам относился с любовью, хорошо, и ко всем по-дружески; он был образованный и скромный человек, команда его любила. Он пользовался авторитетом среди всех окружающих и грубости от него не было, — он был новым для нас всех.

..Взаимоотношения адм. Кетлинского с Веселаго. Что может быть среди этих двух разных людей, один имел определенную цель, идею быть верным слугой народу и Революции, а другой настоящий ханжа... Адмирал Кетлинский, по-моему, ему в друзья не подходит по своим убеждениям, он отдавал свои знания, чистые стремления народу и Революции, за что и погиб, что любил и помогал и хотел помочь большим делом...»

П. И. Коваленко, матрос с «Аскольда», большевик, член Центромура и председатель Продфлота в 1917 году, а в 1920 году комиссар военного и торгового порта на Мурмане:

«У нас было впечатление, что Кетлинский искренне перешел на сторону Советской власти... Самохин заявлял так, что Кетлинский в связи с заявлением и по своим действиям честно перешел на сторону Советской власти, тогда как все остальные имеют у себя за пазухой кирпич. Остальным не верили, а Кетлинскому верили».

Степан Леонтьевич Самохин — в сообщении об убийстве Кетлинского:

«Убийство адмирала было полнейшей неожиданностью и произвело на нас слишком сильное впечатление, потому что все общественные организации слишком наделись на хорошие стороны адмирала, и его деятельность нам доказала ту громадную пользу для России и процветания Мурманского края, которую приносил адмирал. Все общественные организации смотрели на него не как на адмирала, а как на единственного нашего общего сотрудника для блага России. Частые слова адмирала были: не допустить на Мурман частных предпринимателей для использования богатств Мурманского края. Адмирал был ярким противником вторжения других капиталистов (и иностранных капиталистов). Его идея была: основать на общих артелях с помощью государственного кредита рыбопромышленность, звероводство и вообще оживить край и дать тем Родине источник новых средств. Тот богатый материал, собранный адмиралом по вопросу о дальнейшем значении Мурманска и его развития, свидетельствует о задачах покойного адмирала».

Ожил Мурманский край, на пользу народа широко разрабатываются его богатства, крупным городом стал Мурманск, а над могилой бывшего адмирала высятся корпуса Дома междурейсового отдыха моряков — с лекториумом и кинозалом, с библиотекой и плавательным бассейном. Пусть уверяют — перехоронили, для меня прах отца здесь. Здесь, где топочет, хохочет, травит матросскую небывальщину и, затихая, впитывает новое — из лекций, из книг, с экрана — бесшабашный, добрый и грешный, неунывающий моряцкий люд.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

На Карельском перешейке — ранняя весна. Еще бело вокруг от недавних метельных снегопадов, но высоченные сугробы, каких уже несколько зим не было, успели уплотниться, снизу засочились влагой, сверху отвердели. Солнце греет даже через облачную пелену. Птахи верещат на мокрых ветках. А с крыш и с подбалконных откосов вперебивку звенит, шлепает, долдонит победная, уже набравшая силу капель.

Сегодня, сбрасывая с летнего крыльца слежавшийся снег, нашла под ним половинку целлулоидного ослика Катюшки. Вот бы ее привезли сюда! Чтоб топала по оседающему насту, норовила ступить в лужу или нагнать воды в пробитую через двор канавку с неторопливым ручейком. И чтоб ни о чем не думать, а глядеть на этот крепенький побег жизни, на это сосредоточенное постижение мира — ей все внове: капель, лужа, щепка, застревающая на перекате, верещание птахи, мокрый блеск резиновых сапог...

Стариковское слово «бабушка» поначалу озадачило меня не меньше, чем «ветеран». Пока здорова, много работаешь и многое замышляешь — откуда взяться стариковскому самоощущению? А жизнь идет, бежит, вот уже две внучки у меня — Оленька, старшая, и Катюшка, совсем крохотный человек. Что ж, бабушка так бабушка, освоилась с этим понятием и открыла за ним тончайшую и мудрую поэзию — поэзию познания своего третьего поколения, сочных побегов от единого ствола. В них и сходство, и никакого сходства, сплав родного, знакомого с неведомо как и откуда взявшимся. Оленька — папина дочка, вплоть до белой прядки над лбом, до характерного движения глаз... а повторения не будет, уже проглядывает и не папино, и не мамино, и не мое — свое. Будет ли оно лучше или хуже, — свое, неповторимое. И Катюшка... все еще в зародыше, но пробивается характер с особенкой. Пока вроде народившейся сосенки, еще ни ствола, ни веточек, а выбился из-под слоя пожухлой хвои коротенький торчок, а на конце торчка растопырил мягкие иголки зеленый сквозной

шарик... Поди догадайся, что они ближайšie родственники — зеленый шарик и та сосна, что вознесла над ним корабельный ствол!

Ну почему бы не привезти ко мне Катюшку хоть на день?!

А все дело в том, что я устала. От кропотливости работы, от необходимости перечитывать неправду и опровергать ее, от самой задачи — точно следовать за документами. Трехмесячное путешествие в историю измотало куда больше, чем настоящее путешествие, даже если оно без передышек, от зари до зари, по жаре, по холоду, по бездорожью, воздухом, морем, как угодно...

И еще, сквозь усталость, чувство облегчения — выполнила давний долг.

Перед тем как вернуться к рукописям, надо бы денька три побродить по комаровским тающим, рыхлым дорогам, скалывать лед и стогнать воду по канавкам, подмерзающим ночью, а днем оживающим, искрящимся, болтающим невесть что. Возиться с внучками или говорить о том, о сем с вовремя приехавшим другом. И ни о чем не думать.

На днях повесили новый скворечник — и уже скворец и скворчиха носятся взад-вперед, обживают его. В старом скворечнике селились не скворцы и не синички, а небольшие серенькие пичуги, не знаю, как их именуют, но они появлялись ранней весной и первыми захватывали жилплощадь. Однажды скворцы пытались оттеснить молодую пару, те отчаянно выкликнули подмогу, прилетело пичуг десять той же масти, скворцы тоже кликнули своих, сражение шло по всем правилам воздушного боя, с виражами, атаками, заходами со стороны солнца... И ведь отстояли серенькие свой домок! Скворцы очень рассердились, в тот год, кажется, и на участок не залетали. Осенью старый скворечник сорвало ветром, а с ним вроде и права сереньких? Скворцы тут как тут, поют-заливаются с рассвета и до самых сумерек, даже изнутри своего домика голос подают.

И еще нынче к нам повадилась белка, смелая до отчаянности. Бегала прямо по двору, взлетала по стволу сосны, потрошила над нами шишки, потом, как воздушная гимнастка в длинном прыжке, перелетала с одной сосны на другую, там опять потрошила шишки — за зиму, наверно, проголодалась. Мы ей начали подкладывать под сосну шишки, орешки, хлеб. Утром глянешь — все подчистую! А это, оказывается, сорока повадилась. Джерри на белку не лаял, только подозрительно следил за ее передвижениями, а сорока уязвила его своим нахальством, подпустил ближе да ка-ак рывкнет... Белобоки и след простыл!

...Наша белка — трудяга, а вот играющих белок я наблюдала голько однажды, на Кавказе. Ездили мы компанией в Дамбай, в альпинистский лагерь «Наука», где гостей встречает симпатичная надпись: «Добро пожаловать! Мы рады всем честным и искренним людям!» Переночевали в палатке, утром пошли в горы, до первого ледника и до синего-пресинего, прелестного своей прозрачностью горного озера. Нас предупредили: держаться вместе, есть медведи. И надо же было, чтоб именно я увидела медведя! Всамделишного, грязнобурого, неряху из нерях. Он вышел на каменную площадку над склоном, мимо которого вилась тропа, и смотрел на нас то ли презрительно, то ли любопытно, во всяком случае, как мне показалось, без алчности. Я возбужденным шепотом оповестила спутников: «Медведь! Вон там! Смотрите же!» Но пока они разбирались, куда смотреть, медведь повернулся задом — зад был облезлый, шерсть свалялась, стерлась, весьма непривлекательно выглядела! — и неторопливо ушел. А меня подняли на смех: «У страха глаза велики!», «Да нет, писательское воображение!», «Новелла: встреча с медведем!» Очень по-

казалось обидно — медведь-то был! Зато на обратном пути, в машине, как только я увидела играющих белок, крикнула водителю: стоп! — и назад, спутникам: справа, самое толстое дерево!.. Да, две белки играли. Была ли то любовная игра или резвились малолетки, не знаю, но одна белка стремглав обегала объемистый ствол старого дерева, замирала на ветке и сверху насмешливо глядела черными глазками-пуговками на вторую. Вторая бросалась вдогонку тем же путем вокруг ствола, но первая, чуть помедлив, делала новый круг, забирая выше, и опять — головка набок — глядела с насмешкой. Остановившейся совсем близко машины она ничуть не испугалась, даже поглядывала на нас, будто приглашая порадоваться, как весело и ловко у нее получается. Зато вторая белка в азарте не замечала ничего — догнать бы!.. Так они прокрутились несколько раз вокруг ствола, пока их не скрыла густая листва кроны, но ветки покачивались то тут, то там — игра продолжалась, затем качнулась ветка соседнего дерева — озорница сиганула туда, мелькнул распушенный хвост догоняющей, и обе исчезли.

— Может, и белок не было? — спросила я своих спутников.

Как ни странно, белки убедили их в том, что был и медведь.

...Ну, ладно, сколько бы я ни внушала себе, что отдыхаю вовсю и начисто отвлеклась от работы... Все время берedit мысль: естественно ли войдет в структуру книги мое путешествие в историю? Что оно тут необходимо — знаю твердо. Но, быть может, следовало найти более свободную, повествовательную — более художественную форму? Тогда было бы интересней и доступней?.. Все так, но в споре нужна точность. И обстоятельность. Я и то, боясь перегрузки, выбирала главное, оставляя без ответа мелкие искажения фактов.

Но будет ли мое полемическое отступление интересно читателям? Может, оно важно только мне и тем, чье доброе имя я стараюсь защитить?..

Хожу по пустынной лесной дороге, суженной отвалами снега, посерединке между просевшими колеями, по которым бежит под уклон талая вода, дробя отражения облаков, неба, приклонившейся над дорогой березы... До шоссе и обратно, до шоссе и обратно... Интересно или нет? Личное или для всех? Как мало мы знаем — когда пишем! — что окажется интересным, что пройдет незамеченным, за что похвалят, за что отругают, какую будет судьба книги, долгая или короткая ей предстоит жизнь?..

Сомнения, сомнения... Только первую книжку пишешь с наивной убежденностью в том, что она необходима человечеству. А дальше, чем серьезней и осознанней работаешь, тем сильнее — с каждой новой книгой — неуверенность и тревожное ожидание первых, сотых, тысячных откликов... Как воспримут? Что и почему взволнует читателей? Получаешь письма — от незнакомых людей, из неведомых мест — и каждый конверт вскрываешь нетерпеливой рукой: что там? какие вопросы? какие ответные мысли?..

Сомнения, сомнения... И все-таки чутье говорит: пусть не всех читателей заинтересует эта моя книга — итоговая, разнородная, не сцепленная сквозным сюжетом... но те читатели, которым она придется по душе, примут и суховатое документальное отступление. Личное? Никакое оно не личное!

Только для меня история отца имеет личный оттенок, для любого другого человека, старого ли, молодого ли, его судьба — всего лишь малая частица большого явления на величайшем переломе общенародной истории.

В эти месяцы, проверяя свои представления о психологии и побуждениях отца, я читала разные воспоминания, исследования, выска-

звания о военных специалистах в революции, встречалась с людьми, которые могли дополнить прочитанное живым рассказом... Да, как бы ни были сильны классовые связи офицеров царской армии и флота со старым строем, эти связи далеко не всегда определяли их решения и поступки. Перед революцией в русском обществе, даже в его привилегированных слоях, скопилось столько возмущения прогнившим царизмом, столько горечи, стыда и отвращения, а бездарное руководство войной так ясно показало: долгие терпеть невозможно, — что наиболее вдумчивые и честные офицеры приняли революцию как избавление — от царя, от жандармского произвола, от казнокрадства и тупых сановников. Конечно, не все проявления революции их радовали, они опасались «крайностей», надеялись, что революция остановится «на полдороге»... Но революция неудержимо перерастала в социалистическую, никакой «середины» быть не могло, и очень скоро жизнь поставила вопрос ребром: с кем пойдешь? с народом, то есть с Советами, с большевиками, с солдатами и матросами — или с контрреволюцией?

«Одно я твердо знал, не сомневался в этом ни минуты: бороться против моего народа в рядах белых армий или, оставив Родину, не участвовать в ее защите я не могу» — так записал в своем дневнике генерал-лейтенант Е. А. Искрицкий. И пошел с народом, и командовал 7-й армией, оборонявшей Петроград от войск Юденича, где наверняка было немало его знакомых, товарищей по выпуску или по службе — немало людей его класса и его офицерской касты...

В те же дни по позициям белогвардейцев вел огонь с кораблей Балтфлота морской артиллерист, командующий эскадрой С. П. Ставицкий. Офицер царского флота, он с первых дней Октябрьской революции твердо встал на сторону Советской власти и оказал доброе влияние на многих молодых офицеров. Одним из первых был награжден боевым орденом Красного Знамени, много лет служил в советском флоте, читал морскую тактику и был заместителем начальника Военно-морской академии имени Ворошилова и уже в преклонных годах, консультантом, участвовал в Великой Отечественной войне.

Все ли, честно служившие народу в последующие годы, так ясно и твердо сразу принимали трудное решение? Нет, среди тех, кто презрел белогвардейщину и не захотел укрыться за границей, каждый проходил свой путь, каждый решал по-своему...

Генерал-лейтенант Д. П. Парский Октябрьскую революцию не принял, но и бороться с ней не пошел; человек уже пожилой, он отстранился от дел и, надо думать, не без мрачного скептицизма смотрел на развал старой армии и на усилия большевиков добиться мира; но когда после срыва Брестских переговоров немцы начали новое наступление, Парский сам пришел к начальнику штаба Красной Армии, бывшему генералу М. Д. Бонч-Бруевичу.

«Я мучительно и долго размышлял, — срывающимся голосом сказал он, — вправде я или не вправде сидеть сложа руки, когда немцы угрожают Питеру. Вы знаете, я далек от социализма, который проповедуют ваши большевики. Но я готов честно работать не только с ними, но с кем угодно, хоть с чертом и дьяволом, лишь бы спасти Россию от немецкого закабаления».

Генерала Парского назначили командующим Нарвским участком обороны. И тут, в живом общении со «страшными» большевиками, с совершенно новыми солдатами, знающими, почему и за что они готовы отдать жизнь, у бывшего воина началась переоценка ценностей, осознание глубокого смысла событий. Этот духовный процесс шел быстро, месяц стоил обычного года, а может быть и неделя — года?.. Во всяком случае, генерал Парский успешно командовал потом Се-

верным фронтом против белогвардейцев и интервентов, а затем, вплоть до своей смерти в 1921 году, был председателем комиссии по выработке Уставов Красной Армии.

«Как русский дворянин, я всегда готов защищать свою Родину!» — так ответил генерал В. Н. Егорьев в те же дни февральского наступления немецких армий, когда руководители формирующейся Красной Армии предложили ему участвовать в отражении врага. Он честно воевал и связал всю свою дальнейшую жизнь с Советскими Вооруженными Силами.

О нем рассказала мне Августа Ивановна, вдова другого Егорьева, Всеволода Евгеньевича, адмирала. Милая, на редкость подвижная для своих лет («Мне восемьдесят восемь, но я из кокетства говорю, что девяносто!»), она охотно приняла меня, предупредив, что в два часа должна будет уйти... на партийное собрание. Да, она член партии с 1939 года и активная деятельница Дома ученых.

— Ваш муж тоже стал членом партии?

— Нет. В 1941 году он настаивал, чтобы его пустили на фронт, и тогда же написал заявление о приеме в партию, но его не пропустили и вместе с академией эвакуировали в тыл. А вступить в партию — военному! — в тылу Всеволод Евгеньевич считал неудобным.

Я много слышала об адмирале Егорьеве, моряке и ученом, человеке большой скромности и деликатности. В 1917 году, в чине капитана 1-го ранга, он работал в Главном морском штабе и был уже представлен к производству в контр-адмиралы. После Октября он стал начальником Главного морского штаба, потом читал в Военно-морской академии тот самый курс лекций об иностранных флотах, который начинал мой отец, создал кафедру по этому предмету и много лет руководил ею. Был морским представителем советской делегации в Женеве, в комиссии по разоружению. В течение десяти лет был главным редактором «Морского сборника», весьма солидного и авторитетного издания. Скончался он в 1967 году. К его вдове, счастливо прожившей с ним более полувека, меня привело желание узнать и понять, как он, офицер, достигший до революции высокого положения, душевно пришел к служению другому классу. Или он уже тогда разделял большевистские взгляды?

— Нет, конечно! — воскликнула Августа Ивановна. — Но он был хорошим человеком и у него всегда были дружелюбные отношения с матросами, он был тесно связан с Балтийским флотом, знал там очень многих, а Балтийский флот ведь был большевистский! И муж как-то чувствовал правоту матросов, их нужды... А когда произошел Октябрьский переворот, Дыбенко сам обратился к Всеволоду Евгеньевичу: «Моряки вас знают и уважают, прошу вас работать с нами». И муж согласился. Комиссаром морского Генштаба была Лариса Рейснер, вы, наверно, слышали о ней? — дочь известного профессора. Они много беседовали, муж часто бывал у нее. И тогда уж начал читать и Ленина и Маркса...

— И вы тоже?

— Конечно.

Я расспрашивала ее о некоторых видных моряках, которых она могла знать. Приходилось ли ей встречать контр-адмирала Альфатера, который одно время командовал Морскими Силами республики?

— Василия Михайловича? Ну как же! Он был флагманским штурманом Балтфлота, а потом вместе с мужем работал в штабе. Его отец был известным артиллерийским генералом. А вы знаете, что Василий Михайлович во время Брестских переговоров был в составе советской делегации?

О некоторых моряках она рассказывала подробно, по-современному оценивая их вклад в развитие советского флота, об иных восклидала, улыбаясь далеким воспоминаниям: «Ну как же, мы встречались на балах! Он прекрасно танцевал!» Я слушала ее живой голос, наблюдала, с какой нестарческой экспансивностью она перебирает старые фотографии, вскакивает, чтобы показать мне книгу мемуаров или что-то уточнить по телефону со своей давней приятельницей... и вспоминала свою мать: если бы не блокада, маме было бы примерно столько же лет, она держалась бы так же экспансивно и бодро — здоровье у нее было отменное — и так же мило, немного забавно сплетались бы в ее облике и манерах как бы две женщины разных эпох — сегодняшняя, педагог и пылкая общественница, и та давняя, светская, что, рассказывая о военных днях Порт-Артура, говорила: «Мы, морские дамы», — а про знаменитого флотоводца: «О, такой веселый, такой дамский угодник!»

Целый мир сложившихся понятий, привычек, родственных связей стоял за каждым человеком старого мира, шагнувшим в мир новый. И сегодня, спустя полвека, по-человечески интересно вдуматься в сложность такого шага.

А. И. Верховский, полковник старой армии, а затем советский комкор, оставил нам книгу воспоминаний «На трудном перевале». Очень интересная книга! Верховский писал ее через пятнадцать—двадцать лет после предреволюционных и революционных событий, свидетелем и участником которых он был, поэтому он не только оценивает их с точки зрения своего жизненного опыта и установившихся убеждений, но и рассматривает самого себя тогдашнего, свои поступки и побуждения, иллюзии и ошибки. «Таких людей, как я, в то время было много», — пишет он. И это правда.

Военный по семейной традиции и воспитанию, учившийся в таком привилегированном корпусе, как Пажеский, 9 января 1905 года Верховский резко осудил кровавую расправу с рабочими, за что был разжалован в рядовые и отправлен в Маньчжурию, в Действующую армию... но там, отличившись в стычке с японцами, получил солдатского «георгия» и был произведен в офицеры, после чего верой и правдой служил царскому строю, пока в боях первой мировой войны не почувствовал трагедию народа и не увидел бесталанность, продажность и самодурство «верхов»... Он принял Февральскую революцию как избавление — и все же хотел, чтобы народ продолжал воевать до победы за чуждые ему цели. Он верил в необходимость сотрудничества классов и единения солдат и офицеров — и своей работой в Севастопольском Совете, а потом на посту командующего Московским военным округом помогал колчакам и керенским, милоковым и рябушинским сохранять власть. Поняв осенью 1917 года, что контрреволюция выдвигает в диктаторы своего кумира — генерала Корнилова («человека с сердцем льва, но умом барана») и что вокруг корниловской авантюры спланируются все антинародные силы, Верховский ужаснулся и резко выступил против корниловщины, готовясь двинуть против восставших войска округа... («В корниловские дни я оказался выброшенным из своего класса», — с горечью написал он.) А через несколько дней согласился стать военным министром Временного правительства, хотя было нетрудно догадаться, что Керенскому это понадобилось только для того, чтобы выдвижением антикорниловца создать впечатление своей непричастности к контрреволюционному заговору.

Признаюсь, раньше я не слыхала о Верховском и заинтересовалась им, перечитывая предоктябрьские статьи и письма Ленина. 24 октября 1917 года в знаменитом «Письме членам ЦК», где Влади-

мир Ильич писал, что нужно немедленно, сегодня же вечером взять власть, дважды упоминается Верховский. «Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя». И дальше: «Цена взятия власти тотчас: защита народа... от корниловского правительства, которое прогнало Верховского...» Что за Верховский и почему его прогнали?

Оказывается, новый военный министр выступил в «предпарламенте», созванном Керенским для создания видимости демократии, и неожиданно для всех заявил, что армия дольше воевать не может, тяга к миру непреодолима и поэтому нужно немедленно заключить мир с Германией, даже если союзники на это не согласятся. Временное правительство «уволвило» непокорного министра и предложило ему немедленно покинуть столицу.

Но через несколько дней, когда большевики взяли власть и прогнали всех керенских и корниловых, Верховский не принял Октябрьской революции и вскоре связался с эсеровским подпольем, наивно полагая, что эсеры борются за настоящую демократию. Через несколько месяцев он с отчаянием понял, что народ не поддержит эсеров, что массы идут за большевиками, а он сам бредет «в тумане без компаса». Порвать связи с подпольем помог арест.

На допрос его привели к Ф. Э. Дзержинскому. Пожалуй, это и не назовешь допросом. Большую, интересную беседу, подробно записанную Верховским, пересказывать не берусь, ее надо прочитать всю, от начала до конца. Отмечу лишь, что Дзержинский сказал: «Вы потом будете меня благодарить за то, что я вас арестовал и тем уберег от глупостей, которым вы и сами потом не нашли бы оправдания». Он спросил напрямик: «Почему вы не пошли с нами после Октября? Ведь мы провели в жизнь то, из-за чего вы боролись и почему разорвали с Керенским?» Выложив все, что его не устраивало в политике большевиков, Верховский сделал горькое признание: «Я не могу идти ни с белыми, ни с вами. Я остался между двух баррикад и не вижу пути».

Терпеливо, не торопясь, «как учитель непонятливому ученику», объяснял Дзержинский ошибки сидевшего перед ним эсера-подпольщика. Рыцарь революции и карающий меч ее, Дзержинский чувствовал, что тут нужно не карать, а врачевать душу. И он сказал задумчиво: «На каком-то этапе развития революции люди, подобные вам, должны будут прийти к нам».

Он был прав. Менее чем через год Верховский уже служил в Красной Армии — сперва в штабе Петроградского военного округа, потом на Восточном фронте, а затем много лет преподавал тактику в Военной академии и издал ряд книг, по которым учились будущие красные командиры. В 1922 году в качестве военного эксперта ездил с советской делегацией на Генуэзскую конференцию. Скончался он в 1941 году, после его смерти сын нашел и предложил Воениздату рукопись его воспоминаний...

Много лет назад один мой товарищ привез из Парижа книгу русского писателя, заплутавшегося в белоэмиграции. Я любила тонкий талант этого художника и поэтому с печалью и наслаждением читала написанные им вдали от родины маленькие рассказы и зарисовки — трепетные воспоминания о ее людях, ее природе, ее ушедшем быте... Она была вне времени, эта небольшая книжка, будто не прошумели над Россией ни революция, ни гражданская война, ни азартное вдохновение первых новостроек. И вдруг... какой-то чужеродный, тусклый рассказ о беспутном офицеришке, нечистом на руку, выгнанном из полка за шулерство, а в конце как удар хлыста: теперь этот офицеришка — один из руководителей Красной Армии. «Что это? — дума-

ла я, перечитывая рассказ, в котором так выпукло выступала заданность.— Ревнивая злоба? Самоутешение? Плод дезинформации?..»

Не хочу называть имени писателя, потому что знаю — к концу жизни он по-иному относился к Советскому государству и к Советской Армии. А вспомнился мне этот мелкий, недостойный выпад потому, что все наши враги, а белогвардейские отщепенцы в особенности, яростно старались запятнать имена русских офицеров, ставших на сторону революции, изобразить их побуждения низменными, а количество — ничтожным. Но мы, строители нового мира, мы не имеем права отдать на поругание их имена, не можем принижать сделанное ими и забывать их мужество, потому что и в этом тоже — мощная сила революционных идей и революционного действия, соединенных с мощной силой русского патриотизма.

Клевета страшна тем, что она маскируется под достоверность. Читая «дневник» мурманского предателя Веселаго, я не верила его намекам на согласие с ним Кетлинского, потому что знала доподлинно правду, но и я поначалу поверила ему, что в Главном морском штабе его предательство получило благословение одного из руководителей — Е. А. Беренса. В моем воображении уже возникла довольно стройная картина заговора. Но, изучая материалы того времени, я увидела, что стройная картина распадается... стала разуживать, какова же была дальнейшая судьба Евгения Андреевича Беренса? И что же оказалось? Клеветал Веселаго! Честно работал Е. А. Беренс в Советских Вооруженных Силах, отражавших натиск интервентов и белогвардейцев (включая Веселаго!), был советским военно-морским атташе в Англии, был советским экспертом на многих международных конференциях...

А сколько клеветали белогвардейцы на полковника А. А. Игнатьева, впоследствии широко известного у нас автора книги «Пятьдесят лет в строю»! Представитель наиболее высокопоставленного дворянства, помещик, граф, во время первой мировой войны — военный атташе царского правительства во Франции, Игнатьев после Октябрьской революции отвергал одну за другой все попытки втянуть его в войну против своего народа. Нажим на него был тем сильнее, что на его имя во французских банках лежали огромные суммы государственных денег для закупок вооружения и боеприпасов — в общей сложности свыше двухсот миллионов франков. Игнатьев проявил немалую изобретательность, чтобы уберечь эти русские милионы и от белогвардейских «правителей», и от французских поползновений забрать их «в счет царских долгов»... («Часовой у денежного ящика» — так он сам себя назвал.) Ему было тяжелей, чем офицерам, пошедшим служить в Красную Армию, — в Париже он был один и вне связи с новой, советской родиной. Его клеймили эмигрантские газеты, бывшие друзья не подавали ему руки, собственная его семья, собравшаяся в Париже (в том числе его родная мать), постановила исключить его из состава семьи и запретила ему прийти на похороны любимого брата... Он впал в бедность, переехал с женой в пригород, стал разводить и продавать шампиньоны, чтобы прокормиться, но дождался приезда во Францию первого советского полпреда Л. Б. Красина, чтобы отдать родине то, что ей принадлежит. Некоторое время он работал в нашем торгпредстве, затем получил советский паспорт, вернулся на родину, был зачислен в ряды Советской Армии... Свою книгу он посвятил советской молодежи.

Прослеживаешь такие судьбы — и думаешь о том, что душевный мир человека не однозначен, а бесконечно сложен. Кроме впитавшихся с детства интересов и традиций класса (и часто вопреки им), существуют такие чувства, как любовь к родине, честь, благородство, презрение к измене и корысти, наконец, способность увлечься вели-

кими идеалами. И есть у человека мысль, позволяющая ему осознать ход истории, подняться над классовыми перегородками, сделать свой личный выбор.

Еще весной 1917 года, в Севастополе, на бурном офицерском собрании, где часть офицеров непримиримо возражала против контактов с Советами и матросскими комитетами, с осуждением их «глупой борьбы» выступил старый генерал Николаев:

«Мы много говорили о родине. Но что же такое родина? Родина — это наш народ. Это наши солдаты и матросы. Народ сейчас вышел строить свою новую жизнь. И мы должны быть с ним в эту трудную минуту... Хотя бы нам и было это тяжело. Я не знаю толком, что такое социализм, но, по-видимому, это именно то, что нужно народу... Я остаюсь с народом...»

Запись его речи я нашла в книге Верховского и там же прочла, что Дзержинский назвал генерала Николаева в числе тех старых офицеров, что идут с большевиками. А несколькими страницами дальше с грустью узнала конец этого отличного человека: командуя красноармейской бригадой, генерал Николаев был захвачен белыми. Ему предложили перейти в белую армию. «Он ответил, что вступил в Красную Армию потому, что поверил в правоту Советской власти, и будет бороться за коммунизм». И тогда белогвардейцы расстреляли его.

Склонив голову перед его светлой памятью, я хочу привести слова Маршала Советского Союза Г. К. Жукова:

«Вспоминая совместную работу с офицерами старой армии, должен сказать, что в большинстве своем это были честные, добросовестные и преданные Родине сыны нашего народа. Когда приходилось отдавать жизнь в боях с врагами, они падали, не дрогнув, с достоинством и боевой доблестью».

Да, наш русский народ, самоотверженный и размашистый, чуждый расчетливости и мещанской ограниченности, одаренный выносливостью и подвижничеством, — русский народ во все времена выделял и из среды своей военной интеллигенции лучших, способных на душевный взлет и подвиг. От декабристов до лейтенанта Шмидта и еще ближе к нашему времени — до заслуженного генерала Д. М. Карбышева, советского военачальника, замученного гитлеровцами в лагере смерти Маутхаузен; струями воды на морозе в ледяной столб превратили его фашистские изуверы за отказ изменить советской родине...

В нашей истории и в памяти народной сияют имена первых советских полководцев — Фрунзе и Чапаев, Буденный и Ворошилов, Блюхер и Щорс, Гай, Киквидзе, Тухачевский, Белов... Рядом с ними по праву стоят в списке организаторов победы над белогвардейщиной и интервентами имена тех офицеров старой армии и флота, что отдали свои знания и опыт Вооруженным Силам революции, — А. И. Егоров, М. Д. Бонч-Бруевич, А. И. Корк, Б. М. Шапошников, И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Э. С. Панцержанский, И. С. Исаков...

Время неумолимо, смена поколений естественна. В боях Великой Отечественной войны выдвинулась новая плеяда талантливых полководцев, большинство из них получило первую воинскую закалку на войне гражданской, бойцами или рядовыми командирами, а свои военные знания — в первых советских военных академиях. Один из них, Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, вспоминает:

«Создавали новую академию так. Реввоенсовет вызвал бывшего генерал-лейтенанта Антония Карловича Климовича из города Козлова, где он был уездным военруком, дал ему в качестве управделами будущей академии бывшего генерал-майора А. А. Яковлева и назначил комиссарами старых большевиков Эмилия Ивановича Козловско-

го и Владимира Николаевича Залежского. С этого момента и начало формироваться в Москве высшее военно-учебное заведение общевойскового типа с генштабовским уклоном...»

Тогда же были созданы и другие академии — Военно-инженерная, Артиллерийская, Военно-морская, Военно-политическая, Военно-медицинская... Кроме того, действовало около двухсот различных командных курсов. Военные науки преподавали старые военные специалисты — новые еще сами учились. За три года в труднейших условиях гражданской войны было подготовлено около сорока тысяч красных командиров¹. И, вероятно, каждый из них вспоминал добрым словом кого-то из своих учителей.

И еще немного статистики — для точности.

До лета 1918 года добровольно вступили в Красную Армию 8 000 бывших офицеров (в основном в чинах от прапорщика до капитана). После ленинского декрета от 29 июля 1918 года о призыве бывших офицеров, к осени 1918 года было призвано 10 000, к концу 1918 года — 22 315, к октябрю 1919 года — 35 502, к августу 1920 года — 48 409 бывших офицеров.

Доктор исторических наук Л. Спирин², приводя эти цифры, рассматривает отдельно вопрос о наиболее квалифицированной части военных специалистов, то есть окончивших академию Генерального штаба. К осени 1917 года насчитывалось около 1350 офицеров Генштаба, в том числе около 500 генералов и 580 полковников и подполковников.

До лета 1918 года добровольно вступили в Красную Армию 98 офицеров Генштаба, осенью 1918 года их численность в Советских Вооруженных Силах уже 526 человек, в том числе 160 генералов и 200 полковников и подполковников...

Все ли они принимали решение по совести, искренне встав в ряды борцов революции? Нет, не все. Бывало вредительство, измены, перебежки к белым. Каждый такой случай был тяжел, потому что сама борьба Красной Армии была крайне тяжелой и неравной. Но случаев этих было немного.

«Десятки специалистов, оказавшихся изменниками, выброшены нами из рядов Красной Армии, а тысячи, десятки тысяч военных специалистов, честно исполняющих свои обязанности, остаются в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии» (В. И. Ленин).

Вспомним, что каждый из них шагнул за пределы своего класса. И мы увидим, что из десятков тысяч отдельных мужественных решений, отдельных круто повернутых судеб сложилось большое и отрадное явление на величайшем переломе народной истории.

И еще я думаю о комиссарах.

Их было сотни — закаленных большевиков, политически опытных, знающих, и десятки тысяч — молодых, неопытных, сильных лишь своей беззаветной преданностью революции.

Я думаю о них, таких разных, и вижу перед собою одного и того же человека — крупного, кряжистого матроса с кудрявой головой и серьезным лицом, с насупленными густыми бровями, из-под которых светло сияли глаза, умные и внимательные, всегда будто разглядывающие что-то и взвешивающие...

Недавно, просматривая книжки журнала «Север», я прочла там воспоминания одного из комиссаров гражданской войны, С. Кучеро-

¹ См. «Военно-исторический журнал» № 11 за 1967 год, статья В. Домникова «Великий Октябрь и создание советских военных кадров».

² См. «Военно-исторический журнал» № 4 за 1965 год, статья «В. И. Ленин и создание советских командных кадров».

ва. Нет, он совсем не был похож на Самохина ни возрастом, ни опытом — да и велик ли политический и житейский опыт в девятнадцать лет?! Но на Северном фронте, отражавшем наступление англо-американо-белогвардейских полчищ, очень не хватало людей, в штабе армии пришлось срочно снять неудачного комиссара, и взамен его за отсутствием более зрелых работников назначили молодого большевика Кучерова, разведчика, питерца. О своем предшественнике Кучеров знал только, что он был немолод и с бородой. А работать предстояло с бывшим царским полковником Н. Н. Петиным... В своих воспоминаниях Кучеров называет полковника Петина обаятельнейшим человеком и совершенным художником штабной работы, при котором «штаб армии заработал, как часы». Но этот полковник, нелегким путем пришедший в Красную Армию и понимавший, «что не имеет оснований рассчитывать на полное доверие», а потому принявший как должное, что к нему приставят комиссара... этот полковник донельзя оскорбился, когда увидел безусого мальчишку, — вплоть до отказа от службы.

Командующий армией генерал А. А. Самойло, с первых дней Октябрьской революции сознательно ставший на сторону большевиков, с трудом уговорил Петина, да и то с условием — если не подойдет, заменим комиссара.

«Поначалу как-то не очень хорошо у нас получалось, — пишет Кучеров, — все присматривались да «принюхивались» друг к другу. Я к нему в душу нарочито не лез. Дождался, когда он сам стал заговаривать со мной, интересуясь, как я в такие молодые годы стал убежденным большевиком. Я отвечал: если у вас у самого не поднялась рука против трудового народа нашей родины, то, поварившись... в заводском котле питерских рабочих, вы, наверно, также стали бы большевиком...»

Сработались они прекрасно, Кучеров гордился тем, что военное мастерство полковника Петина было замечено Главным штабом Красной Армии и Петина назначили на крупную должность начальника штаба Западного фронта.

«Прощание было трогательным. Хорошее чувство возникало у меня, когда доводилось слышать об успехах Николая Николаевича по службе, и особенно было приятно узнать, что он в 1931 году стал членом Коммунистической партии».

Какие крупницы политических знаний, веры, какие начальные толчки ищущей мысли получил пожилой военспец от своего безусого комиссара?..

Комиссары гражданской войны, всегда напряженные, настороженные, за все отвечающие своей головой...

И все же, думая о них, таких разных, я всегда вижу их в облике Степана Леонтьевича Самохина, хотя, строго говоря, он и не занимал должности комиссара. Уж очень прочно соединялись в нем самые главные качества, прославившие наших комиссаров.

И это ведь тоже явление — совершенно исключительное в истории.

На моем столе тесно. Книжки, книги, исторические журналы и сборники, до отказа набитые папки, выписки, черновики... Ох, задала я себе работу!

Теперь — книги по местам, то, что взято у друзей или в библиотеках, отложить и вернуть, папки с документами связать и запихнуть обратно в шкаф, ненужные бумаги — в печку!

Расчищаю свое рабочее место и вспоминаю... нет, это не отступление в прошлое, наоборот — возвращение в самую что ни на есть современность. Уже не впервые за последние три месяца вспоминаю извест-

ного ученого, чье имя не решаюсь назвать, потому что не испросила его согласия, да он, вероятно, и не дал бы его. Познакомились мы на берегу моря, где он отдыхал в компании нескольких своих аспирантов. Аспиранты говорили, что он «в науке отдыха тоже профессор» — действительно, изобретателен и неутомим: то затеет длительный поход с ночевкой у костра, то устроит автомобильную поездку по побережью, то потащит нас к рыбакам за ставридой свежего копчения... У него было как бы две внешности. Когда он серьезнел и «уходил в себя», был очень немолод, лицо серое, худое и, пожалуй, болезненное, взгляд темно-серых глаз — в одну точку, вокруг небольшой лысины свисают редкие полуседы волосы, на ветру они мотаются космами; когда он задумывался, не любил, чтоб окликали, и с трудом «возвращался». Но в походах, на теннисной площадке, на море (он был отличным пловцом), в дружеском застолье и в интересной беседе он до неузнаваемости молодел — весельчак, балагур и выдумщик, — смеялся искренне каким-то особым, внутренним, беззвучным смехом, лицо его и лысинка от смеха розовели, а глаза делались голубенькие, детские. Однажды я сказала его ученикам, что им здорово повезло с шефом.

— Вообще-то повезло... — протянул один; и вдруг все загалдели:

— Это он на отдыхе такой!

— Вы попробуйте ему спецпредмет сдать, тогда узнаете!

— Крикун и самодур каких мало!

— Статейку в полстраницы — и то трижды переписываешь!

— Если похвалит, все равно придумает «небольшую доделочку», а с его «доделочкой» — несколько месяцев вкалывать без передышки!

— У него опубликоваться или защититься — поседешь!

В итоге было сказано, что дядька, конечно, ничего, хотя и «тигр».

Однажды, уже в Ленинграде, я спросила его, действительно ли он у себя в лаборатории такой «тигр». Он беззвучно засмеялся, порозовел, и глаза стали голубенькие, детские.

— Накапали уже? А что крикун, самодур, прицепа — не сказали?

— Что-то вроде... Но на вас как-то не похоже.

— Не похоже, — согласился он с улыбкой. — А что делать? (Я молчала, потому что ответить мог только он сам.) Помните девиз Маркса: «Подвергай все сомнению!» Это ж не о любви Женни фон Вестфален — о науке! Скоропалительные выводы, готовые концепции, заученные формулы... страшная штука! Сколько ерунды нагромождено людьми, не имевшими смелости подвергать сомнению общепринятое и проверить то, что выглядит несомненным! Наша наука называется точной, но ведь и эксперимент можно подогнать под готовенькое или под воображаемое. И не от подлости, а от желания увидеть именно такой результат. А уж если не терпится поскорей опубликоваться или «остепениться»!..

Он взял сигарету, покрутил ее, чиркнул спичкой и, полюбовавшись маленьким треугольником пламени, задул его, а сигарету отложил. Бросая курить, он проявлял завидную выдержку.

— Пришел ко мне по распределению новый аспирант, — заговорил он так, будто и в этом рассказе что-то преодолевал. — Вижу — тает от уважения и смотрит на меня как на классика. Я и пошутил. Даю ему свою самую толстую книжищу и говорю: «Между прочим, в ней есть три ошибки. Найдете их, поверю, что выйдет из вас ученый».

— Ну и...

— Полгода проходит, восемь месяцев проходит... И вдруг является, стервец, да еще с виноватой мордой: «Не будет из меня толку! Одну ошибку нашел, а остальные две — никак!» Схватился я, проверяю, перепроверяю, всю лабораторию заматал, действительно ошибка!

— Да-да... Но он же не знал, что вы ее не заметили?

— Не знал, да узнал. До того отвратительно я себя чувствовал... но пришлось сказать. И всем моим парням тоже — в назидание. Теперь этот стервец кандидатскую кончает под моим просвещенным руководством и с убедительным доказательством моей ошибки. Как говорится, все правильно.

Он усмехнулся, но глаза глядели в сторону.

— Тем более не понимаю, почему же тигр?

— Из-за вас, писателей,— не задумываясь ответил он и засмеялся своим беззвучным смехом, отчего порозовело лицо и лысинка, а глаза опять поголубели.— Писатели соорудили тип ученого-чудака: все забывает, все теряет, кричит, ворчит, юродствует, а в перерыве между анекдотами — гений. И ведь убедили читателей! Впрочем, не вы одни, еще мемуаристы-вспоминатели подбавили. Забраться в глубины научной мысли трудно и читатели не поймут, дело специальное. А наворотить всяких-разных случаев — и доходчиво и образ «отеплен». Ах-ах, как забавно, академик такой-то, уходя из дому, оставил для приятеля на двери записку, что вернется через час, а когда вернулся, прочитал записку и стал прогуливаться возле дома, ожидая самого себя. Ах-ах, все они немного чокнутые, эти мудрецы!

— И все же — почему тигр?

Он приблизил ко мне розовеющее лицо и заговорщицки прошептал:

— Придуриваюсь.

Гляжу на него — глаза-то голубенькие, а смотрят серьезно.

— Легче, понимаете? Сочувствую я им — у того мать на иждивении, у другого ребенок родился, кандидатская ставка ой как пригодится, да и открытый от аспиранта не требуют. Иной думает — абы защититься, а там уж развернусь! Врет. Если хоть раз схалтурил — не развернется! Спорить долго и скучно, народ упрямый, дружок в соседней лаборатории уже диссертацию накропал, шеф там добряк и план по аспирантуре выполняет тютелька в тютельку... Что ж, объяснить ему, что добряк своим подопечным хуже врага? Неэтично. А я покричу, поворчу, носом его потыкаю — тут плохо, там слабо, сделай еще то и это, перепиши, проверь, выверни наизнанку и опять проверь, без этого не проходи! Пошумишь и — с головой в собственную работу. Подойти он боится, послушаться — так я ж руководитель, без меня и статейку в журнал не тиснешь! Ну и делает все, что я велел, сперва злится, потом и сам видит, что на пользу. Приходят ко мне сосунки, а я должен за три года приучить их самостоятельно мыслить, вырваться из плена готовых концепций, без нажима осмысливать факты... Научу — будет ученый. Не научу — пшик со степенью.

...Но ведь это в любой науке — самое главное?..

.

...А белые ночи — рядом. Четвертый час пополуночи, еще темно, но восточный край неба зеленоват и словно набухает предчувствием света. Тихо, но еле слышное шевеление начинается в оживающих ветвях берез и ольхи, густо растущих по склону оврага, — кто-то маленький шебуршится там, борясь со сном и медля начинать трудовой день, но властный инстинкт любви побеждает, и вот уже в тишине раздается первый короткий сигнал побудки. Или это проба голоса? Минута выжидания — и второй сигнал, уже длинней и победней, голос выводит звучную руладу: Еще минута, две — и откуда-то сбоку другой голосок откликается, сначала тоже коротко, неуверенно, потом, окончательно пробудясь, выводит во всю мощь молодости веселую трель.

Стою на балконе, завернувшись в пальто. Зябко — а не уйти. Что же наши-то скворушки, засони, по молодости пригрелись друг возле подружки и не слышат лесного будильника?.. Нет, услышали. Но расставаться с теплым домком не хочется, свежий голосок подается в круглое отверстие входа: «Доброе утро!» Им отвечают из рощи: «Пора-пора-пора за работу!» Кто-то сомневается: «Не рано ли? Не рано ли?» Кто-то настаивает: «В самый раз! В самый раз!» Переключка ширится, все новые голоса вступают в нее, но я что-то не вижу, чтобы хоть одна пичуга вылетела на весеннюю строительную работу, они еще нежатся в ожидании света, и когда я ухожу с балкона, наши скворушки-молодожены по-прежнему подают голос изнутри своего жилья: «Хо-лод-но, хо-лод-но, по-по-по-пожддем!»

Подхожу к своему рабочему столу; он чист и призывен, на нем всего одна папка — с новыми рассыпушками. Новый этап работы всегда насыщен внутренней торжественностью. Завтра начну...

Засыпаю в сумраке, пронизанном зачинающимся восходом, под ширящиеся птичьи переговоры. Завтра! Нет, уже сегодня.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЮНОСТЬ

Карелия. Озера, озера, озера... Круглые, словно их вычертили циркулем, вытянутые языком на многие версты, причудливо изогнутые... И реки, речки, речушки, все быстрые, порожистые, мчащиеся среди огромных ледниковых валунов и острых скал, среди темных еловых лесов и прозрачных сосновых. После кольской тундры и низкорослых мурманских березок карельские леса ошеломляли: уж больно могучи ели, уж очень высоки сосны, недаром именно в этих местах рубил Петр Первый свои боевые лады...

Петрозаводск, столица края. Продуваемый насквозь онежскими вольными ветрами, город зацепился за гору и всеми своими улицами и улочками устремился к берегу Онеги, — на какую улицу ни приди, в конце ее встанет серо-голубое сияние озера, а если свернешь на улицу поперечную, она приведет к скачущей по камням Лососинке, еще и не видна река за горбом высокого берега, а уже слышно, как она рокошет, ворчит, швыряется камешками об упористые валуны.

Я вижу город не сегодняшним, а таким, каким увидела тогда, разыскивая неизвестную улицу Гоголя, где сняла комнату мама, — пеший путь от вокзала был долог, перехваченные ремнем чемодан и портплед оттягивали плечо, улица двухэтажных и одноэтажных деревянных домов с палисадниками шла круто вниз и замыкалась слепащей белизной еще скованного льдом озера, а в палисадниках местами уже пробивалась травка, и солнышко припекало, и весенние запахи шли от набухшей земли, от оживающих деревьев. Встречные люди охотно объясняли: надо пройти во-он до того перекрестка, свернуть налево и идти до губернаторского дома, сами увидите, круглая площадь с каменными домами, а уж за площадью, напротив Онежского завода, будет улица Гоголя... И точно — за круглой площадью, образованной двумя полукружиями каменных домов с белыми колоннами, сразу появились корпуса Онежского завода, но уже за крутыми берегами по-весеннему полноводной и звонкой Лососинки. Слева крутой скат отступал от реки, образуя широкую котловину, над которой тянулся бульвар вдоль строя деревянных же, но более представительных домов проспекта Карла Маркса, а направо, за поворотом, улица Гоголя начиналась длинным глухим забором губерна-

торского сада, и надо было еще идти и идти, перекинув ношу на другое плечо, пока дотопаешь до первых домиков...

Совершенно не помню, как мы встретились с мамой и сестрой. Вижу себя уже отмытой с дороги, накормленной и обогретой маминной заботой, — наспех накинув продувное пальтишко, полученное в Мурманске по ордеру, в стоптанных мальчиговых ботинках, полученных там же, я вприпрыжку бегу вниз по улице Гоголя назад, к губернаторскому дому, где помещается комсомол, для верности сжимая в кулаке комсомольский билет и листок, определяющий мою судьбу — «в распоряжение Губкомола»...

В губернаторском доме

Все было внове, все неожиданно, будто машина времени перенесла меня в какие-то другие годы. После взбудораженного освобождением, живущего в лихорадочном темпе Мурманска с его начальным, революционным аскетизмом и неустроенным бытом, о чем никто не думал и считал постыдным думать, — устоявшаяся жизнь провинциального городка, обывательские домики с огородами и с сараюшками, где блеют козы... Комсомольская страница в местной газете «Коммуна» то и дело бойким пером Вити Клишко вытаскивала «за ушко да на солнышко» несознательных хозяек — выпускают своих коз на подножный корм и привязывают их к деревьям на проспекте Карла Маркса!

В обширном каменном доме с колоннами, где когда-то помещались «присутственные места» и откуда в конце XVIII века управлял губернией первый олонецкий губернатор, крупный сановник и еще более крупный русский поэт Гавриил Державин, — в этом строгом доме помещались все губернские, уездные и городские партийные и комсомольские комитеты. В первом этаже, прорезанном из конца в конец длинным полутемным коридором, несколько комнат, в том числе большую, «залу», занимал комсомол, и еще во власти комсомола был огромный тенистый губернаторский сад, где с началом теплых дней сосредоточивалась вся жизнь молодежи — тут обсуждали и дела и веселые затеи, тут завязывались и рушились любовные отношения, тут ссорились и мирились, играли в лапту, спорили, пели, а случалось, и заседали, если заседание было немногочленным.

Меня сразу же направили — ни больше ни меньше! — ответственным секретарем городской комсомольской организации (до сих пор не понимаю, почему не нашли кого-либо постарше!). На первом же общем собрании мы решили провести воскресник по очистке нашего сада, и я начала готовить воскресник — не так легко было в то время достать нужное количество лопат и грабель, всех известить, всем дать работу и организовать ее так, чтоб никто не болтался неприкаянным. Поначалу меня рассердило, что Володя Богданов, казавшийся мне совсем взрослым и даже немолодым (ему было года двадцать три!), явился на воскресник с оркестром — отлынивает от работы?! Но оркестр, созданный и руководимый Володей, оказался кстати — под музыку работа шла веселей, а когда надо было помочь, ребята охотно откладывали свои балалайки и мандолины. Но затем оркестр заиграл вальс, и часть работающих, побросав грабли и лопаты, принялась танцевать на только что расчищенной аллее, причем пары возникли мгновенно, кто с кем — ни для кого, кроме меня, не составляло секрета. Я стояла в сторонке, растерянная и обиженная, — что же это такое? И работа не кончена...

— А бедный гадкий утенок один? — раздался рядом веселый голос.

По растрепанной пышной шевелюре я узнала Льва Гершановича, заместителя редактора «Коммуны», чьи хлесткие фельетоны и статьи по вопросам политики и искусства часто печатались на страницах газеты и пользовались успехом. Я прибегала к нему, чтобы напечатать в газете объявление о собрании и о воскреснике, он добродушно приветствовал меня — «а-а, комсомольское начальство!». За что же он вдруг?

Вечером я чуть ли не со слезами пожаловалась Тамаре — Гершанович обругал меня гадким утенком. Тамара расхохоталась:

— Вот дурная, он же тебе польстил! Из гадкого утенка вырос прекрасный лебедь. Неужели ты Андерсена не читала?

Да, слишком рано перескочив от детского чтения к взрослому — не читала. Но стало легче, и хотелось верить, что прорежутся лебединые крылья, и хотелось, чтоб это произошло скорей, скорей!... И чтоб заметил это Палька Соколов.

Был он дерзок и самоуверен, этот девятнадцатилетний Палька Соколов, один из руководителей губкомзала. Порой он нарочито грубил. Но когда он был тут, я не видела ничего, кроме его быстрых, ярких зеленовато-карих глаз, хотя взгляд этих глаз скользил мимо меня не задерживаясь. А когда я решалась подойти к Пальке, придумав самый деловой вопрос, он отвечал небрежно и отворачивался от меня как от доуки.

Я узнала, что он живет на одной из нагорных улиц, пересекающих улицу Гоголя. Иногда он проходил мимо нас, раза два мне удалось подкараулить его на подходе и как бы случайно выйти из дому ему навстречу, и мы шли рядом вдоль длинного глухого забора, но разговора не получалось, приготовленные мною слова застревали в горле, а Палька шел себе как случайный попутчик и постукивал стеклом по забору. Зачем он его носил, этот стек с кожаной петелькой на конце? Но мне и стек нравился — загадочностью.

Однажды вечером, после собрания, я нарочно оказалась на пути Пальки, но он рассеянно скользнул взглядом мимо меня, широко зевнул и окликнул Аню Григорьеву:

— Аня, ты домой? Пойдем, провожу.

А она жила за рекой, в Голиковке, им было совсем не по пути.

Я смотрела им вслед. Они шли под руку, Аня осторожно ступала по неровной дороге на своих высоких каблуках, Палька уже не зевал, они разговаривали и даже смеялись. А поодаль шла Муська, Анина сестра, тоже с провожатым. Как будто сестры не могли дойти до дому вместе!..

Меня многое удивляло и корбило в новой среде. В Мурманске мы считали зазорными, унижительными для девушки всякие ухаживанья и провожанья — мы же равноправные товарищи, борцы революции! Туфли на каблуках, шляпы, нарядные платья, а у юношей рубашки с галстуками считались мещанством, пережитком прошлого, недостойной приманкой в брачной купле-продаже. Как особый вид такой приманки отрицались и танцы, мы даже ходили разгонять танцующих, которые иногда устраивали матросы на небольшой площадке возле оврага, — матросы были из тех, кого прозвали «жоржиками» и «клешниками», были они из береговой Кольской роты, а не с кораблей, моряцкого в них не было ничего, разве что форменки и ленточки на бескозырках, но и с морской формой они делали нечто дикое — расклешивали брюки так, что их клеши болтались во все стороны наподобие юбок, пришивали в основаньях клиньев блестящие пуговицы... На площадку они приводили девиц, околачивающихся возле порта, — размалеванных, в немыслимых нарядах (про таких в песенке, услышанной мною уже в Питере, пелось: «Намазаны губки, колени

ниже юбки, а это безусловно вредный факт!»). И «клевшики» и девицы танцевали донельзя развязно, вихляя задом и оттопыренными локтями. Мы приходили втроем или вчетвером, обычно с кем-либо из матросов-комсомольцев, предлагали прекратить танцы и разойтись. «Клевшики» вступали в пререкания, ругались, но подчинялись. Почему они не избili нас и ни разу не выхватили свои револьверы из кобур, болтавшихся у пояса? Накипь на революционной волне, они все же чувствовали себя неуверенно, непрочно.

В Петрозаводске сами комсомольцы начинали танцевать при первых звуках музыки, причем самые «старорежимные», как мне казалось, танцы — вальс, польку-бабочку, падепатинер, миньон—миньон!! Не хватало только менуэта и великосветского полонеза с приседаньями!.. На вечерах находился и дирижер (иногда это был секретарь губкома комсомола Саша Иванов), который возглашал «гран рон» (и все строились в круг) или «дамы приглашают кавалеров!» — и «дамы» (комсомолки!) скользили по паркету губернаторского зала приглашать своих избранников!.. В перерывах между танцами играли в не менее «старорежимные» игры — в фанты или «флирт цветов». Ну, фанты — это было еще терпимо, почему не прочитать стихотворение, почему не спеть или не сплясать, хотя иногда назначались и такие фанты: «поцеловать Сашу Иванова» или «поцеловать Пальку Соколова», и заносчивый Палька позволял себя целовать и требовал, чтобы поцелуй был «как следует»... Но уж «флирт цветов»! У кого-то из девушек хранились потертые карточки с десятком игривых или многозначительных текстов на каждой, причем каждый из текстов приписывался какой-нибудь Камелии или Незабудке, карточки раздавались играющим, надо было выбрать более или менее подходящий текст и передать кому-либо карточку, назвав цветок... Даже в свои пятнадцать лет я понимала, что тексты глупейшие, пошлые. Не было ни одного, который я могла бы послать Пальке Соколову, не показав себя душой. В довершение всего девочки всеми способами мастерили себе новые наряды, раздобывали туфли на высоких каблуках, завивали волосы, Аня даже соорудила себе шляпу с широкими полями из какой-то прозрачной соломки!.. Парни охотно надевали рубашки с галстуками, Володя Богданов завел себе белый полотняный костюм, а Ильяка Трифонов носил косоворотку с вышитыми по вороту васильками — под цвет его веселых глаз!..

Мне казалось, что все это — мещанство, влияние нэпа. О новой экономической политике я узнала еще в Мурманске, Коля Ларионов делал у нас доклад о ней и толково объяснил, что даст замена продразверстки налогом, для чего разрешается свободная торговля... Но в Мурманске влияние нэпа не ощущалось, все жили на пайки, рынка не было, частных торговцев тоже не было. В Петрозаводске уже открылся рынок, крестьяне привозили картошку, молоко, яйца, мясо, кожи, тут же суелились какие-то субъекты, у которых можно было купить ситец и шерстяные ткани, сапоги из добротного шевро, керсин и даже из-под полы самогон. Я впервые почувствовала, что, кроме пайка, получаю зарплату — девять тысяч рублей, но цены были бешеные и все время росли, так что мои девять тысяч мало значили. Я гордо презирала все соблазны. Но когда на рынке появились «лаковые баретки» (весьма сомнительного качества туфли, покрашенные черным лаком), мое стойкое сердце дрогнуло — нет, я не мечтала о такой недостижимой роскоши, но зато ощутила неуклюжую тяжесть своих единственных мальчишеских ботинок и прятала ноги от посторонних глаз.

Жили мы трудно, хотя и не голодали. Кроме преподавания в музыкальной школе, мама ходила еще по частным урокам. Родители ее

учеников расплачивались не деньгами, а продуктами — овощами, молоком, маслом, кто чем мог, кому что привозили из деревень родственников. До сих пор помню — вечер, в нашей комнате пусто, нестерпимо хочется есть, но есть нечего, надо ждать маму. И вот она идет, медленно, с нагруженной сумкой, ставит ее у порога, кивает мне — «разбери что куда», а сама потряхивает занемевшими руками и долго массирует свои пальцы пианистки, пальцы, которые надо беречь... Стыдно, но мне ни разу не пришло в голову выйти маме навстречу, поднести тяжеленную сумку. Почему мы так безнадежно поздно понимаем, что мы могли и должны были сделать для близких?..

Тамара жила как-то на отлете, только ночевала дома. Она завела агитпропотделом Карельского отделения РОСТА, с нею вместе там работал веселый выдумщик Илька Трифонов — «светлокудрый витязь с васильковым взором», так я его прозвала. Илька считался «вечным студентом» — сменил уже два института и осенью собирался в Питер, поступать в третий. Сын завязаного книголюба, репортера, печатавшегося под псевдонимом Крошнозер, Илька с детства много читал, знал больше, чем все наши самые начитанные комсомольцы, у него можно было получить справку по любому вопросу — ходячая энциклопедия! Он был всегда заряжен весельем и начинен проблемами для обсуждения. Девушки дружили с ним — прибежали к его посредничеству, делились своими тайнами, и он их не подводил.

Тамара и Илька были родственными душами, они вместе вынашивали разные великие идеи: создать агитпароход и обходить все деревни по берегам Онежского озера и судоходных рек... к зиме оборудовать санный поезд и добираться на нем до самых глухих селений... в пасхальную ночь, когда у церкви полно народу, показывать на стене церкви антипоповские «туманные картины»... Последнюю затею они чуть не осуществили при восторженном участии ярого безбожника Вити Клишко, достали диапозитивы и проекционный аппарат, даже когда Тамару предупредили, что верующие их попросту поколотят, Тамара не отказалась от затеи, а запаслась для самообороны револьвером... Об этом узнал Христофор Дорошин, один из авторитетнейших петрозаводских большевиков, секретарь уездкома партии, в результате всех троих отчитали за неверный подход к верующим, саму затею запретили, а Тамаре еще отдельно всыпали за револьвер.

Молодые деятели КарРОСТА держались этаким вольницей, в своей конторе почти не бывали, вешали на дверь табличку: «Мы в саду». В саду они сидели на отдаленной скамье или, если тепло, лежали в траве, обсуждали новые великие идеи и спорили о нэпе — Илька считал нэп отступлением от революции и беспринципной уступкой кулакам и спекулянтам. Где появлялся Илька, там всегда разгорались политические страсти, Илька мог спорить, не уставая, а набирая силу, с утра до вечера. У меня не было своего мнения о нэпе, но я помнила об утраченности Коли Ларионова и верила Коле, хотя и с Илькой порой соглашалась, когда он кричал, что «густопсовое мешанство полезло из всех щелей». Вспоминала танцы, вздохи девчонок о баретках, «флирт цветов»... атмосферу ухаживаний, провожаний, девичьих шушуканий о том, кто в кого влюблен, кто с кем гуляет, кто из-за кого страдает...

Надо работать и не обращать внимания на все эти глупости — так я решила. Работать и не глазеть на Пальку, ничем он не лучше других. И не томиться из-за того, что нет у меня ни платья, ни туфель на каблуках, а то ведь и сама владешь в густопсовое мешанство!.. За мировую революцию боремся — не стыдно ли думать о чепухе?!

В начале лета Тамара и Илька Трифонов уехали в командировку в Кемь. Когда они вернулись, мне показалось, что они там поссори-

лись — вместо прежних открыто-дружеских отношений появилась какая-то удалая небрежность, какой-то подчеркнуто независимый тон. Они уже не уединялись в дальних концах сада, а звали с собой всех, кто попадался на пути. Илька не заводил споров, но стал еще веселей и его глаза-васильки блестели.

Тамара отличалась беспечностью и неряшливостью, все разбрасывала где придется. Вот и записная книжка, подаренная Илькой, оказалась однажды на полу. Подобрав ее, я невольно перелистала странички, чтобы посмотреть, нужна ли она или можно записать ее в ящик... Что это?.. На глаза попались стихи. Тамарин острый, четкий почерк... «В белом сумраке чернеют пожни» — читала я... «Невозможное вдруг сделалось возможным»... Как это понимать?.. Чувствуя, что поступаю неладно, я все же не могла оторваться от чтения. «Не хочешь — так забудь, забудь меня, мой милый, я все равно твоя, твоя — или ничья!».

Раздались мамины шаги. Я мигом засунула книжку в глубину ящика, под бумаги. Сердце мое колотилось от волнения, от стыда, от страха. Значит, вот какую бывает любовь! «Твоя — или ничья»...

Когда я, выбрав удобную минуту, пролепетала Тамаре неуклюжий вопрос, она небрежно сказала:

— Ну так что?

И разговора не продолжила.

Я смотрела на сестру и на Ильку как на пропащих. Пойдет теперь между ними всякая любовная канитель, объяснения и выяснения, и прости-прощай революционные идеалы и грандиозные замыслы, все их агитпароходы и санные поезда!

Но они не только не забросили свои замыслы, но еще затеяли нечто совсем новое, в Петрозаводске небывалое — живую газету, театрализованную устную газету, которую собирались показать (и спустя месяц показали) широкой публике со сцены театра!

«Ну так что?» — так она сказала, сестра. Действительно — что? Почему я вообразила, что революция требует отказа от любви, от радости и даже от таких естественных и милых знаков внимания к девушке, как провожанье до дому или букет цветов? Может ли это помешать революции? И можно ли запретить девушке думать о том, кто ей мил, и любить вот так — «твоя или ничья»?.. Ради чего делала революцию? Для счастья всех. А может ли быть полное счастье без любви?.. Вот ведь и Маркс!.. Маркс очень любил свою Женни, а она ради него бросила богатую аристократическую семью, всю жизнь была его верным товарищем и другом, не боялась ни бедности, ни преследований... Наверно, любовь не мешала, а помогала им?.. Значит, все дело в том, что в любви нужно настоящее товарищество, большая благородная цель, готовность помогать друг другу. Это не имеет ничего общего с буржуазным браком, с куплей-продажей, с домашним рабством, конечно, нет, это совсем другое. Наше. Новое. Новый быт, который мы создадим.

Так я рассуждала, стараясь примирить милую мне идею революционной самоотверженности с той жизнью, что шла вокруг, и сочувствовала влюбленным, и все добродушней косилась на танцующих, наверно, и сама пошла бы, если б кто-нибудь догадался позвать: «Пойдем потанцуем!»

Среди комсомольского актива я была самой младшей, ко мне относились как к маленькой.

Первая дружба завязалась у меня с Витей Клишко. Нам двоим поручили подготовку первомайского вечера, во время общих хлопот само собою возникали разговоры обо всем, что нас занимало, мы узнавали и характеры и свойства друг друга. Оба не любили паниковать,

если что-то срывалось,— пожалуй, это нас и сблизило и родило дружескую симпатию. В своей комсомольской требовательности мы оба были «максималистами» — презирали расхлябанность, лень, неисполнительность: взялся — сделай! В оценке своих товарищей мы тоже сходились, потому что судили по их делам, по тому, как они готовили — усердно, с душой или кое-как — порученную им часть праздника. Но у Вити Клишко я еще и научилась смотреть на людей шире, вдумчивей.

— Колю не трогай, он со своей Женечкой поссорился, страдает. Не до вечеров ему.

— Катя бы спела, но у нее папа при смерти...

В ответ на мои сомнения по поводу выступления одного чересчур застенчивого комсомольца:

— Ничего он не провалит! Стесняется он, потому что места своего не нашел. Выступит — и поверит в свои силы.

Ползая на коленках по полу и заливая белой краской буквы на кумачовом полотнище, мы заговорили о мещанстве. Витя не одобрял такого «бесцельного» занятия, как танцы, и презирал «флирт цветов», даже считал, что через эти пошлые тексты «в нашу комсомольскую среду просачивается буржуазная идеология». Тут мы были согласны. Но Витя делал из любого факта боевой вывод.

— У нас много бывших гимназистов и гимназисток, оттуда и флирт цветов и прочая мура. А своих, новых игр мы не создали. Песни уже есть, а игр нет. Надо придумать новые, умные и веселые игры.

От Вити я узнала, что петрозаводский комсомол образовался из двух групп молодежи — из рабочей молодежи Онегзавода, давшей нам таких активных работников, как Ваня Горбачев и Леша Куткевич, и из возникшего после революции кружка учащейся молодежи, к которому принадлежали и Саша Иванов и Ильяка Трифонов. Я сказала что-то пренебрежительное о гимназистах и гимназистках, неприязнь к ним запала в мою душу с детства, когда папа не отдал нас в гимназию, чтобы из нас не вышли «кисейные барышни».

— Но наши ребята стали коммунистами,— возразил Витя,— воевали против белофиннов, некоторые погибли на фронте. Был у нас хороший парень, Слава Тервинский. Белые захватили его раненым, отрубили ему пальцы, а потом живого бросили в костер. И Саша Верден погиб в бою. Четырнадцать лет ему было.

— Саша Иванов тоже воевал?

— Еще как! И делегатом ездил на Второй съезд комсомола.

Я вспомнила, как Саша дирижировал танцами. «Гран рон!» Ну и что? Все эти парни, оказывается, успели повоевать, сделали для революции много больше, чем я. Рисковали жизнью. Как же я смею осуждать их? Хотят танцевать — и танцуют. Нет лучших игр, чем фанты и «флирт цветов», — ну, иногда сыграют...

Конечно, я свернула разговор на Пальку Соколова. Он ведь не воевал, правда? А сколько самоуверенности!

— А ты знаешь, что в семнадцать лет он был каким-то уездным комиссаром и арестовал собственного отца?

Нет, этого я не знала. Старалась себе представить — еще совсем мальчишка, с револьвером или даже с винтовкой... отец шарахается от него. «Ты? Сын?» — кричит он. А Палька отвечает со своей дерзкой повадкой: да, я, именем революции!..

— Он родом из-под Олонца, там много контрабандистов было,— объяснил Витя,— точно не знаю, но как будто бы его отец ходил в Финляндию и проносил через границу детали часовых механизмов, всякие там стрелки и шестеренки. Смешивал их с табаком в самом затертом кисете. Палька предупредил: прекрати! А потом узнал, что

отец промышляет по-прежнему, арестовал его и свез в Олонец, в Чека. Подержали там старика, попугали, взяли расписку и отпустили.

— И как же они после?..

— Не знаю. Только Павел, кажется, рос при матери, а не с отцом. Какая-то там была семейная драма, мать с двумя детьми убежала из дому.

Ночь. Метель. В окнах деревни — ни огонька. Но вот из одного дома, озираясь, выбегает женщина, до глаз укутанная большим платком, под платком она прижимает к себе младенца, а рядом, оступаясь, скользит быстроглазый мальчонка... От каких издевательств и обид они убежали? Кто дал им пищу и кров? Что они испытали дома. до вынужденного бегства и потом, в тяжелых скитаниях?.. Что о н испытал?..

Палька Соколов стал еще загадочней, но и ближе. Может быть, за его дерзостью и позерством скрывается страдание?

— Он хороший парень,— сказал Витя,— ты к нему присмотришься.

Присмотреться?! Как будто я занималась чем-либо другим, когда он был в пределах видимости!..

А вот к Вите Клишко я в те дни присмотрелась — до чего же славный парень! Маленького роста, на удивление бровастый и глазастый, он прямо-таки излучал энергию и жажду деятельности. Несмотря на интуитивную душевную мудрость и щедрую любовь к своим, он вовсе не был мягок вообще, напротив — злоязычен и непримирим ко всем чужим и ко всему чужому. Редактируя комсомольскую страницу в «Коммуне», он писал для нее злые фельетоны и сатирические стихи. Твердо усвоив, что «религия — дурман для народа», он не мог смириться с мыслью, что миллионы людей еще живут во власти дурмана, и весьма язвительно обрушивался на религию, на попов, на всяческие предрассудки и невежество (года два спустя он издал небольшую книжку стихов «Бог, попы и комсомол»). Все, что мешало новой жизни, вызывало у него бурный протест — гневный или насмешливый. Середины между любовью и ненавистью, восторгом и презрением для него не существовало.

Я бы преувеличила, если бы сказала, что Витя Клишко послужил прообразом моего Семы Альтшулера в «Мужестве». Сема рождался постепенно, под воздействием многих встреч и наблюдений, а писала его свободно и радостно, без оглядки на прообразы, как-то «само собой». Но маленький, бровастый и глазастый Витя с его душевной мудростью и щедростью дал первый толчок длительной работе воображения и всегда маячил где-то неподалеку от Семы. Я это поняла, пожалуй, много позднее, лет десять назад, когда побывала в Петрозаводске и пришла в гости к старому приятелю, и из-под седеющих густых бровей на меня лукаво глянули все те же глаза-буравчики, излучающие энергию, доброту, насмешливость, жажду деятельности... Мне не нужно было заново присматриваться к нему, я все узнавала — шире и полней, чем в юности.

Витя Клишко был первым в моей жизни редактором. Когда я пришла к нему, что меня тянет писать, он тут же со свойственной ему щедростью души зачислил меня в «актив» своей еженедельной молодежной страницы, поделился мечтой об издании самостоятельной комсомольской газеты и затем обращался со мною как со своим журналистским собратом. «Вот увидишь, мы добьемся газеты! — говорил он восторженно. — Мы с тобой такую газету сделаем!»

Готовя первомайский вечер, я лучше узнала и других петрозаводских комсомольцев, и они узнали меня. Не сговариваясь они «включили» меня в свою среду так, как включают в компанию младшую сестренку. Братья Володя и Костя Богдановы, первые спортсмены го-

рода, позвали меня кататься на яхте. И как же это оказалось чудесно, ни с чем не сравнимо! Онежский упругий ветер, туго набитый им белый парус, в изящнейшем наклоне ведущий яхту, и скольжение на перерез волне, стремительное, захватывающее дух, кажется — быстрее и прекрасней быть не может, а скольжение все убыстряется, от ветра и холодных брызг горит лицо, хочется кричать и петь, ты счастлива, ничего больше не нужно, даже Палька, сидящий где-то позади, сейчас не нужен, только бы скорость, и ветер в лицо, и простор, и сияние воды и неба... Как же ты хороша, жизнь!

И еще была Иванова ночь. С вечера перебрались на пароходике на тот берег залива, на Чертов стул — нагромождение скал, замшелые валуны, лес, подступающий к самой воде, и зеленая лужайка, где так интересно разжигать высокие костры. Здесь, на Чертовом стуле, до революции большевики проводили под видом прогулок нелегальные собрания, их устраивал Николай Тимофеевич Григорьев, первый большевик Онежского завода. Я с уважением посматривала на Аню и Мусю Григорьевых — его дочери! Только бы Палька Соколов не подсаживался к Ане, зачем это ему?.. К счастью, затеяли прыгать через костер, ребята раздули пламя и начали прыгать — очень это было красиво, темные силуэты, летящие сквозь оранжево-красное, а вокруг — потемневший лес, и светлая-светлая гладь озера невдалеке, и светлое небо. Аня, конечно, не захотела прыгать, а я прыгала раз за разом все отчаянней, и Палька сказал: вот молодчина! — и другие мальчишки хвалили меня, и я была в упоении успеха; но потом, когда начали печь картошку, пара за парой уходили в лес искать какой-то чертов цветок, якобы расцветающий в Иванову ночь, и Палька, оказалось, тоже ушел, я даже не заметила когда и с кем, а я осталась ворошить угли и стеречь картошку среди тех немногих, у кого не было пары. Но спустя час я вдруг увидела Пальку — он сидел в одиночестве на берегу, веткой разгоняя комаров, и бросал плоские камешки так, чтобы они несколько раз коснулись воды. Иванова ночь снова наполнилась радостью.

И еще открытие того года — спорт. Когда в губернаторском саду играли в лапту, меня неохотно брали в игру, все давно умели, а у меня не получалось. Но Костя Богданов, заводила всех спортивных начинаний, увлек нас устроить в котловине у Лососинки настоящие спортплощадки и беговые дорожки, мы трудились там много вечеров, а когда все было готово, устроили общегородские спортивные соревнования. Готовились к ним истово, каждый по нескольким видам спорта. Помню, я лучше всех пробежала стометровку и вкусила гордость победы (хотя мой тогдашний «рекорд» не дотянулся бы сегодня даже до средних показателей юниорки!). Баскетбол — вот что меня по-настоящему захватило. Ух, до чего ж это было здорово — вести мяч сквозь строй противниц, отпасовывать его подруге, бежать вперед, получать обратный пас и в прыжке забрасывать мяч в корзину! Какую полную освобожденность от всех моих недетских забот, какую безотказность тела, какую ловкость и силу я ощущала при удачном броске! На соревнованиях меня поставили центрфорвардом, как тогда называли, то есть центром нападения, а в команде-сопернице форвардом была Муся Григорьева. Запомнилось мне это потому, что в разгар борьбы, когда мы повели в счете, Муся выбила у меня мяч, но я подпрыгнула и снова «достала» его и закинула в корзину, а распаленная борьбой Муся как закинула руку, чтобы отбить мяч, так и ударила со всего размаху — но не по мячу, а по моей щеке. Игру прекратили, Мусю сняли с соревнований «за грубость». Муся плакала, она сама не понимала, как это вышло. Мы вместе ходили упрасивать судью, обе глотали слезы и доказывали, что мы подруги,

что я сама, подпрыгнув, подставилась под удар... Судья смилостивился, а мы с тех пор действительно подружились.

В теплую погоду было у нас еще удовольствие — купаться. Конечно, Онежское озеро — не Черное море, долго не поплаваешь, но мы все равно бегали на берег или в самом городе, у Подгорной улицы, или, если было время, ходили на Пески, довольно далеко, но зато там был превосходный песчаный пляж, переходивший в пологое дно без камней. Погревшись на солнце, мы бежали, прижмурив глаза, и с разбегу бросались в воду, не боясь ее обжигающего холода.

Как мне вспоминается, я тогда вообще ничего не боялась, ничего и никого, если не считать Васи.

Вася был мальчишкой лет четырнадцати. Тщедушный, курносый, рыжий, с яркими веснушками на круглой физиономии, он даже внешне являл собою классический тип сорванца и грозы для девочек. Сейчас я думаю, что девочки уже начали интересоваться и волновать его, во всяком случае, он не оставлял нас в покое — то выстрелит бумажным голубем с чернилами, то дернет за косу, то притаится за дверь и закричит тебе вслед дурным голосом. Если девушка уединилась с парнем на дальней скамейке, он выследит их и закукует над ними в кустах, или запоет обидную частушку, или с полным знанием человеческих слабостей скажет, проходя мимо, самым дружеским голосом: «Берегись, твой Коля бегаёт повсюду, тебя ищет!» Поди докажи потом ревнивому другу, что никакого Коли у тебя нет!

Поскольку я была ненамного старше его и в то же время занимала сугубо ответственный пост комсомольского руководителя, Вася преследовал меня с особой настойчивостью — приятно все же, если «ответственное лицо» с косичкой взвизгивает от страха или опрометью мчится по коридору под струей воды из пульверизатора!

Я ругала его, грозила вызвать на комсомольское бюро — не помогало. Вызывать было стыдно, пришлось бы признаться, что боюсь. Жаловаться на него было некому — не в губком же!..

Так бы, наверно, и продолжалось, если бы не встреча с быком.

Шла я как-то рано утром из дому на работу. Иду, щурюсь на солнышко, а поскольку ни одного пешехода на всей улице Гоголя не видно, носком ботинка подкидываю и гоню перед собою камешек. И вдруг до меня доходит истошный крик:

— Спасай-си-и! Спасай-си-и!

Глянула вперед и обмерла: вверх по улице прямо на меня мчится галопом огромный бык. А далеко, в конце улицы, семенит какой-то мужичишка с кнутом и кричит сколько голоса хватает: спасай-си-и! Кричит — мне.

А спастись некуда. Рядом высится саженный губернаторский забор, не вскочишь. И поблизости — ничего, кроме телеграфного столба.

К столбу мы подбежали одновременно — я и бык. Бык с разбегу уперся в него лбом. Сколько лет минуло, а до сих пор явственно вижу его выгнутые вперед рога, нацеленные на меня с двух сторон столба, злобный, налитой кровью глаз и край отвислой губы, с которой капает пена.

Быку очень хотелось протаранить меня рогами. А мне этого не хотелось. И мы начали кружиться вокруг столба — бык бросался в обход то с одной стороны, то с другой, а я прижималась к столбу и аккуратно, с математической точностью, выдерживала равнение на его лоб. Сильные удары его рогов и крутого лба приходились по столбу, столб аж кряхтел.

Как ни был мой противник увлечен своим смертоубийственным намерением, он все же, видимо, дорожил недолгой свободой и краем

глаза следил за хозяином. Как только мужичонка подбежал и хотел ухватить конец веревки, волочившейся за быком по дороге, бык оторвался от столба и с ревом помчался вверх по улице. Я еще успела увидеть, как за ним, подскакивая, запрыгала веревка, а за нею в клубах пыли бежал мужичонка, — и сама бегом-бегом помчалась под защиту стен и дверей.

В тот же день, когда Вася в полутемном коридоре со звериным ревом выскочил мне навстречу из-за двери, я со всей силой двинула его по затылку, потом по одной щеке, потом по другой, затем оттолкнула так, что он грохнул спиной о стену, и закричала:

— Только тронь, зубы выбью!

Вася меня больше не трогал. С быками мне тоже не доводилось встречаться. А вот коров я с тех пор боюсь. Стыдно, унижительно — но боюсь.

«Пусть комсомолка уйдет!»

Еще весной на комсомольской конференции меня выбрали в уездком, а затем — его ответственным секретарем. Мне только что исполнилось пятнадцать лет, поэтому я не особенно задумывалась о реальной ответственности новой работы, только удивилась, что меня сочли достаточно взрослой (в Мурманске секретарем уездкома был Коля Ларионов!), и пошла принимать «дела» от своего предшественника: несколько тощих папок директив и переписки с волостными ячейками, бланки с лозунгом «На смену старшим, в борьбе уставшим!» — и, конечно, печать.

Штатная единица в уездкоме была одна-единственная. Комната — тоже одна, узкая, мрачная, в конце коридора, окно выходило в заросли каких-то кустов да еще на север. Два дня я просидела в этой полутемной комнате совсем одна, на третий с утра ко мне ввалился рослый парень в резиновых сапогах с отворотами и в длинной брезентовой куртке поверх заношенного свитера, воскликнул: «Слава богу, хоть кто-то есть!» — представился волорганом из Ребол и сказал, что приехал за керосином и фитилями, иначе гибель.

Тот год, 1921-й, начавшийся Кронштадтским мятежом и его разгромом, стал первым мирным годом Советской страны. Три года не затихавшие, смолкли военные громы. Еще погромывало на Дальнем Востоке, но и там борьба шла к концу. Непокойно было на границах, глухие раскаты нет-нет да и слышались из Финляндии, где у власти стояли самые реакционные силы, жадно взиравшие на Карелию и не так давно с боями подступавшие к Петрозаводску и Лодейному Полю... но получили они тогда крепкий отпор, убрались восвояси — неужели сунутся снова?!

Во всех селениях, ближних и дальних, настроились на мирный лад. Комсомолец из Ребольской пограничной волости добирался до Петрозаводска пешком, на лодке, на плоту через пороги и снова пешком, чтобы достать керосин и фитили для ламп, иначе драмкружок не может дать спектакль, учитель не может учить неграмотных, комсомолки не могут устраивать громкие читки... Кроме того, посланец Ребол надеялся получить побольше литературы — политической, художественной, учебной — и, конечно, грим, парики, бумагу, карандаши, а в случае удачи хоть какие-нибудь музыкальные инструменты.

Несколько дней я бегала по разным учреждениям и вымаливала то одно, то другое, а за мною, как сильно увеличенная тень, шагал в рыбацких сапожниках с отворотами парень из Ребол. Он был немногословен, этот парень, но его присутствие помогало.

— Вот видите, им необходимо, без книг, без керосина, без грима и париков, без балалаек он уехать не может!

— Не могу,— подтверждал парень.

Быстро сообразив, что Реболы — лишь одна волость из многих, я исчисляла комсомольские нужды астрономическими цифрами, о чем бы ни шла речь. Еще более сообразительные дядечки тотчас во много раз уменьшали эти цифры, но все же кое-что давали. Получив на складе очередное богатство, мы тащили его на себе в уездком, без всякого равноправия распределив груз — я бежала вприпрыжку со связкой париков, а рядом вышагивал мой спутник, нагруженный так, что одни глаза видны. Если я пыталась взять еще что-нибудь, пареня попросту отодвигал меня локтем.

В уездкоме я по справедливости выделяла для Ребол часть полуценного, остальное прятала в шкаф и запирала на ключ.

— Как же ты донесешь это все? — спросила я, когда парень собрался в обратный путь.

— Было бы что нести,— ответил он и протянул мне широченную, в мозолях от весел ладонь.— Ну, спасибо! — Он осторожно потряс мою руку и впервые улыбнулся: — Такая маленькая, а, смотри-ка, деловая!

Радость удачи померкла. Маленькая! Долго ли меня будет преследовать проклятие возраста?

Стараясь выглядеть старше, я закрутила волосы узлом на затылке и начала для солидности попыхивать папироской, тщательно следя, чтобы по ошибке не затянуться.

Не успел уехать парень из Ребол, как появились два пареня из Поросозера, затем, как только стаял лед на Онежском озере, первым пароходом приплыл посланец из Великой губы — всем нужен был керосин, и фитили, и даже ламповые стекла, иначе — гибель! И, конечно, литература, грим, парики, музыкальные инструменты, карандаши, бумага, тетради...

Уезд был огромный. Мурманская железная дорога пересекала его с севера на юг, у станций лепились поселки и лесозаводы, а в стороне от дороги, среди лесов, озер и болот, были разбросаны редкие селения, откуда можно было добираться главным образом на лодке по озерам, на плоту — вниз по быстрым, порожистым рекам, пешком или на телеге — через лес. В осеннюю и весеннюю распутицу связь прекращалась. Кое-где, особенно в пограничье, еще пошаливало местное кулачье и остатки белогвардейцев. Но везде, в любой глуши, уже хотели жить по-новому, интересней, умнее, и надо было помогать, помогать всем чем можно. Комната уездкома превратилась в склад, я обходила все учреждения и просила, кричала, даже всплакнула перед одним строптивым начальником:

— Пока не дадите, не уйду! Да, буду сидеть тут и реветь, не могу я прийти и сказать ребятам, что ничего нет.

Оттого, что я была застенчива, я держалась до крайности отчаянно и заставляла себя не отступать.

— Чего ты все сама бегаешь? — сказали мне в губкомле.— Сходи к Христофору, он молодежь любит.

Христофора Дорошина я побаивалась, потому что он был уже пожилой и ходил прихрамывая — то ли после фронта, то ли от рождения. Ребята рассказывали, что он с детства, чуть ли не с одиннадцати — двенадцати лет, работал на Онежском заводе, подростком начал участвовать в революционном подполье, всю гражданскую войну провоевал здесь же, в Карелии... Крупный, плотный, в потертой военной гимнастерке, с небольшими усами и короткой бородкой, Дорошин был на вид мрачноват и грубоват, но когда я робко вошла к нему, встретил меня ласково и весело:

— Смотри-ка, пришла! А я слышу — появилась в укомле дев-

чушка, трясет всех начальников, кричит на них и грозитя, что не уйдет. А ко мне ни ногой!

Затем он меня подробно обо всем расспросил, подбодрил и в тот же день помог решить самый трудный вопрос — снабжение керосином. Нам установили месячную норму, и отныне ячейки получали с базы столько, сколько им полагалось.

Через несколько дней Христофор (так его называли между собой не только комсомольцы, но и люди постарше) сам вызвал меня к себе. Приближалась уездная партийная конференция. В то время на партийных конференциях всегда ставились «доклады с мест» и отдельно доклад комсомола.

— Значит, о комсомоле докладываешь ты, — как-то буднично сказал Дорошин, — готовься.

Будничный ли тон Дорошина подействовал или мысль о том, что можно будет высказать все наши требования, но я не испугалась, хотя до тех пор никогда не бывала ни на каких «взрослых» конференциях. После первого опыта в Мурманске, когда меня выручил Костя Евсеев, я уже несколько осмелела. Доклад? Ну что же, доложу все как есть. Подобрала цифры, записала наши нужды, кроме того, по совету губкомовцев выбрала волость, где коммунисты крепко помогают молодежи, и две волости в качестве отрицательных примеров. Читать по написанному тогда и в заводе не было, люди говорили своими словами так, как умели, и то, что думали. Для памяти я записала на листочке лишь краткие тезисы доклада и необходимые цифры.

Первый приступ робости я испытала, узнав, что конференция соберется не в нашем доме, уже привычном, а в театре «Триумф», в большом зале с настоящей сценой. Как же это будет? Объявят мою фамилию, я встану и на глазах у всех пойду по проходу, потом по приставной лесенке на сцену. В своих стоптанных мальчишковых ботинках...

Второй приступ робости потряс меня в самом начале конференции, когда при выборах президиума назвали и меня — от комсомола. Я такой чести не ждала и села в самом конце зала, у входа, и вот теперь нужно было идти через весь зал, и все смотрели, как я иду. От смущения я споткнулась на лесенке и чуть не упала. Кто-то взял меня за руку и повел. Как в тумане пошла я по сцене, села к столу и сверху впервые увидела зал, заполненный людьми. И какими людьми! Взрослыми, усами и бородами, даже седоголовыми, а то и лысыми... Почему-то меня особенно испугали бородачи. В Петрозаводске если и встречались бороды, то небольшие, подстриженные, как у Христофора, а из волостей понаехало немало настоящих бородачей — борода лопатой, от уха до уха.

Из отчетного доклада Дорошина я, кажется, не слышала ни слова. Потом начались доклады с мест. Иногда мне по-детски хотелось, чтоб они длились как можно дольше, иногда хотелось, чтобы неизбежное произошло немедленно и осталось позади.

— Для доклада о комсомоле слово предоставляется товарищу Кетлинской.

Так как я приросла к стулу, Христофор негромко добавил:

— Давай, Верушка.

Я встала и одеревеневшими ногами зашагала к трибуне. Трибуна была высока для меня, я поднялась на цыпочки и глянула в зал. Лучше бы мне не глядеть туда! Все до единого делегаты ухмылялись, бородачи еще и бороды поглаживали, а усаые — усы у них поднялись к ушам — крутили свои усища...

Такого жуткого провала я не переживала ни до, ни после этого дня. Опустив глаза и сцепившись двумя руками в свой жалкий листок,

я залпом, глотая слова и путая, к чему относятся записанные тут и там цифры, прочитала тезисы (что заняло минуты три), прокричала записанные в конце нужды комсомола: «Фитили! Ламповые стекла! Мячи! Грим и вазелин!» — убежала со сцены и встала за кулисами, всхлипывая от стыда и обиды, потому что в зале слышался хохот.

Христофор вышел за мною, взял за плечи:

— Ну чего ты, глупыха?

Я ткнулась лицом в его гимнастерку, его жесткая борода колола мне лоб.

— Они сме-ю-ут-ся...

— Так они ж по-доброму!

Он вытер мне слезы своим платком, похлопал по спине и, придерживая за плечи, привел обратно в президиум. Когда я решилась взглянуть в зал, десятки людей улыбались мне как дочке и еще многие десятки совсем молодых людей (как я их не заметила раньше?) явно сочувствовали мне — дескать, сами знаем, страшно! И наши губкомольцы, сидевшие в зале, кивали мне — ничего, бывает! Э-эх, если б сейчас мне снова дали слово, я бы!..

В конце конференции меня выбрали членом уездного комитета партии — от комсомола. Я смотрела, как дружно поднялись — за меня не меньше, чем за других кандидатов, — большие, натруженные руки, и уже не обижалась, что на многих лицах опять появились улыбки до ушей.

Дня через два меня вызвал Дорошин.

— Понимаешь, Верушка, какое дело. Пришлось тебя вычеркнуть из членов уездкома. Говорят — нарушение устава, ты не член партии и к тому же несовершеннолетняя. Реветь из-за этого не будешь? Ну и хорошо.

После партконференции работать стало немного легче — нам щедрее помогали, особенно с литературой. В моем шкафу появились пачки таких книг, как «Религия и духовенство», «Капитализм и социализм», «Карл Маркс», стихи и басни Демьяна Бедного. Получила я и сочинения Пушкина, Толстого, Гоголя, «Былое и думы» Герцена, сборник рассказов Горького, басни Крылова, «Русских женщин» Некрасова, даже Достоевского — «Братья Карамазовы». Посланцы из волостей охотней всего брали книги «недлинные»: грамотеев там было немного и читали книги вслух, вечерами, при керосиновой лампе. Еще просили короткие пьесы с небольшим количеством действующих лиц, особенно чтоб поменьше женских ролей: в деревнях девушки еще боялись идти в драмкружки, и родители не очень-то пускали их. За отсутствием современных пьес сельские драмкружки коллективно сочиняли «инсценировки» из комсомольского или из буржуазного быта. Чтобы как-то помочь кружкам, я тоже сочиняла пьески, переписывала и давала желающим — что же делать, если выбрали секретарем, а пьес нет, надо выходить из положения!

В середине лета, когда мы радовались жаркой погоде и бегали после работы купаться или катались на яхте, с юга доползли до нас тревожные вести: засуха... Потом на страницах газет замелькали слова — засуха в Поволжье. И наконец — огромными буквами через первые газетные полосы — ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ! ВСЕ НА ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ!

Первый мирный год... Еще разрушенная, еще живущая на скудном пайке, страна только-только начинала восстанавливать хозяйство. Многие тысячи крестьян, сдав винтовки, вернулись к земле — к своей, отвоеванной огнем и кровью. Новая экономическая политика вдохновляла их, они любовно засеяли поля с надеждой на добрый урожай. Вся страна ждала его — первого мирного урожая! И вот новый враг,

ошерясь, напал на главную житницу страны. Солнце, благодатное солнце, стало врагом. Беспощадно, день за днем, полыхало оно над растрескавшейся от жажды землей. Ни облачка не было в небе, ни капли дождя не падало на молодые всходы. Жара, жара, жара. Спекаясь, гибли нежные всходы. Страшные, желтые, мертвые поля! И люди, доевшие последние остатки в ожидании урожая — дотянуть бы, а там все будет! — эти люди — сотни тысяч людей! — вместе с гибнущим урожаем изнывали от зноя, от жажды, от подступившего голода. Падали от бескормицы коровы, лошади. Не неслись куры. На деревьях сворачивались листья и лопалась кора. Люди жевали кору. У матерей пересохли груди, обезумев от горя, матери пытались выдавить из сосков хоть каплю молока — и не сразу замечали, что иссохшее тельце ребенка уже мертво...

ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ! ВСЕ НА ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ!

Начался сбор денег и ценностей. Сдавали кто что мог — кольца, золотые монеты, броши и разные украшения с драгоценными камнями, золотые запонки и булавки для галстуков. Какой-то старичок принес коллекцию старинных монет. Мама сдала обручальное кольцо и нитку жемчуга, подаренную папой. У меня было простенькое колечко с голубым камешком, в комиссии по приему пожертвований сказали, что оно не золотое, а только позолоченное, но и это имело небольшую цену — приняли.

Молодежь Онежского завода решила ежемесячно отчислять однодневный хлебный и денежный паек, что составляло два-три пуда муки и примерно три миллиона рублей.

Субботники и воскресники отработывались в помощь голодающим.

Музыканты, актеры, комсомольская самодеятельность давали спектакли и концерты — в помощь голодающим.

По всем волостям комсомольцы тоже устраивали спектакли и платные вечера танцев — в помощь голодающим.

В августе и сентябре комсомольские страницы в «Коммуне» целиком посвящались голоду в Поволжье. Витя Клишко привлек меня к подготовке этих страниц — с тех пор, пожалуй, и началось мое постоянное сотрудничество в газете.

Все, что мы делали, было, конечно, ничтожно при громадных размерах бедствия, но мы знали — из малого складывается большое, усилия одного прилагаются к усилиям многих, то же самое происходит по всей стране — по всей стране! Будто снова — война, снова — фронт...

Осенью, когда напряжение немного спало, мы решили провести во всех волостях конференции молодежи для привлечения в комсомол новых членов.

До сих пор, получая «циркуляры» сверху, я писала, во исполнение их, длинные письма волорганизаторам, но реального представления об условиях комсомольской работы в волостях у меня, конечно, не было. Что такое лесопункт и лесосплав и как там влиять на молодежь? Какую работу можно вести в избе-читальне? Как вовлекать в комсомол пареньков и девчат, живущих в глухих деревеньках, где всего-то два-три дома? Нужно было самой увидеть, понять, на месте посоветоваться и уж тогда придумывать «руководящие указания». Но выехать я никак не могла — и мама заволнуется (по глупости я наболтала ей про всякие плоты и пороги), и губкомол возражает: «Уедешь в одну волость, а остальные как? Приедут оттуда и найдут дверь на замке. Знаешь, сколько до тебя жалоб было?!»

Но на одну из волостных конференций молодежи? Тут уж меня никто не удержит! Кондопожский волорганизатор Гриша Пеппов

убедил меня поехать к ним — во-первых, как он заявил, «для авторитетности», во-вторых, волость большая, село примыкает к железнодорожной станции, соберется и сельская молодежь и рабочие ребята — железнодорожники. Я радостно сообщила в губкомол — «уезжаю в Кондопогу», кое-как успокоила маму, заверив ее, что ни порогов, ни рек на моем пути не будет, и в назначенный день раненько утром сунула в портфель книжку и поехала. Книжка была серьезная — «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Перед тем, по примеру Ильки Трифонова решив заняться самообразованием, я пробовала одолеть «Критику чистого разума» Канта — и навсегда поняла, что с чистым разумом я не в ладу. А вот Энгельса начала понимать. Но в дороге понимать перестала и вскоре закрыла книгу — как-никак, надо делать доклад, и притом «авторитетно», а докладчик я никудышный!

Выручило меня то, что из собравшейся сотни молодых людей выступить не умел никто. Все смущались и попросту рассказывали, как живут, чего хотят, чем надо помочь. Нужно им было многое — от керосина до париков, но еще им не хватало того, чего никаким наскоком не приобрести — знаний. По деревням шла и поповская и кулацкая агитация, с кулацкой справляться было легче, ребята находили доводы в самой жизни деревни, но с религией было сложнее, нужны были опытные лекторы, нужны были доступные научные книги. Без науки в спор о сотворении мира не полезешь!..

Разговор начался еще до официального открытия конференции, к тому же в маленьком зале дома, где помещались все волостные организации, никакой трибуны не было, пугающего расхождения между докладчиком и слушателями не создавалось. Я забыла об «авторитетности» и поэтому выступила не хуже других. А потом мы все вместе пели песни, и я была счастлива, что сумела научить ребят «Интернационалу молодежи», он тогда только входил в комсомольский обиход: «Вставайте, юношей мятежных объединенные ряды...»

Ребята под диктовку списывали слова, каждую строфу обсуждали, что она значит и как ее понимать, получилось вроде большого собеседования о целях комсомола — второй и наверняка лучший доклад.

В темноте вечера все телеги и все лодки, развозившие делегатов по деревням, отъезжали с песней. Мы с Пепповым стояли на крыльце и слушали, как в заходящем к ночи воздухе — на озере, на реке Суне, на углубляющемся в лес проселке, — постепенно отдаляясь, звучит наш комсомольский гимн.

Обратный поезд проходил через станцию утром.

— Не знаю, куда бы тебя устроить получше, — сказал Пеппов.

Он был железнодорожником и в ночь выходил на работу. Пригласить к себе он не мог: домишко небольшой, а семья большая, полно ребятни, не дадут спать.

Мы неторопливо пошли вдоль села. Обычное северное село, оно растянулось вдоль берега озера, у каждого дома большой крытый двор, у самой воды — банька. Стемнело, но озеро матово сияло и в тишине из дальнего далека все еще доносилась песня и всплески воды под веслами. Это было не само озеро Онего, а всего лишь его залив, или губа, как говорят на севере, но и тут была широта, и особая озерная тишина, и благодатный, после трудного дня, покой. Только от холодного дыхания воды познабливало.

— А там что, церковь? — недоброжелательно спросила я.

На мыске, венчающем береговую дугу, высоко и одиноко стояла небольшая церковка, выделяясь на светлом фоне воды и неба простотой и благородством очертаний. Я мимолетно отметила красоту

церковки и выбранного для нее места, но подавила неуместное восхищение.

— И богослужения бывают?

— Где поп, там и «господи, помилуй»,— буркнул Пеппоев.— Недавно у коммуниста ребенка крестили. Бабушки-мамушки!

— Ты антирелигиозные книги все получил? Будешь в уездкоме, проверь, что не брал — возьми.

— Баб разве переспоришь!

Село уже засыпало, редко где теплились в окнах мутные огоньки керосиновых ламп, а то и нестойкий свет лучин. Уже было намечено коренное изменение всей этой округи: в апреле Совет Труда и Оборон под председательством самого Ленина принял решение о путях развития народного хозяйства Карелии, здесь, на берегу озера, возле устья сплавной реки Суны, предстояло встать гидростанции и большой целлюлозно-бумажной фабрике... но ни я, ни Пеппоев, ни жители Кондопоги еще об этом не знали, еще должны были пройти годы до осуществления всего замысла и два года — до первого колышка, до первой, с помощью лопаты и тачки, выемки грунта...

Мы шли мимо крепких кулацких домов и домишек попроще, победней. У одного из них, небольшого, в три окна, Пеппоев остановился.

— Вот тут переночуешь. Все разъехались кто куда, живут старик со старушкой. Чисто у них. И спокойно.

Старик казался совсем древним — лежал на печке и молча глядел оттуда, свесив седую голову с реденькой бородой. А старушка была легка на ногу, приветлива, хлопотлива. В печи у нее томилась пшеничная каша, распаренная на молоке. Кроме каши, хозяйка метнула на стол шаньги с картошкой, овсяный кисель с клюквой. Я не ела толком со вчерашнего дня и съела столько, сколько позволяли приличия. Мечтала о горячем чае, но старушка поставила передо мною кринку топленого молока с румяной пенкой... Мне понадобилось собрать все свое мужество плюс самолюбие, чтобы вести себя достойно, так как я панически, до тошноты, боялась пенок. Соврав, что сыта, выпила ковшик колодезной жгучей воды и, как только хозяйка указала мне место, повалилась спать.

Проспала я часа два, а то и меньше. Сквозь сон слышала какой-то резкий стук, потом сквозь сон же поняла, что снова зажгли лампу и свет бьет в глаза. но по-настоящему разбудил меня лишь плачущий голос хозяйки и быстрая-быстрая, взволнованная речь старика — он сполз с печки и бегал по дому в белых подштанниках и накинутом на плечи полушубке. Я ничего не понимала из их причитаний, уловила только, что им грозит какая-то беда.

— Случилось что, бабушка?

— Вставай, девушка, вставай, милая, прости ты нас Христа ради, старики мы, куда денемся, это ж звери, а не люди, уходи, девушка, пожалей стариков!

Причитая, она совала мне в руки бумажку, проткнутую гвоздем.

Спросонок я не скоро поняла, что в бумажке, которую кто-то с треском пригвоздил к их двери, требовали, чтобы комсомолка ушла, иначе спялят дом. «Пусть комсомолка уйдет» — так было написано крупными печатными буквами.

— Не плачьте, сейчас уйду.

Они плакали, пока я одевалась, путаясь в одежках и отворачиваясь от их испуганных лиц. Плача и причитая, старуха вывела меня на крыльцо, правда, сбегала тихонько за калитку, поглядела, не караулит ли кто на улице.

Дверь за мною закрылась, тяжело брякнул засов.

Село спало — темное, затаившееся, недоброе. Ни огонька, ни собачьего лая. Люто холодное небо в россыпи звезд. И предательское поскрипывание под ногами. Что это — выпал снег? Или ночной заморозок тронул землю, затянул ледком лужи?

Стараясь не сбиться с пути, побрела к зданию волисполкома. Ступала осторожно, чтобы не было скрипа, затаив дыхание вглядывалась в темноту, ловила каждый шорох. Что там впереди — столб или неподвижная фигура? Ведь где-то здесь они прячутся, те «звери, а не люди», те живые, никогда не виденные кулаки! Стариков они теперь не спялят... а меня? Что они сделают со мной, если подкараулят?..

Дом волисполкома был заперт. Темен. Никто не сторожил его.

Я поднялась на крыльцо, где мы так недавно стояли с Гришей Пеппоевым и слушали, как летит-плывет песня. Села на верхнюю ступеньку, вся сжавшись и приникнув к ограждению крыльца. В этом темном уголке никто меня не увидит, не найдет, не догадается искать. Меня била дрожь — и от страха и от холода, пальтишко на мне было легкое, «на рыбьем меху», вязаный шарфик и беретик тоже грели мало, а ботинки прохулились и не согревали ноги, а леденили их.

«Пусть комсомола уйдет». «Пусть комсомола уйдет!»

Сквозь тоску жуткого одиночества на мерзлом крыльце, ночью, в незнакомом селе, ко мне вдруг пришла удивительнейшая мысль — меня ненавидят! Меня боятся! Моего комсомольского влияния боятся! Значит, очень важно и смертельно для врагов революции то, что мы делаем? То, что я делаю?!

Я не распрямилась только потому, что берегла остатки тепла, хранившиеся под стиснутыми на груди руками. Но мысленно я встала в полный девчоночий рост на крыльце комсомольского волкома, бросаая вызов всем кулакам, белобандитам, капиталистам и самым наглнейшим акулам империализма.

Рано утром меня, дремлющую и почти совсем зачоченевшую, нашла на крыльце сторожиха. Привела в свою жарко натопленную комнатку, которая, как оказалось, была тут же в доме, стоило зайти со двора. Напоила чаем с сахариним. Отплевываясь и призывая на их головы всяческие беды, сторожиха называла по именам каких-то «кулацких фулиганов», которые только и могли написать записку, и ругательски ругала стариков, выгнавших «такое дите» среди ночи на улицу. Досталось и Пеппоеву:

— Ну, самому на работу, растяпе, так неужели людей нет? Да привел бы ко мне! Знает же, что мужик мой еще в Красной Армии! Неужели вдвоем не переспали бы? Гляди, какая у меня постеля.

«Постеля» так и манила цветастым ватным одеялом и пышностью тщательно взбитых подушек, сложенных горкой — мал мала меньше. Мне б и самой малой хватило для блаженства, хоть на полу.

На станцию она меня одну не пустила, пошла провожать.

Я вскочила в мягкий вагон скорого мурманского поезда, преодолев несильное сопротивление проводника. Билетов мы тогда не покупали, их заменяли длиннейшие мандаты, дававшие нам право проезда по железным дорогам во всех вагонах и даже, кажется, на паровозах, на всех пароходах и на «гужевом транспорте» — так назывались телеги или сани с одной лошадиной силой в оглоблях. Мандаты обязывали всех должностных и частных лиц, все советские, партийные и профсоюзные организации оказывать нам всяческое содействие.

В вагоне было тепло и тихо, в этот ранний час пассажиры спали. Я села на откидной стульчик в коридоре и раскрыла на закладке «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Но мысли, отталкиваясь от прочитанных строк, возвращались к собы-

тиям ночи, когда я впервые встала «поперек горла» кому-то из враждебного мира собственников. «Такое дите» — сказала сторожика? Нет, дите их не испугало бы! Плевали б они на «дите»! Комсомол их пугает. «Пусть комсомолка уйдет!» Не уйдем! Уходить придется вам, гады недобитые!

— Товарищ проводник, чайку спроворите?

Из уютных купе один за другим выходили пассажиры — все молодые, хорошо одетые, уверенно-неторопливые. Барственные. Проводник суетился, убирая постели и опуская верхние диваны, оправляя полосатые чехлы. Сами не могут? Нэпманы, наверно. Ну конечно, нэпманы. «Семги хотите?» — «Да надо бы для аппетита». А проводник лебезит перед ними, носится со стаканами чая в массивных подстаканниках. «Эх, лимончика бы!» Самые настоящие нэпманы!

— Откуда вы, прелестное дитя?

Надо мной стоял пожилой, с четырехугольной бородкой, в пенсне. «Прелестное дитя» — это он меня вышучивает. Меня, мои рваные ботинки, мой самодельный беретик. Из гордости — не отвечать!

— Новая пассажирка, и такая строгая! Вам здесь неудобно, идите к нам в купе.

— Спасибо, мне удобно, и я читаю.

Глаза — в книгу. Отцепился бы он, ну чего пристал?

— Что вы читаете? О-о, Энгельса?! Такая строгая и такая серьезная девочка! Так хотите чайку попить? Бутерброд с семгой, а?

— Спасибо, я завтракала.

— Но семги вы не ели за вашим завтраком? А семужка свежеспосоленная, мурманская.

— Мурманская?

И тут выяснилось, что никакие они не нэпманы, а правительственная комиссия по рыбным промыслам, все — специалисты по рыбе, и х т и о л о г и, и еще моряки-добытчики, — надо широко организовать рыбный лов, стране нужна рыба, много рыбы.

Я ела бутерброд с семгой, пила чай и слушала их разговоры о строительстве рыболовецких судов, о косяках сельди, о том, что семга идет для нереста вверх по речкам, не боясь камней и порогов: куда бы она ни заплывала в океане, метать икру возвращается домой, в родную речку, перепрыгивая через перекаты и пороги, преодолевая любое течение — домой!

— Так же и человек, — сказал ихтиолог в пенсне и почему-то вздохнул, — где бы ни скитался, какое бы ни было благополучие на чужбине, в решающие дни жизни тянет его к родному дому, что бы ни было — домой, правда?

Об этом я до сих пор не задумывалась. Моя голова была полна интернациональных идей, «над вселенною встанет...» — наш дом — вселенная — «мы наш, мы новый мир построим!» — наша забота — весь мир. А где мой родной дом? У нас никогда не было постоянного дома. Севастополь, Кача, Петроград, Симеиз, Мурманск, теперь Петрозаводск... И все-таки Севастополь! Впервые за долгое время он возник в памяти так ясно, что я прижмурилась от сверкания солнца на белых ракушечных стенах, учуяла неповторимый запах моря, водорослей, мидий, соленого ветра. Я увидела колеблющуюся полосу на потолке нашей комнаты — преломление солнечных лучей на волнистой порожистой бухты; каждое утро, проснувшись, я смотрела на эту дрожущую полосу света, пересекаемую опрокинутыми фигурками людей, проходящих по набережной. Увидела Пологий спуск, где родилась, и щербатые каменные ступени на других, еще более крутых спусках, широченную Графскую пристань с подлетающим к ней лихим катерком, осыпающиеся бастионы Малахова кургана, смешные открытые

трамвайчики — входи и сходи где хочешь и как хочешь, хоть на ходу, — гордый памятник погибшим кораблям напротив Приморского бульвара и мокрые камни, среди которых закручиваются и рокочут маленькие волны, и море — море — море, такое море, что, если смотреть с самого берега, не озираясь по сторонам и не оглядываясь, начинает казаться, что оно без конца и края, что, кроме моря, нет ничего, только его ширь, его синь, его рокот и блеск... Было ли сегодня ночью то, что было? И я ли там была на темном крыльце?..

Солидные рыбки вышли в коридор провожать и потом помахали мне из окон вагона. И я им помахала, проходя, сдерживая шаг, чтобы не побежать вприпрыжку. Безотчетная радость распирала меня, радость существования на этой превосходной, интересной, всегда новой земле, где все неожиданно — и каждая встреча и то, ночное, тоже, — да, и то ночное, ведь было же! — и хорошо, что было, какой-то твердый камешек укоренился в душе этой ночью, не мешая, а бодря.

Странно, после короткого отсутствия Петрозаводск открылся своим, родным. Было так приятно идти належке, покачивая портфелем в такт шагам, по длинной-длинной улице от вокзала — и вдруг увидеть в самом конце ее серо-голубое сияние озера, и ощутить на лице упругие касания незатихающего онежского ветра. Таким милым показался наш белоколонный «губернаторский» дом и голые ветви его сада — черные ветви с кое-где мерцающими желтыми и красновато-лиловыми пятнами еще не облетевших листьев... Значит, может быть несколько мест, где ты — дома?

Даже моя полутемная узкая комната в конце коридора уже не казалась мрачной. И совсем уж своим, кстати явившимся, был вошедший вслед за мною низкорослый, кряжистый паренек с льняным чубом из-под кепочки с пуговкой.

— Откуда?

— Из Ругозера. Со вчера жду.

.

В ту осень, читая Метерлинка, я выписала его слова: «Серые дни бывают только в нас самих». В ту осень, когда мокрый снег перемежался дождем и холодные ветры продували до нутра, во мне не было серых дней. Все спорилось. Дел было невпроворот, но сколько бы я ни бегала по нелегким хлопотливым делам, со мною рядом бегала-хлопотала радость, радость-надежда... на что? Ни на что определенное, на все, что может быть и будет, когда тебе скоро шестнадцать.

С нового года нам обещали издание комсомольской газеты. Не какой-то там странички во взрослой газете, а настоящей газеты на четырех полосах, и уже стало известно, что редактором будет Витя Клишко, а Витя Клишко считал само собою разумеющимся, что я перейду на работу в редакцию. Думала ли я тогда о журналистике и литературе как о профессии? Нет, пожалуй. И сомневаться в своих силах тоже не научилась. Просто хотелось писать и казалось, что работа в редакции самая лучшая, самая интересная.

А в губкомоле произошла перемена — первым секретарем выбрали Пальку Соколова. И это тоже было очень хорошо, теперь я постоянно встречалась с ним по работе и скоро заметила, что он приглядывается ко мне, что-то проверяет и как будто нарочно испытывает меня — поручит трудное дело, а сам наблюдает, справлюсь ли. не раскисну ли...

Однажды, уж не помню почему, он сказал:

— Мы ведь друзья? Ты — мне — друг?

Гордость заставила меня ответить шутливо уж не помню что, смысл был тот, что дружба — понятие двустороннее, а сердце запрыва-

ло — от восторга, все существо мое откликнулось на этот неожиданный призыв — да, друг, конечно, друг!

— Ну и я тебе друг, — сказал он. — Ты ведь настоящий мальчишка.

Ласковая интонация. И в глазах промелькнуло что-то необычное.

Новая возможность окрыляла меня, сопротивляться ей не было сил, я все чаще прибегала к Пальке: «Должна поговорить с тобой как друг...», «По-дружески прошу тебя...» А после четвертой годовщины Октября, которую мы отпраздновали и торжественно и весело, совсем уж отчаянная попытка: «Завтра у нас дома соберутся друзья, если захочется, приходи...»

Из бело-зеленой полосатой фланельки, полученной по ордеру, мама соорудила мне закрытую блузку с галстуком, в этой блузке я казалась себе ослепительно нарядной. Приходили к нам ребята охотно, после концертов в помощь Поволжью все знали маму, так как она безотказно аккомпанировала нашим певцам и мелодекламаторам. Угощение ставилось более чем скромное — чай и самодельное овсяное печенье, о выпивках тогда и не думали, собирались и болтали о чем придется, пели, читали стихи, играли в «море волнуется»... Палька не пришел, и я, сохранив доброе настроение, уже внушила себе, что это и хорошо, нечего выдумывать дружбу из-за случайно оброненных слов... а в середине вечера он явился, в белой рубашечке с галстуком под своей полувоенной тужуркой, был оживлен и мил, пробовал под аккомпанемент читать какого-то индийского поэта, но мелодекламатора из него не вышло, хотя мама, почему-то внимательно поглядывая то на меня, то на Пальку, изо всех сил старалась подыгрывать ему... Затем Палька прямо-таки прирос к маме — ему хотелось научиться понимать музыку, он задавал наивные вопросы, а мама терпеливо отвечала, он даже хотел научиться играть на рояле и допрашивал маму, можно ли начинать в девятнадцать лет.

Под конец вечера, когда многие ребята ушли, Палька вдруг рассказал странную сказочку про богдыхана и поэта.

Богдыхан разгневался на великого китайского поэта и выгнал его. Но поэт, впав в нищету, в жалком рубище скитаясь по стране, думал о радости, о счастье пользоваться жизнью, солнцем, ароматом цветов, и его песни радовали людей, звали их жить и трудиться. Богдыхан узнал об этом, до него дошли и песни поэта. И богдыхан впал в тоску и принял большую дозу тебаина, потому что понял свое бессилие перед гением поэта, понимавшего смысл бытия и радость его, в то время как он, всемогущий богдыхан, не мог понять ни великого смысла жизни, ни величия гения. Тебаин сделал свое дело, богдыхан умер. Потом умер поэт. Но скорбь и радость жизни ходят по земле так же, как и четыреста лет назад...

— А сколько таких людей, как богдыхан? Много. А сколько таких, как поэт? Их мало, их почти нет, иначе первых было бы меньше. А к кому принадлежу я? И каждый из нас?

Так он завершил свою сказочку. И пересидел всех. Упросил маму поиграть на рояле, мама играла Шопена и Скрябина, а он сидел, прикрыв глаза, и просил: «Еще!» Когда я вышла проводить его до калитки, Палька сказал, держа калитку и раскачивая ее двумя руками:

— Ты, кажется, умеешь радоваться жизни, а я нет. Существование в мире, который готовится стать новым, только и может проявиться в том, что человек делает для общества. Я делаю. Но то ли я делаю? То ли, что могу? Нет. Не то и не так. Может, все дело в том, что я с детства изломанный человек.

Сказал — и пошел. Почему он это сказал — мне?

• • • • •

Чувство счастливого ожидания прямо-таки захлестывало меня, когда я на следующий день нашла повод забежать в губкомол. Соколова не было, его срочно вызвали в губком партии.

Никто ничего не знал, но какая-то тревога была разлита в воздухе.

К вечеру просочились слухи о том, что белофинны вторглись в Карелию и уже захватили ряд пограничных селений.

В губкоме партии собрались все руководители Карелии, шло заседание, никто оттуда не выходил...

Мы, комсомольцы, не сговариваясь собрались в нашем зале. Было полумерно, горела одна лампочка, и никто не зажигал других.

Соколов появился как-то вдруг. Подтянутый, строгий.

— Комсомол Карелии объявляется мобилизованным, — сказал он. — Шюцкоры и лахтари предательски напали на нас по всей границе, ворвались в Ухту, Ругозеро, Реболы. С помощью местных кулаков захватили, замучили и расстреляли коммунистов и комсомольцев. Садитесь писать повестки: комсомольцам от семнадцати лет завтра — в губвоенкомат, остальным собраться здесь, пойдут в отряды ЧОН.

Сразу, без расспросов, все грамотеи сели писать повестки. Не было ни удивления, ни потрясения. Нас тогда больше удивлял своими неожиданностями мир — ведь наше поколение с детства знало войну, войну, войну, разговоры о войне, жертвы войны, тяготы войны, одна война переходила в другую, наше сознание складывалось под винтовочный треск и раскаты орудий, мы вступали в жизнь и одновременно в «наш последний и решительный бой», мы только мечтали о том, что когда-нибудь потом люди смогут петь «э т о б ы л наш последний»...

Да, но... Ухта, Ругозеро, Реболы. Замучили и расстреляли коммунистов и комсомольцев... Значит, и того немногословного парня, добравшегося к нам на лодках и плотках из Ребол? И низкорослого, кряжистого паренька с льняным чубом — из Ругозера?..

В наступающем очередном бою хотелось только одного — чтобы не зашихали в санитарки или телефонистки. Но теперь некому было затирать меня, я сама участвовала в формировании комсомольских отрядов и записала себя в отряд ЧОН — частей особого назначения.

Каждый вечер мы занимались военным делом на спортплощадке у Лососинки: изучали винговку, «русскую трехлинейную», разбирали и собирали ее, учились стрелять стоя, с колена и лежа, маршировали и постигали приемы штыкового боя.

Было интересно, весело, над ошибками и неудачами смеялись, иногда казалось, что такая у нас новая, нестрашная игра... Но фронт где-то совсем близко, там идет борьба среди лесов, озер и болот с противником, хорошо знающим эти места и чувствующим себя уверенно именно в лесах, среди озер и болот... И где-то там, в 11-й Петроградской дивизии, наступающей в направлении Ребол, — Палька Соколов...

Надо стать кем-то?..

Мне светло наедине с тем временем и с девочкой, которая тогда начинала жизнь, я всматриваюсь в нее издали. Как в хорошо знакомую — и только. Я многое знаю о ней — это помогает воссоздать строй мыслей и чувств, присущих отнюдь не ей одной. Но меня томит тревога: возникает ли в моих клочковатых записях, хотя бы частично, само время, великое и сложное? Дойдет ли до читателей его жесткий свет, грубость и сила его формулирующих ладоней, неотпускающий накал его пламени, закалявшего сформованные им души?

Еще не оборвалась живая связь времен — тогдашнего и нынешнего, но мы и сами, подростки послереволюционной поры, с трудом и с изумлением восстанавливаем в памяти ее черты. Мы знали страш-

ные подробности голода в Поволжье и понимали хитроумные происки Антанты, будто читали мысли господ пуанкаре, гуверов и черчиллей, но уже утвержденный съездом Советов план ГОЭЛРО еще звучал для нас отвлеченным понятием; мы почти ничего не знали о работах, начатых совсем неподалеку от Петрозаводска, возле небольшой узловой станции Званка, на совсем еще не знаменитой реке Волхов, но мы не представляли себе железнодорожных станций без унылого кладбища на запасных путях — везде стояли впритык обшарпанные, дырявые вагоны, полуразобранные мертвые паровозы... горестное овеществление слова, известного и старым и малым: **р а з р у х а**.

В стране не было, кажется, ничего — ни хлеба, ни сапог, ни плугов, ни гвоздей, все надо было начинать как бы сначала. Везде были необходимы руки, много упорного труда, и в то же время существовала безработица, тысячи людей осаждали биржи труда в поисках любого заработка, любой, хотя бы временной, работы... А заводы еле дымили или стояли совсем — не было угля; уголь не могли подвезти — не хватало паровозов и вагонов; на ремонт техники не хватало металла; и всем не хватало еды и одежды... Заколдованный круг — как разомкнуть его?! Разомкнула его гениальная решимость Ленина. Новая экономическая политика. Нэп.

Эти три начальные буквы — нэп — быстро обрели значение самостоятельного слова, оно склонялось в мужском роде и сразу обросло производными — нэпманы, нэпманский дух, нэповские извращения. В тот первый год новая экономическая политика еще не успела принести видимые для всех плоды, процесс шел в глубинах хозяйственной жизни, а наружу выпячивалась отрицательная сторона нэпа — разгул рыночной спекуляции, мстительное и жадное оживление среди деревенских кулаков и таившихся от революции дельцов всех мастей. Теперь, когда мы знаем все дальнейшее, это кажется нестрашным, но в то время бывало жутко: уж очень презрительно смотрели новоявленные богачи на революционную голь, уж очень нагло хватались за возможность наживы!..

Недавно, во время поездки по Карелии — по местам юности, — я целый день просидела над старыми документами и подшивками газеты «Коммуна». Начала читать с апреля 1921 года — в том месяце я переехала в Петрозаводск. В номере от 28 апреля населения сообщалось о выдаче продуктов **з а м а р т**: по карточкам разных категорий выдавалось от 7,5 до 18,5 фунта муки местного помола, а также всем категориям — по полфунта соли, по полфунта сахара и по два коробка спичек. Что это значило? От 100 до 240 граммов муки на день, по 6—7 граммов сахару и соли... с месячным запозданием!..

Позднее газета начала публикацию рыночных цен. Читаешь — и больно бьет в душу тогдашняя нищета, вся бедственность нашего положения, все уродства жиреющей на голоде народа рыночной стихии. На петрозаводском рынке (он раскинулся в котловине у Лососинки неподалеку от комсомольских спортплощадок) фунт белого хлеба стоил шесть тысяч рублей, фунт сахара — 30—35 тысяч, десяток яиц — 20—25 тысяч, масло — от 25 до 45 тысяч за фунт, бутылка молока стоила семь тысяч рублей, пачка спичек — 15 тысяч, кусок мыла — 13 тысяч... Мука на рынке стояла мешками, покупай хоть всю, были бы деньги, но за пуд ржаной муки надо было заплатить 160—180 тысяч рублей!

Мы знали, что Советская власть последовательно и основательно собирает силы, чтобы справиться с разрухой, голодом и безработицей, с обесценением денег и безудержной спекуляцией. Об этом мы читали в газетах, об этом нам рассказывали в докладах. Ожидалась денежная реформа: введение твердого червонца вместо тысяч и мил-

лионов («лимонок», как называли миллионные бумажки). Но в тот год цены все росли, деньги катастрофически обесценивались. Уже в декабре пуд муки продавался на рынке за 300 тысяч рублей, фунт сахара — за 60 тысяч... В апреле 1922 года счет велся уже на миллионы: пуд муки стоил 3 600 тысяч рублей, а спустя неделю — уже четыре с половиной миллиона! Сахар продавался по полмиллиона за фунт, а через неделю — за 750 тысяч. Одно яйцо стоило 35 тысяч рублей, а через неделю уже 100 тысяч (одно яйцо!). Цена бутылки молока подскочила за неделю с 85 до 100 тысяч рублей! Пара подметок стоила один миллион.

Среди масс людей, одетых как придется — донашивали армейские шинели, носили пальто из одеял и старых бархатных гардин, — появились мужчины в добротных пальто и шляпах, в прекрасных шевровых ботинках и расфуфыренные дамы, каких давно уже не видали. В Петрозаводске их было немного, но когда зимой я съездила в Петроград навестить Тамару, поступившую в университет, меня прямо-таки ошеломила вызывающая роскошь нэпманов: их дамы щеголяли в каракулевых саках и в высоких, до колен, ботинках, на шнуровке, через стекла переполненных ресторанов можно было увидеть их в платьях, обнажающих плечи, в собольих палантинах, в сверкающих ожерельях и серьгах. На углу Невского и Троицкой в ряд стояли лихачи — сани с медвежьей полостью, откормленные, лоснящиеся кони под ковровыми попонами. Частные магазины зазывно сияли витринами — и чего там только не было, на этих витринах! А на солнечной стороне Невского между Московским вокзалом и Литейным проспектом какие-то верткие субъекты шныряли в толпе и монотонно повторяли: «Кому валюта? Валюта, есть валюта! Кому валюта?»

В студенческом общежитии карельского землячества, занимавшем верхний и мансардный этажи большого дома на Литейном, 16, жили голодно, весело, в полном презрении к разгулу нэпа. Если что и соблазняло студентов, то лишь витрина кондитерской в первом этаже — сдобные булочки, крендели, пирожные... Пирожные! Настоящие, с кремом, с орехами, облитые шоколадом!.. Смотреть на это великолепие было невозможно, слюни текли, приходилось пробегать мимо отвернувшись.

Тамара, Ильяка Трифонов и их приятель Коля Гаупт организовали коммуны «Новый быт» — жили втроем в одной комнате, складывали вместе свои пайки и стипендии, вместе, на равных, что-то готовили и убрали комнату, вместе занимались. Я прожила у Тамары дня четыре и сперва была смущена тем, что придется жить в одной комнате с ребятами, но в коммуне система отношений была отработана: когда наступало время спать, ребята выходили в коридор, потом мы ложились лицом к стене, давая улечься ребятам; утром Тамара командовала: «Поворот все вдруг!» — и по этой морской команде Ильяка и Коля упирались носами в стенку, а мы одевались... Коммуна была протестом против мещанства, вызовом всем предрассудкам, самоутверждением — так оно и воспринималось студентами; насколько я уловила, в общежитии не было ни сплетен, ни дурных подозрений. Но когда через год Тамара с Илкой поженились, это тоже никого не удивило.

Если в Питере ошеломяла внешняя сторона нэпа, вызывающая, крикливая, то в Петрозаводске нас обступали заботы и тревоги, нэпом порожденные. Главной бедой была безработица. Эта беда — городская — меня как будто не касалась, моей заботой был уезд, но когда безработные подростки приходили в бывший губернаторский дом, они не разбирались кто чем занимается, они приходили в комсомол. Кого застанут, тому и жалуются, того и просят, у того и требуют: работу!

Хоть какую-нибудь! Вы должны! Вы можете! Мы не отпирались — должны. Но много ли мы могли!.. А если безработного паренька ловили на рынке с украденной буханкой хлеба, а другой поступал к торговцу или кустарю «мальчиком», мы страдали, мы чувствовали себя ответственными за это, но ведь и тому и другому нужно было дать настоящую работу!..

Из волостей тоже шли невеселые вести. Родители из хозяйств покрепче перестали пускать своих детей, особенно девушек, в комсомол: дескать, время баловства прошло, давай-ка работай в своем хозяйстве, давай-ка поезжай на рынок торговать, да смотри не проделшеви! И стоят комсомольцы и комсомолки, дерут по сто тысяч за бутылку молока... Другие отказываются, из дому уходят — а куда податься? Где устроиться?.. Агитация идет по селам шепотком: «Зачем карелам под большевиками жить, свои уже близко, надо соединиться с соседом!» Богатеи и их подпевалы шепчут, а слушают многие, хоть и не соглашаются, а сыновьям и дочкам говорят: «Пережди, придут беляки — перевешают вас!» А в церквах попы свое твердят: с революцией покончено, сами видите, все возвращается к прежнему, священному религией порядку, молитесь, кайтесь в грехах, пока бог не покарал!..

Нелегко было комсомольцам давать отпор такой агитации, нелегко было и осмыслить, что же происходит в стране, что происходит с революцией. Среди своих, внутри партии, не было единомыслия. Соберутся вместе три-четыре коммуниста, сразу — спор до крика, до хрипоты, и всё о нэпе, об отступлении — до каких же пор отступать, ведь буржуазия прет из всех щелей!.. Еще недавно боевые, некоторые коммунисты рохтели, отчаивались, сами уходили из партии — «из-за несогласия с нэпом». Их клеймили трусами, растерявшимися; это новое слово быстро вошло в обиход вместе с другим бичующим словом — п р и м а з а в ш и е с я.

Осенью 1921 года партия объявила чистку своих рядов.

Чистка проводилась с тою же ленинской решительностью — открыто, перед всем народом. Какой ты есть, большевик, и большевик ли ты? — выйдя и скажи всем людям, а люди скажут, в чем ты прав, и в чем виноват, и чем хорош, и предупредят, если что не так... В залах и комнатах, где проходила чистка, всегда было полным-полно — партийные и беспартийные и, уж конечно, молодежь. В комсомоле чистки не было, но партийная чистка была и для нас школой — суровой и наглядной. Выходит человек, бледный от волнения, рассказывает о себе хорошее и дурное, стараясь ничего не забыть, не скрыть... Потом сыплются вопросы, он и на них отвечает также, потом слушает, что о нем говорят, за что ценят, за что осуждают... Несколько лет спустя, во время второй партийной чистки, я тоже стояла вот так перед народом в напряжении всех душевных сил и рассказывала о себе то, что никто и не знал, кроме меня, с предельной откровенностью, и пусть впоследствии моя откровенность дорого мне обошлась, я не жалею и не жалею о ней, такие минуты закаляют душу, и я никогда не забуду счастливое состояние очищенности — внутренней, душевной, — с каким я покидала собрание, и какую-то неотрывность от товарищей, тоже прошедших чистку, — будто породнились...

Но в том, 1921 году мы были еще приготовишками большевистской школы. Пристрастно читали длинные списки исключенных из партии, печатавшиеся в газете «Коммуна», обсуждали — за что, правильно ли... Конечно, за давностью лет я многое забыла, но два урока запомнились на всю жизнь.

Добывая всякую всячину для комсомольских организаций, я не раз ходила к одному солидному товарищу, у которого выкалывала

музыкальные инструменты и театральные принадлежности. И вот однажды этот солидный, отечески ласковый дядя предложил мне... я даже не сразу поняла, что он мне предлагает! Кроме балалаек, он обещал пять гармошек, если я распишусь в получении семи, счет будет оформлен задним числом, две гармошки я запишу волостям, захваченным белофиннами... Когда я вскочила, глотая воздух, потеряв дар слова от ярости, он мило рассмеялся:

— Ну, молодец комсомолочка! Я ведь проверял тебя, у меня и гармошек нету, откуда их взять!

Я ушла с одними балалайками, оскорбленная тем, что меня могли заподозрить в нечестности. Рассказала Вите Клишко. Витя решил, что я наивная дура, а этот «балалаечник» — хорош гусь, надо выводить его на чистую воду. А я была действительно наивной душой, не поверила, никуда не пошла... И вот я увидела его, багрового, трясущегося, на трибуне. Вопросы так и сыпались один другого ужасней, упоминались и гармошки, и какой-то концертный рояль, проданный налево, и ларек на рынке, через который он сбывал краденое... Люди высказывали на сцену и всё называли своими именами; кроме п р и м а з а в-шегося, звучало еще слово перерожденец, а Христофор Дорошин сказал, что высокая волна революции выплескивает грязную пену. Когда исключенный гусь — балалаечник шел через зал к выходу, наши ребята свистели в два пальца, а я кричала ему вслед, потому что свистеть не умела.

И еще запомнился инвалид, которого все звали Проней или Пронькой. Солдат империалистической и боец гражданской войны, одно время, по его словам, даже комиссар батарее, опустившийся, обросший человек со странно вывернутой, искалеченной рукой, Проня часто появлялся в губернаторском доме, заходил то в одну комнату, то в другую, почти всегда выпивший и злой. Однажды, когда мы в нашем зале писали какие-то лозунги, Проня остановился в дверях, покачиваясь, и закричал:

— Стараетесь?! А вас продали, комсомол, продали нэпманам! Спекулянтам продали! Врагам недобитым!

Тут и застал его Христофор — стодвинул от двери, повернул к себе лицом. Мы замерли: что будет? Христофор заговорил с ним мягко. Они давно знали друг друга и, кажется, вместе воевали, но тем более нас поразило, когда Христофор сказал:

— Говоришь, врагам продали? А ведь ты, Проня, хуже врага, потому что был своим.

Был?..

На чистке Проня стоял трезвый, подтянувшийся, жалкий и... страшный: он и сам чувствовал, и все присутствующие чувствовали, что он как бы за гранью, сам в себя уже не верит, что он был... Из того, что говорили о нем на том собрании, врезались в память слова: большевик паникующий, опустивший руки, — не большевик! Я глотала слезы, когда Проня уходил, втянув голову в плечи, я роптала — ведь он все-таки свой, свой! — но, вероятно, именно в тот день я до конца поняла всю меру ответственности перед людьми, которую готовилась и хотела принять.

Вот такой напряженной, полной новых переживаний и мыслей была та зима 1921—1922 годов.

Мы росли среди всей сложности времени — его дети, его ученики и бойцы, его верующие.

И еще: совсем рядом, в сотне верст, шла война и многие наши товарищи были где-то в лесах, в снегах, на фронте. Могли ли мы не беспокоиться о них?. И могли ли мы не помнить о судьбе комсомольцев в захваченных лахтарями местах?.. Красная Армия гнала врага

прочь, освобождала все новые селения, и мы узнавали о новых и новых зверствах белобандитов: перехватывали по указке местных кулаков всех коммунистов и комсомольцев... пытали, расстреляли, сожгли... изнасиловали и расстреляли... расстреляли... расстреляли... расстреляли...

И еще было у нас, оставшихся, очень много работы, потому что стало нас меньше, а намеченные сборы в пользу голодающих Поволжья надо было выполнять полностью, а кроме того, снабжать всем необходимым прифронтовые и освобождаемые от белофиннов волости, и надо было устраивать на работу или как-то поддерживать безработную молодежь и, наконец, готовить первые номера своей газеты, которая начнет выходить с нового года.

И еще: вопреки взрослым заботам была с нами наша юность, всегда прекрасная, с милыми причудами и жаркими надеждами, с приступами беспричинной тоски и беспричинной веселости, с первой любовью, которой нет дела ни до войны, ни до важнейших задач, напротив, чем больше помех, тем она неотступней и безоглядней. С незавидной вышки почтенного возраста многое кажется наивным, но никогда — смешным, так бескорыстны были помыслы, так беззаветны чувства, столько было готовности и к торжествующей радости любви, и к черному горю утраты...

Еще красивей и святее была родившаяся среди разрухи и войны непрощенная любовь, оттого что бегала в стоптанных ботинках на комсомольские собрания, питалась по карточкам категории «Б», озабочена мечтами о безоблачном счастье всего — обязательно всего! — человечества и силилась не противоречить теориям Энгельса и Бебеля!

Она звала не к тихой пристани, эта любовь, а к подвигу. В ту военную зиму она воплотилась для нас в облик молоденькой учительницы Айно Пелконен и высказала самое сокровенное ее предсмертными словами... Из того, что я слышала об Айно сразу после ее мучительной гибели, и из того, что прочитала позднее в очерке карельского писателя Ругоева, знаю — девушка была веселой и ясной, как бывают ясны и веселы люди убежденные, живущие в полном ладу со своей совестью. Дочь рабочего и сестра красноармейца, Айно выбрала себе профессию по душе и готовилась к ней в Петрозаводском педучилище самозабвенно и всесторонне, потому что в те годы учитель в деревне не только учил детей, учителю нужно было уметь многое: и спеть, и плясать, и поставить спектакль, и сыграть в нем трудную роль, и разъяснить политические события, а иногда и лечить больного... светлый огонек новой культуры, к которому тянутся и взрослые и дети! Айно любила и была любима, ее Сережа тоже учительствовал в Ухтинском пограничье и звал ее к себе, но Айно поехала туда, куда ее послали, где она была нужнее всего, — в глухую деревню Тихтозеро. Может быть, она недостаточно любила? Нет, я уверена — это было то высшее проявление духа, когда любовь делает человека лучше и сильнее, когда чувством долга нельзя пожертвовать, не унизив любовь. Удавалось ли им встречаться? Не знаю, наверное, все же удавалось. Во всяком случае, когда в декабре белобандиты ворвались в их район, Сергей нашел возможность примчаться с товарищами в Тихтозеро — спасти любимую. И не застал ее — Айно уехала в какую-то другую деревню в семью ученика. А ждать Сергей не мог. Вернувшись, Айно поняла, что оставаться опасно. Но как уйти, ведь ученики ждут ее в школе. Айно вела урок, когда появились бандиты. Она сделала единственное, что могла, — заслонила собою детей. Ее схватили. Ее били. От нее требовали — отрекись!

— Я никогда не отрекись от своих убеждений,— так сказала Айно.— Я останусь коммунистом до конца своей жизни.

Ее зверски истязали, над нею глумились, полуживую, ее привязали к саням и тащили вслоком по снежной дороге...

Мы цепенели от ужаса перед тем, что испытала Айно, но ее слова реяли над нами, как знамя:

— Я никогда не отрекись от своих убеждений!

.

А в Петрозаводске было тихо и совсем мирно. И ничего героического в нашей жизни не было. Мы ускоренно прошли девятишестичасовую военную подготовку, дежурили в штабе ЧОН — больше делать было нечего, на фронт никого не брали. Убежать, переодевшись мальчишкой и срезав косу? Но кто меня примет там? Если бы Палька Соколов... Но где и как найти ту самую 11-ю Петроградскую стрелковую?..

Все стало мне немило в Петрозаводске.

Еще осенью, когда выбирали первого секретаря обкома, часть членов обкома хотела выбрать Георгия Макарова, но большинство выбрало Соколова. Теперь Макаров стал первым секретарем и, к моему величайшему огорчению и недоумению, на бюро нередко осуждал то, что делалось «при Соколове». И ему поддакивали. Я знала, что кое в чем ребята правы: Палька был несдержанным, капризным, умел обидеть походя и потребовать так, что исполнять не хотелось. Он сам это знал — «делаю не то и не так», — и я не раз говорила ему об этом на правах друга. Но позволить осуждать Пальку за глаза теперь, когда он на фронте?!

— Я друг Соколова и прошу при мне не говорить о нем плохо!

Так я заявила на заседании бюро. И по улыбкам и смешкам поняла: они не очень-то верят, что тут только дружба.

— А то, что вы думаете, это пошлость! Мещанство! Если вы не верите в дружбу парня и девушки, какие же вы комсомольцы? Стыдно!

Прокричала и выбежала, глотая слезы.

Сама я верила в бескорыстность дружбы, ведь ничего иного между нами не было. Никто не мог знать мою тайную, от всех скрываемую любовь. И Палька не знал. Я писала ему почти каждый день дружеские письма, посылала газеты — ведь человек на фронте, это мой товарищеский долг. Он отвечал одним письмом на пять моих, но неизменно просил писать чаще и задавал вопросы, на которые нужно было ответить. Чтобы как-то выплеснуть чувство, одолевавшее меня, я выдумала целую историю: есть человек, которого я люблю, он воюет на самом севере, еще дальше, чем Палька, и связь с ним еще хуже, я тревожусь и тоскую, когда долго нет известий... Было так хорошо писать о своей любви к неведомому человеку словами, рвавшимися наружу, ничем не рискуя, ничего не боясь, ведь я просто делюсь переживаниями со своим другом! Палька обходил мои признания, будто их и не было, но однажды вдруг написал: «И все-то ты лжешь!» А строкой ниже: «Война идет к концу, совсем скоро встретимся, я этого жду». Испуганная и счастливая, я читала-перечитывала неожиданные слова и не решалась сказать себе самой, что он понял...

Год назад, получая ежедневные письма Шенкуренка, я не робела и даже не очень задумывалась над его пылкими объяснениями. А сейчас, когда ничего-то и сказано не было, кроме слов «скоро встретимся, я этого жду», мне стало страшно. Я не знала, что делать с таким непредвиденным богатством, хотела, чтобы Палька приехал

скорей, и хотела, чтобы ожидание длилось и длилось, потому что боялась взглянуть на Пальку и понять, что он все знает.

Моя действительная или воображаемая соперница Аня однажды увидела у меня на столе конверт, надписанный знакомым ей размашистым почерком с неправильно расставленными знаками препинания.

— Палька тебе пишет? — удивилась она. — Ну-ка, покажи.

В письме не было ничего, что нельзя было показать, но именно поэтому я не захотела показывать. Аня настаивала. Я спросила, уж не рвнует ли она. И услышала презрительное:

— Я?! К тебе?!

Лет двадцать спустя на Невском на трамвайной остановке я столкнулась с пожилой женщиной и вдруг узнала — Аня. Она искренно обрадовалась встрече, а я... Смешно вспомнить, но я будто услышала давнее: «К тебе?!» — и обошлась с нею холодно. Вероятно, Аня подумала: вот, вышла в писатели и зазналась. А для меня она все еще была соперница и обидчица.

Уничтоженная ее презрением, я усомнилась и в себе (неуклюжая девчонка, к которой и ревновать нельзя!) и в тех заветных словах (несколько ни к чему не обязывающих слов!). Проклятие возраста снова навалилось на меня. Но теперь возникла надежда на весну — в мае мне наконец-то исполнится шестнадцать! Приедет Палька, а мне уже шестнадцать, я уже не девчонка. Почему-то казалось, что весной что-то в моей жизни решится. Весной, когда исполнится шестнадцать!..

А решилось кое-что раньше. Но совсем не то, о чем думалось.

Я начала работать в газете. И с первых дней в мою жизнь вошло предчувствие профессии. Ее горечь и сладость, ее засасывающая сила. Еще не отдавая себе отчета в том, что это выбор на всю жизнь, я погрузилась всеми мыслями и чувствами в маленький родничок литературского труда — в крохотный родничок еженедельной, четырехполосной малого формата, молодежной... Даже мысли о Пальке отодвинулись — не исчезли, но отодвинулись.

Как и полагается в такой небольшой газете, мы с Витей Клишко работали много и писали все что нужно — заметки, передовицы, очерки, фельетоны, стихи. Авторами обрастали медленно, грамотеев среди молодежи было не так уж много, а тех, что были, и без нас перегружали всяческими обязанностями. Юнкором мы искали повсюду, в каждого паренька, приславшего в редакцию немудрящую заметку, вцеплялись хватко, стараясь приохотить его к постоянному сотрудничеству. Создали юнкоровский кружок. Но все же большинство материалов приходилось писать самим — под всевозможными псевдонимами.

Одним из моих псевдонимов (под наиболее серьезными статьями!) я взяла Самый младший. Так я оборонялась от усмешек, так демонстрировала пренебрежение к своей проклятой возрастной неполноценности. Мало того что я помнила неудачное выступление на партийной конференции и дружный хохот в зале, но и на комсомольских конференциях меня преследовало то же унижение: когда докладывала мандатная комиссия, я с трепетом ждала сообщения о возрасте делегатов, неизменно кончавшегося словами «и один — 1906 года»... Все с улыбкой смотрели в мою сторону, а я готова была провалиться сквозь пол, в пыльный подвал, хотя там, как я знала, водились крысы.

Впервые я использовала вызывающий псевдоним для статьи (еще в молодежную страницу «Коммуны») на весьма серьезную тему: «Новая экономическая политика и молодежь». Недавно в Петроза-

водске я разыскала эту статейку в номере «Коммуны» от 24 декабря и там же сообщение о том, что с 1 января 1922 года начнет еженедельно выходить «Трудовая молодежь» (четыре страницы, тираж две тысячи экземпляров, цена номера две тысячи рублей). Нашла я в своей давней статейке и строки, развеселившие опытного журналиста Льва Гершановича, того самого, что прошлой весной назвал меня гадким утенком: «Нужно сохранить пролетарскую молодежь от распыления, деклассирования, пробуждая в ней классовое сознание и ненависть к мелкобуржуазной стихии».

Лев Гершанович влетел в комнату, где мы с Витей обосновались, размахивая газетным листом:

— Кто тут Самый младший? Покажите мне этого теоретика! «Деклассирования»! Какой накал теоретической мысли! И в таком юном возрасте! Каким же мыслителем он вырастет, когда станет самым старшим!

У меня хватило ума не обидеться. Он мне нравился, этот человек брызжущего темперамента и несомненного таланта. В политической и культурной жизни Петрозаводска Лев Гершанович был заметной фигурой, с его оценками считались режиссеры и актеры, музыканты и молодые журналисты, такие, как Илья Трифонов, с семнадцати лет печатавшийся под псевдонимом И. Иволгин. На премьере театра или на интересном концерте в партере неизменно выделялся Лев Гершанович — шапка кудрявых волос, искрящиеся глаза, густой выразительный голос. К тому, что он говорил, всегда прислушивались, около Гершановича в антрактах кучились люди, знакомые ему и совсем незнакомые, старающиеся уловить его мнение.

В те дни старая интеллигенция и молодые советские деятели искали новые пути для искусства, бурно спорили, нужна ли революционным массам классика или ее пора «выкинуть за борт», каким должен быть новый театр и новая литература. Лев Гершанович в своих статьях по искусству не поддерживал крайних, левацких течений, вдумчиво и серьезно рассуждал о богатстве и многообразии культуры, но при этом увлекался новыми формами театра, сам написал инсценировку для «массового действия» (она была осуществлена летом 1922 года), затевал публичные диспуты — на одном из них я была, и он мне запомнился: театр был переполнен, страсти кипели вокруг темы, озаглавленной «Героический репертуар и культ личности». Кто является истинным двигателем истории? Народные массы или сильная личность? Может ли герой-одиночка повернуть вспять ход истории? Нужны ли театру герои, возвышающиеся над толпой? В чем особенности и отличия революционного героя? Один из ораторов, популярный актер драматического театра (не помню его фамилии), очень веско и умело отстаивал роль сильной личности в обществе, называл Наполеона, Бисмарка и каких-то совсем давних римских цезарей, которых я по своему невежеству и не знала. Оратор многих убедил, но затем выступил Гершанович и положил своего оппонента «на обе лопатки», и мы горячо аплодировали ему, потому что идея героя, тесно связанного с народом и выражающего его чаяния и цели, была для нас близка. Споры вокруг «сильной личности» продолжались и после диспута, побуждая думать и искать неопровержимые доводы. Именно тогда я начала с пониманием вчитываться в то, что писали Ленин и Маркс, Энгельс и Плеханов (найти нужное, как всегда, помог приехавший на каникулы Илья). Именно тогда я впервые заинтересовалась историей — не заучивала по-школярски имена и даты, а вопрошала ее и находила ответы.

В первые годы революции, когда политическая и общая грамотность людей была намного ниже, диспуты происходили часто, и самые

крупные партийные деятели не стеснялись выступать на них. Луначарский публично, при большом стечении народа, вел спор с церковниками — и побеждал в споре... Несколькими годами ранее один деятель неодолимо относившийся к диспуту на безобидную морально-этическую тему, кисло сказал мне: «К сожалению, на диспутах, кроме правильных, высказываются и неправильные мысли!» «К счастью!» — ответила я. Ведь хуже, если «неправильные» мысли лелеются втихаря! В открытом споре, выслушивая доводы своих оппонентов, человек часто и сам понимает ошибочность или узость своих взглядов, и окружающие понимают, и думают, и тянутся к самостоятельным размышлениям. Но к спору надо серьезно готовиться, быть во всеоружии знания, что правда, то правда.

В годы моей юности диспуты были школой мышления и политическим оружием. Лев Гершанович был одним из партийных пропагандистов, мастерски владевших этим острым оружием и не терявшихся перед сильным противником.

Но все же он запомнился мне главным образом потому, что был первым настоящим литератором, у которого я многому научилась. Мою статью с «деклассированием» он вообще-то одобрил — верно почувствована тема, в газете это — важнейшее дело! — но затем раскритиковал без скидки на возраст «самого младшего» автора:

— Ну вот, я прочитал, и ты меня убедила: надо бороться! Надо прививать! Но как это делать? Сама знаешь — безработица, голодно, подростков берут на работу со скрипом, ученичество не налажено. А я, допустим, комсомольский секретарь. Что я должен предпринять? Как бороться и прививать? Если ты газета — помоги, подскажи, а не долдонь общие истины!

Он любил заходить в нашу молодую редакцию и между шутками-прибаутками (на что он тоже был мастер) ненавязчиво учил нас делать газету. Начиная с верстки: брал несколько разных газет и показывал, где материал расположен интересно, с толком, ведя читателя от статьи к статье, от телеграммы к телеграмме, а где тускло, невыразительно; показывал, как выделять главное, и объяснял, что такое главное в каждом номере и как верстать, чтобы читатель это главное не проморгал.

В другой раз он прошелся по названиям передовиц и статей.

— «В чем ошибся товарищ Сидоров?» Это название! Обязательно прочитаешь, тебе уже хочется знать, в чем этот недотепа Сидоров ошибся. «Как в Карпасельге удвоили вывозку леса» — тоже прочитаешь, а уж лесовики обязательно прочитают, придирчиво и с пользой, если статья дельная. А вот «Усилить вывозку леса!» — все согласны: надо усилить! Но зачем читать, если резюме статьи дано в названии? Лозунгом надо не начинать, а кончать.

Однажды он зашел, поболтал с нами и вдруг спросил:

— Витя, в одном из номеров ты критиковал не помню уж какого партийного волорганизатора Митрохина или Митюхина... за то, что не помогает комсомолу. Ну и как он сейчас? Помогает?

Или:

— Помнится, ребята, вы писали о девушке, которая вступила в комсомол, но продолжает петь в церковном хоре. Поняла она? Или поет по-прежнему?

Если мы не знали, он по-настоящему сердился:

— Какие же вы журналисты?! Перед тем как написать, проверь, все ли точно, взвесь, стоит ли овчинка выделки, но уж если выступил — следи, подействовало ли, проверяй, не вхолостую ли выстрел.

Он был влюблен в силу печатного слова и относился к ней поборцовски: приложил к делу — и жми до победы! При этом, как мне

вспоминается, он обладал большой чуткостью к тому, чем сегодня живет страна, народ, город, а поэтому — что сегодня г л а в н о е. Но ведь эти два качества и есть наиважнейшие качества журналиста! Те, кто ими не обладает, не журналисты, а всего-навсего «служащие в газете», да и служба у них тяжкая, потому что только по призванию, по страсти можно выдержать ответственность, многотемность, взрывоопасность и бешеный темп газетной работы.

Витя Клишко тоже любил Гершановича. Оба языкатые, они с удовольствием перебрасывались остротами, не щадя друг друга, и не обижались, а хохотали, если одному из них удавалось удачно поддеть другого. Когда в самом конце года Гершановича назначили ответственным редактором «Коммуны», мы с Витей были рады. Но именно с Гершановичем спустя два месяца повздорила наша новорожденная «Трудовая молодежь», и именно из-за этого произошла новая перемена в моей жизни.

Как я ни силюсь вспомнить, из-за чего разразилась баталия между двумя редакторами, не получается. И в архиве ничего не нашла — в подшивке «Коммуны» не хватает номеров, а от «Трудовой молодежи» и следов почти не осталось.

Как бы там ни было, Лев Гершанович в своей газете за что-то покритиковал нашу, Витя Клишко взбеленился и ответил ему ядовитой статьей, где не то в заголовке, не то (как учил Гершанович) в конце в виде резюме стояла не очень тактичная фраза: «Собака лает, ветер носит!» При всей вольности тогдашних газетных нравов, подобная реакция на критику партийной газеты была чрезмерной. Лев Гершанович не без яду отчитал Витю в короткой реплике. Витя был несколько обескуражен, и, пожалуй, на этом вся перепалка и кончилась бы, но в середине дня глаза Вити вдруг засверкали:

— Он же Лев! Понимаешь, Лев!

Его перо забегало по бумаге. Я ждала, охваченная любопытством.

— Ну, слушай!

Из-под пера Вити вышел хлесткий ответ под названием «Се Лев, а не собака!». Мы хохотали, очень довольные. Витя надписал свою собственную редакторской рукой: в набор. Его иногда «заносило», и удержаться он не мог, но без этой черты Витя Клишко не был бы самим собой.

Видимо, так рассудили и в губкомэ партии. Витя был готов к тому, что ему попадет, но его отечески пожурили и посоветовали думать о читателях и «считать до ста», прежде чем подписывать в набор. Витя вернулся веселым и прорепетировал — хватит ли терпенья считать до ста. Где-то между сорока и пятьюдесятью он прекратил бормотание и сообщил:

— Еще в губкомоле, на бюро, песочить будут. Макаров — тот умеет!

За два дня до бюро вернулся с фронта Палька Соколов. Фронта уже и не было — белофиннов отбросили обратно за границу.

Мы с Витей верстали очередной номер, когда я услышала за дверью голос, который не спутала бы ни с каким другим. Дверь распахнулась, и я увидела Пальку — с порога он отвечал кому-то, кто его остановил в коридоре. Военная форма ему очень шла, он казался загорелым — так обработали его мороз и ветер. На темном лице быстрые глаза были еще ярче, зеленей — словом, еще прекрасней и убийственней для меня.

Несколько минут Палька рассматривал нашу верстку и беседовал с Витей о газетных делах, а я... не знаю, что отражалось на моем лице, но Витя вдруг вспомнил, что ему нужно в типографию, и поспешно вышел.

— Знаешь, я решил ехать учиться, — сказал Палька.

Так как я еще не обрела дара речи, он продолжал — не могу пересказать все, что он говорил, но смысл его слов был в том, что мы все недоучки и невежды, в работе с малограмотными массами наших знаний и организационных навыков пока что хватает, но ненадолго.

— Там, на фронте, я много думал, — сказал он. — Ты мне писала, помнишь, что мне надо работать над собой в отношении характера. Не только в этом беда. Я пока ни что, понимаешь? Вот ведь слушал речь Ленина, даже доклады потом делал, а не понимал! Сейчас, на фронте, понял. Впервые.

Я знала, что Палька вместе с Георгием Макаровым и Ваней Горбачевым был на Третьем съезде комсомола и слышал знаменитую речь Ленина. Читала я и саму речь Ленина. Что же он мог там не понять и что понял теперь?

— А то, что мы заучили — учиться коммунизму, связывать с практикой и так далее, а ведь он еще говорил о всей сумме знаний, накопленных человечеством! Это значит, что каждый из нас должен стать кем-то — всерьез, до самой глубины узнать хоть частицу этой громады. Вот ты знаешь, кем хочешь быть, что делать?

— Знаю, — сказала я, только в эту минуту по-настоящему поняв, что решение уже принято. — Писать.

Он оценивающе разглядывал меня:

— А у тебя хватает знаний, чтобы хорошо работать даже в этой газетенке?

— Нет, — честно ответила я.

— Нет, — согласился он. — Но ты, по крайней мере, знаешь, чего хочешь. А я не знаю. Давай-ка махнем осенью в Питер учиться?

— Я уже думала об этом, — соврала я. — А куда ты хочешь поступать?

Пальку этот вопрос рассердил, он встал и небрежно бросил, что еще есть время подумать. В дверях спросил:

— Ты здесь долго будешь?

И, не дожидаясь ответа, сказал, что сходит пока в губкомол.

Пока? Значит, он еще зайдет ко мне?

Я просидела в редакции до позднего часа. Витя пришел, закончил верстку, ушел, снова пришел. Вскользь сообщил, что видел Пальку на лестнице в губкоме партии. Потом мы обсуждали следующий номер...

Когда я пришла домой, всеми силами стараясь скрыть от мамы свою печаль, мама рассказала, с особой пристальностью глядя на меня:

— А к нам заходил Соколов. Очень славный юноша, но со странностями. Я варила суп на примусе, он сказал: «Погасите, ну его совсем, сядьте лучше и сыграйте то, что вы играли тогда. Самое лучшее». Что именно, он не мог объяснить, пробовал напеть, но не получилось. Говорит, на фронте часто слышал — в лесу или ночью, в тишине: рояль и всегда та вещь. Говорит, помогало думать. Я ему переиграла массу вещей... Нет, говорит, не то. Вспомните, пожалуйста, я еще зайду. И ушел.

Милый, нелепый, неуклюжий Палька! Заходил... ждал... слушал музыку, которая помогала ему думать на фронте... Значит, думал обо мне, раз слышал мамину музыку?.. Нет, я догадывалась, что на фронте в нем происходила напряженная внутренняя работа, может быть, и независимая от меня... но ведь в первый же день возвращения он пришел ко мне? И заходил к нам?..

— Мама, я решила осенью ехать учиться, — так я отвела разговор о Пальке, потому что боялась выдать себя.

— И Соколов тоже решил учиться? — спросила догадливая мама.

— При чем тут Соколов, когда Ленин прямо потребовал от комсомольцев: учиться, учиться и учиться! — запальчиво сказала я.

— Это очень умно с его стороны, — одобрила мама.

На следующий день Палька не появлялся.

Когда мы с Витей шли на бюро губкомла, я думала только о том, придет ли туда Палька. Он уже был там — держал в руках газету и посмеивался, читая нашу перепалку с Львом Гершановичем.

Георгий Макаров начал обсуждение весьма сурово: работники редакции совершили недопустимую ошибку, показали свою политическую незрелость и так далее. Палька сказал: «Несерьезно, конечно!» — но слова не попросил. Бранили нас все члены бюро по очереди, потом Витя Клишко признался, что его «занесло», они привыкли пикироваться с Гершановичем по-приятельски, но не надо было выносить пикировку на страницы газеты. В заключение Макаров сказал, что Витю следовало бы снять, но снимать жалко, потому что он газету любит и неплохо делает, а вот подкрепить его более зрелым помощником, способным удержать от «заносов», следовало бы...

Я выслушала это заключение, еще не осознавая, что оно подчеркивает мою только что начавшуюся журналистскую судьбу.

Потом обсуждались другие вопросы. Витя оставался, потому что был членом бюро, а я потому, что Соколов был тут и поглядывал на меня с непривычной для него ласковостью. Но именно Соколов как никто умел выкидывать неожиданные коленца.

Речь зашла о том, что в Олонецком уезде в связи с уходом многих активистов в Красную Армию ослабела комсомольская работа и надо бы кого-нибудь туда командировать. Стали думать кого, но не находили, все энергичные петрозаводские активисты были «при деле».

— Почему же некого? — вдруг вмешался Палька. — Сегодня говорили, что не мешало бы редакцию подкрепить более зрелым работником. Так вот, давайте это и сделаем, а Веру пошлем в Олонец для укрепления работы. Она боевая, справится.

— Ты же знаешь, что я еду учиться! — крикнула я.

— Осень еще далеко, — сухо возразил он, — наладишь комсомольскую работу в Олонце и поедешь.

Кандидатура была найдена — и все за нее ухватились.

Когда после бюро я направилась к выходу, Палька загородил рукою дверь и сказал с многозначительной улыбкой:

— Не злись. Я тоже скоро приеду в Олонец... погляжу, как ты там заворачиваешь.

Должно быть, я слишком уж сразу перестала злиться, потому что он добавил:

— У меня ведь там невеста.

— И все-то ты лжешь, — сказала я и решительно отвела его руку от дверного косяка.

Путь в Олонец

При чем тут Олонец! Это был путь в самостоятельность, путь во взрослость, с самого начала мой, собственный, — с той минуты, когда я получила в губкомле командировочное удостоверение и проездные ордера, и пошла на вокзал с легким чемоданчиком, и даже мама не провожала меня, потому что в этот дневной час у нее были занятия в музыкальной школе, а Витя Клишко подписывал номер, и вообще, какие могут быть провожанья, когда человек едет в командировку, в обыкновенную длительную командировку для укрепления работы в незнакомом уезде, где больше некому ее укреплять, вот и послали надежного боевого товарища, и надежный боевой взял чемоданчик и запросто едет...

Так я взбадривала себя насмешкой, а на самом деле сердце щемило: и путь неведомый, сперва поездом, потом на лошадях пятьдесят километров, и совсем незнакомый уезд, население — карелы, в деревнях, наверно, многие и по-русски не понимают, как я буду укреплять там работу? И вообще — сумею ли я укрепить ее? Это легко записать в протоколе: «Для укрепления работы в Олонецком уезде командировать...»

Стоя на площадке вагона, продуваемой холодным мартовским ветром, я смотрела, как отлетают назад петрозаводские окраинные дома. Вот и нагорные улицы — где-то тут живет Палька... Мост через Лососинку — у-у-ух, какая она холодная, скачет среди обледенелых камней, отрывая куски льда от закраин, а на солнечной стороне крутого берега снег уже тонкий, пористый, кое-где и земля проступает... Если соскочить на Голиковке, вдоль Лососинки, через мост у завода — и я дома...

Голиковка — разъезд, поезд стоит одну минуту.

— Вот так неожиданность!

Палька Соколов вспрыгивает на ступеньку и снизу, откинувшись, весело глядит на меня. Говорю, всеми силами скрывая радость:

— Все-таки хоть один губкомалец нашелся проводить.

Он висит на нижней ступеньке, откинувшись и покачиваясь.

— Был здесь по соседству. Я не знал, что ты сегодня едешь.

— Значит, случайность.

— Жизнь полна случайностей. Счастливых и несчастных.

Поезд медленно трогается. Палька все еще висит, откинувшись, только рука, ухватившаяся за поручень, напряглась.

— Палька, соскакивай! Оборвешься!

— А может, я хочу ехать с тобой до Олонца?

Поезд набирает ходу.

— Будем считать, что один губкомалец проводил одного командированного товарища! — кричит Палька сквозь переборы колес.

Господи, какой он сейчас быстроглазый, озорной, красивый, любимый до сердцебиения...

— Палька, сорвешься, — шепчу я.

— До встречи! — кричит он, поворачивается боком и ловко спрыгивает по ходу поезда.

Перегнувшись, я смотрю сквозь слезы от бьющего в глаза ветра, как он бежит несколько шагов рядом с поездом, удерживая равновесие, потом останавливается и стоит, приветственно подняв руку.

Счастьем озарено начало моего пути.

Когда я вхожу в вагон, где люди понатыканы один к другому на всех полках и в проходах, на меня все смотрят, наверно у меня на лице что-то такое написано. Смотрят и улыбаются. Я прозябла на площадке, но здесь сразу охватывает густое, парное тепло. Сесть негде, чемоданчик поставить — тоже. В другом конце вагона несколько голосов заунывно тянут песню:

Дозволь, ба-а-а-тюшка, жени-и-ться,
Дозволь взять, кою люб-лю —
Ве-се-лый да раз-го-вор!

Я иду на песню — куда ж еще! В последнем отделении тесно сидят несколько парней и один пожилой дядечка с сивой бородкой. На фанерном бауле, опирающемся на его колени и на колени одного из парней, дядечка аккуратно режет ломтиками желто-белое сало с розовой прослойкой. И тоже поет, покачиваясь в такт песне:

Отец сы-ы-ну не по-ве-е-рил,
 Что на свете есть лю-бовь —
 Ве-се-лый да раз-го-вор!

Песня тянется уныло, а лица у поющих веселые. И эти веселые лица оборачиваются ко мне с явной доброжелательностью.

Когда тебе скоро шестнадцать, мир населен в основном людьми доброжелательными. Если тебе сорок, бывает и так и сяк, если тебе шестьдесят, постараются сделать вид, что не заметили: или дремлют, или за окном появилось что-то любопытное... но для шестнадцатилетней и уступать место не нужно, просто сдвинутся, потеснятся, неведомо как высвободят местечко: «Присаживайтесь, в ногах правды нет!» — «Спасибо». — «Хлебушка с салом, девушка, не побрезгуйте!» — «Ой, что вы, я сыта!» — «Какая нынче сытость! Угощайтесь!»

Взял он са-а-а-блю, взял он во-о-о-стру,
 И зарезал сам се-бя —
 Ве-се-лый да раз-го-вор!

Через полчаса я уже знаю, что они артель плотников, но могут и землекопами, работали по подряду в Сороке, потом в Медвежьей Горе, но больше работы не нашли, теперь подались на станцию Званка, там — слышали? — громаднейшее начинается строительство, плотиной перегородят реку Волхов, сам Ленин велел построить там г и д р о с т а н ц и ю, такую большую, что свет пойдет аж до Питера. Электричество. И рабочих там нанимают — сколько ни приедут, всех берут и жилье дают и пайки. Говорят, и заработки хорошие. Земляк писал, он там с первого дня землекопом.

Так впервые ко мне приблизился еще малоизвестный Волховстрой.

Рядом, на боковых полках, ехало семейство из шести душ — отец, мать и четверо ребят, из них двое мальчишки-погодки. «Сам» с 1915-го работал на Мурманке, последние два года — путевым обходчиком. Теперь снялись с места — домой, в Тверскую губернию, в свое хозяйство.

— Старикам одним тяжело, да и поворот такой вышел: поднимать крестьянское хозяйство, — говорил «сам», обращаясь к дядечке с сивой бородкой. — И пацаны грузом висят: жрут дай бог, а на работу никак не пристроить, уж я и к начальству ходил, и отблагодарить сулил...

Я поглядывала на пацанов. Именно таких, четырнадцати-шестнадцатилетних, мы старались устроить на работу, но удавалось редко, хорошие советские законы об охране труда подростков оборачивались так, что начальники всячески отбивались от учеников: хлопот много, льгот много, а выгоды никакой. О них, о пацанах, детях рабочих, я и думала, когда писала ту статью о «деклассировании»... И вот целое рабочее семейство — обратно в деревню?.. Но и в деревне нужны руки?.. Сельское хозяйство сейчас важнее важного?..

В соседней боковушке, наоборот, молодая деревенская женщина ехала от сельского хозяйства в Лодейное Поле к тетке, тетка там буфетчицей и обещала устроить «афицанткой».

— Что ж, семьи в деревне нет, мужа нет? — полюбопытствовал дядечка.

— А что семья? Старики живы, а муж убитый, — спокойно сказала женщина. — Чего ж мне возле стариков пропадать?

— Думаешь, в Лодейном женихи ходят?

— А кто их знает, может, и ходят, — вяло улыбнулась женщина.

— Плохо теперь бабам, — вздохнул дядечка. — Мужиков поубивало — не сосчитать.

— И не говорите! — впервые подала голос жена путевого обходчика и неожиданно засмеялась, сразу помолодев и похорошев. — Я уж и то своего сторожу, глаз не спускаю, как бы не увели такого завидного мужика.

— Помолчи, болтушка. При детях чушь порешь.

В Лодейном Поле мы сошли вместе с женщиной, что надеялась поступить «афицанткой». Я помогла ей вскинуть на плечо связанные ремнем сундучок и узел, постояла, глядя, как она тяжело шагает в солдатских латанных-перелатанных сапогах, согнувшись под увесистой ношей, в сползающем назад платке...

Ночевала я в уездком комсомола на диване с повизгивающими пружинами — ну и спалось на нем! — а утром чуть свет побежала к берегу Свири искать учреждение под названием Утрамот. Думала, увижу речку вроде Лососинки, скачущую по камням в теснине, а вышла на берег — и дух перехватило от неожиданной красоты: лежит широкая белая лента, кое-где вспученная торосами, по ее глади чуть скользят первые розовые лучи солнца, а торосы принимают их грудью, они ярко и холодно розовы; поперек реки, чуть выхляя в обход торосов, пролегла потемневшая санная дорога, по ней с того берега на этот шагом плетется белая, с одного бока тоже подкрашенная розовым лошаденка, вытягивая нагруженные желто-розовыми дровами сани. А над всем этим небо — такое высокое, нежное, полное торжествующим светом, какое дано видеть только тем, кто встает на рассвете.

Размягченная прелестью утра, я в самом добром настроении вошла в неказистое помещение Утрамота, но через несколько минут, внутренне холодея от страха, уже заставляла себя кричать и размахивать мандатом и ордерами; сонный дядька с подвязанной щекой, шепелявя от зубной боли, уверял, что лошадей на Олонец нет и сегодня не будет, люди постарше и поважнее ждут, если все лошади в разгоне. Не знаю, как точно расшифровать название этой конторы, — Уездный транспортный... отдел, а вот для чего затесалась между ними буква «м»? От слова «мобилизация»? Во всяком случае, по ордерам Утрамота все владельцы лошадей были обязаны в порядке очередности перевозить пассажиров и грузы. Обязанность, раздражавшая крестьян, называлась трудгужповинность; естественно, хозяева лошадей всячески уклонялись от нее, находили разные предлоги, чтобы не ехать, а пассажиров не баловали, особенно таких неимущих пигалиц, как я.

— Ты не шуми, — держась за щеку, говорил сонный дядька, — завтра, может, и отправлю, а сегодня нету. Ну, нету, можешь ты понять?

— Сегодня нету, — подтверждал маленький мужичонка с кнутом, гревший руки у печурки-буржуйки.

— Походи поспрашивай по дворам, может, кто частным образом повезет, — советовал сонный.

— Может, и повезут, — подтверждал мужичонка.

Частным образом подряжать возчика я не могла.

Сонный насыпал в кружку сушеную травку и заварил ее кипятком из булькавшего на буржуйке чайника, еще раз сказал, что «сегодня навряд кто поедет», и понес кружку в другую комнату.

— Дай настояться, — посоветовал мужичонка с кнутом.

— Терпежу нет...

Я подошла к печке и тоже вытянула над нею руки, утро было холодное, а перчаток у меня и в помине не было.

— Тебе и переждать негде? — спросил мужичонка.

— Негде.

— Плохо дело. — Он помолчал. — Я свою повинность выполнил. Не обязан.

За дверью слышалось гуль-гуль-гуль — это сонный дядька поло-
скал больные зубы заваркой.

— А зачем тебе в Олонец?

— В командировку.

— И все-то теперь в командировки да в командировки. Вот уж и
дети ездют...

За дверью все слышалось — гуль-гуль-гуль...

— Два ордера дашь?

От неожиданности я растерялась, не ответила. Ордера у меня
были, думать об обратном пути еще рано... но зачем ему два ордера?

Гульгульканье за дверью прекратилось.

— Два ордера, — повторил он и встал, — и с богом — поедем. Твое
счастье — олонецкий я.

Он взял у меня ордера, велел выходить во двор; я видела, что один
ордер он сунул за пазуху, а со вторым пошел навстречу сонному
дядьке. Дядька должен был поставить дату и печать.

Поехали через час — возница, видимо, ждал, не подвернется ли
более выгодный пассажир.

Мысли о том, зачем ему два ордера, занимали меня только до
тех пор, пока мы не тронулись со двора, но когда сани, удерживаемые
осторожно упирающейся лошадкой, съехали по обледенелому, наез-
женному спуску на реку, на снежную дорогу, радость езды все отес-
нила. Сколько поездок было в жизни, какими только средствами пе-
редвижения я не пользовалась — от автомобиля до оленьей упряж-
ки, — все-таки нет ничего более милого, трогающего душу, чем добрая
лошадка, легкие сани на скользящих полозьях, да хорошо укатанная
потряхивающая дорога среди снежных отвалов, и беда ширь реки
или поля, и подступающий к дороге лес, и морозная дымка, в которую
дорога бежит, бежит — добежать не может. Поскрипывает снег под
полозьями, шуршит сено, поцокивают копыта, морозец, заигрывая,
веселит лицо, прижмуриваешься от белизны снега, от бликов солнца
на снегу, от мелькания стволов вдоль дороги — и так это сладко и по-
койно, что ехала бы и ехала, никуда и приезжать не надо!..

И мы ехали, ехали, ехали. И уже хотелось доехать хоть куда-
нибудь, потому что заморил голод, заоченели ноги, сколько ни запи-
хивай их в сено — не помогает. Лесное очарование давно кончилось,
мы проезжали одну деревеньку за другой, все они были похожи, как
близнецы, — крепкие срубы из толстенных потемневших бревен вытя-
нулись в негустой ряд и смотрят на улицу двумя, тремя, а то и четыре-
мя окнами, у каждого сруба к жилью прирос крытый двор — часто
в два-три раза больше жилого дома, я уже знаю — там и корова, и ло-
шадь, и куры, там и сено хранится, и упряжь, и всякий крестьянский
скарб... а через дорогу, у самой речки (в Карелии все деревни вытя-
нуты вдоль речек или по берегу озера), обязательно стоит покосив-
шаяся — будто с шапкой набекрень — банька с предбанником, куда
можно войти в дверной проем без двери, дверь почему-то не навешива-
ют, любят распаренными выскочить на ветер, на речную или озерную
свежесть, отдышаться и — опять в жаркую баню, на полок, да бере-
зовым венником до полной истомы. Силу такой бани я вскоре узнала,
но об этом позднее.

Неторопливая жизнь текла в деревнях. Редко попадутся встреч-
ные сани — не спеша трусит лошадка, хозяин бережет ее, не погоняет,
сидит, посасывает трубочку, а то шагает рядом, чтоб лошади легче
было. И пешеходы идут степенно, поскрипывая подшитыми валенка-
ми. Увидав нас, каждый обязательно поклонится и скажет:

— Терве!

— Терве (здравствуйте)! — торопливо отвечаю я, мне мил этот карельский душевный обычай — приветствовать путника, кто бы он ни был. Теперь я сама, завидев встречного, спешу сказать ему: «Терве!» — и ловлю ответ, и вижу, что моему вознице это нравится, он все чаще оглядывается, видит мое зазябшее лицо, участливо говорит:

— Замерзла? Скоро остановимся. На обед.

На обед!.. Машины котлеты и пайку хлеба я съела вчера вечером и остаток утром. В кармане у меня около ста тысяч — что на них купишь, одно яйцо или бутылку молока?.. Но попасть в теплую избу хоть на полчаса — уже приятно, и чаю, наверно, дадут, у меня есть пакетик сахарина.

Мы все ехали и ехали похожими одна на другую деревнями и наконец въехали еще в одну деревню, где у большой избы стояло несколько саней с понурыми лошадьми. Подъехали к ним и остановились. Проезжая изба — именно тут меняют лошадей. В старину это называлось на перекладных. Так ездил Пушкин... Мне повезло — мой мужичонка был олонецкий, возвращался домой, мне не нужно было добиваться новой лошади. Но понадобился еще один ордер.

— А как же ты думала? Мне расчета нет даром возить.

Я не посмела напомнить про тот ордер, что лежал у него за пазухой. Теперь уж возвращаться из Олонца решительно не на что. Но когда-то еще оно будет, возвращение!

В избе было жарко натоплено, накурено. На столе посвистывал самовар. Двое мужчин, расстегнув тулупы, пили чай с шаньгами. Третий, сутулый и нахохленный, в одной рубахе сидел за другим концом стола и медленно, шевеля губами, писал в потрепанной книге, сверяясь с лежащей рядом бумажкой, — я поняла, что это хозяин и уполномоченный Утрамота.

— Терве, — сказала я всем.

— Терве, — ответили мне три голоса.

Затем все трое заговорили по-карельски с моим возницей, не обращая на меня внимания. Мой возница тоже расстегнул тулуп, подсел поближе к самовару, налил себе чаю, положил перед собой изрядных размеров пакет, завернутый в тряпицу, развернул, достал хлеб, сало и крутые яйца, а в пакете еще что-то оставалось. Ел он неторопливо, с удовольствием, перебрасываясь с другими мужчинами карельскими фразами, — скажет и жует, кто-то из собеседников тоже что-то скажет и продолжает жевать, все помолчат, работая челюстями, потом опять один из четверых что-нибудь скажет...

Если бы в избе была хозяйка, я бы решилась вступить с нею в переговоры, но хозяйки не было, только слышался из другой комнаты негромкий женский голос, выпевавший две низкие ноты и одну звонкую — а-а-ай, а-а-ай! — и еле слышное поскрипывание: хозяйка укачивала в зыбке ребенка.

Я села на лавке у окна и смотрела, как лошади, засунув морды в мешки, истово жуют овес или сено, не знаю уж, чем их кормили. Мне хотелось плакать, если б я не отвернулась от жующих, заплакала бы.

А мужчины все ели и неспешно говорили между собою по-карельски.

— Э-эх, командированная! — вдруг по-русски воскликнул мой возница и что-то добавил по-карельски, все засмеялись, но тотчас зазякала посуда, забулькала вода из самоварного краника. — Садись чай пить, командированная! — позвал мой возница. — Садись, садись, согрейся.

Мне уже было все равно, пусть смеются и лопочут по-своему. Я села к столу и обняла холодными ладонями горячую кружку. Чай — это уже что-то, заполнит желудок. К тому же сладкий.

Вытянув из кармана пакетик сахарина, я кинула в кружку кристаллик и протянула соседям по чаепитию:

— Пожалуйста, угощайтесь.

Из деликатности поотказывавшись, все взяли по кристаллику — кончиком ложки, остерегаясь просыпать.

Сидели, пили чай. Хозяин дописал, захлопнул книгу, поразглядывал меня, вздохнул и вдруг встал, повозился у печки — и поставил передо мною тарелку с печеной в углях картошкой.

— Угощайтесь, — сказал он. — Вот только соли нет, извините. С солью теперь...

— Спасибо, но...

— Угощайтесь! — прикрикнул хозяин. — Своя, непокупная.

И сразу будто добрый ветерок разгладил лица. Мой возница, смущенно улыбаясь, придвинул ко мне крутое яйцо и кусок хлеба. Один из незнакомых, подмигнув, подтолкнул ко мне шаньгу, другой бережно подал на бумажке несколько крупинок грубой, синеватой соли.

И никто из них не говорил больше по-карельски — теперь их разговор шел еще медленнее, но, не обращая ко мне, они все же будто включили меня в него. И я узнала, что скоро, надо думать, вскроется Свирь, недели через две, пожалуй, переезд закроют, что — верный человек рассказывал — обещают отменить трудгужповинность — хорошо бы!..

Картошка была еще теплой и упоительно вкусной. Из прочего я съела только яйцо — не удержалась от соблазна после трофейного яичного порошка, из которого мы в Мурманске делали невкусные плоские яичницы, я могла только поглядывать на горки яиц, пробегая через петрозаводский рынок.

— Что ж, барышня, до вечера надо доехать, собирайся.

«Барышню» я пропустила мимо ушей. Покраснев, поблагодарила хозяина и протянула ему пакетик сахарина. Хозяин неодобрительно покачал головой, отсыпая из пакетика в рюмку совсем немного кристалликов, остальное вернул мне и пожелал счастливого пути.

И снова мы ехали, ехали, ехали.

После сытной еды клонило ко сну. Сквозь дрему вспоминался Палька на нижней ступеньке вагона, глядящий на меня такими веселыми, яркими глазами, и как он закричал сквозь перестук колес: «До встречи!» — и соскочил и еще бежал рядом с поездом, чтоб удержать равновесие... Потом вспомнилось мамино лицо, когда я решила сказать ей, что меня посылают на несколько недель (или месяцев, кто знает!) в Олонец... Я совсем не боялась мамы, это она немного робела перед нашей комсомольской независимостью и советовалась с нами, искала у нас объяснения всему, что было ей непонятно; с тех пор как Тамара уехала учиться, авторитетом по всем вопросам современности стала я, мы жили согласно, как две подружки... но сказать ей, что я надолго покину ее?! Как ни странно, мама совсем не расстроилась, только лицо у нее стало задумчивое-задумчивое. «Что ж, еще одна ступенька, — сказала она. — Но учишься тебя отпустят?» Что она имела в виду? Ступеньки жизненного опыта? Наивная, а вот ведь поняла...

Я очнулась оттого, что мой возница, придержав лошадь, с кем-то оживленно говорит по-карельски. Открыла глаза — мы в большой деревне, а говорит он со встречным возчиком.

— Где мы? — спросила я, когда мы снова тронулись в путь.

— Да уж Олонец.

— Приехали?!

— Да нет. Еще выспишься.

И снова мы ехали, ехали похожими деревнями, мимо домов с крытыми дворами, мимо банек, вдоль речки... И все это Олонец, хотя еще можно выспаться?

— Терве!

— Терве!

Палька Соколов тоже карел. И Ильяка Трифонов карел. Но Ильяка родился и вырос в Петрозаводске, а Палька где-то здесь, недалеко от Олонца, и когда он приезжает сюда, он, наверно, не ходит, похлопывая стеклом и никого не замечая, а уважительно кланяется встречным: «Терве!..» И ему отвечают: «Терве!»

— Ну куда рвешься, дура, куда? — закричал мой возница, натягивая поводья, и продолжал по-карельски, видимо ругаясь, я различила в его крике «сáтана-пёркеле» — ругательства, мне уже известные.

Бранил он свою лошадь, между ними с обеда шло единоборство: он берег ее силы — пусть плетется шагом, — а лошадь почуяла близость дома и, чуть он ослабит вожжи, чешет вовсю.

— Подъезжаем?

— Да нет, спи покуда.

И все-таки мы доехали до Олонца засветло, в уездком комсомола еще сидели ребята, только, как выяснилось, никто меня не ждал, что со мною делать — не знали, куда поселить — тоже. Я не стала им показывать командировку, где было написано «для укрепления работы»: неужели Макаров не понимал, подписывая, что ставит меня в глупое положение и обижает олонецких ребят?!

Но олонецкие ребята сами сказали, что мой приезд кстати, так как многие активисты ушли в армию или поехали учиться. Они охотно рассказывали мне, что и как у них делается, и каков уезд, и где какие организации. Мне было интересно, но голоса их время от времени отдалялись, а меня покачивало, будто я все еще еду, еду, еду...

— Человек два дня в дороге, это ж понимать надо! — дошел до меня девичий голос. — Что, завтра не наговоритесь?

Девушка была пухленькая, круглолицая и на диво краснощекая, такого победного румянца я и не видывала. Техсекретарь Нюра — так мне ее представили. И к ней меня определили на первый ночлег, посулив завтра через Совет что-нибудь устроить.

Когда мы с нею быстрым шагом по морозцу шли «за реку», где она жила, Нюра, обрадовавшись «столичной» гостье, вдруг зажеманничала, стараясь показать, что и в Олонце знают обхождение. Жеманничала она и дома. Дом был самый обычный, деревенский, с таким же крытым двором, с палисадником, где сгибались под отяжелевшим снегом кусты, с огородом, где торчало позабытое с осени пугало. Мать Нюры приняла меня без расспросов, усадила, вытерев табурет передником, велела дочери (называя ее Нюшкой) ставить самовар, а сама вооружилась ухватом и достала из печи упревшую, зарумяненную сверху кашу. Меня заставили поесть каши и напоили чаем, я уже давно не бывала так сыта, как в этот долгий день, от усталости и от сытости глаза слипались.

— Ложи ее спать, видишь, сморилась, — сказала мать. — Может, ты со мной ляжешь, чтоб не мешать?

— Ну да, — буркнула Нюра, — мы вместе.

Она увела меня в боковушку, где стояла кровать под белым покрывалом и с горкой подушек — не меньшей, чем у сторожихи в Кондопоге.

— И зачем вам квартиру искать? — сказала Нюра, расправляя ватное одеяло и сильными кулаками взбивая подушки. — Ничего хорошего вам в Совете дать не могут. Живите у нас, веселее будет.

В комнатке было жарко, я предложила открыть форточку, но Ню-

ра охнула — что вы, на ночь выстуживать! Легли мы под ватное одеяло, от Нюрино здорового тела веяло душным теплом, я пристроилась на самый краешек кровати и потихоньку приподнимала одеяло, чтобы не задохнуться. Кажется, я уже вплывала в первый сон, когда Нюра зашептала над ухом:

— Зовут меня в Петрозаводск, совсем уж собралась, да война, а потом ребята не отпускали, без меня у них сразу беспорядок и путаница. Хочется, конечно, съездить, много наших олонецких в Петрозаводск перебралось.

Сон как рукой сняло.

— Соколов тоже, кажется, олонецкий?

Нюра подтвердила и стала меня расспрашивать о нем, как живет там, не ухаживает ли за кем, хорошо ли я его знаю, дружу ли с ним... Я говорила о Пальке как можно равнодушной, как об одном из многочисленных друзей, — вряд ли это получилось убедительно, так как мы обе никак не могли покончить с разговором о нем. В расспросах Нюры чувствовалась некоторая тревога. Что она, влюблена в него?..

— Мы ведь с ним помолвлены, — вдруг сказала Нюра.

Оттого, что она употребила старинное, вышедшее из употребления слово, сказанное ею было еще страшней и нелепей. Будто о ком-то другом, не о Пальке. Палька — помолвлен?! «У меня ведь там невеста» — прозвучал его голос из душной тьмы. У меня ведь там невеста! У меня невеста! Невеста!..

Почему я не поверила, когда он сам сказал?..

— Меня тут еще двое сватают... — Нюра опять употребила непривычное, устарелое слово. — Но Палька все-таки интересный, правда? Да и обещалась.

— Характер у него трудный, кажется.

— Да уж, характерный, — игриво засмеялась Нюра, вероятно вспомнив какой-то случай из их отношений. — Мама говорит: выйдешь, так держи в руках с первого дня.

— Ну как это — держать? В любви должна быть полная свобода, взаимопонимание, дружба и... — В общем, я стала выкладывать ей все, что теоретически надумала и исповедовала.

— Ты видела его перед отъездом? — Нюра вернула меня с теоретических высот на землю. — Не говорил он, собирается сюда?

— Не помню, — солгала я.

Что бы ни было, Голиковка принадлежала мне — и только мне.

— Писал, что собирается, так ведь и ему отпрашиваться надо

Так мы лежали рядом в темноте, две девушки, две соперницы, счастливая (она?!) и несчастная (я!). Впрочем, ее счастье не производило впечатления прочного, в нем сквозила плохо скрываемая неуверенность.

— Может, и выйду за него, не решила еще...

Я все же заснула в ту ночь, но заснула с разбитым сердцем.

Сама себе голова

Новая ступенька?.. Да, такого со мной еще не было — без жилья, без еды, одна-одинешенька, с ноющей душевной раной, о которой никто не должен догадаться, в незнакомом городке, похожем на большое село, вокруг незнакомые люди со своим житейским укладом и обычаями, большинство из них говорит на непонятном языке, так что я могу только приветствовать их — терве! — или, на худой конец, ругнуться, помянув сразу и черта и дьявола. У меня нелепо детский вид («Теперь уж и дети ездят!»), на мне нелепо топорщится неказистое пальто, под которое мама приметала на зиму ватную стеганку, а при

ходьбе стучат-поскрипывают подбитые перед отъездом миллионные подметки на потертых мальчиговых... Все бы ничего, но мне нужно не просто прожить несколько месяцев в незнакомом городке с незнакомыми людьми, но и стать им полезной, каким-то чудом «укрепить и усилить» работу с молодежью, значит, прежде всего подружиться с товарищами (а они могли обидеться на бестактную формулировку Макарова!) и вместе с ними додуматься до каких-то значительных дел, до которых они без меня не додумались... Но что я-то могу надумать, когда никого и ничего не знаю ни в городе, ни в уезде?!

Одно я знала твердо — ни за что не останусь жить у Нюры. А Нюра, видимо, считала вопрос решенным, поторопилась зачислить меня в подружки и, собирая на стол, жеманно выпрашивала, что я люблю на завтрак, и какая теперь мода в Петрозаводске, и нет ли у меня рисунков для вышивки гладью, она как раз скроила шесть новых сорочек...

Вероятно, я слишком категорично отказалась от приглашения поселиться у них, получилось невежливо, но притворяться я никогда не умела. А тут и подавно не могла.

В уездкоме меня ждали и, видимо, уже успели обговорить, что со мною делать, потому что сразу предложили мне принять организационно-инструкторский отдел. Я обрадовалась — дело ясное и для укрепления комсомольской работы первостепенное. Обиды у ребят как будто не было.

Кроме вчерашних, тут был еще один член уездкома — высокий, тонкий, глаза светлые до прозрачности, белесые волосы завиваются колечками, что у северян бывает редко. Он говорил мало, только чуть улыбался, что получалось очень симпатично. И он был умен, в этом нельзя было ошибиться, хотя первый его вопрос, обращенный ко мне, носил сугубо бытовой характер:

— Ты обменяла карточки на олонецкие?

— Гоша Терентьев, — представили мне его, — наш продовольственный бог. Уездный продкомиссар.

— Карточки сегодня же обменяем, — сказал Гоша. — А с жильем как? У Нюры?

Преодолевая неловкость, я пробормотала, что хочу жить самостоятельно, потому что... потому что немного пишу и как раз вечером, одна, люблю без помех... и в «Трудовую молодежь» обещала писать...

Придумав объяснение с лету, чтобы не обижать Нюру и как-то убедить товарищей, я с некоторым удивлением поняла, что сказала правду. Да, хочется остаться одной, вытащить из чемоданчика толстую тетрадь, подаренную Илькой в Питере, и писать... верней, записать то, что я мысленно складывала еще в санях, сквозь путевую дрему. О парнях из артели плотников — такие они все разные, а в чем-то одинаковые, — и бородатый дядечка с ними за старшего, отношения в артели патриархальные, по старинке, а впереди — крутая ломка; понимают ли они ее близость?.. И о возчиках в проезжей избе, как они жевали каждый свое и смеялись над девчонкой-командировочной, у которой и поест нечего... И особенно о тех минутах, когда один из них вдруг устыдился и поставил передо мной тарелку печеной картошки, а у остальных трех угрюмые лица будто разгладились...

— Что ж, поехали в Совет, — сказал Гоша.

И не в шутку сказал, мы действительно поехали: возле уездкома стояла двухместная бричка на больших колесах, Гоша посадил меня, вскочил сам, собрал в кулаке вожжи, причмокнул — рыженькая лошаденка с полной охотой побежала по привычной дороге. На солнце снег уже всю таял, кое-где обнажая раскисшую от влаги, дымящуюся землю. Нам навстречу попались сани, они скрежетали полозьями по

земле, а колеса нашей брички победно крутились, разбрызгивая мокрый снег... Весна!

Обменяв карточки, мы зашли к пожилому дядьке с неряшливой седеющей щетиной на подбородке и щеках. В комнате было тепло, но он почему-то сидел в меховой шапке-финке.

— Терве,— сказала я.

— Ишь ты,— улыбнулся он.— Ну, терве так терве! Приезжая?

Гоша Терентьев объяснил, кто я такая и что мне нужно.

— Это хуже,— сказал дядька, снял шапку и почесал пегие от седины, слезавшиеся волосы.

Я успела заметить, что часть головы у него была недавно выбрита там, где над ухом залепился багровый шрам. Волосы только начали отрастать, оттого он и сидит в шапке, стесняется.

— А у Нюшки нельзя?

Гоша опять объяснил, почему приедем товарищу хочется жить самостоятельно. При этом он сказал:

— Она журналистка, печатается в петрозаводских газетах.

Я густо покраснела.

— Мудреную задачу ты мне задал...

Дядька встал и пошел к шкафу, сильно припадая на одну ногу. Когда он достал нужную папку и поковылял обратно, я увидела, что ему больно ступать, и почувствовала себя гнусной самозванкой — тоже мне, «журналистка»!

Усевшись за стол, он сразу вытянул раненую ногу, под столом у него оказалась специальная подставка.

— Так... Тут одни мужики — не подходит. У Федоровых хорошо бы, но уж больно далеко ходить. Здесь ребятни много... Ага, вот это подойдет.

Выписывая ордер, он объяснил, что владелица дома живет вдвоем с племянником, излишки жилплощади у нее немалые, но пока к ней никого не вселяли, уж очень она ругалась и ревела в три ручья, что мужчину в доме не перенесет.

— Старая дева, понимаешь? Духу нашего не приемлет.

— Ну, пойдем,— сказал Гоша, когда я получила ордер.

— А ты что, не мужчина? Пусть одна идет.

Старая дева жила в нескольких минутах ходьбы от уездкома. Дом был такой же, как большинство домов в Олонце,— на высоком фундаменте, с крытым двором, с пристроенными застекленными сенями, с огородом позади дома и палисадничком впереди. Три окна в голубых наличниках сулили милую домашность.

Не успела я переступить порог и разглядеть двинувшуюся навстречу хозяйку, как на меня обрушился такой поток истерической брани, что первым моим побуждением было — бежать без оглядки и со всею прытью. Но ордер получен именно сюда, возвращаться в Совет и беспокоить раненого человека такой чепухой...

— Я не виновата, что ордер выдан к вам,— как можно резче сказала я,— зачем вы кричите на меня? Если площади у вас нет, идите в Совет. Если есть, покажите, я спешу на работу. А к вам все равно кого-нибудь вселят.

Идти в Совет она не захотела. Мы прошли через кухню в большую комнату, называвшуюся залой, оттуда вела дверь в комнату поменьше, где спали хозяйка и ее племянник, тихий и, вероятно, затурканный своей теткой мальчуган. На вид ему было не больше двенадцати, он украдкой мне улыбнулся.

Хозяйка была прямая как жердь и сморщенная, но обладала недюжинной физической силой: не давая мне помочь, сама отодвинула на метр от стены массивный пузатый комод и сказала, что тут, за комо-

дом, я могу поставить свою кровать (!). Затем она предупредила, что мебель из залы ей вынести некуда, так что я должна жить аккуратно, ничего не царапать, не пачкать и боже меня упаси ставить на стол еду!.. Что кухней пользоваться я не имею права, в ордер кухня не входит и не может входить, так что на домашние обеды и чай лучше не рассчитывать... Что она ложится спать в десять часов вечера и я должна приходиться до десяти, позднее она не откроет, сколько ни стучи.

— Хорошо,— сказала я, поставила чемоданчик за комод и пошла в уездком.

Из гордости я не рассказала о том, как меня приняла хозяйка, только сообщила адрес. Но в этом маленьком, мещанском городке все обо всех знали:

— А-а, у старой девы!

И тут же добавили, что она, конечно, старая, но все же, кажется, не дева, в свое время она загадочно исчезла из Олонца на целый год, а потом вернулась с младенцем, якобы сироткой, оставшимся после смерти ее сестры, хотя до тех пор никто не слышал о существовании сестры. Племянника она обожает, что не мешает ей пилить беднягу скрипучим голосом. И вообще у нее характер не ах какой.

— Похоже, что не ах.

Первую ночь я спала за комодом на полу, постелив на газеты пальто. По-солдатски: «Шинель под собой, шинель под головой и шинелью прикрылся». — «А сколько у тебя шинелей?» — «Да одна!» На второй день милейшая женщина, работавшая в уездкоме уборщицей, дала мне сенник и подушку, я принесла их домой и жестким голосом сказала хозяйке, что мне нужно набить сенник,— я уже видела, что в углу крытого двора целая гора сена.

— А чем я козу кормить буду? Сама покупаю! Осенью десять миллионов заплатила! И вообще — как вы думаете, обязана я за вами убирать? Вот вы с улицы пришли, наследили, я каждый день залу суконкой протираю...

Еще более жестким голосом я сказала, что сено возьму, а ей заплачу с получки четыре миллиона — и за сено и за уборку.

— Давайте сенник, набью,— сказала хозяйка.

Скупое она его набила, жидковато. Но больше всего меня злило, что среди домашней рухляди у нее пылятся две кровати, а сама она спит на трех тюфяках. Впрочем, на полу мне спалось, наверно, слаще, чем этой стерве.

Ни ее фамилии, ни имени и отчества я не запомнила. Стерва и стерва — так оно и точней.

Вечерами, вынужденно рано приходя домой, я вытаскивала тетрадь и садилась к столу, подстелив во избежание попреков газету. Но керосиновую лампу хозяйка уносила ровно в десять. Мне удалось достать свечу. При ее мерцающем свете хорошо думалось. Из всего, что я видела и поняла за последние дни, все отчетливее выступали те плотники, поехавшие на Волховстрой. Как они там? Останутся ли такой же крестьянской артелью на сезонных заработках? Или на большом строительстве каждый определится по-своему, найдет себе профессию по душе?.. Как в Мурманске — поступали молодые ребята чернорабочими на железную дорогу, а потом присматривались, учились, некоторые стали кочегарами и помощниками машинистов, другие уходили в порт и даже на корабли.

Хозяйка прошла мимо, потом постояла в дверях, ушла, снова появилась...

— Вы долго еще сидеть намерены?

— А что?

Оказывается, боится, что я подожгу дом.

Так она и ходила взад и вперед, вздыхала и бурчала себе под нос, пока я не задула свечу, поняв, что все равно толку не будет.

Заснуть в такую рань было трудно. Лежа в темноте за пузатым комодом, я думала все о том же: как ее «поднять, укрепить и усилить», комсомольскую работу в таком маленьком мещанском городке, где комсомольцы по одному, по двое служат в разных уездных учреждениях, а в небольшом клубе только и делают, что устраивают танцы — и в помощь Поволжью и просто так! Думала-думала, ничего не придумывалось. Так и заснула.

В клубе висела пожелтевшая комсомольская стенгазета полугодичной давности. Обработавшись «журналистке», меня немедленно выбрали редактором. Первый и единственный номер газеты, выпущенный мною, неожиданно — и не по моей заслуге — послужил толчком для большого, доброго дела.

Пришла комсомолка, работавшая в собесе, и пожаловалась, что родители одного из погибших в 1919 году бедствуют, дом требует ремонта, дрова на исходе, а в собесе нет средств.

Кто-то из нас сказал: а комсомольцы помочь не могут?

Так оно и началось. Те самые ребята, которые только и знали что ходить на танцы, без уговоров меньше чем за неделю починили у стариков протекавшую крышу и проконопатили все щели; девушки навели в доме чистоту, перестирали белье; другие парни привезли из лесу дров, накололи, сложили поленницу...

Помним ли мы о семьях тех, кто погиб в борьбе? — с таким заголовком почти во весь лист вышла наша стенгазета.

Почему я считала, что городок мещанский. Да, промышленности в Олонце не было, отдаленность от железной дороги сказывалась, но революция дошла и сюда, борьба велась и здесь, а в 1919-м, когда белофинны вторглись в Карелию и через Видлицу — Олонец — Лодейное Поле рвались к Петрограду, Олонец выставил целый отряд бойцов, бойцы не имели воинского опыта, но бились самоотверженно, а белофиннам помогала только горсточка бывших купцов и чиновников, но и те не стремились в бой, а предпочитали выслеживать большевиков и советских активистов. В центре Олонца, над берегом реки, покрытая еловыми лапами и кумачовыми лентами, напоминала о белофинском терроре братская могила замученных, расстрелянных, павших в бою...

К братской могиле вела расчищенная от снега дорожка, еловые лапы были зелены — их обновляли. Но разве не менее важно позаботиться о семьях погибших? Хоть в чем-то заменить руки кормильца? Комсомольцы Олонца приняли заботу на себя.

Старики. Те, с которых все началось... Торопливые записи, сделанные при свече, давно потерялись, но в памяти будто резцом выгравированы их лица, обычные карельские лица — черты мягкие, но подсушенные старостью и непроходящей болью. Помню сбивчивые рассказы — то о гибели сына, то о детстве; я не все понимала, русские слова перемежались карельскими. Помню дрожание узловатых, много поработавших рук, перебиравших старые фотографии. Как они торопились, эти старики, обо всем рассказать, все припомнить и внушить чужой девушке, заглянувшей к ним, какой хороший был у них сын, работающий, сильный, уважительный!

- Посмотрите, последняя. Красивый, правда?
- Очень красивый. Совсем еще мальчик.
- Двадцать лет... Погодки они с Филиппом.
- С Филиппом? Егоровым?

Я уже знала — олонецким коммунистическим отрядом командовал Филипп Егоров. Уездный военком. Значит, и тому было всего двадцать?

— А вот его девушка. Мы и не знали, уж после карточку нашли. Старики заплакали, и я всплакнула вместе с ними. Был человек, счастливый, влюбленный, был — и нету...

— Спасибо, девушка. Приходи еще. Спасибо.

До самых ворот они благодарили, звали приходить и снова благодарили.

И еще запомнилась вдова расстрелянного коммуниста. Вероятно, она была молода, но волосы стали седые и лицо подергивалось нервным тиком.

— Из Мегреги мы. Когда бандиты налетели, муж пошел воевать, а мне велел с детьми к свекрови, в Олонец. Думал, там не доберутся. Да и Мегрега сколько раз переходила из рук в руки!..

Мегрега. То самое село, где мой возница останавливался на обед!..

— Но и в Олонце до меня добрались. Посадили. «Где муж?» А я не знала где, да и знала бы, разве сказала б!.. Били — как жива осталась! А еще хуже — ввали. Что свекровь померла, а дети одни... что заболели дети и от голода пухнут... «Где муж?!» Что помер сынишка, а дочка кончается... Так у них складно выходило, как не поверить?.. Потом: «Твой муж расстрелян, чего ты за него маешься!» Не коммунистка я и ничего в коммунизме не понимаю, но сапоги им лизать... нет уж! «Расстреляем все равно!» «Стреляйте!» А когда погнали их, уж так они побежали, что о нас, о заложниках, забыли. Выпустили меня наши, а я мимо них да бегом, сумасшедшая совсем, одна мысль: что дети?! Прибежала — свекровь, правда, чуть жива, через месяц умерла, а дети ко мне с криком: мама! Оба живые!..

Она не плакала, глаза у нее были странные, как при высокой температуре, — сухой жар тлел в глубине. А когда я уходила, она тоже сказала: спасибо!

— Вы зайдите в дом, посидите, выслушайте, — советовала я комсомольцам.

— Мы же дело делаем. И чего горе бередить?

— Бередите! Облегчат душу, поплачут. И вы с ними поплачете.

— Уж ты скажешь!

Но заходили, выслушивали. Иногда, возможно, и плакали.

А мне совсем по-иному виделся теперь и тихий Олонец, и окружающие села, и люди.

В первые же дни я разослала комсомольским организациям письма: просила прислать необходимые сведения, просила комсомольских секретарей приехать. И они начали приезжать — сперва из ближних сел, потом из дальних. Беседы с такими же секретарями в Петрозаводске, поездка в Кондопогу и недолгий газетный опыт кое-чему научили меня, я еще не умела научить других, но уже знала, о чем спрашивать, что г л а в н о е. Уезд был сельский и лесной, часть молодежи всю зиму работала на лесоповале, а весной на сплаве. Малограмотных и даже неграмотных было очень много. Комсомол усердно занимался ликвидацией неграмотности, безотказно помогали учителя, но наладить занятия с теми, кто в лесу, никак не удавалось — намахаются парни за день, к вечеру не до букваря. В селах и особенно в небольших деревеньках комсомолу приходилось трудно: когда выгнали белофиннов, с ними убежали кулаки и купцы — те, что выдавали и мучили советских людей, но кулачья еще осталось немало; они попритихли и как будто смирились с тем, что комитеты бедноты отрезали у них и роздали беднякам землю. Теперь, при нэпе, кулаки и их подпевалы ожили, обнаглели, продают бедноте в долг, а потом прижимают — не вздохнешь. Норовят привлечь к себе в батраки малолеток, платят меньше, чем взрослым, — «кормлю досыта, и на том скажи спасибо!» — ну, и агитацию ведут, разлагают несмышленишей: дескать, что тебе дала Совет-

ская власть? — как был беднота, так и остался, держись за меня, все равно к старому повернуло, а я тебя в люди выведу...

В здешних селах тоже нужны были керосин и фитили, парики, грим и всяческая литература, но с нэпом политические и экономические заботы вышли на первый план, надо было выручать молодежь из батрацкой петли, помочь бедноте хозяйственно встать на ноги, объяснить людям, что нэп — это вовсе не «поворот к старому»...

Порядок завели такой: когда приезжал посланец из уезда, я с ним беседовала и записывала нужные для учета сведения, потом мы собирались все вместе, обо всем подробно расспрашивали, советовались и решали, что и как нужно делать. Затем кто-нибудь из работников уездкома должен был поехать в село и на месте помочь сельским комсомольцам.

Один за другим уезжали и возвращались мои товарищи. Даже Гоша Терентьев, уездный продкомиссар, дважды выезжал в село, совмещая дела комсомольские со служебными. А я все сидела сиднем на своем «оргинструкторском» стуле. Волости сплошь карельские, а я не знаю языка...

Обидно было. Так обидно, что хотелось сорваться и уехать. Зачем же меня сюда послали? Ради чего я сплю на полу за комодом, терплю притеснения, с любого собрания в половине десятого мчусь в этот проклятый домишко с обманно голубыми наличниками?! Один раз я опоздала, только один раз, было десять минут одиннадцатого, когда я постучала, у хозяйки еще горела лампа, но она сразу потушила и не открыла, как я ни дубасила в двери, до шести утра я бродила по улице и сидела на крыльце. а утром эта стерва изволила улыбнуться: «Неужели вы стучали? Я так крепко сплю!»

Лежа в темноте на жестком ложе, я ревела от обиды, от злости и от горького горя, растравляемого тем, что с утра до вечера волей-неволей вижу краснощекую, цветущую, счастливую Нюру... и еще оттого, что к ночи у меня кружилась голова и уже не было сил сопротивляться голодным видениям — в этом домишке с закупоренными окнами, где прочно держались запахи щей, жаренной на сале картошки и хлеба... хлеба!..

Мне довелось немало голодать, но вплоть до ни с чем не сравнимого голода в осажденном Ленинграде я никогда и нигде не голодала так страшно, как в Олонце — сытом, благополучном городке, где не голодал никто, кроме меня. Жили тут своим хозяйством, выращивали картошку и овощи, держали коров и коз, почти у всех были родственники в деревне. Скучный паек по карточкам был малоощутимым довеском и высоко ценился только потому, что в пайке давали сахарин или сахар, соль, табак и спички. У меня же не было ничего, кроме пайка, а по карточке я получала на месяц кулек гороха и мешочек муки — не помню, сколько фунтов там было, но месячная норма рук не оттягивала.

Конечно, все устроилось бы иначе, если бы не сытая беспечность окружающих и не моя гордость. Первою и при всех заинтересовалась моим жизнеустройством Нюра:

— Ты где обедаешь, Верочка? У хозяйки?

Я ответила — да, у хозяйки.

Так и повелось. Если мне случалось зайти к кому-нибудь из комсомольцев во время обеда, меня спрашивали: ты обедала? Я говорила — конечно, и упорно отказывалась от угощения, разве что чаю выпью и возьму «попробовать» одну шанежку. Почему? Наверно, потому, что мне было неполных шестнадцать лет.

Сторожиха уездкома пекла мне из муки хлеб — получался небольшой каравай, которого хватало на несколько дней. Она же варила мне гороховую кашу — я уверила ее, что люблю такую кашу больше лю-

бых других и буду ею завтракать днем, во время работы. Но гороха хватало всего на несколько «завтраков». Бывало, я по три дня не ела ничего, только пила кипяток с сахарином.

Спасла меня судьба в образе Гоши Терентьева.

Гоша, как и все, поверил, что я столуюсь дома, потому что олонекские хозяйки обычно кормили постояльцев. Но однажды на бюро нам с Гошей поручили составить план работы на ближайшие месяцы, Гоша спешил по служебным делам и сказал, что придет ко мне домой, как только освободится.

Я сидела дома и пыталась вчерне набросать план, когда к воротам с шиком подкатила бричка, известная всему городу. Узнала бричку и хозяйка. Впервые я услышала ее голос, каким он мог бы быть, если бы она не была такой стервой, — приветливый, бархатистый, прямо-таки мурлыкающий. И сама хозяйка преобразилась в этакую добрую курочку, хлопчущую вокруг своей «миленькой жилички».

Мы не написали и трех строк, когда дверь из кухни приоткрылась: — Верочка, вы сегодня успели пообедать? У меня очень вкусные щи, может быть, отведаете?

Она, оказывается, знала, как меня зовут. Верочка!

— Нет, спасибо, — сухо сказала я, — мы заняты.

Как только она исчезла за дверью, Гоша отвел мою руку от бумаги:

— А ну-ка, посмотри мне в глаза! Что это значит? Ты же говорила — она тебя кормит?

— Ну и кормит. Она уходила из дому, а я сама... И давай не отвлекаться.

Через некоторое время он извинился и вышел из комнаты. Из-за двух дверей (вероятно, он увел стерву в сени) до меня донеслись два голоса — тихий, но властный, истинно комиссарский голос Гоши и медоточивый хозяйки. Потом Гоша вернулся ко мне — я внутренне охнула: он прямо-таки побелел от гнева.

— Это свинство! Я думал, мы друзья, а ты ни черта не ешь и еще врешь!

Я пробовала рассердиться, но Гоша прикрикнул на меня и спросил тоном, не допускающим возражений, что я делаю с полученными по карточке спичками, солью и табаком. Я презрительно показала на комод — вон они, в полной сохранности. Не курю, а солить нечего.

— Ну и дура!

Как сыщик, прошел он по комнате, заглянул за комод:

— Это что, твоя постель?

— Слушай, Гоша, или мы будем работать, или...

— Или! Или! — передразнил он. — Работать мы будем, но сперва ты поешь, щи у нее что надо.

Хозяйка внесла полную тарелку щей и большой ломоть хлеба. Хлеб она пекла сегодня, он был еще теплым и душистым до головокружения, к нижней корке припеклось несколько крупинок угля, и это тоже было вкусно.

Назавтра ранним утром к дому снова подкатила бричка продкомиссара. Гоша передал хозяйке мешок картошки и мешок муки. Из дому он их взял или со склада — так я и не узнала, на мой вопрос Гоша ответил:

— Не бойся, не краденые.

Затем он попросил у хозяйки корзину, приказал мне сложить в нее соль, спички и табак, мы сели в бричку и покатали вдоль берега Олонки в одну из тех деревень, что уже Олонец и все же не Олонец. Мы зашли в два-три дома, и Гоша выменял мои богатства... Ну и дура

же я была! Чего только нам не дали за них! Яйца, творог, кринку сметаны, домашнее масло, двух петушков...

Когда я внесла всю эту роскошь домой, комода в зале уже не было, а вместо моего сеника стояла начищенная до сияния кровать с тюфяком, простынями и одеялом.

С того дня хозяйка называла меня Верочкой, кормила завтраком и обедом, умудрялась расслышать мой стук, если я возвращалась позже десяти, и не уносила лампы.

Круг теплого света падал на стол, на раскрытую тетрадь. За дверью всхрапывала хозяйка. Я уже не боялась, я холодно презирала ее — теперь больше, чем прежде. Однажды вечером я попробовала написать о ней, вернее — ее: портрет, личность. Но писать было противно, да и кому она нужна, эта корыстная, лживая мешанка?! Зато все настойчивей просились на бумагу те четверо, в Мегреге. Я их видела ясней, чем там, в проезжей избе, и все в них было мне как будто чуждо — язык, занятия, обособленность каждого от других. Когда мы, комсомольцы, во время срочной работы или в поездке садились перекусить, все выкладывали свои припасы, кто много, кто мало, кто чем богат, и все складывалось вместе, делилось поровну, никто и представить себе не мог, что можно сесть отдельно со своим свертком!.. А те трое сидели за одним столом и каждый отдельно от других, каждый жевал свое и даже не мыслил, что может быть иначе, и четвертый, хозяин избы, тоже не мыслил такого. Но ведь вот же!.. Значит, могут они быть совсем другими?!

Я писала, рвала, снова писала... и так мне было хорошо в эти тихие часы за столом!

Но именно теперь, когда быт налачился и вечерний труд облегчал душу,— именно теперь произошла нежданная перемена.

Весна

Северная, медлительная, но все же весна. Еще неподвижно белы бесчисленные озера, еще лежат под ледяным панцирем реки, но по откосам, по возвышенностям, на открытых солнцу луговинах снег уже тает, тает, тает, талые воды сбегаются в ручейки, ручейки бегут по всем складкам и низинам в поисках реки, размывают окраинный лед, бьют под него и напирают что есть мочи, течению реки становится тесно под панцирем, оно силится разорвать его — гул и треск разрываемого льда разносится далеко окрест.

В такой вот день, когда Олонка начала трещать под напором начинающегося половодья, из Петрозаводска приехал Ваня. Не называю фамилию, потому что чувствую себя без вины виноватой перед ним, но ведь известно, что самый сердечный человек бывает жесток с любящим его, если сам любит другого, и все попытки смягчить эту драму умолчанием или прикрыть ширмой дружбы — жестокость вдвойне. Сколько женщин и сколько мужчин вновь и вновь прибегают к этой двойной жестокости — иногда по нерешительности, боясь причинить обиду и горе, иногда по неведению!..

Итак, приехал Ваня, олончанин, последние месяцы живший в Петрозаводске. Где он работал, не помню, но при первой возможности он приходил в редакцию, садился в уголок и смотрел на меня преданными глазами. Теперь он приехал в отпуск.

— Да! — воскликнул Ваня после того, как добрый час просидел против меня. — Соколов шлет всем привет. Просил передать, что на днях приедет.

К счастью, это сообщение он адресовал Нюре — и все, кто был в

комнате, тоже посмотрели не на меня, а на Нюру. Красные Нюрины щеки запылали еще ярче.

— А как Свирь? Не закрывают еще? — спросил кто-то.

Ваня сказал, что переезд «доживает последние дни», поэтому он и заторопился, не дождал Соколова. Я спросила: а как же будут добираться в Олонец те, кому необходимо?

— Будут сидеть на берегу и ждать, пока не пройдет лед.

Низко склонившись над губкомовской типовой сводкой, чтобы спрятать лицо и не видеть сияющей Нюры, я старательно вписывала цифры не туда, куда следовало, и мучительно искала решения. Сколько тысяч женщин, девушек и совсем юных девчонок — и до меня и после — вот так же мучились в поисках решения: о н, единственно нужный, любит другую, женится на другой... что же делать, господи, господи, что делать?! Пусть бога нет и взывать не к кому, отчаянная мольба все равно летит в пространство, к темным елям, к ручейкам талого снега, к далекому небу — где-то же надо найти решение, а если решения нет, то надо же где-то и как-то найти силу перетерпеть, сдержаться, не выставлять свое отчаяние напоказ и на смех, когда о н и день за днем будут перед глазами, влюбленные, готовящиеся к свадьбе, и надо будет улыбаться им, может быть и поздравлять и желать счастья!.. Но пространства не дают советов, и молчат темные ели, о чем-то своем болтают ручейки, ничем не поможет небо — в себе самой, только в себе самой надо разбудить, растряссти во что бы то ни стало гордость и мужество, только они могут помочь.

Они помогли, когда на следующий день о н появился — быстроглазый, зеленоглазый, как никогда прекрасный в своем оживлении, и все шумно приветствовали его, и я тоже: «Ну, здравствуй, друг!» — и тут же подтолкнула его, подмигивая, к багрово-красной Нюре — иди же поздоровайся, жених!

К счастью, приехали два комсомольца из Видлицы, большого пограничного села, и мне полагалось выслушать их, так что я могла отвернуться и не участвовать в трогательной встрече жениха и невесты. В середине нашей беседы подошел Соколов, сел рядом со мной и начал расспрашивать видличан, тогда присоединились и другие уездкомовцы — как-никак, Соколов не только земляк, но и секретарь губкомла, всем интересно, что он спросит, что посоветует.

Нюра тоже подошла, остановилась за спиной Пальки и движением собственницы положила руку на его плечо.

Ох, как мне мешала ее рука!.. Временами отключаясь от важного разговора, я с трудом уловила, что перед нами не руководители, а рядовые ребята, что комсомольцев в Видлице много, а организатора нет с тех самых пор, как ушел в армию какой-то Саша Веледеев, которого все, кроме меня, хорошо знали и, видимо, любили. Палька тоже знал его и любил, расспрашивал, откуда Веледеев пишет, и объяснил, что именно там, в Туркестане, идет борьба с басмачами. Что за басмачи, я не знала, да и не до них мне было. Мало того что Нюра беззастенчиво опиралась на его плечо, так еще и барабанила по нему, поигрывая пальцами.

Но кончилась и эта мука. А затем наступил момент, когда Палька встал.

— Что ж, пора. Нюра, собирайся.

Пока она прятала в стол бумаги и возилась с чехлом пишущей машинки, Палька спросил, где я живу.

— У меня письмо от Ольги Леонидовны. В чемодане. Я тебе занесу вечером? Часов в восемь?

Нюра натянула на голову берет и, застегивая пальто, шла к нам. К ее голубым глазам очень шел синий берет, и она это знала. Мне живо

представилось, как они будут гулять вдоль реки, а потом Палька скажет: «Да, надо занести Вере письмо, зайдём на минутку»...

— Вечером я занята. Принеси завтра сюда.

— Еще лучше,— быстро взглянув на меня, сказал Палька,— я думал, ты не захочешь ждать до завтра. Нюрочка, пошли!

Он открыл дверь и пропустил Нюру вперед, поддерживая ее под локоть. Ох, не всегда он бывал таким внимательным!

А вечер надо было срочно занять. Чем угодно — занять!

— Ваня,— позвала я,— пойдём поглядим, как там Олонка.

Ваня тоже распахнул передо мною дверь и повел под локоток, но Ваниного безропотного обожания мне было мало, я помнила Голикову, и Палька тоже не мог вот так, как ни в чем не бывало забыть ее, а если сейчас он приехал к Нюре — пусть увидит, что я тоже не одна, и мне весело, и вздыхать по нему я не намерена, он не один на свете, еще посмотрим!.. посмотрим..

Гордость подсказала решение, старое как мир. Ни теории, ни комсомольские принципы тут ничего не меняли, оно родилось само — извечное, от природы, от женского лукавого естества. И я начала торопливо вспоминать, что олонецкие девушки не раз звали меня на гулянья и на танцы, что бойкая Ириша шептала: «Все мальчишки тобой интересуются, мы же все друг дружку знаем, кто с кем и почему, а тут — новая девушка!» — а я отнекивалась, мне никто не был нужен, зато сейчас — пусть интересуются, пойду гулять, танцевать пойду, кокетничать напропалую, пусть видит Палька, что мне и без него... без него... И слезы глотать нечего, вот еще!..

На обоих берегах Олонки в этот вечерний час собралось немало любопытных. Я потянула Ваню туда, где стояла кучка знакомых комсомольцев. Ириша издали манила нас, и я вступила на стезю легкомыслия под грохотание трескающегося льда, а может, это только мне казалось, что уж так он грохочет, может, это во мне что-то рвалось и давало трещины.

Олонка еще не тронулась, но пошевеливалась в предчувствии перемены. Из сизых зигзагообразных трещин выбивалась темная вода, чуть обозначившиеся утром закраины к вечеру расширились и стеклянно блестя, когда проносился порыв ветра, он их рябил, образуя маленькие, но все же волны. А вот закрутить, сорвать с места снег у ветра уже не хватало силенок, снег слишком пропитался водой и погрузнел. Смельчаки, озорничая, сбегали вниз, перепрыгивали через закраины и тотчас, почуяв под ногами зыбкость льда, выбирались на берег. Мне тоже захотелось перепрыгнуть, такое было настроение, но Ваня с мольбой вцепился в мой локоть.

На другом берегу остановились несколько военных — без шинелей, без фуражек, видно, вышли на минуту поглядеть, как ведет себя Олонка. Один из них, самый высокий и весь перетянутый ремнями, явно присматривался к нам, потом помахал рукой. Ириша ответила. И вдруг он спустился к воде, не перескочил, а широким шагом перешагнул через закраину и неторопливо пошел прямо к нам, даже не глядя, куда ступают его ноги в узких щегольских сапогах.

— Сумасшедший! — крикнула Ириша.

Лед трещал и прогибался под ним, а он шел и ослепительно улыбался, мне уже видны были два ряда его белых зубов и не менее сверкающие большие глаза. Ветер развевал его кудри, отливающие темным золотом. Бывают же на свете такие красавцы!

— Кто это?

— Кто, кто! Сергей, брат мой,— с трагедийной мрачностью сказала Ириша.

Красуясь под взглядами притихших зрителей, он шел нарочито

медленно. Может, его тяжесть послужила толчком, но лед вдруг треснул с громом артиллерийского выстрела и новая трещина разверзлась прямо перед Сергеем. Он на миг загнулся, ловко перескочил через прибрежную полосу воды, взбежал на наш берег и остановился передо мной, шуточно раскланиваясь:

— В вашу честь, прекрасная незнакомка!

— Дурак,— буркнула Ириша.

Странно распорядилась природа! Они были несомненно похожи, но одинаковые черты были у Ириши расплывчато-широки, с толщинами, с перебором, а у ее брата казались безукоризненно выточеными. И веселость брата подчеркивала излишнюю мрачность Ириши. Чего уж теперь злиться, когда все кончилось благополучно?..

— Цыц! — Сергей ладонью отодвинул сестру, он смотрел на меня, поигрывая глазами, улыбкой и широкими плечами: покоритель сердец! «Провинциальный покоритель сердец», — мысленно уточнила я, с удовольствием принимая игру и все время помня, что Пальке, конечно, расказут, как этот красавец — по неверному льду — на глазах у всех — перешел — ради меня!..

Через два дня, в субботу, я впервые пошла с девчонками в клуб и танцевала весь вечер со всеми подряд, чтобы Сергей особенно не воображал, но все же с Сергеем больше, чем с другими, он был настойчив, а ритмичное кружение вальса оказалось так увлекательно, что я забыла об отчаянии, которое меня привело сюда, наслаждалась и танцем и многозначительной чепухой, нашептываемой Сергеем. Но когда танцы кончились, все вспомнила и отказалась от того, чтобы Сергей проводил меня до дому («Я уже обещала», — соврала я, уверенная, что Ваня где-нибудь тут), но с мстительной радостью согласилась завтра утром пойти с Сергеем смотреть ледоход. Девчонки уже рассказали мне, что завтра «весь Олонец» соберется у реки, а на мосту будет «прямо-таки выставка». Уж туда-то Палька придет?..

Вани я не нашла. Расстроенный моим неожиданным легкомыслием, он ушел. Никого из наших ребят я тоже не увидела. Скрываясь (с Сергеем идти было жутковато), я выбежала из клуба в полуночную темень короткой апрельской ночи. Чуть не заблудилась в малознакомых улочках. Еле-еле достучалась дома. Но, войдя к себе, не легла в постель, а достала мамин шелковый шарфик, полученный в подарок к будущему дню рождения, и, поколебавшись, отпорол опротивевшую стеганку, чтобы пальто не топорщилось. Будет холодно? Ерунда!

Настало утро печального триумфа. Я промытарила Сергея у ворот минут пятнадцать, чтобы побольше народу это увидело. И на мост я вступила с ним под руку. Сергей шагал победителем, а я — победительницей, для него эта прогулка была демонстрацией неотразимости (захотел — и новая девушка с ним!), а для меня... То жарко, то холодно было мне в моем продувном пальтишке над взбаламученной льдинами рекой, гордясь и мучаясь стыдом, я отмечала, что наше появление вызвало всеобщие толки — провинциальная сенсация! — заметила трагически-мрачное лицо Ириши (чего это она?) и несчастное — Вани... А затем, как немыслимое счастье, прямо перед нами возник Палька Соколов, такой удивленный и раздраженный, что лучшего и желать было нечего.

— Ну, здравствуй, Вера,— сказал он.

— Здравствуй. Вы знакомы?

Они неохотно поздоровались. Пальке приходилось закидывать голову, чтобы смотреть на моего красавца, Сергей был намного выше.

— Где же твоя невеста? — спросила я.

— А ты торопишься меня женить?

— Да нет, мне все равно, это твое дело.

— Вот и я так думаю.

Сегодня, взглядываясь издалека в плохо одетую и очень несчастную девочку на том мосту, я понимаю, что стоило Пальке протянуть руку и сказать: «Какая там невеста, пойдем!» — и девочка рванулась бы к нему от своего ослепительного спутника, и пошла бы — все равно куда, и, быть может, заплакала бы, потому что нервное напряжение последних дней измотало ее. Но Палька не был бы Палькой, если бы поступил так безоглядно просто, а девочка назло ему срывающимся голосом (а ей казалось — веселым и властным) сказала спутнику:

— Пошли, Сережа!

Замысел удался, ледяной ветер пробрал до костей, можно было уходить.

История кончилась неожиданно. На заседании уездкома Соколов обрушился на всех нас за развал комсомольской работы в Видлице: как вы могли допустить, что это произошло в таком селе, которое «определяет лицо всего уезда»?! Говорил он, как всегда, слишком резко, обидно.

— И Веру вы используете неправильно, — под конец заявил он. — Ее прислали к вам для укрепления работы, а вы засадили человека за канцелярский стол, в деревню не пускаете. Почему? В любом селе молодежь говорит по-русски, а ей ведь не со стариками работать — с молодежью! У нее же большой организаторский опыт! Она и кулацких угроз не испугалась!..

В общем, он долго и преувеличенно меня нахваливал, а кончил так:

— Предлагаю на месяц командировать ее в Видлицу для поднятия комсомольской работы.

Года два спустя мы вспомнили с Палькой эту его выходку, и он, ничуть не раскаиваясь, воскликнул:

— Дурак бы я был, если б оставил тебя возле этого красивого болвана! И потом, мне хотелось, чтобы ты получше узнала жизнь.

Ох-ох-ох! Вот с какого времени меня начали учить познанию жизни!..

Путь в Видлицу

Весна все решительней делала свое дело, так что не понять было, на чем ехать и доберешься ли вообще.

Проселочная дорога до Видлицы сперва вилась по изгибам Олонки, потом от одного села до другого, заворачивая и в небольшие деревни, всего пути считалось семьдесят пять километров. Утрамот разделил эту длину на три отрезка. Говорили, что на первом отрезке не только стаял снег, но и подсушило дорогу, так что ехать надо на колесах, но дальше дорога идет лесом, а в лесах еще полно снега. Советовали проделать весь путь в один день, советовали ни в коем случае не ехать через лес ночью, убеждали выезжать как можно скорей и угаривали подождать неделю...

— Проедешь, — сказал Гоша Терентьев.

Он был родом из Видлицы и уже написал матери и сестре, чтобы они меня приютили, кроме того, подогнал свои служебные дела, чтобы проехать со мною хотя бы треть пути.

Выехали мы ранней ранью, по часам еще была ночь, но в конце апреля какие в Карелии ночи! Туман плотным слоем лежал над Олонкой и над оттаявшими полями, мы ехали по пояс в его рассеянной влаге, а поверх тумана скользили солнечные лучи — день обещал быть ясным. Поначалу управлял лошадей Терентьев, потом пере-

дал вожжи мне. Дорога успела подсохнуть, кое-где даже пылила, бричка катилась себе и катилась, лошадка сама знала, что ей делать, а Гоша рассказывал, какое большое и красивое село Видлица, сколько там людей, укреплявших Советскую власть и воевавших за нее, «так что тебе будет легко, всегда найдется поддержка». Рассказывал, что сестренка Таня года на два старше меня, а мать очень добрая и будет обо мне заботиться, только по-русски не понимает, но Таня при ней за переводчика.

Затем он пожалел, что я не застаю в Видлице Сашу Веледеева, и начал восторженно рассказывать, какой он энергичный, разносторонний парень: учитель и лектор, режиссер и актер, он и комсомол организовал в Видлице, и клуб устроил, и спектакли ставил — даже классику. А главное — душа человек, молодежь так и крутилась вокруг него.

— А что такое басмачи? — задала я вопрос, который уже несколько дней томил меня, потому что Палька о них знал, а я нет.

Гоша тоже не знал, но был убежден, что басмачи — такая же контра, как белофинны, но «с тамошними особенностями». После чего снова повернул разговор на Сашу Веледеева — русский паренек родом из Питера, карельского языка не знал, а сумел стать своим для всей олонецкой молодежи!

Я поняла, что Гоша меня подбадривает и учит.

— Главное, ничего не бойся, — заключил Гоша, — желание у молодежи большое, ее организовать надо. Берись посмелей.

Мы плотно позавтракали в селе, где нам предстояло расстаться, Гоша сам позаботился о том, чтобы мне без задержек дали лошадь, и написал с возчиком записку на следующий пункт Утрамота, чтобы и оттуда меня отправили побыстрей, «так как товарищ командирован с важным заданием».

Мне было жаль расставаться с Гошей, он тоже не скрывал, что хотел бы поехать со мною до Видлицы. Между нами не было скованности и неловкости, обычно мешающих дружбе юноши и девушки: Гоша был влюблен в славную олонецкую комсомолочку и познакомил меня с нею, я призналась, что тоже влюблена «в одного человека», после чего мы открыто симпатизировали друг другу и все крепче дружили. Я не замечала у Гоши ни малейших признаков «болезни», поражающей многих молодых людей, рано попавших на ответственную, руководящую работу, — болезни самоуверенности и зазнайства. Он старался много читать, его мучили пробелы в знаниях, которых всем нам не хватало, меня это тоже начинало мучить. И мы оба любили стихи. Иногда по вечерам, если не хотелось расходиться, мы по очереди читали товарищам любимые стихотворения или, тренируя память, вдвоем вспоминали строки «Медного всадника», первую главу «Евгения Онегина» или «Мцыри» — одну строку Гоша, другую я, пока не собьемся. Если мы обсуждали дела комсомольские, с мнением Гоши считались все — он умел думать «не по верхам, а вглубь». Кроме того, со времени укрощения стервы Гоша меня незаметно опекал. Я подозревала, что в последние дни он кое о чем догадался, а после моего появления на мосту с главным олонецким сердцеедом встревожился. Из деликатности он не вмешивался, только позавчера, узнав, что я «в последний раз» иду на танцы, дружески предупредил:

— Имей в виду — Сергей уже хвастается победой.

— Ну так больше не будет! — запальчиво ответила я.

У меня оставалось два часа — неужели не сумею что-нибудь придумать?..

И я придумала.

В дороге Гоша не вспоминал событий того вечера, вероятно, его

больше заботило, как сложится моя жизнь в Видлице. Но, прощаясь, он особенно крепко потряс мою руку:

— А ты молодец. Ты даже сама не знаешь, какой ты молодец. Ну, садись и будь жива!

— Будь жив, Гоша!

После изящной брички не очень-то манила громоздкая телега на разболтанных колесах. Гоша проследил, чтобы в нее набросали побольше сена, и, усадив меня, натолкал сена мне за спину, так что можно было полулежать, как на подушке.

Сено пахло летом, детством, качинскими полями.

— Дальше не улежишь,— поглядев на меня через плечо, сказал возница.

— А в лесу на колесах проедем? — полюбопытствовала я.

— В лесу теперь ни на чем не проедешь.

Пугает, наверно?.. Дорога была вполне приличная, телегу мягко потряхивало, я развалилась на сене и с удовольствием вспоминала Гошину похвалу. И события того вечера. Кажется, я действительно была молодцом?..

Времени было мало — всего один вечер, поэтому я без всякой осторожности предупредила Ваню, наших уездкомовцев и всех знакомых девушек, чтоб ни за что не уходили до конца и следили за мною: будет спектакль! А сама начала напропалую кокетничать с Сергеем. Откуда у самых неопытных девчонок берется это дьявольское умение, никто не знает, но Сергей «распушил хвост», как павлин, и, видимо, уверился, что его преждевременная похвальба может стать правдой. Во время прощального вальса он предложил погулять в саду, я сказала: «Посидим над рекой на той, дальней скамейке, хорошо?» — и вручила ему номерок от пальто.

«Та» скамейка, одиноко стоявшая над берегом Олонки в густых зарослях кустов, была местом решающих любовных встреч.

Пока Сергей получал пальто, я разыскала Ваню и приказала ему бежать к той скамейке и ждать меня. Ваня упирался — он был несчастен, сбит с толку, боялся, что я его разыгрываю.

— Говорю тебе — иди и сиди, пока не приду. И скажи всем ребятам — пусть прячутся за кустами, понял?

Сергей вел меня под руку, изогнувшись дугой и нашептывая многократно отрепетированные нежности, а я глуповато смеялась и болтала как можно громче, чтобы он не услышал, как за кустами по ходу нашего движения, потрескивая ветвями, перешептываясь и сдавленно хихикая, продирается вереница свидетелей. Последний поворот тропинки — и Сергей увидел на заветной скамье нахохлившуюся фигуру Вани.

— Там кто-то сидит,— разочарованно прошептал он.

Я высвободила руку из его сжимающих пальцев и сказала как можно громче и отчетливей:

— Это ждут меня. Спасибо, что проводили. Спокойной ночи.

За кустами грохнул такой хохот, что Сергей отшатнулся и исчез, а ему вслед свистели и улюлюкали.

Утром меня разбудил стук в окно. Я подбежала, кутаясь в одеяло,— Ириша! Не без робости открыла створку окна.

— Ой, Верочка, спасибо! Спасибо от всех девчонок! — затараторила Ириша и подтянулась, чтобы чмокнуть меня в щеку.— Я ведь тоже в кустах сидела, а потом понеслась домой, он пришел — дверями хлопает, все швыряет, чертыхается, ну прямо помереть со смеху!

— А я думала... все-таки брат...

— Ну так что, что брат?! А подруги?! Все мои подруги от него по очереди плакали, думаешь, приятно мне?! Глаза б ему выцарапала,

кобелю проклятому! А когда ты приехала, ну, думаю, обожжется наконец, а потом гляжу — и тебя завертел. А ты молодец! Молодец! Сегодня весь город смеется!..

Дребезжат колеса, на бегу поеживает лошадь, к полудню солнце пригрело по-настоящему, и сено запахло еще соблазнительней. Молодец так молодец, но ведь мне это ничего не стоило, на что он мне?.. А Палька, конечно, уже знает. «Весь город смеется»... Палька тоже помеется и скажет — ну, молодец!..

Довольная и разморенная потряхиванием телеги, я начала досыпать недоспанное ночью... и вдруг меня подкинуло, встряхнуло и ударило плечом о край телеги.

— Началось,— по-русски сказал возница и кое-что добавил по-карельски.

Дорога вилась среди сосен, а сосны цеплялись за землю могучими корнями, корни эти то прятались под рыжими от хвои сугробами, то утопали в луже и подставляли ножку колесам, то зловеще топырились на пути, как лапы гигантского паука. Чем глубже мы въезжали в лес, тем больше было снега вокруг, воды и липкой грязи на дороге.

Возница шагал рядом с телегой, чтобы лошади было легче. Я тоже хотела слезть, но возница посмотрел на мои латаные ботинки и сказал:

— Сиди. Тут в сапогах — и то!..

Сколько мы тащились эти двадцать пять километров? Часов у меня не было, но когда мы въехали в село и остановились у дома, вокруг которого стояли телеги и сани с замороженными лошадьми, солнце уже клонилось к закату. Вошли в дом. Знакомая картина — на столе самовар, вокруг стола несколько мужиков пьют чай и едят — каждый свое. В открытую дверь видна вторая комната, там на полу, застланном половиками, спят вповалку еще несколько человек.

Пока я закусывала и пила чай, хозяин дома — уполномоченный Утрамота — быстро и сердито спорил с мужиками, помахивая запиской Терентьева. Было очевидно, что никто из них везти меня не хочет.

— Может, переночуешь? — вздохнув, предложил хозяин.

Я покосилась на дверь. Вон там, на полу? Я не сумела скрыть брезгливости, и хозяин это понял. Записка с подписью продкомиссара на него действовала, он снова принялся спорить с мужиками. По тому, сколько раз в этом споре звучало «сатана-перкеле» можно было понять, что и других ругательств произносится не меньше.

Желтый луч, переползавший по полу и скамье, добрался до края стола и вот уже заиграл на медном пузе самовара. Солнце стояло совсем низко. Впереди — самый тяжелый лесной участок. Может, все же заночевать?

Но в это время из другой комнаты вышел заспанный, хмурый-прехмурый старичина, налил себе чаю и стоя выпил обжигающий напиток, не охнул и не поморщился. Хозяин дома вступил с ним в переговоры, они тоже поспорили и поругались, «сатана-перкеле» и все прочее... затем хозяин сказал мне, что вот Яков соглашается, если у меня есть спички, без спичек он в дороге не может, а спичек у него нет, потому что, сама знаешь, спички теперь... Я прервала его, сказав, что спички дам,— уже ученая, прихватила с собой на случай...

Получив коробок и заглянув внутрь, полон ли, старичина сел поест. Из берестяной торбочки он вытащил стопку калиток с подрумяненной картошкой (я еще не пробовала это карельское кушанье, но выглядело оно аппетитно), налил себе еще чаю и под чай все калитки сжевал. Потом набил табаком трубку, прикурив от уголька из русской печки,— уголек уже еле теплился, он его долго раздувал, перекидывая в заскорузлых пальцах. Докурив, оглядел меня, фыркнул и заговорил с другими мужиками по-карельски, весьма выразительно показав, ка-

кое я ничтожное существо, можно свалить одним щелчком, а затем сделал энергичное движение, как будто выбрасывает что-то или кого-то. Мужики захохотали, поглядывая на меня. Хозяин сердито закрычал на них и снова помахал Гошиной запиской.

Мне стало страшно. Мне очень хотелось остаться и заночевать — на половике так на половике, спят же другие! Но возница поднялся и сказал:

— Иди за мной.

Поехали мы не на телеге, а в добротных розвальнях. Лошадь тоже казалась добротной — упитанная, с блестящей шерстью. И старичина был им под стать — дюжий, осанистый, в огромных сапогах выше колен, в стеганых штанах, легком полушубке и шапке-финке с опущенными на уши бортами.

«Он кулак, — думала я, — потому и смотрит злобно, что кулак. Наверно, помогал белофиннам, доносил на коммунистов, а потом не успел убежать с ними или пожалел бросить хозяйство. Вот я и увидела настоящего кулака. И поеду с ним одна. Через лес. Уже стемнеет, а мы будем в лесу...»

Но что делать?

Мы уже отъехали от села. Лошадь шла шагом, полозья саней жалобно скрипели по песку или разводили волну на воде, разлившейся в низинках. Затем мы въехали в лес, где стояли громадные мохнатые ели, их черные лапы тянулись через дорогу, нужно было уворачиваться, чтоб не шлепнули по лицу. Снег тут лежал почти не тронутый таяньем, лошадь пошла резвей по накатанной дороге, мой возница сам с собою или с лошадью говорил по-карельски и курил трубку, ко мне относилось едкий дым. Под бег саней и бормотанье возницы я укачалась и снова начала досыпать недоспанное ночью. Мне виделись Голиковка и Палька, откинувшийся назад и висящий на поручне вагона... потом Палька, возникший прямо передо мною и Сергеем на мосту через Олонку... И тут я разом проснулась, потому что в дреме увидела и поняла то, что не осознала там, при встрече, — Палька был взбешен! Да, взбешен! Почему? Если он равнодушен ко мне, какое ему дело до того, с кем я хожу?.. «Ты торопишься меня женить?» — услышала я его насмешливый голос. Действительно, откуда я взяла, что он женится на Нюре? «Мы помолвлены... Еще двое сватают... Мама говорит: выйдешь, так держи в руках с первого дня»... Шесть сорочек, вышитых гладью... Почему она не сказала еще и «приданое»? Нет, не может он, не может жениться на Нюре! Почему я как дура сказала, что занята, когда он хотел принести мамино письмо «вечером, часов в восемь»?! Никогда бы он не привел с собой Нюру, как я не понимала?!

— А ну, вылазь! — раздался надо мною грубый голос.

Было уже сумеречно, и перед нами сколько видит глаз тянулось густое месиво подтаявшего, сбитого в колеи, закиданного ветвями снега — ого, тут разъезжались и застревали до нас не одни сани!..

Только я соскочила, как ботинки мои наполнились водой. Но старичина уже ушел вперед, ведя лошадь на поводу, делать нечего, я затопала по мокрой каше вслед за ним.

Так мы прошли с километр, потом дорога снова вошла в густой лес и можно было ехать, но старичина, даже не оглянувшись на меня, продолжал вести лошадь за повод, в санях ехал мой чемоданчик, а я замыкала шествие, уже не выбирая, куда ставить ноги.

Стало темно.

— Можно, я сяду? — спросила я, выбившись из сил.

— Лошадь твоя? — кричал старичина. — Не твоя! Ну и шагай! — Он и еще что-то говорил, но уже по-карельски.

Дальнейшее я помню плохо. Я шла за санями, отставала так, что

уже не видела саней, пугалась грозной лесной тишины и догоняла их, снова отставала, пела назло всем кулакам «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...», замолкала, потому что не хватало дыхания петть, плакала от усталости и обиды и снова шла, шла, шла по крутым колеям, по мокрому месиву, по лужам, разлившимся от края до края...

Сани стояли.

Замедлив шаг, я с испугом всматривалась в черную массу, застывшую впереди,— лошадь и сани. А чуть в стороне — черный силуэт старичины.

Кругом — черный лес. И мы одни.

Я лихорадочно соображала: в проезжей избе остался ордер с моей фамилией и записка Гоши Терентьева... все узнают, кто меня повез, если что-нибудь... нет, не захочет он из-за девчонки...

— Приехали,— сказал он, когда я приблизилась,— все, значитца. Хоть сиди, хоть вертайся.

На всякий случай я высказала уже продуманные слова, укреплявшие, как мне казалось, мою безопасность:

— А меня в Видлице ждут сегодня.

— Значитца, не дождутся,— с издевкой сказал он.— И кто же тебя там ждет?

— Терентьевы.

— А-а,— протянул он и добавил слово, которое я не поняла: — Палоккашат.

Он сел на край саней, набил трубку, закурил.

Я стояла по щиколотку в мокрой жиже, но мне было так плохо, что это уже не имело значения. И не сразу осознала, что тишины больше нет, что где-то близко будто тяжелый зверь ворочается, бьет грузной лапой, шипит, клокочет, завывает. Но это не зверь — слишком постоянны перемежающиеся и сливающиеся звуки.

— Что это?

— Разлилась. Аж моста не видать.

— Река?

— Когда ручей, а сейчас река.— Помолчав, выколотил трубку, спрятал в карман.— Однако попробуем.

Он велел мне встать в санях и взять в руки чемодан, «иначе зальет, капиталы твои размокнут», и сам, кряхтя, взобрался на лошадь.

— Н-но, н-но, вывози, н-но!

Он называл лошадь птахой, голубкой, рыбкой, а также дурой и всякими карельскими ругательствами. Она упиралась и храпела от страха. Он огрел ее вожжами и кулаком, тогда она неохотно пошла вперед, и он уже не погонял ее и даже, как мне казалось, опустил поводья, чтобы не мешать лошади идти туда, куда ее ведет чутье и привычка.

У самой реки лес расступился, чуть просветлело, и я увидела свирепую массу воды, несущуюся под ноги лошади и перепрыгивающую с рокотом и шипением через что-то вроде решетки, белеющее на ее пути. В тот же миг ледяные струи захлестнули мои ноги, я чуть не упала, удержалась, с ужасом огляделась и поняла, что бедеющая решетка, через которую перепрыгивает вода, это перила моста, а мост — под водой, и мы по нему едем, и если нас и мост не снесет в ближайшие минуты — это наша удача.

— Слезай! — рывкнул мой возница, когда мы выбрались на берег и лошадь устало остановилась.— Беги!

Я вывалилась из саней, меня трясло от страха и холода, но двигаться я не могла, хоть убей. Я уже не боялась этого кулака или некулака, черт его знает кто он такой, я просто не могла шевельнуть ногой, не то что бежать.

— Беги, дура! — закричал он снова и подтолкнул меня. — Беги, говорю, согрейся! Ну?!

И я побежала. Ноги были пудовые, вода хлюпала в ботинках, мокрые чулки прилипли к ногам, мокрая юбка тоже прилипла к ногам, сил не было, но я кое-как бежала по снежной каше, а за мною трусила, всхрапывая, лошадь, мне казалось, что она меня преследует, если я остановлюсь или упаду, она меня затопчет.

Как-то вдруг стало тепло. Как-то вдруг ноги угрелись в ботинках. Выровнялось дыхание. И сердитый мужик перестал казаться сердитым. Он шел за мною, ведя лошадь на поводу, и лошадь не собиралась меня затаптывать.

Кто знает, сколько минут или часов прошло, когда впереди проблиснули огоньки.

Я их увидела далеко-далеко, тусклые, еле-еле мерцающие. Огни! Или это мираж, такой же, какие бывают в пустыне?

— Значитца, доехали, — сказал мой возница. — А ты беги, еще далеко, простынешь.

Огни скрывались за елями — и тогда я пугалась. Они мелькали снова — я прибавляла шагу. И хотела только одного — горячего чаю или хотя бы кипятку. Все блага мира сосредоточивались сейчас в одном видении — в кружке горячего чая. Вьется над кружкой парок, ладони охватывают ее теплые бока, глоток — и горячая влага согревает рот, горло, пищевод, желудок... Чаю!

Мы шли еще не меньше часа, теперь впереди светил всего один жалкий огонек, страшно было, что и он погаснет — и не будет ничего. Ничего.

Я не сразу заметила, что рядом — дом. Наискосок — другой. И еще, и еще... целая улица домов...

— Видлица?!

— А что ж еще? Видлица. Сейчас Утрамот будет.

Я не сразу поняла — почему Утрамот? Зачем мне Утрамот?

— А куда ж ты в два часа ночи пойдешь? Переночуешь там, а наутро иди себе куда нужно. Тп-пру, рыбонька!

Дом Утрамота был темен. Во дворе стояли телеги и сани с уныло-пустыми оглоблями. Дернула дверь — закрыта.

— Спит старик. Однако стучи сильнее, должен принять.

Мы долго стучали. Наконец в окошке запрыгал огонек, звякнула щеколда, в открывшейся двери я увидела маленького беленького старичка с чадающей лучиной.

Мой возница и старичок заговорили по-карельски, потом возница сказал: «Ну, прощай!» — и сошел с крыльца, исчез в темноте, а старичок впустил меня в дом, ворча, что никто среди ночи не ездит, с ума сошли люди, он мог бы и не пустить...

— Спать будешь?

Осмелев, я спросила, нельзя ли чаю, я заплачу.

— Какой ночью чай? Пойдем, покажу место, пока лучина горит.

Он ввел меня в комнату, где ничего не было, кроме половиков на полу, но на этих половиках один к одному спали люди — в тулупах или под тулупами, в шапках или положив головы на шапки.

— Вот место, — старичок показал на небольшое пространство между двумя спящими, — ложись, покуда свет.

Он зашлепал в первую комнату, сунул лучину в прихват над шайкой с водой, оглянулся на меня:

— Легла, что ли?

И задул лучину. Я слушала, как он, сопя и охая, лез на печку.

Стараясь не задеть в темноте спящих, я поставила вместо изголовья мокрый чемоданчик, сняла мокрые ботинки и чулки, сняла

пальто, легла, растерла ледяные ступни краем пальто, им же закутала ноги и сама завернулась в пальто сколько хватило длины — вышло до пояса.

В комнате было душно, пахло потом, мокрой одеждой и еще невесть чем. Кругом храпели, стонали, кряхтели, чесались, ворочались...

«Как тут заснешь?» — подумала я, свернулась калачиком и немедля заснула.

Проснувшись, я увидела себя на полу в пустой комнате. Когда все успели проснуться, встать, уйти?

— Десятый час, — сказал мне тот же старичок, — вставай, убирать пора, из-за тебя не убирали.

Я достала из чемоданчика коробок спичек и попросила чаю. Старичок почти побежал на другую половину дома, привел старуху. старуха дала мне умыться и не пожалела чистого полотенца, налила мне чаю, а к чаю подала шаньги с творогом. Теперь можно было искать Терентьевых — не голодной же входить в незнакомый дом!

— А-а, вы к Терентьевым? — Старичок тут же выкликнул со двора девочку лет десяти. — Вот, сведешь к Терентьевым, ну, знаешь. — И он снова произнес то слово — палоккахат.

Минут через десять мое путешествие кончилось — я была в милой, навсегда запомнившейся Видлице.

(Окончание следует)



ГЕОРГИЙ САВЧЕНКО

★

ЧИКО, ЧИКО

Рассказ

I

Приехал Альберт Гуреев!.. У распивочной палатки слух такой прошел, хотя на фабрике Гуреева еще не видели.

Дружок Алика — Жухов из слесарного цеха, парень рослый, с большой головой, длинной челюстью, поэтому, наверное, рот всегда приоткрыт и видны крупные желтые зубы, — явившись после смены к палатке, заказал пива на двоих и стал ждать.

— Все такой же, гу-гу! — объяснял Жухов интересующимся, нащупывая в сверточке дяди Толи воблу побокастей, с икрой. — Армия его нисколько не изменила. Стал только костистей, жилистей, а заводной, как и прежде...

У Жухова такая привычка: «гу-гу» произносить, когда не хватало слов.

— Шуточки шутит? — спросил дядя Толя, работавший в красоварке и носивший с собой постоянные острые химические запахи.

— Гляди, на рубахе-то у тебя чего!

Дядя Толя наклонил голову, а Жухов защемил его нос средним и указательным пальцами.

— Гу-гу! И меня он так же купил!

Дядя Толя не обиделся, а только провел по носу ладонью сверху вниз. Пил он преимущественно на деньги молодых рабочих, сносил и шуточки, хоть и грубоватые порой, зато за ними всегда следовала кружка.

Особенной щедростью прежде отличался Алик. Зарабатывал он в слесарном до армии сто рублей, а с полочки у него иной раз только на пачку сигарет и оставалось. Но жил Алик в доме отца, и обед ему всегда был.

Алик появился в белой нейлоновой рубашке, закатав по локоть рукава, небрежно, как-нибудь. Такой у Алика стиль. И пуговицы на рубахе расстегнуты, так что открывалась загорелая шея, острые ключицы и белая шелковая майка. А брюки — черные, гладкие, узкие, не расклешенные внизу. Лицом он розов от загара. Алик и говорил — улыбался, и молчал — улыбался. Глаза у него серые, нос ровный, волосы мягкие, чуть вьющиеся на висках и на челке.

Гуреев заказал дюжину пива — угостить приятелей. Очень ему понравилось, что пивной придали «культурный вид»: огородили место возле палатки бордюром из ящичков с цветами, зацементировали площадку, над каждым столиком соорудили на шесте полосатый пар-

синовый зонт. Столики тяжелые, мраморные. И мрамор потел, когда на него ставили сразу дюжину холодного пива.

— У нас в лучшем виде,— улыбался изрытыми оспой щеками дядя Толя, слезливые глаза его с умилением разглядывали любимца.

— Ну, а сам, дядя Толя, в каком виде отсюда идешь? Тоже «в лучшем»? — Голос у Алика хриловатый, говорил он ровно, словно бы и не думал никого задеть.

— Теперь всюду дружинники...— кривился дядя Толя.

— Это и хорошо,— отвечал Алик серьезно.— Порядок во всем должен быть.— И вдруг улыбнулся: — И дышите здесь одними фиалками — за палатку никто не бегают...

— До овражка терпим,— закивал Жухов.

Угощавшиеся смеялись.

Алик от них отвернулся. Серые его глаза лениво разглядывали девушек, которые шли с фабрики или на фабрику.

— И как у вас женский контингент? — спросил Алик у Жухова.

Жухов подавился пивом, откашлялся, сипло произнес:

— Что такое?

— Спрашиваю, контингент женский пополнился? — повторил Алик.— Имеются ли достойные внимания?

— Всякие есть,— ответил за Жухова дядя Толя.— Ты нам лучше о себе расскажи. Как?.. А? Пляску не забросил?

— Забросил...

— Это ты, гу-гу, зря! — гудел в кружку Жухов.

Алика все знали отличным танцором. На удивление — короткий он, а ноги что пружины. Очень Алику разные прыжки удавались, воздушный танцор. В самодеятельности большие аплодисменты срывал.

— К нам в слесарный вернешься? — спросил Жухов.

Алик повременил с ответом.

У киоска «Союзпечати», что напротив, остановились две девушки. Одна из них — Вика — работала в прядильном цехе. До армии Алик знал Вику.

— Вот он — Алик Гуреев,— шепнула Вика подруге.

Вика задержалась у киоска, будто рассматривая открытки с раскрашенными киноактерами. Была Вика в платье джерси фиолетового цвета, в сапожках, блестящих красным лаком, сама тоненькая, узенькая. Лицо ее густо намазано розовой пудрой, а вытравленные перекисью волосы распущены по спине.

— Телепрограммки есть? — спросила Викина подруга Наташа, которой было неловко, что они остановились и за ними наблюдают мужчины у распивочной.

Наташа еще подросток, но с виду казалась вполне сложившейся девушкой. Она чуть полновата, чем надо бы по шестнадцатому году. Косметикой Наташа не пользовалась, кожа на лице белая, и волосы заплетены в одну косу.

— Нет телепрограмм. Никаких газет, кроме «Советской культуры»,— ответила киоскерша.— Купите, девочки?

— На фигу нам культура! — хохотнула Вика, не спуская лукавых глаз с Алика.

— Бесстыдница! — покачала головой киоскерша.

— Я куплю газету,— попросила Наташа, которую глупость старшей подруги ввела в смущение.

— Так ты к нам в слесарный? — спросил снова Жухов, вытягивая подбородок, чтобы отпить от следующей кружки.

Алик отвернулся от девушек, но был уверен, что они еще смотрят на него.

— У меня теперь квалификация. Классный шофер я и механик...

— Гляди как! — улыбнулся дядя Толя. — Рублей на сто пятьдесят потянешь.

В жаркий этот день приятно было пить холодное пиво. Настроение у Алика было превосходное, друзья его по-прежнему любили, обе девушки ему нравились, и то обстоятельство, что остановились они у киоска специально, чтобы он обратил на них внимание, заставило Алика лихо допить кружку, достать бумажник и бросить на мокрый мрамор красненькую.

— А если я тебе, Жухов, прикажу катить бочку сюда? Силенок хватит?

— У меня колотушки — гу-гу! — восторженно протягивал Жухов квадратные ладони.

— Ох уж душа у Алика — сама доброта! — шептал дядя Толя, слегка запьяневший, предвкушая еще много возлияний впереди.

В следующий раз Алик и Наташа увиделись на танцплощадке душным летним вечером, в котором свежестью веяло лишь от цветущих лип.

Наташа стояла рядом с Викой, и ее не приглашали танцевать. А когда кто-нибудь подходил, чтобы пригласить Вику, Наташа заливалась краской, клонила голову к груди и смотрела исподлобья темными, дикими глазами.

Алик тоже подошел пригласить Вику. Он слегка паясничал, притворно низко кланяясь, прижимая руку к груди. И заметил вдруг Алик в диких глазах Наташи жадное желание быть счастливой.

Слегка подпрыгнув, Алик оказался прямо против Наташи.

Из динамика звучало «Чико, Чико».

Алик был легок в танце, и, как Наташа ни старалась, он все успевал раньше нее и ногами притопывал чаще да еще напевал сам, не слушая Клавдии Шульженко:

Вот и Чико, ты погляди-ка!
 Это Чико прибыл к нам из Порто-Рико!
 Сколько блеска, сколько шика!
 Ах, Чико, Чико, Чико, Чико...

Его узконосые югославские полуботинки с подковками чикали по цементному полу танцплощадки, в темных углах высекая искры.

— Порто-Рико — это где-нибудь в Африке? — спросила Наташа, пытаясь завязать разговор.

— Почему в Африке?

— А там теперь эти «развивающиеся страны»...

— Нет! — Алик посмеялся. Вдруг стал серьезным: — Под Ташкентом... Вместо пилоток нам выдали зеленые панамы для защиты от солнца. А сапоги, к сожалению, кирзовые.

— Я так и думала, что там жарко. — Наташа дунула уголком рта себе на грудь.

— Дуреха! Это я служил в Ташкенте, понимаешь? А Порто-Рико не в Африке, а в Южной Америке.

Окончили танец.

Наташа, раздумываясь, совсем обалдевшая от танца, от внимания к ней Алика Гуреева, сидела на лавочке, обмахиваясь платочком, и видела, как Алик распивает украдкой с парнями бутылку.

Наташа ждала, что будет дальше, пригласит ли Алик ее на следующий танец.

Следующим танцем было танго.

К Наташе подошли сразу двое, но Алика среди них не было.

Наташа растерялась, что сразу двое, неудобно кому-то отказывать.

Тогда один из парней сообразил потянуть Наташу за руку. Он был повыше Алика, чубатый. У Наташи кружилась голова, тело горело, она ощущала могучую силу рук, обхвативших ее, стало тесно груди, и от этого глубокая сладость подступила к горлу.

Наташа чуть запрокинула голову и даже не переступала ногами, а плыла, послушная властным движениям партнера. Ей было хорошо от сознания, что теперь и она принята тут как равная. Она улыбалась незнакомому парню и вдруг быстро поцеловала его в щеку. Так могла бы поступить маленькая девочка, которой преподнесли долгожданный подарок.

В тот же миг они остановились, замерли, потому что рядом раздались резкие хлопки, как оплеухи.

— Что же получается, ай-я-яй! — нарочито громко выговаривал Алик. — Я в ладоши хлопаю культурно, а Лобутев вцепился в девушку и ни на что больше не желает обращать внимания!

Конечно, Алик собрал вокруг них толпу.

Лобутев, не отпуская Наташу, сурово озирался.

— У нас с хлопками танцы. И все понимают, — издевался Алик. — Шагай отсюда, Лобутев! С чужими девками где-нибудь в кустах лапайся, а наших не трожь!

— Вы бы хоть девушки постеснялись, Гуреев! — отвечал Лобутев. — И водкой от вас разит...

— Я дружинник, гу-гу! — закричал Жухов, втираясь между Аликом и Лобутевым. — Только с хлопками! Только с хлопками!

— Ну что ж, — развел перед Наташей руки Лобутев. — Приходится подчиниться обычаю...

И дальше Наташу в танце повел Алик. Он не пробовал прижаться к Наташе, и, когда сама она прильнула к нему, он сумел ловко сохранить дистанцию.

— Знаешь, кто ты? — прошептала Наташа. — Вылитый Чико, Чико!..

Наташа сказала так потому, что ей хотелось отблагодарить чем-то и Алика. Целовать же всех подряд было бы очень глупо. И вот она горячо прошептала:

— Ты вылитый Чико!

— Не отказываешься от своих слов?! — Алик прищурился.

— Правда! Как я раньше не догадалась — ты и есть этот Чико!

— Ну, держись, девка!

Алик сбегал в радиорубку. Послышался писк перематывающейся ленты, потом возникло необыкновенно громко веселое «Чико, Чико».

Наташа больше не робела и старалась быть достойной партнершей такого танцора, каким был Алик. Он сейчас танцевал, как в лучшие годы на клубной сцене.

Присутствующие, конечно, образовали круг и стали хлопать в такт музыке.

— Я провожу тебя, — сказал Алик Наташе, когда на танцплощадке выключили свет.

— Этого еще не хватало! — вступилась за подругу Вика. — А ты, Алька Гуреев, интересным стал — увлекаешься детским садом...

Вика дернула плечом, схватила Наташу за руку и потащила за собой.

II

Они жили двумя семьями в одной комнате, потому что матери Вики и Наташи значились одиночками. Первое время комната была перегороджена только ширмой. Женщины испытывали от этого неудобства. Писали заявления в фабком.

К их просьбе, конечно, отнеслись с пониманием — и сами еще нестарые, и дочери подрастают. Прислали мастеров, которые сделали в комнате фанерную перегородку, так что образовалась прихожая и два длинных купе.

Женщины заклеили фанеру обоями. Если одна — скромными, серенькими в полосочку, то другая — яркими — ядовито-зелеными цветами. Не потому, что вкус такой. Очень уж рады были хоть как-то утвердить свое «я» на данной жилплощади.

Елизавета Васильевна, пухленькая, но быстрая, что мышь, отгородила парусиновой занавеской уголок для Наташи. Тут только койка и тумбочка помещались. Но и это уже радовало девушку, она научилась не замечать, что происходит за занавеской. Годы шли, и Наташа привыкла засыпать под голоса радио- и теледикторов, ее не отвлекали даже пластинки Пьехи, которые бесконечно крутила за перегородкой Вика.

Наташа лежала на койке поверх одеяла и думала об Алике.

Вот уж несколько месяцев прошло, как они познакомились. Теперь осень. За окном серо и сыро. Вчера днем торжественно награждали почетными грамотами передовиков производства. Среди награжденных был и Алик Гуреев, который на своем грузовике поставил рекорд перевозок. О нем хорошо говорил на митинге дядя Толя и закончил так:

— Мы привыкли: если ты Гуреев, то лучший рабочий. И Алик не подвел. Достойный продолжатель славной династии!..

Алик сидел в президиуме и переговаривался с соседом слева, слово и не слушал хвалу в свой адрес, словно это все ему, как любил он говорить, «до лампочки».

С улицы неслись звуки аккордеона и не удалялись. Кто-то настойчиво наигрывал «Подмосковный городок». Леня было Наташе подныться с койки, посмотреть через окошко в серую тьму.

Потом во входную дверь постучали.

— Это не к нам, — сказала Елизавета Васильевна за ширмой.

— Да, — ответила Наташа и затаилась.

Вика остановила проигрыватель, оборвав Пьеху, и пошла открывать, продолжая песенку сама.

Наташа соскользнула с койки, предчувствуя что-то особенное. С чего это вдруг так сердце колотится?.. Или голос знакомый почудился?.. Волнуясь, она быстро набросила халат из розовой байки, босиком встала у занавески и смотрела в щель.

На аккордеоне играл Жухов. Вид у парня такой сосредоточенный, словно он нелегкое дело исполняет, от старания даже губы поджалась. Рядом стоял дядя Толя в плаще «болонья», чистенький, побритый. Но он был «под мухой», о чем свидетельствовал блеск в желтых его глазах.

— Здравствуйте, уважаемые-проживающие, — произнес дядя Толя торжественно, когда аккордеон смолк. — Принимайте гостей!

— Ох! — вздрогнула Вика, поднялась на носки, стараясь заглянуть через плечо Жухова на темную лестничную площадку, где, должно быть, прятался кто-нибудь третий. — Извините, я неглиже...

— Гляже, гляже — не скромничай! — Дядя Толя поправил ко-

роткие усы.— А вот, к примеру, гражданочка Елизавета Васильевна тут проживает?

— Наша соседка,— ответила Вика.— А в чем, собственно, дело?

— Дело?..— Дядя Толя загадочно поднял палец.— Надлежит нам прежде всего представиться уважаемой-проживающей Елизавете Васильевне, поскольку есть до нее самый серьезный разговор и предложение...

— Во-от у нас кто мастер язык-то заплетаты! — вышла к ним Елизавета Васильевна.— Ну, и чего, Толя, пожаловал?

— Здравствуй, Лизавета,— проще сказал дядя Толя.— Не ждала?.. Та-ак... Что-то осип я, отсырел — погода мокрая, знобка. Согреться бы... Или не держишь? — И, набравшись храбрости, выпалил: — Пришли, Лиза, сватать!..

Елизавета Васильевна онемела вроде. Только руками указывает: мол, проходите, присаживайтесь,— сама из угла в угол тычется. Лицо у нее побелело что известка. Глаза расширились, но вроде как у слепой — не видят ничего.

— Ладно, Лиза, пошутил я,— успокаивал дядя Толя.— Не ищи ты бутылку. Мы свою прихватили. Ты нас скорее за стол посади.

Вика фыркнула, повела перед растерянной Елизаветой Васильевой плечом, шагнула к себе в купе и запустила на полную мощность Пьеху.

— Тише, Вика! — крикнула Елизавета Васильевна.— Со всеми с вами обалдеешь! — Она строго глянула на дядю Толю: — Кого сватать пришли? Тут все невесты, как бы не перепутать...

Дядя Толя замаялся, тактично покашливал в ладонь. Елизавета Васильевна сама еще молода, шустра и кожей гладка-бела, ей сорока нет, так что все еще может быть.

— Держись, Лизонька, не падай,— сказал дядя Толя.— Дочь твою, Наташу, сватать пришли.

Пьеха прервалась на полуслове, и слышно было, как по пластинке радиусом ползет игла, потому что стало очень тихо, так случается, когда всем неловко.

Наташа скледила пальцы и сдавила их в местах, где костяшки, чтобы ощутить боль, только бы не выдать себя радостным криком.

Хохотнула Елизавета Васильевна — не по-хорошему, нервно.

— Вы что? Перебрали, мужики?! А ну, идите отсюда, безобразники...

— Мы, гу-гу, серьезно! — вступился Жухов.

— Не обижай зря, Лиза! Жених как стеклышко.— Дядя Толя указал большим пальцем за плечо себе.— А мы с Жуховым... самую малость, для храбрости. Твой характер кто не знает...

— И где ж он, этот же-них, который стеклышко? — насмешливо спросила Елизавета Васильевна.

— Ну, я...— с хрипотцой сказал Алик и ступил из темных дверей в комнату.

Он улыбался, но быстро стал серьезен и гордо глядел на будущую тещу. Он был трезв, в черном костюме и при галстукке.

— Какой стыд! — крикнула из своего купе Вика.— Теперь разве так женятся? Пусть сначала Наташка самостоятельной станет, паспорт получит. В кино надо походить, мороженым угощать, подарки дарить. Потом заявление в загс. Вот как! А ты, Альберт Гуреев, со сватами явился. Позор, а еще комсомолец...

Елизавета Васильевна кивнула:

— Правильно она говорит.

— Завидует,— отрезал Алик.

— И-и чи-во завидовать! — крикнула Вика. — Больно ты нужен!..
— А сама тут крутилась да миловалась, пока не узнала, что не к ней, — сказал дядя Толя. — Такая уж ты комсомолка...

— Я, Елизавета Васильевна, человек честный, прямой и говорю в глаза людям все что думаю. Так? Меня никто не упрекнет в хитрости. Доброму русскому обычаю ни комсомольцу, ни коммунисту не зазорно следовать. Я ведь не как-нибудь вором, я их вперед себя послал предупредить, чтобы все ясно было. Я Наташу не соблазнял никак. Правда?
— Правда-правда! — не сдержавшись, крикнула из-за ширмы Наташа.

— Помолчи, дочь! — грозно обернулась Елизавета Васильевна к занавеске. А гостям сказала: — Садитесь к столу. Обсудим.

Наташа бросилась на кровать, кусала подушку, щипала мочки ушей. Потом решила платье надеть, чулки. А когда оделась, вновь встала у ширмы.

Они все сидели за столом. Даже Вика успела к ним присоединиться. Выпили немного и теперь смеялись, заходились смехом: это Алик с невозмутимым видом разных знакомых изображал — пародировал, как бы кто отнесся к их с Наташей помолвке.

— Тебе жена нужна, а не икона, верно? — сказала наконец Елизавета Васильевна о главном. — Не молиться на нее будешь, а в постель с ней захочешь! А Наташа еще не опушилась...

От стыда Наташа забурела, пятнами лицо покрылось — зачем матери надо все испортить?!

— Опушилась! Опушилась! — закричала Наташа, выскочила к ним, расплакалась, упала на колени матери, уткнулась ей в грудь.

Кто-то смеялся, кто-то ласково гладил, успокаивая.

— Молодец, Наташка, не сдрейфила! — хлопала в ладоши Вика, она быстро заняла сторону подруги, зная, что Алик от своего не отступит.

Алик слегка поддел Жухова локтем. Товарищ его стал налаживать аккордеон, умиляясь слезами девушки.

Жухов заиграл плясовую, сидя на стуле, притопнул ногами, крикнул громко, радостно:

— А вот, гу-гу, поглядим, у кого кровь горячее!

Алик прыгнул в серединку и, хотя было тут тесно, отплясал цыганочку, гопака, а затем принялся отбивать чечетку, выкрикивая песенку про Чико.

И все-то обращался он улыбающимся лицом к Елизавете Васильевне: можно ль о ком-то еще для своей дочери мечтать?!

Дядя Толя на Алика руками показывал: знай, мол, наших. А потом и сам поднялся, потянул со стула Елизавету Васильевну, топтался перед ней на одном месте, поводя бровями, закидывая за голову то одну, то другую руку.

Елизавета Васильевна повалилась обессиленно на стул, прослезилась, почувствовав вдруг себя такой старой, что вот уж и бабкой может очутиться вскоре.

Тем временем Алик Наташу обнял, поцеловал.

— Не поил, не кормил, а целует! — Елизавета Васильевна, однако, не казалась такой непреклонной, как раньше. — Ну, подумай хорошенько, Гуреев! Рано ей замуж. И по закону нельзя до совершеннолетия...

— А если мы любим друг друга, а если... — Наташа была счастлива, что рядом Алик, что его руки гладят ее, она ни за что не хотела расставаться.

— Ждите, пока время придет. А я ведь не возражаю. — Елизавета Васильевна вздохнула. — Правда, не возражаю...

Но в следующую же ночь Наташа не пришла домой. А днем Елизавета Васильевна сама не пустила дочь.

— Ступай, откуда явилась, бесстыжая! — кричала она так, чтобы слышали другие жильцы. — Вот он, Альберт-то Гуреев, как не вором, как «по доброму обычаю»! Теперь еще родишь, куда мне с вами?.. Соблазнил, проклятый! У меня свидетели есть!

— Мы его окрутили, Наташка! — поддержала горячим шепотом Елизавету Васильевну Вика. — Нету ему никакой решительно лазейки. Хоть перед судом засвидетельствую, что Алька тебя натурально соблазнил!

Слыша, что Наташа все еще стоит за дверью, Елизавета Васильевна сказала поласковее:

— Ступай прямо к его отцу. И не бойся. Теперь не открестится...

— Алик меня любит. И ничего подобного, о чем вы тут кричите и чем пугаете, у него и в мыслях нету. И в семью свою Гуреевы меня желанной приняли. С пониманием они люди: что ж, что несовершеннолетняя, а если такая любовь! За тебя, мама, мне обидно, — сказала Наташа и ушла.

III

Гуреевы были отзывчивы ко всякому душевному проявлению в человеке, а такое большое чувство, как любовь, такие отношения, как семейные, считали святыми.

Дали Наташе возможность закончить ФЗУ, но работать ей так и не пришлось. Семнадцати лет родила она Мишу, на другой год — Николку.

Тихой жила Наташа, влюбленной в мужа и детей.

Бывало, спросит свекровь за столом:

— Тебе какой суп, постный или щи мясные?

— Как Алик, — скажет невпопад Наташа.

Свекровь по натуре добрая, из тех безответных женщин, что в муже видят «хозяина». Стала она дряблеть по старости, согнулась крючком, в руках — постоянная дрожь. Вот и радовалась, что Наташа не какая-нибудь там «фифа современная», а самая что ни на есть русская натура, работающая и уважительная к старшим.

Никто как-то не замечал, что Наташа из сил последних выбивается. Ночью она не спит, ее малыши теребят, то молочка запросят, то на горшок им надо, чего-нибудь им вдруг приснится — заплачут среди ночи, зайдутся, встает Наташа, укачивает, «баюшки-баю» напевает, сама сонная сидит.

Наконец уснут.

Наташа глаза только сомкнет — пора и вставать.

Поутру она в магазин торопится, все очереди отстоит за два-три часа и тащит немалые сумочки с продуктами на большую семью.

Обед, правда, свекровь готовит. Но пол мыть, стирать белье, посуду после всех убраться и в раковине порошком почистить, перемыть — это только Наташи дело, свекровь и не притронется. У нее были еще свои заботы: ухаживать за «патриархом» — мужем.

Александра Александровича Гуреева, пенсионера, в прошлом рабочего, располневшего, седого, с лицом гладким да румяным, друзья по доброй шутке стали называть «патриархом». А Гуреев смеялся, очень довольный, его к почестям разным всегда тянуло, была такая слабость. А теперь он глава большого семейства — сыновей трое, дочерей четверо, а внуков два десятка...

С Александром Александровичем жил только Альберт — млад-

ший сын, самый любимый, самый талантливый, как считал отец. Остальные, с именами исконно русскими, разъехались. Но жили все хорошо, имели достаток, о чем свидетельствовал довольный вид, когда им по праздникам приходилось встречаться.

Наташу Гуревы не обошли. В первый год дарили ей подарки: платья, туфли, чулки, косынки, передники... «Патриарх» «персонально от себя» преподнес флакон «Красной Москвы».

Алик с Наташей мил, хохочет до слез, глядя на ребятишек, все еще по-настоящему не чувствуя себя отцом и мужем. Как-то на премиальные Алик стиральную машину купил. Внес в квартиру эту круглую железную беленькую бочку Жухов. Помогал и дядя Толя.

В тот же час и «обмыли» новую покупку при участии «патриарха».

Александр Александрович любил за столом после первой рюмки кашлянуть многозначительно и, почесав расплоснутым большим пальцем ноздрю, сказать:

— Мы, химики, к спирту сызмальства привыкли...

Химиком он называл себя потому, что всю жизнь проработал на фабрике в красоварке.

Строго оглядывая присутствующих, особенно молодежь, Александр Александрович говорил:

— Только умеючи можно! Пьянь да рвань — не нашей родни. Голову всегда держи. А пьян да умен — два угодыя в нем!..

Наташу тоже угощали, но если раньше она не отказывалась, теперь пить ей нельзя — на руках двое ребятишек. Вот и начала она присматриваться, что происходит с мужчинами, как они меняются, словно в другое состояние переходят после каждой рюмки.

Наташе теперь казалось, что она знает двух Аликов — трезвого и пьяного. С годами один неумолимо одерживал верх над другим. Трезвый Алик становился все более грустным, словно скучал по другому — хмельному, бесшабашному. А тот, другой, ненароком обижал Наташу.

Правда, рассорились они только однажды. Малыши не хотели спать, и она долго кормила их, убаюкивала за полночь, совсем измучилась. А прилегла, лишь глаза сомкнула, Алик завалил ее на спину. Наташа оттолкнула его.

— Уйди! — злобно сказала она. — Я спать хочу. Не видишь разве?!

Алик не унимался. Наташа снова оттолкнула его. Алик ударил жену.

Она вскочила с постели, зажгла свет, стала собирать сонных мальчиков, убежала с ними в ночь, к матери.

Не заметив на дочке никаких синяков, Елизавета Васильевна только посмеялась.

— Ты еще не знаешь, как они бьют-то, мужики! Отец твой, хоть и не расписаны мы были, иногда позволял себе. А он битюг здоровый, не то что Алька-шкет. Раз такой фонарь оставил, что в цехе стыдно было показаться, врала, будто пчелы закусали. А ведь простила... У них эти выходки не по какой-нибудь злости нутряной, больше все по пьянке, чем-то не угодишь, водки не дашь лишнего выпить или чего скажешь поперек — лезет драться... А ты что думала: жить с мужиком — это ведь не так просто. Умей, мил-моя, за себя постоять, правильно себя повести.

— Не хочу я, мамочка! Не о том вовсе мечтала. Как мне хорошо у тебя было, — плакала Наташа.

Мать гладила дочку по голове, наперед зная, чем вся эта история закончится.

— Отдай мне Альку, — дерзко говорила Вика. — Пожила малень-

ко — и хватит. А то, видите ли, какая богатая — при муже да еще хочет, чтобы он перед нею на цыпочках!..

Через час какой-нибудь тормоза под окошком скрипнули. Женщины к стеклу прильнули, глядят. Шофер такси зеленого фонарика не включил, остался ждать, а к подъезду шли Алик и дядя Толя.

По ночному времени дядя Толя был осоловелый, долго глазами моргал и наконец произнес:

— Мир вам, и я к вам, уважаемая Лизавета Васильевна! Ну, было, а что говорить теперь — всякая ссора красна мировую.

— С пьяным побранюсь, а с трезвым помирюсь, — ответила Елизавета Васильевна. — Это мы знаем.

Она подтолкнула Наташу к молчаливому Алику, который был так угрюм, словно его побили, обидели. Но Наташа все еще букой сидела на стуле.

Алик взял на руки Мишу и Николку, прижал к себе, с сыновьями на руках чувствовал себя не таким беззащитным.

— Вот я и говорю: где больше дерутся, там смиреннее живут, — продолжал дядя Толя.

— Неправда! — вступилась за дочь Елизавета Васильевна. — Нечего руки распускать!

— Так я о чем?.. Я о мире! — оправдывался дядя Толя. — Где лад — там и клад. Посмотри на Алика, Наташа, — на мужике лица нег! А ему завтра баранку крутить. Очень человек душевный, переживает, а ведь пустячное дело — подумаешь, в постели не поладили...

— А ты его не защищай! — строго сказала Елизавета Васильевна. — У них, может быть, приучены все мужики-то Гуревы рукоприкладствовать, так мы этого не позволим! Свидетелей у нас хватит! Мигом за хулиганство посадим. Вот так...

— Разве похож я на хулигана? — Алик растерянно моргал глазами. — Виноват. На руках отсюда Наташку вынесу...

— Она, конечно, тебя простит. Пойдет Наташа с тобой. Но ты, Альберт, запомни: языком и щелкай и шипи, а руку за пазухой держи.

— Никогда больше! — убежденно вступился за любимца дядя Толя. — Гуревы-старички страдают. Смотри, я ночью приехал, только бы молодых помирить!

— А что ж ты, Толя, так-то сам по себе не зайдешь? — вовсе по-другому заговорила Елизавета Васильевна. — Было время — ухаживал. Помнишь ли? Ну, то-то. Смотри, какая я теперь одинокая. И вечерять не с кем. Пришел бы к телевизору, скоротали б времечко.

Дядя Толя смутился.

— Он рад бы прийти, да очень человек деликатный! — сказал Алик. — О вас, Елизавета Васильевна, он всегда уважительно отзывается и даже «эх!» говорит, «эх!». Кабы не химический запах постоянно, — тут Алик провел по горлу пальцами, — он бы к вам каждый день ходил телевизор смотреть.

Наташа с Викторией прыснули.

— Так ведь он химик, — засмеялась и Елизавета Васильевна, махнула рукой: — Прощу!..

Наташа никогда не напоминала Алику про эту ссору. Да он и повода ей такого не давал. Была она прежней — тихой, работящей, любила детей и мужа.

— Ты у нас, Ната, ровная, — хвалил ее «патриарх». — По характеру ровная, без фокусов всяких... Вот у артистов, рассказывали, лежит молодая жена в постели и на простынях кофе пьет, который ей муж приносит. Как это тебе нравится?

Наташа пожимала плечами, гремела посудой в раковине, стараясь отмыть скользкие жирные кастрюли и сковородки. И так

хотела припомнить щекочущий запах готового кофе — горьковатый, резкий, бодрящий.

Со злостью думала о свекрови: «Вот уж правда ровная! Что ни прикажет патриарх — все исполнит, любую прихоть за дело примет. Да хоть бы раз его чучелом гороховым обозвала, чертом старым, как всякая старуха на ее месте! Он — что по доске всю жизнь катится: гладенько!»

В выходные дни и праздники Наташа с Аликом и детьми прогуливались по улицам поселка или по чистым песочным аллеям парка. Алик был разговорчив, весел. Покупал Наташе эскимо, сладких петушков на палочке, угощал пивом. К ним без конца подходили знакомые Алика. Многих Наташа совсем не знала. Они обсуждали фабричные новости, волнуясь и поругиваясь. Алик покровительственно клал руку товарищу на плечо, обещал наладить все — он был вхож в кабинеты начальников, носил фамилию ветеранов фабрики, с Гуреевыми считались.

Алик оставался всеобщим любимцем. И к Наташе теперь больше уважения — ей льстили, хотели угодить или рассмешить какой-нибудь притчей. И Наташа улыбалась — счастливая жена и мать.

Она задумывалась, конечно, о том, что у Алика своя жизнь, которую он вел и до женитьбы. И ей не суждено войти в эту жизнь, занять там свое место.

Слышала она, что Алик хороший шофер, механик, что сам товарищ Огнянов предлагал ему работать на своей персоналке шофером, на что Алик будто бы ответил: «Простите, Мих Михалыч, но меня учили танки водить по пересеченной местности, с боевым экипажем, а не от подъезда к подъезду легковушку с одним человеком катать...» И будто бы товарищ Огнянов не выказал обиды или недовольства, посмеялся, похлопал Алика по плечу: «Остры Гуреевы на язык...»

С годами прогулки всей семьей становились все реже. Алик привыкал по-другому отдыхать. Тут он подражал отцу.

Отдыхали Гуреевы за столом. Наташа дивилась — они могли просидеть за столом два дня, отрываясь лишь на сон!

Начиналось это каждую неделю в субботу с обеда и предварялось большой работой свекрови и Наташи.

Наташа бегала по магазинам, даже в Москву на электричке ездила в поисках рулек, потому что холодец был обязательным украшением стола, можно сказать, фирменным блюдом дома Гуреевых.

— Какой же стол без студня? — удивлялся Александр Александрович, любовно произнося это слово, облизнув толстые губы. — Без студня стол прямо сиротливый!

Бывало, Алик сам приносил рульки, если в город шла какая-нибудь машина из гаража. Теперь Алик стал механиком, «крутить баранку», как сам он объяснял, ему надоело, да и оклад у механика выше, и еще «не оставляли без внимания» шоферы, которым он налаживал мотор и ходовую часть. Шоферы и привозили ему продукты из Москвы.

Вторым обязательным блюдом были пироги с луком и капустой. Тут Наташе было проще: муки в магазинах стало вдоволь, у плиты трудилась и потела свекровь. Пирогов пекла много, на подсолнечном масле, и складывала в эмалированные тазы.

К обеду приходили гости. И пенсионеры, те, что работали еще с Александром Александровичем, и второе поколение, и молодежь. Приходили с женами, с подругами. К двум бутылкам «столничной», что всегда стояли на столе, подстраивались и «московская», и коньяк, и еще разные с иностранными этикетками, к которым Александр Алек-

сандрович, Алик, дядя Толя и Жухов относились с неподдельным равнодушием.

Дядя Толя и Жухов — желанные гости. Жухов приносил деревенское сало.

— У отца дома туши, туши, гу-гу, висят, — объяснял Жухов. — Он, как закусить потребуется, тесаком отрубит окорока граммов пятьсот и с хлебом тут же навернет.

— Значит, поправились дела в деревне! — торжественно делал вывод «патриарх».

Жухов кивал:

— Гу-гу!

Постоянным гостем стала и Елизавета Васильевна, и это обстоятельство очень стесняло и смущало Наташу: мать быстро пьянела и вела себя совсем по-молодому, забывая, что она бабушка. Приходила Елизавета Васильевна напудренная Викиной розовой пудрой. И раз дядя Толя выкрикнул через стол:

— А ты, Лиза, не старше дочери выглядишь!

Наташа в кухне шлепнула о раковину тряпку, скрежетнула зубами.

— Ты чего! — удивилась свекровь.

— Палец порезала...

— Да чем же? Посуду моешь.

— Краем стакана, щербатый, — обманула Наташа.

— Вот беда, господи! Пососи палец-то, пройдет.

— Прошло. Только больно было, а крови нет.

Выпив и закусив, старики начинали долго с удовольствием вспоминать «мирное время», довоенные годы, когда были пенсионеры эти молоды и горела у них под руками работа. Тут Наташа к столу присаживалась — ей было интересно послушать стариков.

Рассказывали, как зачиналось стахановское движение на фабрике, как работали не за страх, а за совесть, что ездили иные из них в Кремль и сам товарищ Калинин вручал им правительственные награды..

А если кто из молодых ненароком задевал то время «критикой», старики защищали свое прошлое, дорогое их сердцу. И Наташа в душе вставала на их сторону, потому что говорили они прекрасно, все их мысли были возвышенны, чисты.

Завершалось все рюмочками, страсти утихали. И все вдруг разом пьянели, изнемогали от обилия еды, порозовевшие, покрытые крупными градинами пота. Наташе становилось обидно, что она волновалась, переживала, вслушиваясь в их спор, а они так легко успокоились.

Жухов разводил меха аккордеона...

Ходили гурьбой в лес, в поле или на реку. Пели «Подмосковные вечера», «Сормовскую лирическую»... Хорошо пели. Иногда останавливались, образовав кружок, и бабушки, так уж повелось, первыми начинали пляску. Они вытаскивали в середину стариков, а потом и молодежь. Некоторые с подпития нелепо дрыгали ногами и руками ловили воздух. И эта глупость вызывала почему-то особое ликование.

Коронной была, конечно, пляска Алика. Он влетал в круг и отчеканивал цыганочку, а все остальные гикали и свистели, как стая разбойников на сцене театра «Ромэн».

И это Наташе скоро надоело. Она старалась остаться дома под любым предлогом. Хоть посуду второй раз мыть, только не появляться в толпе подгулявших.

IV

Как-то наутро после такого выходного дня старик Гуреев вошел в кухню посмеиваясь и, будто не замечая Наташи, сказал жене:

— А Толя вчера перебрал. Слыхала — свататься задумал. Полвека бобылем жил, а теперь, говорит, «я на полном серьезе». Вот какие шуточки...

— Почему же шуточки? — сказала Наташа. — К матери моей он сватается, знаю. И она согласна.

— И слава богу, — вздохнула свекровь. — Толя хорошо зарабатывает, пенсию хорошую дадут.

— Да ведь он пьяница! — возмущенно сказала Наташа, швырнув в угол веник. — Пропойца типичный. На его лице это пропечатано. И в глазах вечно мокро, точно пиво выдавливается...

— Постыдилась бы! — оборвал невестку Гуреев. — Не знаешь человека — и берешься сразу судить, оскорблять!

— А вот и знаю, за вашим столом за шесть-то лет как-нибудь насмотрелась!

— Ишь какой соглядатай в квартире моей завелся! Чего ты понимаешь, девчонка! Двести лет Гуреевы на этой фабрике трудятся. Подумай — двести! И не было встарь такого времени, чтобы Гуреевы так вот по-человечески жили. Я — первый! В своей квартире живу, и невестке с детьми комната нашлась. Губы-то не надувай, слушай! Мы по-хорошему можем дома выпить. Правда? Разве после трудовой недели провести время за столом — не отдых? Разве выпить в меру забраняется? Ты у нас что-нибудь нехорошее за столом за шесть лет видела? Нет. Так вот молчи, не задевай дядю Толю! Который человек так устроен, что не дашь ему выпить положенного, не дашь душу обогреть — может заскучать, характер изменит. И не узнаешь его. А дядя Толя золото, а не работник. Вот уйдет — сразу краска на ткани потускнеет, линять будет. И секреты все передаст — все одно. Не те руки заваривают! Он из последних. Мои-то дети все отошли от красоварки. Растут квалификацией Гуреевы, меняют профессии. Вот и Альберт...

— От вас он недалеко, не бойтесь!

Но возразить «патриарху» поосновательней Наташе было нечем, правда — никто из гостей не безобразничал, а сам Александр Александрович даже не опохмелялся наутро, ему только стакан крепкого чая свекровь нацеживала. Он прихлебывал этот чай и читал вслух жене и невестке что-нибудь интересное со страниц «Правды».

Наташа завидовала всем, кто что-то делал большое, интересное. Она кормила грудью Колю, а думала о Терешковой. Наташе казалось, что и она могла бы вот так же бесстрашно сесть в ракету, если бы поучиться. В первые годы замужества, ночью, чтобы не заснуть, убаюкивая детей, она представляла себя в кабине космического корабля, несущегося к Луне или к каким-нибудь фантастическим мирам. Красный, зеленый, синий свет озарял все вокруг, она в ужасе хваталась за край кровати, боясь повалиться на пол.

Как только дети пошли в школу, ей захотелось на фабрику.

— Ну что ж, — сказал Алик. — Правильно. Будет больше денег. Дети растут. Об этом тоже думать надо.

Он торопился к друзьям, которые затеяли рыбалку, собирал в рюкзак пироги, аккуратно укладывал четвертинку.

— И еще, — твердо сказала Наташа, — проси нам квартиру.

— Что?!

— Меня твой патриарх упрекать стал: мол, отдал комнату невестке с детьми...

Алик опустил рюкзак на пол. Никогда раньше Наташа так не разговаривала. Он обнял жену, стал уверять, что Наташа ошибается, что старик не мог ее ни в чем упрекнуть, что ей показалось, что он добрейший, как и сам Алик, человек.

— Ну, смотри,— не сдавалась Наташа.— А то я затею обмен!

И Алик согласился.

— А может, верно!— сказал он.— Будем жить отдельно. Что-то мать стала в мои личные дела вмешиваться. Знаешь, что говорит? Мол, плохие у тебя дружки-приятели собрались, мол, брось дружбу с Жуховым, много пьет парень. Ты, мол, отец семейства, а ведешь себя как холостой парень.— Он испытующе взглянул на Наташу.— Не ревнуешь? Ведь не в этом смысле было сказано...

— Нет. Не ревную,— ответила Наташа.

— Ты у меня с понятием! Уедем от стариков. Точка. Завтра же иду в завком. Пусть ставят на очередь. Нечего нам стариков стеснять, да и дети растут.

Им дали квартиру из двух комнат в новом доме.

Желающих помочь Альберту Гурееву набралось столько, что никакой машины не потребовалось. Все на руках перетащили. А как же — у Алика новоселье!

— Всё,— сказала наутро Наташа.— Пьянок в этом доме больше не будет.

— Да-а-а,— мучился с похмелья Алик.— Ната! Налей полстакана, башка трещит.

Наташа налила.

Детей Наташе удалось устроить в школу-интернат. Алик сначала воспротивился: как же он вечерами будет без Миши и Николая? Но привык. Вечерами он в садике с друзьями пропадавал.

Иногда к ним в гости приходил Александр Александрович — маленько посидеть. «Патриарх» как-то за последнее время усох, губы, такие полные недавно, словно стерлись совсем с лица.

— У них теперь мода — выпьют и спор затевают о производстве,— объясняла отсутствие Алика Наташа.— Честное слово, послушайте, о чем они там спорят: все о фабрике, все о делах...

— Это хорошо!

— Ничего хорошего. На производственных собраниях отмалчиваются, застенчивые становятся. Весь пыл у них попусту у пивной палатки выходит.— Наташа вдруг спросила: — А вы можете дать рекомендацию в партию? Ничего, что я ваша родственница? А то другие меня еще мало знают...

— Выходит, и я тебя мало знаю,— улыбнулся Александр Александрович, наблюдая за ловкими движениями невестки, уверенно кроившей себе платье из куска материи.

— Почему? — Наташа отложила ножницы.

Александр Александрович насмешливо погрозил пальцем:

— Смотри, ты мужа своего обгонишь! Нехорошо...

— Я Алика давно обогнала, хотя бы заработком,— сказала Наташа.

Гуреев губы в рот подобрал и выкатил бесцветные, как у мертвой рыбы, глаза. Но не стал он ничего говорить — недолголюбивал невестку с тех пор, как затеяла переезд, ревновал к сыну, отцовская любовь делала его упрямым.

— А ты в партком ступай. Они скажут как быть.

Наташе дали общественное поручение: вести кружок политпросвещения среди складальщиц на фабрике. Наташа словно впервые себя самостоятельным человеком почувствовала, и уважение к самой себе появилось, а то ведь некогда было о себе подумать.

Она отнеслась к порученному делу так серьезно и с таким рве-

нием, что у нее все остальное — хозяйство, дети, муж, развлечения — все откатилось на второй план.

Выписала газеты.

Придет с работы, поест чего-нибудь и скорее заберется с ногами на тахту. В руках тетрабочка, карандаш. Читает, выписывает нужное аккуратным крупным почерком.

— Ох, Алечка, сообрази сам поесть. Я к занятиям готовлюсь!

Алик к этой перемене отнесся легко. Он рассуждал так: пусть каждый делает что ему хочется, если дело хорошее. Вот и Наташе эти занятия не во вред, только на пользу. И что у нее свои дела, его тоже устраивает: он свободно и с легким сердцем уходил в садик к своей компании. С годами он стал непревзойденным мастером «козла».

В уголке рта папироска тлеет, прищуря глаз от дыма, Алик глядит в свои кости, а сам балагурит или советы дает, как себя на фабрике повести, что ответить мастеру, если тот придирается. Стал он и в семейных вопросах разбираться, рекомендации давать.

— Главное, и ей видимость свободы предоставить. Тогда вы квиты,— поучал он каждого женатого.

Кто-нибудь до палатки сбегаёт, принесет бутылку. Жухов деревенского сала из газеты достанет. Выпьют, закусят. И разговоры и игра идут у них интереснее. И запахи осенние волнуют очарованием. И жизнь состоит из одних приятных ощущений.

В постель Алик теперь ложился постоянно под хмельком. Наташа неохотно принимала его ласки, но Алику многого и не надо было. Он скоро засыпал. И однажды Наташа сказала:

— Мягкий ты... С тобой я всегда остаюсь голодная. Пьешь ты. Вот отчего ослаб.

Алик тяжело дышал, униженный, подавленный.

Тело его теперь казалось Наташе маленьким и тощим. Она обняла Алика со спины, поцеловала в затылок, приласкала, как умела.

— Я тебя все равно люблю, мой Чико, Чико! Давай не думай ни о чем. Спи.

Что-то словно надорвалось в спокойной, уверенной и довольной жизни Алика, он стал бояться Наташи. И чтобы отделаться от такого унижения, он пытался доказать, что Наташа ошибается, что это только из-за его, Алькиного, деликатного отношения к ней у них так было, а теперь Наташа узнает, какой Альберт Гуреев мужик.

И потому, что об этом Алик начинал думать с самого пробуждения и потом весь день, стал он угрюм. В гараже нервничал, не мог сразу определить неисправность в моторе, а бывало, ему только надо «понюхать», как любил он говорить,— и «пожалуйста бриться», точно укажет, чем страдает двигатель.

Больше стал он пить: пол-литра на троих ему казалось мало. Он устраивал себе «с прицепом», хотя раньше водку с пивом не мешал.

По утрам, чтобы «поправиться», он пил разные дешевые портвейны, от которых чуть не рвало и после которых сразу балдеешь.

— Это ты зря,— недовольно косился на Алика дядя Толя, смакуя традиционную утреннюю кружку пива.— По моему точному наблюдению, алкоголик тот, кто опохмеляется портвейном!

— У меня на коньячок денег нет,— пробовал отшутиться Алик.

— Поприжала? — подмигнул дядя Толя понимающе: сам испытывал эти затруднения вот уже третий год, после женитьбы на Елизавете Васильевне.

— Не она командует — я! — небрежно объяснял Алик, боясь, что догадаются о чем-то и тогда конец, совсем пропал его авторитет.

— Ладно, ты бы хоть пивка... А портвейн... — Дядя Толя скривился, неодобрительно поглядывая на бутылку в руках Алика.

— Мне детей жалко! — хрипел Алик, возбужденно блуждая красными глазами. — А то бы она у меня поговорила!.. Враз бы на дверь указал...

— Так вы чего, ссоритесь? — допытывался дядя Толя. — Не пойму никак.

Алик громко доглотнул из бутылки, вытер рукой рот.

— Зачем ссориться? Мы ладненько.

V

Мягкая во все три месяца зима в марте вдруг обернулась лютой, морозы под тридцать градусов сковали начавший было таять рыхлый снег, да еще задули леденящие ветры. Темень за окошком, когда Наташе подниматься, чтобы успеть заступить на смену. Теперь она и по две смены у станка отстаивала — зато деньги.

Алик в такую рань еще крепко спал. Наташа старалась не шуметь.

Но с недавних пор и он просыпался, как только она с кровати на коврик ноги спускала. Через нейлоновое белье были видны очертания ее стройного тела. От былой полноты и следа не осталось.

— Ты что? — хмуро спрашивала Наташа и сразу набрасывала махровый халат, зябко куталась в нем.

Алик шлепал босыми ногами по паркету в ванную, пускал душ. И не позавтракав как следует, торопился уйти, хватал с вешалки полушубок, шапку-ушанку.

— Зачем заладил так рано? — спросила как-то Наташа, размышляя, что и опохмелиться в такую пору Алику негде, если ради этого торопится. — Спал бы...

— Зима, — кивал Алик в окно. — Знаешь, как у нас?.. Пока моторы разогреешь, запустишь... Ну и вот.

Она молчала, веря мужу. Он и с дружками своими меньше видится. А тут как-то взялся даже покрасить белилами двери и рамы. Усердно трудился и все будто ждал похвалы Наташи. Не отказывался в магазин ходить с сумочками. Теперь это его обязанностью стало. Белье в прачечную относил. Освоил и стиральную машину, хотя мудрости большой она и не требует. Когда Алик развешивал в кухне белье, Наташа видела, как особенно он поглядывает на нее. Глаза, обращенные к ней, приставуче выпрашивали похвалы.

Раз Алик расплакался настоящими слезами — когда отправляли Мишу вырезать гланды. Мальчишка сопротивлялся, не хотел идти на операцию. Наташе пришлось ударить его по щеке, чтобы замолк.

— Какого черта ты ребенка мучаешь! — заорал Алик. — Я всю жизнь с этими миндалинами живу. И Миша проживет!

И когда Наташа упрямо поволокла Мишу к двери, награждая подзатыльниками, Алик заплакал.

— Как вы надоели мне, слюнтяи! — сквозь зубы шептала Наташа.

Выйдя из дому на мороз, Алик сразу закуривал. Он шел вовсе не в гараж. Бегом огибал новые дома поселка и останавливался за большим широким сараем, где днем продавали пиломатериалы. Тут меж старых, с черными стволами лип он тайлся.

Отсюда хорошо виден длинный мостик через топь и реку. По мосткам будет идти Наташа. В сером рассвете он угадает ее фигуру по размеренной походке, словно она ожидает, что вот-вот кто-то догонит ее. Защемит сердце Алика в той тоске, что вызвана бывает неясностью, когда еще веришь, но уже и чего-то боишься.

Не было в этом чувстве обиженного себялюбия. Ему казалось, что все стало бы проще, заметь он догоняющую фигуру мужчины.

Но шла Наташа одна. И неторопливая ее походка объяснялась, наверное, тем, что она о чем-нибудь размышляет в пути. И Алик, выплюнув окурочек, думал: ну, бывает она вечерами в клубе на разных собраниях, семинарах — так ведь это все правильно, общественные дела!

Алик начинал чувствовать, как пощипывает морозом пальцы через тонкую резиновую подошву ботинок. Он пританцовывал на месте, но не уходил. А Наташа шла не оборачиваясь и скрывалась на том берегу у темных корпусов фабрики.

В пути она думала и об Алике. И неловко ей, хотя и ни в чем перед ним не виновата. Не было ведь ничего особенного. Просто стала она замечать, что один из инструкторов райкома, Лобутев, частенько поглядывает на нее из президиума. Даже так — ищет ее глазами по рядам, хмурый, и когда взгляд его остановится на Наташе, лицо теплеет.

Однажды Лобутев отыскал ее в фойе во время перерыва. Они остановились у стенда, показывающего рост производства текстиля в стране по сравнению с довоенным уровнем. Наташа отчаянно делала вид, что заинтересована цифрами.

— А я ведь вас давно знаю, Гуреева, — мягко проговорил Лобутев у нее за спиной.

— Правда? — Наташа обернулась, подняла брови.

Глаза ее смотрели на Лобутева ровно, спокойно и сухо.

— Вы тогда были совсем еще девочкой, в крепдешинном платье. На танцах. Помните?

Губы у Наташи чуть приметно дрогнули, точно она хотела улыбнуться, но сдержалась. И все так же ровно, невозмутимо смотрела на Лобутева, бледного, с рыхлой кожей, какая становится у людей, проводящих большую часть дня в прокуренных кабинетах.

— Я пригласил вас на танец. И вот во время танца вы поцеловали меня в щеку.

Наташа еще выше подняла брови.

— Да, представьте, поцеловали, хотя мы с вами не были знакомы. Летний вечер был такой знойный, и танец огневой, кажется южноамериканский, этот «Чико»...

— Нет, вы ошибаетесь. — Наташа опустила глаза.

— Как ваша семейная жизнь? — сразу спросил Лобутев, ничуть не смущаясь ее нежеланием вспомнить.

— Спасибо. У меня двое детей, муж...

— Альберт Гуреев, он что, все такой же?

— Какой? — настороженно спросила Наташа.

— Ну, веселый, озорной, беспечный, знаете ли...

— Почему бы ему вдруг измениться?!

— Конечно, конечно... Я у Гуреева-старшего в красоварке начинал. Отличный был специалист. Секреты знал, умел молодежь учить, а его дети своей дорогой пошли. — Лобутев улыбнулся. — О Гуреевых на фабрике всегда добрая слава шла. И я рад за вас... Вот уж и в зал зовут. До новых встреч, Гуреева!

Лобутев протянул руку, Наташа подала свою. Можно было, конечно, рассказать об этой встрече Алику, ведь он должен помнить Лобутева. И в то же время говорить совсем не хотелось, будто кое-что теперь может принадлежать только ей одной, и некоторые воспоминания тоже.

В перерыве между сменами раз в неделю Наташа торопилась в складальный цех. Тут ее дожидались слушательницы кружка текущей политики.

...Наташа быстро вошла, поздоровалась, села за столик, открыла

тетрадочку, чтобы наскоро просмотреть конспекты, начала уже рассказывать, как вдруг осеклась. Из дальнего угла тянулся сизый папиросный дым. Нагаша увидела «патриарха» Гуреева.

Слушательницы, понимая все по-своему, стали стыдить Александра Александровича, что, мол, курить у них не положено.

Гуреев узил глаза, но папироски не тушил.

— Пусть у вас мужиком-то попахнет,— наконец произнес он вполне миролюбиво.— А то все учитесь, небось и вовсе мужиков-то забыли...

— Как же, дадите вы забыты! — сказала одна слушательница, Ермолаева, мать троих детей, решившая теперь развестись с мужем, о чем гудела вся фабрика как о событии редком в текстильном городке, где женщин всегда больше и мужики в почете.— Теперь мы себя людьми чувствуем. А раньше только и думки, где мужик мой, что делает да не загулял ли, сатана! На него работаешь, стираешь, ночью с ним лежишь, а он что — плюет! Ему его дружки, его выпивка дороже. На женщинах нынче и хозяйство и заработок.

— Ну уж и заработок? — возразил Гуреев.

— Конечно! — Это сказала Вика, все еще незамужняя, потерявшая всякую надежду и потому презиравшая женатых и замужних.— Женщина все в дом несет, а мужчина — из дому...

— Тебе бы только мужа-добытчика! — дразнился Гуреев.

— Добытчика... — качала головой Ермолаева.— Хоть бы полочку всю домой приносил. А то ведь и не видим порой, сколько он получает...

— Тише, товарищи! — строго сказала Наташа, вставая.— Разные есть мужья, нечего всех охаивать. И к нашей теме этот разговор никакого отношения не имеет. А если уважаемый нами всеми Александр Александрович пришел нас послушать, почему мы должны так ежиться? Милости просим, оставайтесь с нами...

Тут-то Гуреев погасил папироску, громко поднялся со стула, зашагал к двери не попрощавшись.

Тяжесть легла на сердце «патриарха». Все последующие дни был он молчалив. И жена шепотком разносила по знакомым:

— Какая хворь к нему прицепилась? Никогда такого не было, чтобы один, без людей целными неделями лежал. Уж я и не знаю, каких врачей звать.

Услышал от матери это и Алик, когда после работы зашел домой занять десятку.

— Врачей? — Алик улыбнулся.— Будто ты не знаешь нашего бая. Вот поеду нынче в Москву, привезу «столичной»...

— Альберт! — позвал из комнаты отец.

Алик вошел и увидел отца в одной рубашке, небритого, исхудавшего. Он лежал в постели, курил и кашлял.

— Ты чего это себе раскисать позволяешь? — снова улыбнулся Алик.

— Занемог...

— Я с мамкой как раз о лекарстве.— Это слово Алик особенно выделил.— Вот, говорю, поеду нынче в Москву, привезу бате самой чистенькой...

— Не кривляйся,— хмуро остановил сына Гуреев.— Я серьезно с тобой хотел говорить... Закрой-ка дверь.

Алик испугался, подумав, не собрался ли отец с ним прощаться, с проворством закрыл дверь, осторожно пододвинул стул поближе к кровати и сел на самый кончик.

— Сколько ты получаешь теперь? — спросил отец.

— Сто двадцать,— ответил Алик, опешив, совсем не ожидая такого вопроса.— Ну, прогрессивка еще..

— А Наташа?

— И по сто восемьдесят домой приносила... Так что, батя, живем не тужим! А если ты насчет этой десятки, то ведь тут дело чисто мужское, выпить нам с друзьями надо по случаю присвоения Жухову высшего разряда.

Гуреев глядел куда-то мимо Алика остановившимися, мутными глазами. И Алик смолк, не понимая еще, чего хочет отец.

— А сколько ты пропиваешь? — спросил наконец Гуреев.

— Это что, допрос? — Алик поднял плечи чуть ли не на уровень с ушами.— Теперь, что ж, будем считать, сколько проедаешь, сколько прокуриваешь?.. Я на все это никогда не смотрю. Живем не хуже других. Надо выпить — найдем и на выпивку. Разве не так?

Отец вздохнул, уныло покачал головой.

— Хоть половину зарплаты домой приносишь?

— Ну!

— А Наташа? Всю?!

Алик молчал, сообразив, куда отец поворачивает.

— Ты вот что, сын, ты пить бросай. И решительно, чтобы совсем. Думаешь — спятил старик? Нет. У меня теперь голова свежее, чем раньше. И приходится говорить против того, что сам ненароком привил. Обогнала тебя Наташа по всем статьям. И в тебе не нуждается. Не она при тебе, а ты при ней. И если пить не бросишь, так и останешься в обозе на всю жизнь!

— Да что она, министром будет, что ли?!

— Ермолаиха мужа бросила,— шептал Гуреев.— А у нее детей трое, и постарше она Наташи!

— Наташа меня любит! — В этом Алик был уверен.— У меня, батя, характер компанейский, правда! Наташа знает. Она и прозвала даже меня — Чико, Чико..

— Чико, Чико? — Гуреев хмуро, в упор смотрел на сына.— За что же она так?

— Чудак ты, батя, честное слово! Песня есть, любя назвала..

Раздосадованный ушел Алик от отца.

День был яркий — пришла весна света. Снег всюду осел, мокро блестя улицы и тротуары. Солнце припекало спину через демисезонное пальто. Чирикали в палисадниках на мокрых деревьях воробьи, кричали дети, гоняя на просохшем асфальте в футбол...



ВИЛЛЕМ ЭЛСХОТ

★

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК

Повесть

Виллем Элсхот (1882—1960) — известный бельгийский писатель, автор трех сборников стихов и многих прозаических произведений: «Вилла роз», «Силки», «Тсейп», «Пенсия», «Сыр» и других.

Повесть «Блуждающий огонек» (1946) — последнее и одно из самых популярных произведений писателя, она переведена на многие иностранные языки. В русском переводе до сих пор была известна только одна небольшая повесть В. Элсхота «Танкер», опубликованная в сборнике «Рассказы бельгийских писателей» («Прогресс», 1968). В скором времени в том же издательстве выйдет том избранных произведений писателя.

I

Внылый ноябрьский вечер, затяжной дождь гонит с улицы даже самых стойких. Увы, тот кабачок, куда я всегда заворачиваю, слишком далеко, чтобы идти туда под холодным ливнем. Так что впервые за много лет — а годы летят незаметно — я вернусь домой так рано, и мое возвращение, наверно, будет воспринято моей семьей как первый шаг на пути к добродетели. Начинать всегда трудно, но лучше поздно, чем никогда, скажет моя жена. Только прежде надо купить газету, чтобы можно было почитать у камина, потому что если я просто сяду к огню, мое молчание убийственно подействует на все семейство. Ах, я и сам знаю, как удручающе действует на других, когда человек сидит, уставившись в огонь, будто он один в доме, и не пошутит, никого не похлопает по плечу, чтобы подбодрить, если тому не везет, не спросит, как живется, все ли в порядке.

Я захожу в лавочку, где всегда беру газету, и в стотысячный раз слышу, как старая карга, хозяйка, жалуется на погоду. Да, соглашаюсь я, дождь идет. Моросит, поправляет она. Верно, соглашаюсь я, моросит. Да стоит ли вступать в спор с этой живой окаменелостью, которая как сталактит образовалась у меня на глазах за эти годы.

— Смотрите, трое черномазых! — И она кивает на прохожих, выставив вперед единственный зуб, который торчит у нее изо рта и никак не вывалится.

И действительно, когда я, подняв воротник, хочу пробежать к трамвайной остановке, трое темнокожих заступают мне дорогу. Очевидно, матросы с индийского корабля, их тут много ходит. Глаза — как у газелей, длинные волосы черны, как вороново крыло, от одного вида их тонкой бумажной одежды меня пробирает дрожь, хотя поверх костюмов на них парадные черные куртки. У одного на голове красная феска, это, видно, у них главный. Честно говоря, они меня совсем не интересуют, мы тут к ним давно привыкли. Да и хочется поскорее добраться домой, хотя ничего хорошего меня там не ждет.

— Сэр, — говорит высокий, доверчиво улыбаясь и с надеждой глядя на меня. Он подает мне кусочек картона и, ткнув в него тонким, как сигарета, пальцем, спрашивает: — Где это?

В таких случаях, если не хочешь впутываться в чужие дела, надо вежливо сказать: «Простите, не знаю», — выжать из себя подобие улыбки и идти дальше, словно ты очень торопишься; настоящий джентльмен прежде всего должен владеть искусством вежливо, но неуклонно держать на расстоянии нежелательных чужаков. Мне это давным-давно известно, но, видно, я слишком стар, чтобы напускать на себя новомодное высокомерие, и потому я уже стою — дурак дураком, с кусочком картона в руках. Трое темнокожих не спускают с меня глаз.

При ближайшем рассмотрении это оказался кусок обертки от сигарет. На нем что-то нацарапано карандашом, сначала я ничего не мог разобрать. Я поднес картонку к окну лавки, там было светлее, и наконец разобрал слова: Мария ван Дам, Клостерстраат, пятнадцать.

Моя любопытная газетчица высунулась из двери и позвала меня: «Заходите, минхер Фербрюгген, тут вам будет виднее. Что им нужно?»

Тридцать лет подряд она принимает меня за кого-то другого, и теперь бесполезно объяснять ей, что моя фамилия Лаарманс. А в тот день, когда я уже больше не приду покупать газету, пусть она спокойно прольет слезу над своим Фербрюггеном.

— Где это, сэр? — повторил мягкий голос.

Черт возьми, ответить не так просто! Ну как точно объяснить моему темнокожему брату, где это самая Клостерстраат? Хорошо бы начертить план, но вряд ли они разберутся в нашем геометрическом чертеже. И я попытался объяснить им словами:

— Вот сюда. Третий поворот направо, второй налево, снова первый направо... а там улица... улица... — Господи, ну как им объяснить по-английски, что там улица не заворачивает ни направо, ни налево. И что эта улочка, темная, узкая, вьется туда и сюда. — Потом — ни вправо, ни влево, — продолжаю я, — вот сюда... — И я стал так энергично жестикулировать, что прохожие, несмотря на дождь, столпились вокруг нас, тараща глаза. Надо кончать скорее, не век же тут стоять, как уличный фокусник, чувствуя за спиной дыхание старой газетчицы.

— Смотрите, — сказал я. Я наклонился и покрутил рукой, и все зрители внимательно посмотрели на землю, как будто я выбросил что-то такое, что могло еще пригодиться. — Понятно? — спросил я темнокожего. Если он не понял, вина не моя.

— Да, спасибо, сэр, — отвечает мой благородный дикарь и грациозно кланяется, а его спутники пристально вглядываются в мое лицо, соображая, можно ли мне доверять. Один что-то сказал на каком-то странном языке, и высокий что-то ему ответил, как видно, что я произвожу хорошее впечатление. Настолько хорошее, что высокий пошарил в кармане и подал мне пачку сигарет той же марки, как визитная карточка, предупреждающая о появлении Марии. Только чаевых не хватало!

— Это вам, сэр, — говорит высокий.

Я решительно отказываюсь от подарка, но чувствую себя польщенным, что из всех моих сограждан именно меня они избрали, чтобы помочь им осуществить их мечту.

— Слушайте, если вам не нужно, отдайте мне! — говорит мальчишка из мясной.

Не знаю, откуда он взялся, но вдруг огромный верзила со сломанным носом и в засаленной кепке втиснулся между нами и, не попросив разрешения, сграбастал моего темнокожего приятеля и уже потащил было куда-то в сторону, но никак не в направлении той земли обетованной, где проходила Клостерстраат. Бродяга-сутенер, перед таким даже нахальный мальчишка мясника сразу отступил. Неплохой образчик «высшей расы», тут ничего не скажешь.

Али-Хан, как я окрестил моего заморского знакомого, вежливо высвободил руку из грубой хватки и вопросительно взглянул на меня, а его спутники, растерянно мигая, уставились на него. Выхода не было. Что ж, надо идти наперекор этому верзиле, не то как бы моим черным не пришлось худо.

— Видно, вы города не знаете, приятель? Разве Клостерстраат в той стороне? — спросил я как можно мягче.

— Это кто же тебе приятель? — буркнул он. — Клостерстраат? Клостерстраат. Суют картонки кому попало, разобрать ничего нельзя. За нос водят. В такую погоду в ихней одежонке бегать? Отведу их к «Веселому джокеру» на Закстраат — там девки дешевые, а титьки у них — во! — И, приставив волосатые ручки к своей груди, он растопырил пальцы во все стороны. — Пошли! — хрипло бросил он. — Чего стоять! — И добавил, наклонясь ко мне, что это его клиенты и он их тут подобрал, а не я.

Что мне было делать? Отдать моих знакомцев на произвол судьбы или же поддержать их в трудную минуту? Одно было ясно — не соблазны Закстраат манили их, им нужна была Мария ван Дам. Но если я намекну, что им лучше держаться подальше от Закстраат, мне не миновать стычки с этим зверюгой. Вернее всего было предоставить выбор им самим.

— Слушайте, — сказал я, — вон там, — и я указал на север, — там девушки продают любовь, а вон там, — и я показал в сторону земли обетованной, — та, чье имя стоит на сигаретной пачке.

— Не надо нам девушек, продающих любовь, как вы их зовете, сэр, нам нужна она! — с уверенностью сказал Али, тщательно выговаривая английские слова, и помахал картонным талисманом как флагом.

— Значит, надо идти туда, — сказал я. — Третья направо, потом вторая налево, первая направо, а потом — таким зигзагом. Там и найдете.

— Благодарю вас, сэр. — И он склонился в поклоне почти как придворная дама, и все трое гуськом пошли прочь под пронизывающим дождем туда, к третьей направо; тип с перебитым носом выругался им вслед, а я направился к трамваю, который должен был отвезти меня к жене и детям. Мне казалось, что я отлично выпулался из трудного положения, особенно я хвалил себя за последний штрих, из таких переделок выйти не так-то легко. И еще одно: теперь я могу спокойно ехать домой, сесть с газетой у огня и тем самым вступить наконец на путь добродетели.

Наверно, так было предначертано судьбой, но мой трамвай долго стоял на остановке. Не знаю, что на меня нашло, но я чувствовал себя беспокойно, словно что-то лежало у меня на совести. Я стоял на задней площадке, уставившись в дождь — он уже почти перестал, — как вдруг увидел моих черных, которые выходили из булочной Йонкера, жадно жуя булки и оглядываясь в поисках нужного поворота. Видно, они не могли решиться куда завернуть — на Рейндерсстраат, пересекавшую главную улицу, или на Корнмаркт, где начиналась путаница переулков, где им придется безнадежно бродить взад и вперед, пока на рассвете не придет время возвращаться на корабль и браться за работу. Нет, никогда им не найти Клостерстраат. И даже если они попадут туда — как отыскать дом номер пятнадцать: наверно, наши указатели для них как иероглифы.

И вдруг я мысленно представил себе, как я сам, усталый и одинокий, затерялся бы на улицах Бомбея. Ночь, холодный туман пронизывает мой дешевый пиджачок. Я брожу из переулка в переулок, мимо базаров и трупп в поисках Фатьмы, а она ждет меня в красном свете лампы у себя дома, где-то в конце пути, по тридцать седьмой улице направо, по пятнадцатой налево, по девятой направо, седьмой налево, а оттуда — в кривой переулок, которого мне никогда не найти. И в руке у меня жалкий кусочек картона, никто на него не хочет смотреть, а тысячеголовая толпа течет мимо живым потоком, словно воды Ганга, и не обращает на меня внимания. С сердцем, полным надежд, с сияющими глазами вышел я на поиски и теперь в третий или четвертый раз вернулся к тому же углу. Замкнулся бесконечный, безнадежный круг, и я знаю — никогда мне не найти Фатьму, никогда не сжать ее в объятиях. При первых лучах зари она погасит лампу и, рыдая, бросится на ложе, оттого что неверный белый гость обманул и не пришел.

И я должен был признаться, что ничем не помог бедным ребятам, что зря я жестикулировал, стараясь объяснить им дорогу — особенно нелепо выглядели эти дурацкие зигзаги, — да и вряд ли они меня поняли. А эта Мария ван Дам, чье имя

как рыцарский девиз стояло на кусочке картона, кто она такая? Наверно, простая девчонка, трудно вообразить, что трое матросов будут искать в доках благородную барышню. Но и тут есть чертовски красивые девушки, без особых предрассудков. А Мария для меня — самое прекрасное женское имя. Впрочем, это не важно: не я ее ищу, а трое чужестранцев.

И не раздумывая, я соскакиваю с трамвая и подхожу к моей черной тройце, которая встречает меня сияющей, как заря, улыбкой.

— Странный город, — говорит Али, — в нем все улицы одинаковые.

Но я успокаиваю его жестом и обещаю, что провожу их к той девушке, чье имя стоит на куске картона. И я решительно направляюсь к третьей улице направо, рядом со мной идет Али, а за ним молча следуют его друзья.

И вот я иду рядом с людьми, ни в чем не похожими на тех, с кем мне суждено коротать всю свою жизнь, — с тремя чужаками, другого цвета кожи, у них и походка другая, и смех не тот, и здороваются они иначе, а может быть, и любят по-иному, и по-иному ненавидят, чужаки, которым ничего не известно о столпах нашего общества и дела нет до наших принцев и прелатов, оттого они, наверно, и пришлись мне так по сердцу. И раз уж случай свел нас на одном перекрестке, нужно ловить его не мешкая, потому что встреча будет мимолетной и недолгой.

Надо было как-то начать разговор, и я спросил Али, видел ли он Марию. В конце концов, я не знал, кто ему дал эту самодельную визитную карточку, и мне хотелось выяснить, вправду ли она существует или это одни фантазии.

Да, он ее видел.

— И хорошая она девушка?

— Очень хорошая, — убежденно сказал Али.

— Молодая? — Было бы страшным разочарованием, если бы в конце пути нас ждала какая-нибудь старая карга. Али осторожно подтвердил, что она молодая.

— Лет пятнадцать? — спросил я. Наши представления о молодости и старости могли никак не сходиться, но я думал, что вряд ли эти темнокожие станут считаться с нашей моралью. А если они слишком законопослушны, я не стал бы возиться с ними. Не хватало еще, чтобы меня приняли за ханжу со всеми нашими западными предрассудками!

— Нет, нет, — рассмеялся Али, отмахиваясь от меня. Он что-то сказал двум своим спутникам, и они захохотали, как дети.

— Может, ей четырнадцать?

Тут он погрозил мне коричневым пальцем и сказал, что ей, наверно, лет двадцать.

— Тем лучше, — сказал я покровительственно, хотя и почувствовал разочарование.

— Тем лучше для законов белого человека, — подчеркнул Али.

Значит, дело тут не в предрассудках. Значит, они только по необходимости склонялись перед Цербером, охранявшим нашу паству.

Мы дошли до второй улицы налево — скоро подойдем к цели. Хорошо, если бы перестал дождь, ведь мы все же шли как бы на свадьбу. Мне пришло в голову, что надо бы достать букет, чтобы не явиться с пустыми руками, но в это время года продают одни хризантемы, а я не очень уверен, что это подходящие цветы для такого случая, их обычно приносят на парадные похороны. Где-то рядом с мясной всегда был цветочный магазин, и я подумал, что стоит заглянуть туда. В окне были выставлены комнатные декоративные растения, но в глубине я наконец разглядел в корзинке какие-то цветы — названия их я не знал. Однако мне показалось, что их яркий алый цвет подойдет под настроение моих спутников. Впрочем — как знать — произведет ли букет впечатление на Марию ван Дам, да, кроме того, я не имел понятия: существует ли по индийскому этикету язык цветов? Дарить цветы или нет? Очень деликатный вопрос.

— Может, купить цветы для девушки? — спросил я у Али. В конце концов, это их дело, пусть сами решают.

Али посоветовался со своими товарищами и сказал, что они не возражают.

Не возражают! Разве это ответ? Мне-то было все равно — купят они цветы

или нет, не моя это забота. И я переспросил, вправду ли они считают, что нужны цветы.

— В каждой стране чужестранец должен следовать местным обычаям,— заметил Али, так не куплю ли я для них цветы, они плохо разбираются в наших деньгах, и их уже не раз надували.

Букет вышел красивый, не слишком большой, чтобы не привлекать внимания любопытной хозяйки квартиры и вообще тех, мимо кого им, может быть, придется проходить к Марии. Али сразу спросил, сколько он стоит, и не двинулся с места, пока я не взял у него деньги. Только тогда он взял букет, и мы пошли дальше.

Я спросил — давно ли они знают Марию?

Нет, только с нынешнего утра. Она пришла на корабль чинить мешки, и они подарили ей шарф, банку имбирных сладостей и шесть пачек сигарет. Приняв все эти дары, Мария назначила им встречу на вечер, и когда была выкурена первая пачка сигарет, она написала на обороте имя и адрес. Так что это была не простая уличная встреча.

Но кто же из них, в сущности, влюблен в Марию? Это сам или один из его товарищей?

— Все трое,— сказал Али.

Я посмотрел на него очень пристально — уж не шутит ли он, но лицо у него было очень серьезное, очень искреннее.

Мое грубое западное любопытство наконец прорвалось:

— Неужели Мария действительно пригласила к себе всех троих?

Если это так, то эта двадцатилетняя девушка была необычайно предприимчива.

Да, всех троих. Она приняла подарок от каждого из них и никому никакого предпочтения не выказала, значит, решили они, она ждет в гости всех троих.

Да, тут открывались любые возможности. Во всяком случае, начало показалось мне многообещающим.

— А вы уверены, что она будет вас ждать?

— Конечно,— сказал Али.— Разве она взяла бы подарки, если бы не хотела нас ждать? Как вы думаете, сэр?

Его оптимизм был настолько заразителен, что я и сам начал верить в благородный альтруизм Марии.

— Вот эта улица,— сказал я,— а вот и номер пятнадцатый. Здесь ждет вас красивая девушка.

И мы остановились, разглядывая заветный дом.

Теперь можно было проститься с ними и оставить их тут. Я выполнил свой христианский долг, а уж дальше им ни моя помощь, ни мое руководство не понадобятся. А почему бы мне не остаться? Где примут троих, там найдется место и для четвертого. Но я сразу отбросил эту грешную мысль. Трое моих спутников рассиялись в улыбках, и мне показалось, что они не прочь разделить Марию со мной, как пирог. Нет, это нехорошо. Посмотрю, как примут моих трех Ромео, благословлю их и пойду домой, прочитаю газету, дам отдохнуть ногам и буду утешен мыслью, что моя миссия увенчалась успехом.

II

Пятнадцатый номер оказался лавкой, где ничего, кроме клеток для птиц, не продавалось, и сколько я ни вглядывался, никаких других товаров не видел. Я никогда не подозревал, что в городе существует такая лавчонка, но она была перед нами, а против очевидности, даже самой странной, ничего не поделаешь. Клетки были самые настоящие, и как мы ни пялили на них глаза, они оставались клетками. Их было множество, от самых простых до роскошных, с медными прутьями клеток для попугаев, висячие клетки, стоячие клетки — полная витрина всяких клеток. Надо признаться, витрина была сделана искусно, со знанием дела, но уж очень странно было предположить, что этим делом занималась Мария ван Дам.

Я увидел, что мои темнокожие спутники были удивлены не меньше меня. Они переглядывались, переговаривались, и Али снова, как бы для проверки, протянул мне обрывок картона. Я взглянул на номер дома и название улицы и еще раз убедился, что это и есть адрес этой странной лавки. Не моя вина, что дом номер пятнадцать был не шумным притоном и не домиком с красной лампой, как тот дом Фатьмы, в поисках которого я бродил по Бомбею... Ладно, притон или не притон, но Марию надо тут отыскать — иначе зачем мы топали сюда под дождем, да и я не хотел, чтобы они потом говорили, что обратились ко мне за помощью понапрасну. Что ж, господа, давайте действовать. В конце концов, может быть, Мария никакого отношения к этим клеткам и не имеет — не больше чем мы четверо, по всей вероятности. Возможно, что она снимает здесь какой-нибудь чердак или подвал, а может быть, и просто угол с кроватью или кушеткой, как у Фатьмы.

Что, если нам с Али войти туда и спросить ее? Его дружки пусть постоят у витрины, полюбуются на клетки, не то такая делегация — четыре человека, из которых трое черные как сажа, — может и напугать людей. Те двое пока что служили просто статистами, да и осторожность в таких случаях не помешает. Али был на все согласен, и мы зашли в лавку. Я торопливо закрыл за собой дверь, чтобы электрический звонок перестал трещать, и подошел к прилавку, Али — за мной со своим красным букетом. Он расхрабрился от любви, хотя он знает, что тут, в стране белого человека, темнокожий не лучше фокстерьера.

Мария может явиться нам каждую минуту, случилось же такое чудо в пещере Лурда. А может, она жадно доедает имбирные сладости или подводит брови, подмазывается и пудрится, чтобы выйти к нам и, приветливо улыбаясь, сказать: «Гуд ивининг!» — наверно, она хоть эти слова знает по-английски. А если не знает, придется ей говорить по-фламандски, и я буду переводить, пока они не договорятся. Интересно будет послушать их разговор, как-то они дойдут до сути дела.

Тут я услышал, как где-то двинули стулом. Открылась дверь позади прилавка, и к нам вышла пухлая, далеко не молодая женщина, аккуратная и чистая, как витрина ее лавки. Она бы сошла за мать или тетку Марии, но уж если это была сама Мария, так я был магараджей из Аллахабада. Все же, для пущей уверенности, я взглянул на своего спутника — от таких людей всего можно ждать. Хоть ей и было под пятьдесят, телеса у нее достаточно пышные.

— Нет, — сказал Али, глядя на нее с брезгливостью.

Женщина подошла поближе — у нее был такой вид, будто ее только что отмыли до блеска, — и не дожидаясь заявила, что большая клетка для попугая еще не готова, но будет доставлена на корабль в понедельник утром, что она и просит передать капитану Каннингему.

Я не понимал, наяву все это происходит или во сне. Выходит, Али знает Клостерстраат не хуже меня. Но зачем же он тогда показывал мне этот кусок картона? Чтобы выманить меня под дождь? Нет, в это я не верил. Он и на витрину глазел, как на Ниагарский водопад, да и ни про какие клетки он мне по дороге не говорил. И все же я спросил его, не заказывал ли он клетку, чтобы взять ее с собой в море, и вообще был ли он уже тут, но он решительно отверг все эти предположения и сказал, что пришел исключительно ради девушки.

Толстуха, как видно, понимала по-английски, потому что сразу спросила его, с какого он корабля — с «Сити оф Рангун» или нет?

— Нет, — сказал Али, — мы с «Дели Касл».

Мне теперь все стало более или менее ясно, чего нельзя было сказать про хозяйку лавки.

— Так, — сухо бросила она. — Что же вам тут нужно?

· Делать было нечего, пришлось вмешаться.

— Будьте так добры, сударыня, скажите Марии ван Дам, что пришли ее знакомые с «Дели Касл», и спросите ее, может ли она принять нас?

Я тоже хотел присутствовать при их встрече. А может быть, передать толстухе цветы для Марии, так сказать, в залог будущих благ?

Она смотрит на меня, словно я свалился с луны, и переспрашивает, что я сказал, так что мне приходится заново повторить всю тираду.

— Мария ван Дам? Никогда не слышала. Наша фамилия Пасманс.

Что ее фамилия Пасманс, я еще готов поверить, но что она не знает нашу Марию, мне кажется дичью. А если она нам не доверяет? Мало ли кто готов ввалиться в лавку и заявить, что он с «Дели Касл». Но у нас были доказательства.

Я попросил Али дать мне талисман, выложил его перед ней на прилавок и показал на текст, который Мария любезно написала своей собственной прекрасной рукой, когда была докурена последняя сигарета из этой пачки, — официальный текст, о котором спорить не приходится.

— Вы ей только покажите эту записку, сударыня, и она сразу узнает, кто мы, потому что она сама написала адрес сегодня утром, когда приходила чинить мешки на «Дели Касл».

— Чинить мешки? — повторяет достойная дама таким тоном, что краска бросается мне в лицо.

Она уходит в комнатку за лавкой, приносит очки и, строго качая головой, начинает изучать неясный автограф со всех сторон с серьезностью, вызывающей уважение.

— Нет, сударь, ничего разобрать не могу. И ни о какой Марии ван Дам я не слыхала, — решительно говорит она и отталкивает клочок картона, словно боится заразиться проказой.

Она спокойно ждет, не попросим ли мы еще какой-нибудь услуги, и рассеянно поворачивается к окну. И вдруг видит черные лица наших приятелей, они прижались к стеклу и не отрывая глаз смотрят сквозь клетки, ожидая, что мы с Али подадим им знак войти. Как видно, им надоело рассматривать экспонаты в окошко, и теперь они вперились в нас горящими глазами. Воображаю, что будет, когда они дорвутся до Марии ван Дам.

Женщина смотрит на нас уже с явным подозрением, косится на Али, как бы проверяя — той же породы те двое или нет, а может быть, их тут целая банда и они нарочно разбились на группы, из стратегических соображений?

— А эти тоже с вами? — спрашивает она.

И не дожидаясь ответа, она идет к дверям внутренней комнаты, громко кричит: «Франс!» — и, возвратившись в лавку, останавливается, как часовой на посту. Очевидно, тут порядки строгие, так как ждать нам не пришлось.

Я слышу, как заскрипела лестница под тяжелыми шагами, и входит Франс, громадный, спокойный, держа руки в карманах. Он похож на мать чисто вымытым лицом, но роста он огромного и с виду напоминает чемпиона по борьбе. Как тяжело груженная баржа, он молча надвигается на нас, кивком спросив у матери, что тут происходит. Видно, он человек не слов, а дела. Его мать показала на окно лавки и стала объяснять ему, что, по нашим словам, тут, в доме Пасмансов, живет какая-то Мария ван Дам и что хотя она нам объяснила, что ни о какой Марии ван Дам она не слыхала, мы ей не поверили и сунули под нос вон тот клочок картона с неразборчивым адресом.

Факты были изложены примерно правильно, хотя нехорошо было с такой злостью говорить, что мы ей «совали под нос» клочок нашего картона, она никак не могла отрицать, что мы вели себя очень вежливо и корректно. Но Франсу достаточно было ее слов, да и никакого интереса к нашим делам он не проявил. Он только взглянул на моих друзей, как на комки сажки, бросил нашу картонку на пол и объявил самым решительным тоном, что никогда не слыхал о нашей пропавшей подружке.

Я понял, что лучше всего ретироваться как можно быстрее, пока Франс не выставит нас силой. Я пробормотал какие-то слова благодарности мамаше и сынку. Али подобрал брошенную картонку, и, покинув кладбище наших надежд, мы снова вышли в ночь, и двойники Али поплелись за нами, а Франс, стоя в дверях лавки, смотрел нам вслед.

На углу я остановился — меня душил стыд. Уже не в первый раз я впутывался в чужие дела, вместо того чтобы держаться поодаль, как все разумные люди, пропуская мимо себя поток судьбы. Но я никак не поумнею с годами и, к несча-

стью, не могу сдерживать порывистое свое сердце, в котором все еще бьется молодое легкомыслие, хотя сам я уже снижаю и сохну под грузом лет.

Что подумают обо мне мои друзья? Вместо того чтобы привести их к волшебнице и чаровнице, к желанной Афродите, я затащил их к этим унылым Пасмансам. Хорош полководец! И этот несчастный букет цветов! Не лучше было бы в самом начале разрушить их мечту, отдать их на волю того бродяги с перебитым носом? Почему бы ему и не заработать малость, уголив их неуемную жажду? Наверно, он незлой человек, иначе он не подумал бы о том, что они могут промокнуть под дождем в своих тонких курточках. Может, он и был посланцем судьбы, да и чем уж так плох кабачок «Веселый джокер»? По крайней мере, там они сидели бы, держа на коленях девчонок, а не шатались бы под дождем, ища какую-то тень, а я уже с час назад сидел бы дома как уважаемый гражданин, а не таскался бы по улицам с нечистыми мыслями и пустым желудком. Но что же теперь делать? Не мог же я бросить эту промокшую троицу, хотя и не знал, как и где их обсушить. Лучшим выходом было бы распрощаться с ними без дальнейших околичностей, положить конец нашему нелепому содружеству, чтобы каждому пойти своей дорогой, как будто мы никогда и не встречались. Я ушел бы домой со своей газетой, а они вернулись бы на «Дели Касл» с букетом или без букета или посидели бы где-нибудь поблизости в тепле — сейчас они слишком продрогли, чтобы идти до «Веселого джокера». Но они сами должны были сделать первый шаг, иначе меня там, дома, у камина, совесть бы замучила. Я подождал, но никто из них не проронил ни слова. Они стояли молча около меня, словно боясь прервать мое тоскливое раздумье.

Вдруг я почувствовал тонкие пальцы Али на своем рукаве, и, когда я обернулся к нему, он показал на небо и сказал:

— Звезды. Добрый знак. Надежда.

Я поднял голову — на безоблачном небе ярко сияли звезды.

Какое я все же ничтожество! Да, Али прав, нельзя сдаваться при первой же неудаче. Она от нас не уйдет, эта хитрая бестия. Я доведу дело до конца, пока не найду ее и не передам им, хотя бы мне пришлось связать ее по рукам и ногам. Доведу до конца, постараюсь, чтобы они получили свое и за имбирные сладости и за шарф. Пока солдаты готовы к бою, полководец отступить не должен.

Но какой толк был в моей решительности? Город велик, Марий тут много. Я еще раз все обдумал. Маловероятно, что такая трепушка могла все выдумать. Наверно, она все же живет поблизости. Может быть, в пятнадцатом номере по другой улице или в пятьдесят первом на Клостерстраат. Какая-то разгадка должна быть скрыта в этом адресе, который она нацарапала по какому-то наитию. А может быть, ее зовут Жанна Гутальс, а вовсе не Мария ван Дам, а если это так, то бог ей судья. И чтобы не тратить времени зря, я предложил справиться в полиции. Участок был недалеко. А если и это не поможет, мы хотя бы утешимся сознанием, что сделали все, что могли, и я усну спокойным сном. Не рискнешь — не выиграешь. Я надеялся, что все окончится благополучно.

Али перевел мое предложение своим спутникам, и я увидел, что они сразу решиться не могут, потому что все трое стали серьезно и долго совещаться. Я не хуже их понимал, что людям с темной кожей лучше с полицией не связываться, да, по правде говоря, я и сам не очень-то охотно просил помощи у наших блюстителей порядка. Что-то в этом есть унижительное. Кроме того, мои черные приятели встретились со мной случайно, и у них могло возникнуть подозрение, что я и сам переодетый служитель закона.

И я стоял, дожидаясь приговора моих смуглолицых судей. Странная, в общем, ситуация. Им надо было взвесить все данные, проверить — достоин ли я такого безоговорочного доверия, и возможно, что приговор будет не в мою пользу, и они от меня отвернутся, поняв, что я не выдержал испытания, и уйдут в ночь одни навстречу неожиданным опасностям. Нет, если они думают, что со мной можно так поступать, они ошибаются, и я им докажу, что не позволю мной пренебрегать. Тут была поставлена на карту моя честь, и после всех ударов, какие я испытывал в последние годы, это был бы последний удар.

Их язык казался мне странным, как жужжание мух, но по их голосам, по утвердительным кивкам, я понял, что решение принято. Они посмотрели на меня все трое, и Али коротко сказал, что они пойдут за мной.

Спасибо вам, друзья. Вы спасли меня от большого разочарования, и теперь я знаю, что вы готовы следовать за мной хоть к черту в пекло. Что ж, пошли дальше. Раз они верят в меня, как в бога, значит, отступать некуда, и я даю сигнал к наступлению. Двое впереди, двое сзади, с надеждой в сердце, под звездным небом без дождя. Давным-давно так шли и три мудреца, три волхва.

III

Тут, у маленького скверика с несколькими скамьями, находился полицейский участок, и теперь мои черные друзья должны были решить — идти им со мной или ждать на улице.

С некоторым недоверием они посмотрели на красные фонари, неизменный признак наших полицейских участков, и стали обсуждать этот вопрос, подняв шум, похожий на птичий щебет. Когда спор утих, Али сообщил мне принятое решение. Если я согласен, пусть я пойду один, а они будут дожидаться моего возвращения тут на скамейке. «Белым людям и черным лучше вместе не быть», — сказал Али и покорно покачал головой.

Да, к сожалению, Али прав. Но я сделаю все что можно, и если полиция знает, где прячется Мария, то, пройдя и это испытание, мы сможем выйти в последний поиск. Я пожал им всем руки и вошел в двери, а они плюхнулись на мокрую скамейку.

В участке за столом сидел очень толстый сержант. Это меня обнадежило — с толстяками всегда легче договориться. Толщина делает их более снисходительными, а может быть, у них именно от этой снисходительности и растет брюхо? Сержант листал огромный фолиант, занимавший весь стол. Он поднял глаза и перевернул страницу. Я понял, что этот человек любит тепло домашнего очага, что у него отличное пищеварение и что он вообще мухи не обидит. Я снял шляпу и стал ждать, пока он заговорит. Очевидно, он был занят важным делом, и я решил, что надо быть тактичным и не мешать ему, пока он не устанет переворачивать страницы. Изредка он слюнявил толстые пальцы и, только дойдя до последней страницы, закрыл тяжелую книгу и, тщательно завязав тесемки, откинулся на спинку стула и спросил, чем он может мне быть полезен. Голос его звучал сердечно, как будто он готов служить мне хоть до самого утра.

Я сказал ему, что я — частный сыщик и ищу некую Марию ван Дам, проживающую в этом районе, что обокрали трех матросов с корабля «Дели Касл» и шипшендлеры¹ просили меня выяснить это дело, чтобы не беспокоить полицию. А эта Мария ван Дам может мне помочь, так что я прошу его сказать, где можно ее найти.

— И для этого они нанимают частного сыщика, — сказал он, качая головой. — Да, эти англичане, судовладельцы, не знают, куда им деньги девать. Но я ничем помочь вам не могу, уж вы извините. Вы не хуже меня знаете, что все списки жителей хранятся в городской управе. А вообще-то я рад бы помочь. Только завтра воскресенье, значит, вы уже потеряли два дня. За такое время воры успеют сбегать что угодно.

Значит, последняя надежда Али рухнула — больше я ничего сделать не мог. Но когда я уже пошел к выходу, добрый сержант хлопнул себя по лбу и стал развязывать тесемки толстого фолианта, словно его вдруг озарила гениальная мысль.

— Как это я раньше не подумал! Да, старость не радость. Вот тут список всех избирателей, коллега. Утром прислали. Вам повезло, ведь эти списки составляют раз в четыре года. Тут она непременно должна быть, если только она совершеннолетняя. Давайте посмотрим.

Похожим на сосиску указательным пальцем он провел по столбцу имен, читая их вслух:

¹ Агенты по снабжению.

— Ван Аке, Ван Алсеной, Ван Аперс, Ван Ас, Ван Баален, Ван Бауве, Ван Белле, Ван Бенден, Ван Берген, Ван Бокель. — Нет, надо дальше: — Ван Кутсем, Ван Дале, Ван Дам. Смотрите, тут две страницы Ван Дамов. Но где же Мария? Ван Дам Альберт, Ван Дам Бернард. Это нам не подходит. Нам надо Ван Дамов женского пола. Ван Дам Луис, Ван Дам Мария Альбертина. Стоп! Родилась 11 марта 1876 года, значит, ей шестьдесят два года. Годится? Во всяком случае, она-то совершеннолетняя. Не подходит? Тут еще есть две Марии, обе с 1916 года, значит, им теперь двадцать два года. Курочки-молодки, коллега. Первая живет на Ланге Риддерстраат.

— А номер дома? — спросил я нетерпеливо.

— Семьдесят первый. А вторая на Занд, та живет в пятнадцатом.

Ура Занду! Тот же номер, что и на Клостерстраат! Ну, теперь попалась, пташка!

— Погодите, — сказал он сочувственно, — я эти места хорошо знаю. В одиннадцатом живет хромой Ян, в тринадцатом — старьевщик, а пятнадцатый — это отель «Карлтон». Там хозяин некто Кортенаар, голландец-полукровка, не раз попадался за скупку краденого. Если эта старая лиса вам чем-нибудь поможет, дайте мне знать — с вас тогда выпивка. Но не такой он, чтоб даром болтать, — его либо подкупить надо, либо отколотить как следует. А если влипнете в скандал, звоните нам. Наш номер тридцать семь — ноль три — ноль четыре. Но, кажется, вы попали на верный след. Эй, что там за шум?

Мы услышали топот сапог, и грубый голос сказал: «Сюда, чертов негритос!» И в ту же минуту дверь распахнулась, и полицейский, крепко держа Али за шиворот, втолкнул его в комнату вместе с букетом.

— Сядь, черная образина, — сказал полицейский, толкая его в кресло.

Он задержал Али за то, что тот подглядывал в замочную скважину, а двое его сообщников стояли на стеме в скверике, делая вид, что вышли подышать свежим воздухом. Но его такими штучками не проведешь. Только зря они это затеяли: в полицейский участок еще никто безнаказанно не лез. А когда он этого схватил, те бросились бежать.

— Шапку долой! — говорит полицейский и срывает с Али феску.

Без фески Али — другой человек.

Кажется, что на нем сверкающий шлем, так блестят его черные волосы под дуговой лампой. Он застыл, как статуя, вперив глаза в пол, тонкие руки неподвижно лежат на коленях. Букет упал и лежит у его ног как жертвоприношение.

Я осмеливаюсь заметить, что его феска ничего общего со шляпой не имеет, что это — принадлежность его религии и что лучше бы не заставлял его снимать эту феску, тем более что мы почти ничего об этих людях не знаем.

Услышав мой голос, Али поднимает глаза и смотрит на меня укоризненно, и у его губ ложится презрительная складка. Наверно, у Христа было такое выражение лица, когда Иуда подал знак, поцеловав Учителя.

Меня пронзила дрожь. Я подошел к нему и, глядя ему прямо в глаза, спросил — неужто он мне больше не доверяет? Слушая эти слова, он смотрел на мои губы, словно ища признаков скрытой насмешки. Если бы я не был так возмущен, я, наверно, не удержался бы от слез.

— Не знаю, — честно признался он.

— И очень стыдно! — сказал я с горечью, но он сидел как медный идол, молча, не шевелясь.

— Так, значит, вы знакомы? — И толстый сержант подозрительно покоился на меня.

— Как называется ваш корабль? — спросил я у Али.

— «Дели Касл» — я вам уже говорил там, в лавке.

На выручку надо было призвать и талисман. Я попросил Али передать клочок картона толстому сержанту, и тот, повертев его со всех сторон, наконец разобрал слова. До него не сразу дошел смысл, но вдруг он все понял. Он разра-

зился громовым хохотом и, встав из-за стола, отдал Али феску и ласково похлопал его по плечу.

— Желаю удачи у Кортенаара,— сказал он. Потом нагнулся, что при его габаритах было совсем не легко, поднял с полу букет и вежливо распахнул перед нами двери.

Нет, я не ошибся, это был добрый человек.

IV

Даже если эту Марию ван Дам кто-то заколдовал, все же мне казалось, что на этот раз ошибки быть не может — неужели пятнадцатый номер окажется простым совпадением? Чтобы ввести Али в курс дела, я ему докладываю, что я узнал местожительство Марии через толстого сержанта, который специально для меня искал и нашел ее адрес.

— Вы тут влиятельный человек, сэр,— сказал он с восхищением.

Он справился, во сколько мне это обошлось, и уже сунул руку в карман, где хранились их общие капиталы. А когда я его уверил, что платить мне не пришлось, он спросил — действительно ли это полицейский участок и не кроется ли тут какой-то подвох. То, что совпал номер, хотя и на другой улице, произвело на него сильнейшее впечатление.

— Половина наполовину,— говорит он, сияя улыбкой,— это очень хорошо. Да, она замечательная девушка. Может быть, она по ошибке написала другую улицу. Путь у нас с препятствиями, сэр, как восхождение на Гиндукуш, но в конце нас ждет награда.

Я от всего сердца надеюсь, что он прав, но в скверике нас встречает пустая скамейка и одному богу известно, куда удрали те двое.

Может быть, они со всех ног бросились бежать к себе на «Дели Касл», где они будут в большей безопасности, чем во всем нашем городе, и где им никто не помешает поразмыслить над историей с шарфом и банкой имбирных сладостей. Пусть это будет им наукой — не связываться с нашими девушками. А может быть, я теперь смогу честно уйти от них: вряд ли Али станет искать Марию без своих дружков.

Но когда я его спрашиваю, что он об этом думает, он только мотает головой, подносит к губам два пальца и издает странный пронзительный свист. Свист звучит совсем иначе, чем наши обычные свистки, и разносится очень далеко, а глухая монастырская стена в конце улицы отражает его громким эхо. И не успевает это эхо отзвучать, как издали ему отвечает такой же свист и через минуту в лунном свете показываются две темные фигуры. Значит, о моем уходе речи быть не может. Они останавливаются поодаль, потом медленным шагом подходят к нам и, застыв на месте, меряют меня с ног до головы бесцеремонным взглядом, словно они не ожидали меня увидеть вновь. Я бы с удовольствием отколотил этих сморчков, но тут Али стал им подробно объяснять, что произошло в полицейском участке, и они слушали его с полным вниманием, ни разу не перебивая. Когда же он дошел до моего участия в этой истории, они поглядели на меня с восхищением и одобрительно закивали.

Теперь, когда наш отряд снова оказался в полном составе, можно пускаться и в путь, тем более что на башне бьет одиннадцать часов. Ничего, если Мария легла спать, это даже упростит дело, но я не был уверен, что этот отель «Карлтон» и есть конечная цель наших поисков. Хорошо, что это было недалеко — вторая улица направо, потом — налево, и никаких зигзагов и поворотов.

Я остановился на противоположной стороне переулка, чтобы как следует рассмотреть логово Кортенаара: мне вовсе не хотелось соваться туда наобум, а мои темнокожие друзья со своим клочком картона уже готовы были туда броситься.

Отель «Карлтон» — шикарное название, но оно никак не подходило к этому жилью — полуразваленному дому с облупленным фасадом, каких сотни в любом квартале старого города. Вряд ли там достаточно помещений для гостей, дом всего только двухэтажный, с тремя окнами по фасаду. И никакого следа красной лампы, как у Фатьмы. Наверху все окна были темные, внизу находилось что-то вро-

де кафе с какими-то признаками жизни. Мне показалось, что я слышу музыку. Явно неподходящее место для человека с моей репутацией, подумал я, хоть от нее теперь и немного осталось.

— Зайдем?— спросил я нерешительно, надеясь, что мои спутники, увидев этот «отель», потеряли охоту идти туда.

— Но мы ведь для того сюда и пришли, сэр,— говорит Али. Держа перед собой букет, он входит первым, и я следую его примеру — четвертый пария.

Но войдя, я сначала шарахаюсь назад, как пловец, оглушенный волной,— с такой силой навстречу гремит патефон, наполняя тесное помещение ревом дикого зверя. Все тонет в густом дыму, но я все же различаю самого Кортенаара, который стоит за стойкой и делает вид, что не заметил нас. У него курчавая седеющая голова и темноватый цвет лица — среднее между мной и Али. Маленькие глазки беспокойно бегают по сторонам, пока он полощет стаканы, что-то напевая себе под нос, но с виду в нем ничего опасного нет, и мне кажется, что толстый сержант преувеличивал. У дверей сидит молодая женщина и кормит грудью ребенка, к стойке привалились две гулящие девицы, они покачиваются в такт музыке, у стены четверо подозрительных типов играют в карты. В свободном промежутке между стойкой и столами танцуют две пары, но никто на них не смотрит. В общем, тут пять женщин, выбор неплохой, по крайней мере на первый взгляд.

Я вопросительно взглянул на Али, но он сразу говорит, что ее тут нет. Жаль, думаю я, значит, надо искать дальше, а у меня запас энергии уже почти иссяк.

Когда мы уселись рядом с картежниками, Кортенаар перестал мыть стаканы и, подойдя к нам, вежливо спросил, что нам угодно. Нет, как видно, он малый неплохой. Я заказал джин, но Али и его товарищи заказали просто воду. Уговорить их не удалось, хотя я и настаивал, что глоток спиртного не повредит, когда человек так промок, но это их, как видно, не беспокоило.

Нас осмотрели, оценили, потом картежники снова принялись за игру, девицы у стойки снова завивляли бедрами, напевая в такт музыке, и обе пары опять закружились в вальсе, причем один из партнеров, высокий прыщавый малый, каждый раз, скользя мимо нашего столика, толкал мой стул. Когда я придвинулся поближе к столу, чтобы дать танцорам больше места, Али встал и пошел через все кафе, должно быть, чтобы заменить заказанную воду чем-нибудь покрепче, решил я. Но нет, он прошел мимо Кортенаара прямо к прыщавому юнцу и остановился перед ним — темнокожий Давид перед Голиафом. Я слышу, как он говорит по-английски, что хватит баловаться, и чтобы тот лучше понял, кивает на меня и, подражая кружению вальса, крутит своим тонким выразительным пальцем по ладони, словно мешая невидимый соус. Он вежлив и очень любезен, но все его тонкое тело дышит ледяной решимостью. И снова Кортенаар перестает мыть стаканы, игроки кладут карты на стол и две потаскушки умолкают. Только молодая женщина у двери спокойно продолжает кормить младенца, словно нас нет на свете.

Что-то сейчас произойдет. И я мысленно переносюсь к своей жене, к детям, к ночным туфлям. Но я сам в это влип, теперь надо расхлебывать. Да! Этот урок я никогда не забуду, и втянуть меня снова в такую историю, с талисманом или без талисмана, сможет только какой-нибудь отъявленный пройдоха.

Тут я с облегчением услышал, что прыщавый заорал: «Держите меня, не то я выкину эту обезьяну в окошко!»

К счастью, он не сопротивлялся, когда сосед усадил его на стул, где он остался сидеть. «С черными не связывайся!» — сказала его девушка, явно побаваясь моих темнокожих телохранителей.

Но Али уже вернулся к нашему столику и сел. Он был доволен, что восстановил справедливость, выполнил свою опасную миссию, и теперь с непоколебимым спокойствием ждал развязки.

Надо было немедленно что-то предпринять, иначе мы тут застрянем до завтра, до утра. Да, пока мы не влипли в какую-нибудь неприятную историю, надо найти Марию, за этим мы и пришли.

Я встал и подошел к стойке, Кортенаар как будто только этого ждал, он выключил патефон и очень вежливо осведомился, чего мы, собственно говоря,

хотим. Наступила тишина — словно вся жизнь в кафе прекратилась. Смолкла музыка, остановились танцующие, игроки, державшие карты в руках, положили их на стол, чувствовалось, что все напряженно ждут ответа.

Я рассказываю ему легенду о Марии ван Дам и прошу его, бога ради, позвать ее сюда или провести к ней, если она действительно живет в отеле «Карлтон». Все равно где — на чердаке, в подвале, лишь бы найти ее и покончить с этой историей.

— Мария ван Дам, — медленно повторяет Кортенаар. — Блондинка?

Этого я не знаю, но Али на мой вопрос утвердительно кивает. Наконец-то я могу облегченно вздохнуть.

— Вот именно, — говорю я, — волосы как спелая рожь. Где же она?

Я вижу, как у Кортенаара опускаются углы рта и как он выпячивает нижнюю губу — в общем, гримаса получается довольно пессимистическая. Он уныло качает курчавой головой и говорит, что никакой Марии не знает.

Странно, подумал я. Похоже, он просто водит меня з. н.с.

— Да, может, она и брюнетка, — говорю я. По мне, будь у нее хоть зеленые волосы, лишь бы нам ее наконец найти.

— А я за нее не сойду? — спрашивает одна из потаскушек, только что напевавших под патефон. — Меня тоже звать Мария.

У нее хорошенькое, хоть и потрепанное личико, с виду ей не больше двадцати, да и фигурка у нее многообещающая. Тут же она как бы невзначай поправляет мне галстук, сбившийся набор.

Я краснею и объясняю ей, что речь идет не обо мне, а о трех моих темнокожих спутниках.

— А какая мне разница, — говорит она, — только давайте поскорее, иначе мне будет поздно. А вы за это получите фунт стерлингов.

Мне — фунт? За кого эта девчонка меня принимает? Впрочем, можно было бы взять у нее этот фунт, а потом отдать его Али, все-таки для них выйдет скидка. Да и вообще это предложение могло бы устранить все наши трудности. Этот кошмар и так уже слишком затянулся, и мне становилось все яснее, что ту Марию, о которой шла речь, нам никогда не найти. И, начисто отбросив стыд, я передаю Али предложение этой девицы, но Али хватается за свою мечту как за спасательный круг.

— Вот эта, сэр, — говорит он, снова показывая проклятый клочок картона.

Пришлось мне снова попытать счастья у Кортенаара, и, стараясь отвернуться, чтобы не чувствовать резкий запах чеснока от его дыхания, я нечаянно упоминаю о полиции, и это слово действует на него как электрический разряд: дрожащими руками он услужливо начинает рыться в ящике, вытаскивает засаленную конторскую книгу и просит меня зайти за стойку и самому просмотреть все записи. Времени это у меня не отняло, через пять страниц я уже читаю записи пятилетней давности, но никаких следов нашей мучительницы я не обнаружил. Слов нет — отель весьма странный.

— Да, ее нет, — неохотно соглашаюсь я, — но ведь это список временных жильцов, а в полиции мне сказали, что Мария ван Дам проживает в отеле «Карлтон» постоянно. Постоянно, по официальным сведениям, минхер Кортенаар. Как вы это объясните? — И я стараюсь поймать взгляд его бегающих глазок, но это мне никак не удается.

— Ах, минхер, — говорит он, пожимая плечами, — мало ли что случается в этом сумасшедшем городе. Тут как-то вписали человека, которого и на свете не было.

Значит, моим спутникам никак не утолить жажду и букет наш не пригодится. Им так же не видать Марии, как мне не найти Фатьму в Бомбее.

Когда я вышел из-за прилавка, я увидел, что кафе опустело словно по волшебству, и только молодая мать у дверей убаюкивала младенца тихой песней.

Али все понял и стал благодарить меня за все мои старания. Больше он меня о Марии не спрашивал, видно, убедился, что ему и его дружкам никогда не видать земли обетованной. Он взял стакан и долго пил воду, словно хотел смыть

воспоминание о ней. А может быть, так лучше, подумал я, по крайней мере, Мария осталась для меня какой-то иллюзией, а когда мечта превращается в действительность, она уплывает, уходит как вода сквозь пальцы.

V

Теперь, когда разошлись все неприятные посетители, я заказал вторую порцию спиртного, хочется отогреться у печки — мы заслужили этот отдых по всем статьям. И перед окончательным расставанием, зная, что нам никогда больше не встретиться, мне захотелось еще немного послушать дружеский голос Али. Я спросил его, из какого района Индии они родом, и тут выяснилось, что они вовсе не соотечественники Фатмы, а родом из Афганистана.

— Из Кабула?

Нет, они не из столицы. Они живут в горах, на границе с Туркестаном.

А король у них хороший человек?

— Откуда мне знать? — рассмеялся он. — Мелким пташкам лучше держаться подальше от орлов.

Я объясняю ему, что и у нас есть король, как в Англии.

— Да, — вздыхает он, — везде одно и то же.

Я спрашиваю, хорошо ли жить у них в стране, и он радостно говорит — да. Почему же они тогда ушли в море, вместо того чтобы жить у себя, в горах?

— Есть-пить надо.

А они женаты?

Нет, он сам холост.

— У нас в горах девушки и бараны дорого стоят. Сначала надо пойти в плавание, подзаработать денег. А этот вот — женатый. — И он показывает на своего соседа. — Мозгов у него не хватило. Кто же сначала женится, а потом уходит в море?

Очевидно, Али считает, что этому даже трудно поверить, он ищет подтверждения у своего «безмозглого» товарища, и тот грустно кивает головой.

Мне хочется узнать, что они думают о наших прекрасных женщинах, — я сам ими очень горжусь.

— Женщины, которые продают морякам свою любовь, во всех портах отличаются только цветом кожи, сэр. Здесь они светлые, за Гибралтаром — смуглые, а за Аденом — совсем темные, как мы сами, но всюду они охочи до наших денег, так что не знаешь, куда спрятать свои сбережения. Но вот эта, — и он задумчиво смотрит на полудетские каракули, — эта совсем другая. Она как солнечный луч в тумане, все бросили работу, столпились вокруг нее, каждый хотел видеть, как она работает, быстро и помощи не просит, игла так и летает в ее руках легко и весело, а она еще смеется, и зубы у нее сверкают, когда она откусывает нитку. Уж я и не говорю про то, на что все мужчины первым делом заглядываются. Не будь у меня этой бумажки в руках, я подумал бы, что все это приснилось. Я в море плаваю шестнадцать лет, а такую жемчужину в первый раз увидел, сэр. Да, жемчужина — иначе про нее не скажешь. И почему она нам встретилась в этом сером тумане, где человека никак не найти? Этого мы не знаем. Я вам говорил, какие мы ей сделали подарки, может, вы подумали, что этого мало, но мы простые матросы, денег у нас немного, так что мы отдали деньги нашему приятелю, этому безмозглому, и взяли у него шарф, который он купил в Бомбее для жены, и отдали ей не думая, потому что, когда на нее глядишь, все мысли путаются. Когда хочется все отдать, ни о чем не думаешь, сэр.

Он ищет подтверждения своим словам у товарищей, и они соглашаются с ним и надолго умолкают, глядя в упор на стол.

Чтобы сломить тягостное молчание, я спрашиваю, какой они веры, но переход, очевидно, слишком резок, потому что он не сразу меня понимает.

Я пытаюсь изобразить графически смысл моего вопроса и рисую сидящего Будду с лотосом, мочки его ушей свисают до плеч, а пупок похож на пристальный глаз. И спрашиваю — это ли бог, в которого они верят?

Али понял, к чему я клоню, и делится со своими друзьями — он переводит им из нашего разговора все, что считает важным.

— Нет, сэр, мы верим в Магомета, — решительно говорит он, и его соотечественники энергично кивают в подтверждение его слов. Он возвращает мне мой языческий рисунок, словно желая избавиться от него.

— И в Аллаха?

— Да, в Аллаха, — говорит он приглушенным голосом, словно боясь осквернить святое имя в этом грешном месте.

— Это хорошо?

— Да, это самая правильная вера, как говорят.

Надо и мне внести свой вклад в эту беседу, иначе выходит, что я их допрашиваю, поэтому я сообщаю им, что мы — христиане, но ему как будто этот термин непонятен.

И я рисую на обратной стороне портрета Будды нашего распятого Христа со всеми необходимыми атрибутами — терновым венцом, горькой складкой у губ и выступающими ребрами.

Они посмотрели на него с такой глубокой жалостью, как не смотрели даже верующие христиане, и Али сказал:

— Бедный человек.

Да, он видел эти изображения в нашем городе и каждый раз жалел его от всего сердца.

— А здесь часто так делают? — спросил он, и я ему объяснил, что это наш господин, наш Аллах.

Он тут же переводит товарищам эти глубоко поразившие его слова, и все трое начинают рассматривать распятого с глубоким интересом.

— Почему же он это допустил? — спрашивает Али. — И кто посмел его обидеть?

И когда я им говорю, что это была его воля, они от удивления не знают что сказать.

Растолковать им я никак не мог — вот уже почти полвека, как я сам стою перед этой непроницаемой стеной и не могу найти в ней выход, да мне и трудно объяснить им, что такое богочеловек, трудно сравнить с их абстрактным представлением о едином Аллахе. Но я все же пытаюсь внести какую-то поправку, сказав, что это был не сам господин бог, а его сын. Это только подливает масла в огонь, — не успел Али перевести мои слова, как оба афганца встrepенулись. Тот, что был женат, заговорил с особым оживлением, и, когда он умолк, Али выдвинул аксиому, что тут, безусловно, была замешана женщина, чего я отрицать не стал.

— А были у них еще дочери и сыновья? — спрашивает он с любопытством.

— Нет, это был единственный сын.

— Странное дело. — И Али недоверчиво качает головой. — Если он человек, значит, он такой же, как мы все, а тогда выходит, что каждый из нас, если хватит храбрости, может непосредственно соприкоснуться с самим творцом.

Мне стало ясно, что теперь надо им изобразить и бога-отца, и тогда это основное понятие сможет примирить моих афганцев с остальной нашей теологией, но тут возник вопрос: как изображать бога-отца — нагим или в одеждах, добрым или грозным, с бородой или без бороды. Кроме того, придется ввести и святого духа, иначе у них может возникнуть неполное представление о нашей вере, и они вообразят себе обыкновенное семейство, которое до сих пор спокойно проживает где-то на нашей земле. Но я понимаю, что ввести этот третий персонаж значило бы совсем сбить их с толку, а кроме того, моих скудных познаний в английском языке явно не хватает для такой сложной задачи.

Исчерпав тему любви и религии, я решаю, что нельзя обойти и тот вопрос, которым заняты теперь все умы, и спрашиваю их, слышали ли они о коммунизме.

— Да, некоторые из наших односельчан переходили границу на севере, а кое-кто там и остался. И бывает, что оттуда, из большой страны, путешественники заезжают к нам по дороге и вечером у камелька рассказывают о пророке,

который проповедовал новое учение без бога, говорил, что у всех должно быть всего поровну — и овец, и пищи, и одежды, и денег, и жилья. И не в загробном мире, у Аллаха в раю, как нас учат, а тут, на земле, еще при жизни, а это не такая уж плохая мысль.

Хоть он и темный человек, а зерно все же разглядел.

— Вот именно — тут, на земле, от рождения до самой смерти. А как по-вашему, Магомет разве возражал бы? Или он считал, что счастливыми люди становятся лишь после смерти?

Али отвечает не сразу — он сначала советуется со своими товарищами, причем мне кажется, что он на эту тему говорит осторожнее, чем на тему о женщинах или о религии. Потом он отвечает мне вопросом на вопрос:

— А ваш распятый против этого не возражал?

Я сразу почувствовал, что наши добрые отношения висят на волоске и что мы, как опытные дипломаты, сейчас проверяем искренность собеседника, прощупываем его. От меня ждали прямого ответа, иначе нашей близости грозил разрыв.

— Как будто бы нет. Он хотел, чтобы сильные мира сего смирились, а бедные и смиренные стали сильнее духом, а главное, он хотел, чтобы каждый очистил душу от зла. Но в основном он говорил о том свете, о царстве своего отца. Там ждет человека награда за все.

— Тоже осторожные слова, — сказал Али, — даже пророкам надо соблюдать осторожность в словах, потому что те, кто владеет богатствами на этом свете, отдавать их не желают. Может быть, и ваш пророк старался говорить осторожно?

— Да, он вообще говорил иносказательно. Но он и жил среди очень опасных людей.

— И все же он не уберется, — говорит Али, вспомнив, как видно, крест и худые ребра. — Хоть он и не все сказал, но и этого было слишком много. Однако случилось это в давние времена, и не один пророк будет еще проповедовать, пока все не скажется. В старину пророки проповедовали про тот свет, нынче говорят про жизнь на земле. Так оно и идет, не может же один и тот же человек сказать и первое и последнее слово.

— А ваш Магомет? — И я тоже хочу получить прямой ответ.

— Наш великий пророк был еще осторожнее, — говорит Али. — Но он-то дожил до того дня, когда Аллах позвал его к себе. Хотя я не думаю, чтобы он был недоволен, если бы мы и на этом свете были счастливы, слишком уж долго иногда приходится жить в ожидании лучшего и терпеть много горя и нужды, сэр.

— Но что же нам делать с богачами вроде вашего короля или английского?

— Засыпать их золотом по горло, пока они не согласятся на другую жизнь.

— А если не согласятся? — Я развел руками — жест, который везде, от Северного до Южного полюса, означает: сам не знаю, что тогда делать!

Али остановился, как гончая перед глубокой рекой, но вдруг решился и своим тонким пальцем выразительно нарисовал в воздухе петлю и потянул за невидимую веревку.

Я спросил, не знает ли он другого способа: мне показалось, что этот самозванный судья действует что-то чересчур решительно.

Он напряженно думает, но, как видно, ничего другого ему в голову не приходит.

— Без насилия тут не обойтись, — говорит он. — Те, у кого все есть, сильны, но тех, у кого ничего нет, куда больше, а против муравьев и тигр не устоит. Но муравьи слепы, а человек боится смерти; даже если он верующий, все равно он не знает, что его ждет. Земля дана нам как прекрасный сад, и надо было бы только собирать плоды земные, так что правда на нашей стороне. Но многие маленькие люди предстанут пред Аллахом прежде, чем на земле победит их дело.

И вдруг он переменяет тему, видно, она показалась ему слишком опасной, и с особенным интересом, словно пастор у прихожанина, спросил меня, не думаю ли я сам вступить в брак, на что я торжественно отвечаю, что я ничем не лучше его товарища, который сначала женился, а потом пустился в плавание.

— Так что вашу девушку с мешками я искал исключительно для вас и ва-

ших товарищей, — твердо заявляю я, как подсудимый, настаивающий перед присяжными на своей невинности. Я вовремя удерживаюсь, чтобы не дать торжественную клятву.

— Мы так и поняли, — говорит Али успокоительно, и ни следа улыбки на его лице не видно. Потом он спрашивает, есть ли у меня дети.

— Шестеро, — говорю я.

Теперь, когда они убедились в чистоте моих намерений, можно упомянуть и о моих отпрысках.

Али передает эту новость своим друзьям, и по их лицам я вижу, что мой престиж у них возрос.

— И все дочери? — спрашивает он осторожно.

Такт не позволяет ему спросить о сыновьях, чтобы не сделать мне больно, если Аллах лишил меня наследников.

Но когда я им сообщаю, что у меня трое сыновей, они все хватают стаканы и залпом допивают воду, словно за здоровье моих детей.

— Жена, три сына и три дочери, — задумчиво говорит Али. — Да, вы не только знатный человек в этой стране, сэр, вы еще и счастливый человек, а это куда лучше, потому что знатного преследует мысль о виселице, а счастливому человеку ничто не угрожает. — И взглянув на третий стакан спиртного, который ставит передо мной Кортенаар, он вдруг спрашивает: — Зачем вы пьете эту огненную воду?

Я чувствую, что меня поймали с поличным, но было бы слишком неловко сознаться, что пью я ради удовольствия, поэтому приходится оправдываться:

— Знаете, когда у нас так сыро, так холодно, как сегодня, — начинаю я, но вижу, что его это объяснение вполне удовлетворяет.

— Значит, вы не для того пьете, чтобы голова закружилась, как пьют другие. Для вас это лекарство. Так я и думал. Наш Аллах пить запрещает, наверно, и ваш распятый тоже не одобрял пьянство, правда?

Священное имя Аллаха, как видно, вернуло его к нашим теологическим рассуждениям. Помолчав, он почтительно касается моей руки и смотрит на меня серьезными глазами.

— Сэр, — говорит он, — у нашего Аллаха нет ни сына, ни жены, ни отца с матерью. Он одинок. И никто не может изобразить его, потому что прежде, чем его увидеть, надо умереть.

После такого признания говорить уже было не о чем. Слова Али прозвучали как заключительный аккорд нашей азиатской симфонии, и я подумал, что пора мне собираться домой, иначе я пропущу последний трамвай. Кроме того, мне стало жаль Кортенаара: он с таким унылым видом стоял за стойкой в ожидании нашего ухода, чтобы опять впустить своих обычных посетителей.

Когда он принес счет, я еле удержал Али — он непременно хотел заплатить, и шесть рук, как щупальца осьминога, замахали над столом между мной и Кортенааром. Женатый что-то пробормотал, и Али, кивнув ему в знак согласия, подтвердил, что за всякий труд подается награда, но что последнее слово за мной — за белым человеком.

— И все-таки она живет где-то здесь, Кортенаар, — сделал я последнюю попытку, когда он пришел со сдачей, но не такой это был человек, чтобы зря разговаривать, и ответа я не получил.

Тем временем трое товарищей о чем-то совещались, видно, им не нравилось, что я уплатил по счету.

— Если вам хочется, выпейте еще стаканчик, только теперь за наш счет, — предлагает мне Али, но, спасая свою репутацию, я объясняю ему, что злоупотреблять огненной водой никак нельзя.

Али берет свой талисман со стола, вертит его во все стороны, словно не зная, куда его девать, и, подумав, прячет в карман своей куртки.

— Может, еще пригодится, — говорит он.

Молодая женщина у дверей накормила своего младенца, и сквозь небрежно застегнутую блузку просвечивает ее белая кожа. Мы проходим мимо, и Али

останавливается, словно современный Мельхиор, и задумчиво смотрит на спящего младенца — тот спит, сжав кулачки, а мать осторожно вытирает струйку молока, бегущую по его щеке. Товарищи Али становятся на цыпочки за его спиной и тоже робко смотрят на крошечного человечка.

— Лучшее время жизни,— говорит Али,— и тут, и в Афганистане, и во всем мире. Да хранит его Аллах, и пусть новая вера укажет ему путь.

— Не гляди ты сюда, образина,— шипит женщина и поворачивается спиной, словно защищая ребенка от дурного глаза. Али, ни слова не поняв по-фламандски, добродушно кивает.

— Букет забыли, господин,— говорит Кортенаар.

— Да, цветы,— повторяю беспомощно и я, не зная, что с ними делать.

— Для молодой матери,— решает Али.— Раз появился ребенок, значит, надо дарить подарки.— Он берет букет и осторожно кладет на стол возле женщины. Кортенаар смотрит на него с усмешкой, от которой у меня бежит мороз по коже.

Али окидывает прощальным взглядом унылое кафе, Кортенаара и молодую мать с младенцем и открывает двери торжественно, как первосвященник.

В лунном свете темный город похож на руины, и я решаю еще немного пройти с ними, чтобы они не заблудились.

— Жаль, что не нашли девушку, которая написала адрес на картонке,— говорю я. Они как будто уже примирились с этим, но меня все еще тревожит мысль о Марии.

— Да,— говорит Али,— она как отражение в воде. Дотронешься до него — и ничего нет. Или как блуждающие огоньки на болоте. Сколько за ними ни бегай, поймать их нельзя. Но вы сделали все что могли, сэр,— добавляет он с благодарностью. Он что-то говорит своим спутникам, и они подтверждают его слова такими красноречивыми жестами и мимикой, словно я воплощение Гарун-аль-Рашида.

— А вы и вправду верите в того распятого человека? — спрашивает меня Али.

— В наших краях все в него верят.

— Тогда, может быть, это он сделал так, чтобы вы не встретили ту девушку, потому что хоть вы и хороший человек, но сердце у вас горячее, а красивее ее никого на свете нет.

Неужто он хочет по-отечески оградить меня от искушения, или это просто ехидный намек? И я ищущи защиты в своем семейном положении.

— Я же вам сказал, что женат и что у меня шестеро детей.

— Вот именно. Может, вам ничего и не нужно, но все же плоть слаба, а та девушка прекрасна.

— Ну, а ваш товарищ, тот, который сначала женился, а потом ушел в плавание, он ведь тоже в нее влюбился. А я ее и не видел.

— Не важно, что вы ее не видели. Это даже хуже, потому что как она ни хороша собой, в мыслях она становится еще прекраснее. Мой женатый друг тоже перед ней не устоял, но Аллах велик, и тем, кто плавает по морям, прощаются много грехов.

— Да, жизнь моряка трудна,— говорю я сочувственно,— работа тяжелая, притом в любую погоду — и в бурю и в шторм.

— Нет, сэр,— смеется Али.— Все это не так, как представляют себе люди на берегу. Но на корабле женщин нет, понимаете, а вы можете каждый вечер возвращаться домой, к матери ваших шести детей. И может быть, ваш распятый нарочно стер следы той девушки, чтобы не вводить вас в искушение, и сделал ее невидимкой, чтобы никак нельзя было ее отыскать, даже с помощью того начальника из полиции, который знает местожительство всех людей. Видно, тот, кто сам себя распял на кресте, могучий чародей. И если он так сделал, значит, это хорошо, потому что мы вас предупредить ни о чем не могли, а вы с ней люди одного племени, значит, никаких препятствий для вас не существует — все смысл бы поток слов, понятных вам обоим.

— Может быть, вы еще увидите ее,— говорю я, чтобы перевести разговор от этих богопротивных рассуждений.

— Да, возможно, в следующий рейс, если понадобится чинить мешки. Но для нас, простых людей, будущее — закрытая книга.

И Али неопределенно машет рукой — очевидно, это означает, что только Аллах решает такие дела.

В сущности говоря, наш круг еще не замкнулся — впереди еще маячила Ланге Риддерстраат. Попробовать? Улица проходила поблизости, но мне вдруг показалась далекой, бесконечно далекой, как все недостижимые цели.

Между тем мы уже подошли к докам. Если они пойдут прямо по берегу, они неизбежно дойдут до своего «Дели Касл» и лягут спать. Заблудиться уже невозможно — дорогу указывают громадные туши мастодонтов-кораблей, дремлющих у причала.

Теперь, когда приблизился час расставания, я вдруг вспоминаю полицейский участок и упрек в глазах Али, когда он посмотрел на меня из-под черного шлема своих волос. И, словно нам придется еще встречаться годами, я выражаю надежду, что он больше не будет относиться ко мне с недоверием.

Он задумывается, словно проверяя свою совесть, чтобы ответить честно и правдиво.

— Недоверия к вам я не чувствовал, — говорит он медленно, — я усомнился только умом, но не сердцем.

Я желаю им счастливого плавания. И чтобы развеселить их на прощание, советую их женатому товарищу поменьше распространяться насчет этой девушки — все же у него есть жена, которую он оставил, чтобы уйти в море.

— Нет, он ничего не расскажет, — успокаивает меня Али, — хоть голова у него и пустая, но зато язык осторожный.

И после минуты молчания, когда мне уже нечего ему сказать, он говорит:

— Как для каждого наступит время умереть, сэр, так для нас наступило время расстаться с вами. Желаю вам счастья и здоровья в вашей туманной стране, желаю вам, чтобы росло число ваших сыновей, потому что тогда вас будут помнить и после вашей кончины. С большим вниманием смотрели мы на все, что вы делали, потому что в чужой стране человек должен быть осторожнее зверя в лесу, и мы увидели, что вы отнеслись к нам как к братьям, хотя мы и не из вашего народа. Вы не только отказались от всякого вознаграждения, но и сами заплатили за воду и огненный напиток, и мне долго пришлось спорить с вами, пока вы не взяли деньги за букет. И все это вы сделали для нас, потому что знали, что мы тут, в этом порту, чужие люди. Да, мы все поняли. И я вам очень благодарен, как и два моих друга, хотя они ничего сказать вам не могут. И если вам придется попасть на чужбину, я надеюсь, что ваш распятый пошлет вам встречу кого-нибудь, кто пойдет с вами, как вы пошли с нами, не жалуясь на дождь, ибо добрый чужеземец — как маяк в темной ночи. Теперь о той девушке. Если она вам встретится, сэр, расскажите ей, что мы побывали в лавке с клетками, где мужчина бросил ее записку на пол, и у важного чиновника, который поднял наши цветы с пола, и у человека, который мыл стаканы и напевал песню, скажите, что мы сделали все, что могли сделать человека ночью в таком городе, как этот ваш город. И пусть она следит — не пришел ли в порт наш «Дели Касл», потому что мы непременно вернемся, если наше судно уцелеет. И если ее не позовут на борт, пусть все равно приходит и подойдет к трапу, где один из нас непременно будет ее ждать. И мы привезем ей новые подарки, хотя те, первые, и оказались ни к чему. Но будьте осторожнее, иначе вам от нее не уйти. Поэтому лучше говорить с ней издали и не дотрагиваться до нее.

Я еще раз напоминаю ему, что, к сожалению, я с ней незнаком.

— Но вы знаете те слова, что она написала на бумажке, значит, вы можете навести о ней справки, сэр. А спутать ее с другими никак нельзя, потому что среди девушек, которые чинят мешки на кораблях, второй такой нет, как нет бога, кроме Аллаха, истинного и единого.

Он помолчал, уставившись в землю, словно раздумывая, что ему еще сказать, потом порывлся в карманах куртки и протянул мне пачку сигарет.

— Теперь, когда пути наши расходятся, вы не откажетесь...

Я беру подарок и говорю, что сохраню его на память.

— Нет, — возражает он, — надо их выкурить, не то они высохнут. Настоящим друзьям никакие памятки не надобны.

Этими последними, прощальными словами он как бы скрепляет наш кратковременный братский союз.

Еще одно рукопожатие, и они уходят. Расставшись со мной, они снова идут, по своему обычаю, гуськом, во главе с Али. Под первым же фонарем они останавливаются, словно зная, что я гляжу им вслед, машут на прощание рукой и скоро становятся мелкими букашками в бесконечности длинной набережной.

По дороге домой мне, в сущности, надо миновать и Ланге Риддерстраат и сворачивать с пути было бы непростительно. Ведь я же не совершаю никакого преступления, в конце концов, почему же мне и не пройти этой улицей, хотя там можно сломать шею.

Я повернул за угол — вот она, эта улица, — с одной стороны вся в лунном свете, с другой — в густой тьме. Который же теперь час?

Во всем нашем старом городе я не видел улицы мрачней и запущенней. Поколение за поколением бедняки тут ютились в зловонии, в лачугах, что едва держались. И никого не видать, никого не слышать в этот недобрый час. Только из нечищенных стоков поднимается вонь, от которой меня мутит.

В номер семьдесят первый ведет ветхая дверь, окно наполовину забито досками, со стен облупилась штукатурка, из-под крыши торчит, как виселица, ломаная водосточная труба, и из нее еще капают последние слезы дождя, который помешал мне дойти до моего привычного бара.

Постучать, что ли, спросить от имени Али ту Марию, которая приходила чинить мешки на «Дели Касл»? Я ни на минуту не усомнился, что она живет именно тут.

Брось, старый греховодник, хватит. Пусть она спокойно докуривает свои сигареты и мечтает о шали, о баночке имбирных сладостей. Уходи отсюда, может, тебе за это простится ночная погоня за приключениями.

А главное — не надо думать о Бомбее, о Фатьме, искать ее гнездышко, главное — вернуться домой со своей газетой, сидеть смирно в семейном кругу, среди тех, с кем я связан нерушимыми узами и с кем мне невыразимо, несказанно скучно.

Я снова вспоминаю Али, и в памяти всплывает старая песенка:

Adieu, adieu!
I cannot longer stay with you,
I hang my harp on a weeping willow tree
And may the world go well with thee*.

Да, братья, пусть вам хорошо живется на свете. И пусть Аллах хранит вас в пути, на суше и на море, и приведет вас снова в родные ваши горы, откуда вы пришли. А что касается Марии и Фатьмы, то не будем терять надежды, ибо пути господни неисповедимы.

* Прощай, прощай!
Нельзя остаться мне с тобой,
Повешу арфу на плакучей иве,
И пусть весь мир придет к тебе с Добром (англ.).

Перевела с фламандского Р. Райт-Ковалева.



ПУБЛИЦИСТИКА

Л. КАРПИНСКИЙ

★

НОВАЯ РАБОЧАЯ АРЕНА

(Научно-техническая революция и советский рабочий класс)

Жогда речь идет о фактах и процессах, объединенных в понятие научно-технической революции, пожалуй, нет другой такой истины, которая бы подвергалась столь бойким «опровержениям» со стороны идеологов буржуазии, как учение научного коммунизма об исторической роли рабочего класса. Поэтому с самого начала нам кажется уместным заявить то, что, в сущности, должно быть выводом: научно-техническая революция и рабочий класс, современный технологический переворот и историческая миссия пролетариата — естественные союзники, совпадающие силовые линии человеческого прогресса.

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

Техника, к счастью, не наделена способностью целенаправленно уподоблять себе человека. Но нет сомнений также и в том, что орудие труда как бы «задает» свойства и определяет образ действий работника. А это, разумеется, отражается на всей совокупности вырастающих из производства общественных контактов. В. И. Ленин великим приемал и пропагандировал изречение: «Век пара — век буржуазии, век электричества — век социализма». Техническое детерминирование, несмотря на его ограниченность, обладает и определенными преимуществами. Какова «матрица» — таковы, в конечном счете, и «оттиски». Поэтому социологи, заранее говорив упрощение, вправе предлагать для анализа следующий срез взаимосвязей: орудия труда — производственные функции рабочих — группы рабочих по содержанию труда — исходные социальные характеристики рабочих¹.

Изначальная механизация труда, типичная для простого фабричного производства, так называемая трехзвенная система машин (двигатель — передаточный механизм — рабочая машина), освободив человека от тяжелого физического и отчасти ручного труда и повысив его производительность, во многом лишила сам труд рабочего человеческого содержания. Ликвидируя известные преимущества мануфактурного образа действий, связанные с ценностью индивидуального вклада рабочего, простое машинное производство усугубляет и технически закрепляет развитое в той же мануфактуре уродливое разделение труда. «Частичный» рабочий, привязанный к обособленной операции и ограниченный ею, изнуряется и вследствие усталости действий, и в результате крайней симплефикации (упрощения) технологических функций, которые носят монотонный, однообразный характер. «С применением машин и движущей силы пара, — писал Ф. Энгельс, — ...деятельность рабочего облегчается, мускулы напрягать не приходится, а сама работа становится незначительной, но зато в высшей степени однообразной. Она не дает рабочему пищи для духовной деятельности и все же требует от него столь напряженного

¹ Схема предложена и применена в исследованиях пермским социологом Г. П. Козловой. См. «Социальные проблемы труда и производства». Москва—Варшава. 1969, стр. 305.

внимания, что он не должен думать ни о чем другом, если хочет ее хорошо выполнить»².

Суровая закономерность состоит в том, что эффективность машинного производства, независимо от общественных условий его развития, достигается не иначе как путем все более узкой специализации. Поэтому многие советские и зарубежные исследователи фиксируют «обремененность» индустриализации «рядом негативных черт», скрытых в самих ее технологических принципах, а именно — свойственный ей «дегуманизирующий, нетворческий характер труда»³. Поскольку в первой половине XX века человечество не располагало более высокими и совершенными принципами промышленного производства, чем индустриальные, эти черты сохранились и в ходе индустриализации нашей страны.

Не стоило бы описывать эти недостатки индустриальной технологии только ради того, чтобы в который раз погоревать о превратностях человеческого прогресса. Об этом говорил, наблюдая «торжествующую» фабрику, еще Шиллер, когда он в своих «Письмах об эстетическом воспитании человека» сожалел о превращении трудящегося в «лишь частично действующее» существо. На это же указывает и Норберт Винер: «Общество людей является гораздо более полезной вещью, чем общество муравьев, и если человека ограничить и приговорить к выполнению постоянно одних и тех же функций, то он не будет даже хорошим муравьем, не говоря уже о том, чтобы быть хорошим человеком». Известно также, что Дж. Бернал считал «одним из худших следствий первой промышленной революции: использование человека в качестве мозгового придатка машины».

Само собой разумеется, социализм как общественный строй полон стремления освободить рабочего от технического «приговора» индустриализации. Социалистическая революция мобилизует социально-экономические и нравственные возможности нового общества для того, чтобы восполнить узость и однообразие технологических действий рабочего у станка. Однако, как отмечают социологи, поиск «компенсирующих средств» за пределами унаследованной фабричной формы производства не отменяет самого наследия. Технологический способ производства обладает относительной независимостью от общественного, и техническое состояние до конца оспаривается только техническим развитием.

Следовательно, еще и теперь есть не только принципиальное соответствие, но и известное расхождение между общественной ролью и производственным положением рабочего. Черпая в индустриальном производстве условия своего подъема, рабочий вынужден одновременно превозмогать некоторые свойства этого же производства и вести борьбу за всестороннее развитие своей личности против собственного статус-кво «частичного» работника. Недооценка этого исторического «зазора» была бы непростительной.

Что несет современный технологический переворот для ликвидации «зазора»? Насколько он способен снять конфликт, преобразовать производственное положение рабочего в такой степени, чтобы его фабричное бытие целиком отвечало общественному?

Суть современной научно-технической революции, запечатленная в самом термине, связывается, во-первых, с превращением науки в непосредственную производительную силу общества («индустриализация» науки) и, во-вторых, с автоматизацией и кибернетизацией производства («онаучивание» производства). Именно эти черты с самого начала отличают современный технологический переворот от первой промышленной революции XVIII—XIX веков. Отсюда, вообще говоря, легко прийти к выводу, будто научно-техническая революция касается главным образом или даже исключительно интеллигенции⁴. Цифры, отражающие скачкооб-

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 352.

³ См., например, В. Е. Судьбин, «Проблема формирования духовного мира личности при социализме в условиях научно-технической революции». В сб. «Научно-техническая революция и общественный прогресс». М. 1969, стр. 288—289.

⁴ При этом под интеллигенцией в данном случае имеется в виду то, о чем писал в свое время В. И. Ленин: «Я перевожу словом интеллигент, интеллигенция немецкие выражения *Literat, Literatentum*, обнимающие не только литераторов, а всех

разно возрастающую численность и роль интеллигенции, действительно впечатляют. Приведем только некоторые. Количество рабочих и служащих в СССР увеличилось с 1928 по 1966 год в 6,3 раза, а работников науки и научного обслуживания — в 33 раза. В 1940 году на одного работника, занятого в сфере науки, у нас приходилось 36 работников промышленности, в 1960 году это соотношение составило 1:12, а в 1966 году 1:10. На одного инженерно-технического работника в промышленности СССР в 1928 году приходилось 27—28 рабочих, а уже в 1966 году 7—8. Число научных работников в Западной Европе возрастает вдвое каждые пятнадцать, в США — десять, в СССР — семь лет. В химической и ядерной промышленности инженерно-технические кадры составляют от 50 до 60 процентов всех трудящихся.

Такова объективная закономерность, по поводу которой теоретическая мода упражняется в некой социальной бухгалтерии. В результате упражнений рабочий остается «в накладе». Появляется миф о «депролетаризации» промышленности.

Мифу противостоит реальная динамика занятости населения развитых стран. Она показывает, что технологическое применение науки осуществляется не само собой, а именно людьми, среди которых рабочие уже не составляют (и тем более не составят) исключения. В конечном счете рабочий класс не оттесняется и не вытесняется новым технологическим переворотом, а приобщается к нему в качестве его проводника и носителя. Броские перемены, касающиеся интеллигенции, постепенно сливаются с «грузными», но фундаментальными сдвигами в рабочей толще. Преобразования лишь на первых порах падают на особый слой общества. В дальнейшем их коренным следствием не может не быть развитие интеллигентности как всеобщего состояния и универсального принципа деятельности всех социальных групп, включая рабочих.

Обоснованию этого прогноза посвящено у нас значительное число исследований и статей, а также уже немало крупных социологических работ, среди которых в первую очередь можно назвать книгу В. В. Кривеневич «Влияние научно-технического прогресса на изменение структуры рабочего класса СССР»⁵. В этой книге не только приведены данные за последние десять лет по всем основным отраслям промышленности страны, но и выработано плодотворное представление о сущности квалификации. Квалификацию рабочих, основу которой составляют узкопрактические навыки либо ручного, либо специализированного труда при машинах, автор называет квалификацией старого типа. Квалификацию, которая определяется прежде всего уровнем общих и технических знаний рабочего и связана по преимуществу с умственной деятельностью, он относит к квалификации нового типа (см. там же, стр. 29).

Определенной иллюстрацией к различию между двумя типами квалификации могли бы послужить следующие исторические эпизоды.

В апрельскую ночь 1919 года, когда родился первый коммунистический суботник, машинист депо Яков Кондратьев долго выколачивал заржавевший шкворень рессоры паровоза. На помощь пришел молодой здоровяк Андрей Каракчев. Отодвинул Кондратьева плечом: «Видно, рессора тебя не боится, знает, что силенки маловато...» Поднял кувалду и с четвертого удара выбил шкворень. Решала квалификация мускулистой руки.

Полвека спустя после этой апрельской ночи 1919 года в числе лауреатов Ленинской премии была названа фамилия слесаря Харьковского тракторного завода Ивана Павловича Смирнова. Его метод горячей накатки шестерен признавался важным вкладом в технологию производства. К рабочему месту слесаря началось паломничество специалистов. Бралась консультация, снимались фильмы, делались расчеты. На основе изобретения рабочего научные институты разработали серии новых механизмов. Сам Иван Павлович долгие ночи просиживал над чертежами и книгами. Решала квалификация научного знания.

образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker, как говорят англичане) в отличие от представителей физического труда» (Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 309).

⁵ М. «Наука». 1971.

Есть принципиальная разница между рабочим, располагающим сильными или умелыми руками, и рабочим с логарифмической линейкой и книгой в руках.

Труд токаря-операционника на 83 процента складывается из затрат физической и лишь на 10 процентов — умственной энергии. Умственная работа сборщика на конвейере (имеются в виду, конечно, только требования самих операций) вообще сведена до минимума и не поддается учету. Поэтому о конвейерном труде иногда говорят как о «вакууме мысли». Резкие изменения в этих пропорциях связаны с внедрением и развитием автоматизации производства. При частичной автоматизации за рабочим еще сохраняются некоторые функции по обработке, установке и съему изделий, свойственные квалификации старого типа. Однако уже автоматическая линия, как правило, радикально изменяет содержание труда рабочего.

Оператор-формовщик, работающий на автоматической линии завода Ростсельмаш, приводит пример В. В. Кривневич, почти 90 процентов времени затрачивает на наблюдение за ходом технологического процесса и на управление им с пульта, то есть занят умственным трудом. Из 420 минут смены его рабочее время распределяется следующим образом: на прием и сдачу смены и прием линии приходится 2,7 процента, на активное наблюдение за технологическим процессом и на управление с пульта — 83,6, на служебный разговор с мастером и наладчиком — 3,2. Преимущественно физическим трудом он занят всего 6,82 процента рабочего времени, из которого 6,76 процента идет на уборку рабочего места и не имеет непосредственного отношения к технологическому процессу.

Но умственный труд, если судить о его специфике только с точки зрения особых «энергетических» затрат, вопреки особой смысловой нагрузке, которая часто возлагается на эту категорию, еще не является достаточным признаком новой квалификации, полным выражением ее сущности. Для выяснения последней попытаемся наглядно представить себе действие автоматизированной установки непрерывной разливки стали (УНРС) на Горьковском металлургическом заводе.

В границах этого шестизэтажного «дома», как бы опрокинутого на двадцативосьмиметровую глубину, автоматизировано все — от подачи жидкого металла в горловину до укладки в аккуратные штабеля готовых слэб у ворот цеха. На этажах можно встретить группы б е с е д у ю щ и х рабочих смены. То, что в обычном производстве сочли бы непростительным простое, здесь именно работа в форме технической дискуссии. Пока три с половиной часа идет разливка стали, рабочие в основном наблюдают. Когда механизмы кончают свою работу, люди начинают свою: либо обсуждают и выясняют готовность механизмов к приему очередной порции стали, либо практически «лечат» их. Повсюду напоминания: «Сообщи смене о неисправности оборудования и механизмов». Здесь это не формальная дань наглядной агитации. Передача и прием смены как раз и предполагает коллективный анализ состояния оборудования, средств устранения неполадок, способов выполнения новых заданий.

Существенное обстоятельство, ясно намеченное в обслуживании такого автоматического оборудования, относится, как можно заметить, не к умственному труду вообще, а к образу действий работника и особенностям его связи с машиной. Человек перестает быть частью технической системы, приходит конец его жестокому симбиозу с орудием труда, характерному для простого машинного производства. Рабочий как бы «выхватывает» себя из металлических оков процесса, у него появляется «свободное время» в рамках рабочего времени, образуя реальное пространство для качественно иной деятельности. На протяжении всей предыдущей истории техники и форм труда человек безотрывно держал инструмент труда либо в руке, либо в «уме». Автоматизация, напротив, предполагает а в т о н о м и з а ц и ю. Автономно действующие технические системы требуют лишь спорадического вмешательства человека.

В отличие от наивных представлений о всеобщей неге на перине «кнопочной цивилизации» реальное развитие предсказывает нарастание работы. Но работы, равной творчеству. Вполне вероятно, что дистанция между трудом на разных ступенях автоматизации (частичной — комплексной — полной) в своем роде не мень-

ше той, что отделяет удар кувалдой от чертежа современного новатора. Однако это совершенно иная дистанция. Речь идет уже не об избавлении от тяжелого физического труда, а об обогащении умственного, не о сокращении рабочей нагрузки, а о ее преобразовании.

С расширением машинно-автоматического времени задачей рабочего становится наблюдение. Именно на этом реально достигнутом сегодня уровне автоматизации и происходит вычленение рабочего из технологического цикла. Так называемое «интенсивное» наблюдение еще предполагает известную монотонность трудовых операций. Однако уже «общее наблюдение», характерное для следующего этапа автоматизации, позволяет рабочему сосредоточиться на нециклических (творческих) затратах умственной энергии. Исполнительское действие уступает место оценке ситуации и выработке решения. «По существу, например, у наладчика, — замечает Г. П. Козлова, — отсутствует множественность функций, у него лишь одна функция — наладка. Однако у этой функции синтетический, сложный характер. Она складывается из многих элементов, группирующихся каждый раз в новых сочетаниях аналогично функциям инженерно-технического персонала»⁶.

Постепенный выход рабочего за пределы окостеневших технологических функций и традиционного арсенала уже освоенных приемов труда и мышления, в свою очередь, предьявляет к нему требование многое знать и широко мыслить, ориентироваться во всей совокупности систем, ясно представляя их связь и взаимодействие. Производственное мышление нового рабочего по необходимости становится достаточно абстрактным, чтобы охватить общие закономерности и свойства технологических процессов и общие конструктивные принципы машин.

Новая квалификация получает реальное воплощение в новых профессиях и новых профессиональных комбинациях. Имеются в виду прежде всего опережающие темпы роста трех профессиональных групп современного рабочего класса: операторов, ремонтников, наладчиков.

Так, в течение 1965—1970 годов среднегодовое увеличение числа рабочих, занятых наблюдением за автоматизированными установками в машиностроении и металлообработке, составило около 33,5 процента, то есть в 5,5 раза превосходило среднегодовой прирост всего количества рабочих отрасли. Одновременно изменения профессиональной структуры на предприятиях машиностроения характеризуются сокращением доли формовщиков старой квалификации, кузнецов на молотах, прессах и ручной ковке, штамповщиков по горячей обработке металлов, станочников почти всех специальностей. Таким образом, в профессиональном составе отрасли неуклонно пробивает себе дорогу квалификация нового типа.

Те же векторные линии действуют в химической промышленности. Количество аппаратчиков у щитов автоматического управления увеличивается в два с лишним раза быстрее, чем общее количество аппаратчиков — основной технологической профессии отрасли. Автоматизация освобождает аппаратчика от ручной загрузки сырья и выгрузки полупродуктов, от ручного управления аппаратом, отбора проб. Переходя к дистанционному управлению с помощью контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, он затрачивает 90 процентов сменного времени на умственные операции, связанные с притоком сложной информации и необходимостью принимать самостоятельные решения. «Эта деятельность, — констатирует В. В. Кривневич, — требует большой аналитической и синтезирующей работы мозга... Это значит, что автоматизированное производство ломает исторически сложившиеся представления о рабочем как человеке преимущественно физического труда»⁷.

Подобное же умозаключение было бы вполне уместным при описании таких новых профессий, как оператор непрерывной разливки стали — в металлургии, машинист бурового агрегата или горнопроходческого гидромобайна и гидрокомплекса — в угольной промышленности, регулировщик поточных линий по

⁶ «Социальные проблемы труда и производства», стр. 326—327.

⁷ В. В. Кривневич. Влияние научно-технического прогресса на изменение структуры рабочего класса СССР, стр. 168.

разделке сырья, по сортировке и упаковке фанеры — в деревообрабатывающей промышленности.

В новых профессиях отражается ключевая закономерность научно-технической революции, которую можно было бы определить как передислокацию трудовых затрат непосредственного производителя. Центр тяжести выполняемых работ переносится с непосредственного управления механизмами на их монтаж, наладку, ремонт и переориентацию для выпуска новой продукции.

Но логика новой техники ведет к постепенному совмещению функций, которые до этого выполнялись порознь оператором и наладчиком. Стержнем профессии широкого профиля, господствующим направлением свойственных ей трудовых затрат становится именно наладка. Что такое, далее, ремонтные работы, если опять-таки не наладка — либо вместе с ремонтом, либо в форме того же ремонта? Это обнаруживается во всех ситуациях, когда при испытании отремонтированного оборудования слесарю-ремонтнику высокого класса приходится выполнять большой объем контрольно-проверочных и регулировочных операций. В 1965 году удельный вес ремонтной группы в общем числе работающих составлял в целом по промышленности 11,2 процента. В 1970 году доля ремонтно-наладочного персонала достигла в химической промышленности примерно 25, а в целлюлозно-бумажной — 50 процентов.

Сама наладка и ремонтные операции (которые все чаще связаны с ней), в свою очередь, весьма близки к конструированию и при определенных условиях органически переходят в высшие формы технического творчества. Эти условия также заложены в эволюции «века электричества». Выделим в ряду новых задач рабочего монтаж и переориентацию оборудования на выпуск новых изделий. Именно эти задачи, поглощая растущую часть трудовых усилий, рассеивают весьма распространенное убеждение, будто автоматизация связана с творческим поиском лишь в том случае, если она «плохая», ненадежная автоматизация. Выходя из строя, машина действительно устраивает человеку экзамен. Однако экзаменуют не только эти аварийные случаи.

От мустьерских орудий до создания специализированных инструментов прошло около пятидесяти тысяч лет, но и путь от первых машин до начала автоматизации занял не менее двухсот лет. Ныне же темпы технического прогресса настолько быстры, что в отличие от прошлых поколений современный производитель является участником неоднократных перестроек в технике производства и особенно обновления номенклатуры изделий. Так, о половине или даже большей части изделий, которые появятся в экономически развитых странах в будущем десятилетии, сегодня мы вообще не имеем никакого представления. Эта константа перемен уже теперь является важным условием процветающей экономики.

Ни одна адаптивная машина, будь у нее «на плечах» самая что ни на есть премудрая кибернетическая «голова», способная на ходу сама себя исправлять и действовать по меняющейся программе, не избавит своих создателей от неустанного поиска новых решений в новом эксперименте. Производительные коллективы, по мнению социологов, примут форму ассоциаций «теоретиков и экспериментаторов», которые совместно планируют труд и совместно наращивают общие и индивидуальные способности к его эффективному продолжению.

Вместе с тем мы имеем право говорить не только о непосредственно автоматизированном производстве, но также о производстве, которое развивается как целое в условиях автоматизации и технологического применения науки. Серийное производство все еще выглядит воплощением однообразия и повторяемости. Так оно и есть, пока берется только его текущий момент, некий отработанный режим. Но задумали шагнуть вперед — и под «чехлом» монотонного трудового процесса открывается второе вполне постоянное «производство»: производство самих перемен, фабрикация новизны. На крупном машиностроительном предприятии за год реализуются десятки серьезных технических усовершенствований и тысячи «модернизаций», осуществляется многократная переориентация на выпуск новой продукции. Однако в отличие от серийного изготовления изделий, где все

последующее является унылой копией предыдущего, серия перемен каждый раз предполагает «группировку в новых сочетаниях», решение нестандартных задач.

В соответствии с расслоением потока современной производственной деятельности по двум разным рукам как бы раздваивается и структура предприятия. Под сводами традиционного производственного аппарата, приспособленного к исполнению текущих программ, повсюду возникают подвижные, так сказать, сборно-разборные организационные «конструкции». Разнообразные творческие объединения (комплексные бригады, целевые группы и т. п.) растут параллельно обычной штатной пирамиде, постоянно нарождаясь и «демонтируясь» только для того, чтобы сформироваться заново в иной комбинации и во имя новой цели. Такие объединения являются проводниками технического прогресса не случайно: наиболее точная реакция на сложность «второго производства» — способность благодаря свободной комбинации нужных людей и внутренней мобильности гибко и плотно облегать его капризную конфигурацию. Преимущества творческих объединений хорошо оценивают сами производственники: «Сильны коллегальностью специалистов и рабочих: ты предлагаешь свое, он — свое, а вместе вышло».

Мы замечаем, что работа в форме технической дискуссии начинает завоевывать позиции не только около автоматизированных установок.

Кажется, что рабочий-рационализатор изобретает лишь для того, чтобы эффективнее фабриковать. На деле же он продолжает фабриковать, ощущая высший смысл своего заводского бытия в том, чтобы изобретать. Перемены фиксируются и в количественных данных: за последние пятнадцать лет резко возросла рабочая доля в рационализаторстве, на многих предприятиях она сравнялась с долей инженерно-технического персонала.

В целом к концу 60-х годов около одной трети современных советских рабочих обладали квалификацией, непосредственно отражающей творческий запрос современного технологического переворота. Таким образом, научно-техническая революция вновь отрицает предыдущее отрицание — результаты первой промышленной революции XVIII—XIX веков, подорвавшей роль личного мастерства рабочего. Разумеется, речь идет не о реставрации старого искусства и былой «виртуозности» ручного труда.

Кисть медлительного художника все еще рисует портрет мускулистого рабочего. Для художника типичными признаками его героя все еще остаются шары бицепсов, грубая роба, тяжелые башмаки, молот кузнеца или пика сталевара. Человеческое лицо, самой природой предназначенное выражать работу мысли и переливы чувств, все еще заставляют отражать напряжение рук и утомление тела — физическое напряжение (последнее, конечно, можно подать и в мажорных тонах). Таково художественное осмысление пройденного рабочим исторического пути и в какой-то мере фиксация его нынешнего состояния.

С точки зрения движения важнее оказывается другой образ. Помните скульптуру Родена «Мыслитель»? Человек в глубоком раздумье, мускулистая рука подпирает голову. Чувствуется работа мысли. Натруженная рука и думающая голова, соединенные вместе. Многим революционерам, попадавшим из России в Париж, В. И. Ленин настойчиво советовал посмотреть в Люксембургском музее знаменитую скульптуру.

Идея, подмеченная в роденовском изваянии, постепенно реализуется в разных жизненных процессах и с разных сторон.

Квалификация традиционного индустриального типа требует прежде всего практического навыка, выучки, стажа; общие знания лишь прилагаются к специальным. Теперь же, напротив, профессиональная подготовка рабочего все чаще зависит от общеобразовательной. Производительная способность и образование перестают противостоят, а иногда уже и отличаться друг от друга как разнородные понятия. Статистика относит 30—40 процентов наших рабочих именно к такого рода новым специалистам. Советский философ Э. А. Араб-Оглы пишет по этому поводу: «Быть образованным — это на протяжении долгих веков означало то же самое, что быть непроектируемым... Научно-техническая революция про-

извела подлинный переворот в экономической и социальной функции образования: теперь уже, наоборот, остаться необразованным — равносильно тому, чтобы быть малопродуктивным, а нередко вообще излишним для производства»⁸.

В известных границах — в границах новой квалификации — можно говорить о прямом влиянии образования на производительность труда. Вместе с тем в таких важных моментах, как техническое творчество, качество продукции и уход за оборудованием, внедрение элементов научной организации труда на рабочем месте, уровень образования всегда играет первостепенную роль. Например, в группах рабочих с образованием девять-десять классов (и выше) доля рационализаторов в два-три раза больше, чем среди имеющих образование до восьми классов. Средняя экономическая эффективность деятельности одного рационализатора с образованием пять-шесть классов (Свердловский турбомоторный завод) составляет 100 рублей, с образованием десять-одиннадцать классов — 168 рублей, со среднетехническим образованием — 204 рубля.

Кто эти рабочие, свободно дискутирующие о тайнах технологической утробы автоматического агрегата, участники повседневных совершенствований в поисковом союзе с инженерами и учеными? Интеллигенция — от латинского «мыслящий», «понимающий». Куда же следует отнести тех непосредственных производителей, которые сегодня применяют техническую мысль и теоретические знания в качестве прямого орудия своего труда и заняты умственной деятельностью достаточно профессионально? Речь идет о сущности, а не о специфике деятельности.

Логика вопроса возвращает к его исходным посылкам. Если верно, что все большая часть общественных богатств производится в сфере экспериментально-творческой деятельности, то безусловно и постепенное расширение этой сферы в труде рабочего. Если правильно, что физический и бессодержательный механический труд уходит в прошлое, то несомненно и другое: он начинает уходить в прошлое также и самого рабочего класса.

Именно эта тенденция отчетливо выявляет истощение лимитов капиталистического прогресса, основанного на прямом (грубом) или косвенном (замаскированном) отделении духовных потенций производства от непосредственного производителя, на долю которого остается страдательное действие под бичом внешней дисциплины. Крепостная мануфактура не спасла феодализм, ибо не посчиталась с необходимостью свободных рабочих рук. Бюрократическое самодержавие монополий не способно «трансформировать» капитализм в нечто абсолютно жизнеспособное, ибо не дает и не может дать раскрепощения духа, свободную рабочую личность. Освобождение труда в этом, высшем смысле — историческая задача социализма.

Подспудные процессы почти всегда прорываются в частном явлении, дают наглядный выход. Прямой результат «онаучивания» производства в условиях социализма зафиксирован в становлении особого слоя, названного в нашей литературе рабочими-интеллигентами. Иногда о них говорят как о «пограничном слое» не в смысле промежуточной нейтральности, а с точки зрения сочетания признаков обеих социальных групп. Именно в этом слое воплощено значение интеллектуальной вооруженности современного труда. Иначе говоря, если раньше интеллигенция рекрутировалась из среды рабочих, так или иначе покидая эту среду и переходя в иную социальную группу, то на этот раз рабочий обретает образ интеллигента, сохраняя за собой свое «классовое место».

Перевоплощение образа кажется опровержением его коренного смысла. Теоретическая догма шумно оплакивает былую «ясность», теоретическая мода толкует о некоем «замещении» ролей. Тут обнаруживается, что мода, по сути дела, не идет дальше самых заскорузлых догм. Между тем нет ничего фальшивее, чем принимать растущую интеллигентность нового рабочего за ослабление его классовых качеств.

Противопоставление — дело нехитрое да и не новое. Отдельные исторические черты рабочего образа выхватываются из контекста истории, его вчера раз-

⁸ «Научно-техническая революция и общественный прогресс», стр. 28.

дуается против его сегодня, его сегодня — против его завтра, состояние — против движения, первые штрихи и промежуточные наброски портрета — в противоположность портрету. По такой логике кувалда, взятая в мускулистые руки апрельской субботой 1919 года, должна «ударить» не иначе как по рукам с книгой и логарифмической линейкой.

В отличие от догматического стремления расфасовать и законсервировать действительность по клеточкам абстрактной социальной сетки, научный подход принимает во внимание динамику общественных групп, схватывает «сквозную» их исторического развития, включая изломы и повороты пути, способность к перифразам, к сбрасыванию и смене внешних форм, к обновлению образов. Классовый подход является одним из главных преломлений материалистического понимания истории и потому обязан считаться с движением классов как с естественно-историческим процессом.

Объективный анализ требует не догматизировать определения и не пытаться опрокинуть аксиомы бойким взмахом тщеславного пера, а добросовестно сверять теоретические формулы с ходом времени: отныне интеллигенция не только пополняется из рабочих как особая прослойка, но и начинает расти как передовой слой самого рабочего класса.

Характерна и другая, встречная линия. Существенно не то, что в начале научно-технической революции растет группа специалистов, деятельность которых не связана с функцией управления людьми и по уровню квалификации не многим отличается от труда рабочих. Дело также не только в том, что в наиболее автоматизированных отраслях промышленности — химической, нефтеобрабатывающей, электротехнической — ответственные рабочие места все чаще переходят к исполнителям из числа инженеров и техников. Важно иное перемещение, в результате которого огромная армия специалистов «заводского сектора» науки оказывается включенной в крупные производственные коллективы. Непрерывно растут сопряжения науки и производства, где способ действий — коллективность, концентрация и организация труда — сближает научный коллектив с рабочим. Налицо уточнение границ между полем науки и полем производства, вернее, перепашка межей, оставленных на этом поле со времен первой промышленной революции.

Пользуясь зарубежной терминологией, рабочий все чаще примеряет «белый воротничок» специалиста, а специалист проводит трудовой день в «синем воротничке» рабочего. Социологи констатируют рождение новой социальной сетки развитого социализма, где центральной фигурой производителя становится фигура квалифицированного рабочего, инженера, ученого; вместо старого разделения труда возникает распределение деятельности, связанное с уровнем образованности, характером трудовых операций, формами участия в управлении. Революционно-созидательный потенциал рабочего класса нарастает и от его собственного восхождения к умственному труду, и благодаря вхождению (также восхождению!) традиционных слоев умственного труда в рабочий образ, в организованный строй рабочих рядов.

МОЗАИКА ЖИЗНИ

Несколько лет назад известный советский философ профессор Г. М. Гак писал: «Рабочему не грозит самообольщение хотя бы уже потому, что о продукте своего труда он не может сказать, что его сделал только он один: это продукт коллективного труда. Несколько иначе обстоит дело в интеллектуальном труде, продукт которого имеет свое обязательное авторство». Профессор, несомненно, намеревался отозваться о рабочем с похвалой. Однако изобразил его действительные достоинства весьма своеобразно. Вышло, что спасение от «самообольщения» или от «гипертрофирования личного начала» состоит в бездуховности труда и анонимности действий. Здесь один известный профессор повторил другого не менее известного — А. Гастева, который, отдавая дань пролеткультовской моде, с откровенным восторгом говорил о «поразительной анонимности» пролетарской

психологии и бодро квалифицировал «отдельную пролетарскую единицу» как «А, Б, С или как 325, 075 и 0 и т. п.».

Но вот свидетельство, прямо противостоящее только что приведенным суждениям. Главный инженер одного из рязанских заводов И. Литт обращает внимание на типичное стремление современных рабочих: «Почти во всех выступлениях жила еще одна мысль: никто из рабочих не хочет быть безликим, никто не хочет потеряться в общей людской массе. Каждый хочет быть индивидуальным. Как в опере — каждый хочет быть солистом, как в спорте — каждый стремится занять на пьедестале почета первое место».

Два взаимоисключающих взгляда. Само их существование говорит не только о сравнительных способностях людей понимать язык жизни, но и о наличии сложного процесса, в котором должны быть предположены крайние точки.

Здесь уместно привести одну таблицу. Данные о распределении рабочих нашей промышленности по признаку механизации их труда рассчитаны в первой половине 60-х годов, то есть в тот же период, к которому относится начало разрывания процессов научно-технической революции⁹.

Ручной труд

| | |
|--|------|
| 1. Непосредственно плохо поддающийся механизации | 16,8 |
| а) сборочно-монтажные занятия | 6,4 |
| б) ремонтные занятия | 10,4 |
| 2. Непосредственно поддающийся механизации | 38,6 |
| а) тяжелый неквалифицированный | 15,5 |
| б) тяжелый квалифицированный | 5,4 |
| в) прочие занятия | 17,7 |

Механизированный труд

| | |
|---|------|
| 1. Посредством приводного инструмента | 2,6 |
| 2. Посредством машин | 42,0 |
| а) неавтоматы | 7,2 |
| б) полуавтоматы и автоматы | 34,8 |

Эти данные вполне проясняют, почему, бросив нетерпеливый взгляд на определенный пункт в начале таблицы и выхватив его в качестве единственного аргумента, громко произносят: «А есть ли вообще она — научно-техническая революция?» Подобный вопрос имеет точно такие же основания, как и некий априорный оптимизм, почерпнутый только из противоположных явлений действительности и изображающий прогресс в виде самодовольной прямой, не знающей отступлений.

Историческая линия класса не сводится к отдельным ее «отрезкам», но и не существует без них. Новые общественные условия труда не устраняют сразу, в один прием, сложившееся в нем техническое разделение, подобно тому как, предположим, революционное восстание не меняет тут же архитектуру города. Развитие материально-технического остова производства имеет свои строго последовательные стадии, которые нельзя ни перескочить, ни обойти. Начало века социализма пришлось на начальные же шаги «века электричества». Еще и теперь промышленное производство в стране представляет из себя весьма мозаичную картину. Группа рабочих маломеханизированного труда — это, главным образом, наследие производства прошлого; группы механизированного труда — наиболее типичное и массовидное в производстве настоящего; группы управления и обслуживания автоматических линий представляют производство будущего.

Своеобразное «наложение» одного на другой разных этапов развития техники промышленного производства, «смешение» в нем сегодня качественно различных элементов отмечают все наши авторы.

⁹ См. Я. Б. К в а ш а. Статистика новой техники М. 1966, стр. 49.

Факт смешанной (разнокалиберной, построенной из разного материала) производственной действительности — вещь гораздо более серьезная по сравнению с каким-нибудь нейтральным соседством элементарно несовпадающих моментов. В таблицах разные формы техники и труда независимо располагаются один около другого, или после другого, или рядом с другим. В действительности они многократно переплетены. Красная нить развития вшита в общую ткань состояния. Смешанный процесс есть по-своему целостный процесс, особая качественная (алгебраическая, но не арифметическая) определенность, полная упругих взаимосвязей, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний.

Следовательно, фактическое течение такого процесса есть всегда «возмущение» сторон, всегда выбор, предпочтение. Из совокупности неодинаковых возможностей, имеющих в смешанной производственной основе, благодаря определенным решениям отцеживаются, фиксируются и уплотняются в однозначную устойчивую линию лишь некоторые.

Либо, например, увеличивается добыча топлива, растут масштабы лесозаготовок, строятся новые домы и сталеплавильные цехи, непрерывно расширяется основное производство, но отстает инфраструктура (включая связь, складское и тарное хозяйство, погрузку и разгрузку, вообще вспомогательные операции), да в такой степени, что еще в 1969 году вспомогательные участки поглощали у нас 48 процентов всех промышленных рабочих, а уровень их механизации оставался ниже, чем основных операций, в 2,4 раза. Либо техническое развитие направляется и стимулируется таким образом, что достижения на одних его участках не смазываются и не сдерживаются рутинным состоянием других.

Проблема, оказывается, не в том, что ручная кувалда «бьет» по рукам с книгой в одних только философских построениях, — весьма резкие «удары» могут иметь место в самой жизни.

Либо каждая из основных стадий современной производительной деятельности — научные исследования, проектирование и конструирование, создание опытных образцов и, наконец, серийное производство — рассматривается как обособленная: до тех пор, пока, скажем, конструкторское бюро не завершит полностью разработку, а опытный образец не пройдет всех испытаний, предприятие ничего не делает по оснастке и переориентации оборудования, переквалификации кадров. Либо исследования и проектные разработки заранее «привязываются» к конкретным условиям фабрикации будущего изделия, а предприятия заранее включаются в общую цепь усилий. Финансовые, материальные и людские ресурсы объединяются, возникает возможность свободно ими маневрировать, и, таким образом, темпы научно-технического прогресса во много раз ускоряются.

Либо подготовка рабочих исходит из сущности новой квалификации, строится по серьезной долговременной программе, отвечает потребности в теоретической и общетехнической подготовке и тем самым ориентирована на развитие. Либо такая подготовка обслуживает статус-кво квалификации старого типа, держится на утилитарной выучке рабочего и означает только то, что его вскоре надо переучивать.

Крайние пункты таблиц разворачиваются друг против друга и превращаются в контрапункты, возможность их мирного исторического сожительства оказывается иллюзорной.

При этом нет никаких оснований заранее уповать на неминуемое торжество прогрессивных форм, пренебрегая сопротивлением консервативных и не беспокоясь о том, как именно их превозмочь. Весь вопрос в том, какой из граней или сторон, переплетенных в виде мозаики труда прошлого, настоящего и будущего, обеспечивается преобладающий рост, что берется за исходный пункт целеустремленной социальной политики, за ее формирующий «шаблон». Достижения научно-технической революции со всеми ожидаемыми от нее позитивными последствиями для рабочего класса «добываются» не иначе как революционной практикой самого класса, всего общества.

Именно в этом, по нашему мнению, основной смысл выдвинутого XXIV съездом КПСС положения о необходимости органически соединить эти

достижения с преимуществами социалистического строя, о с в о и т ь новый технологический переворот по-социалистически.

Многое еще действительно предстоит соединить, сдвинуть, развить, наконец, просто с о з д а т ь.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ

Изучено, что автоматизация на машиностроительных заводах повышает долю умственного труда (на каждую тысячу рабочих) с 18 до 89,4 процента, средний разряд квалификации — с 3,1 до 5,7, а средний уровень образования рабочих — с 5,7 до 8,8 класса. Это означает, что предварительным условием автоматизации на этих заводах должно быть именно такое повышение квалификации и уровня образования рабочих, какое необходимо для перехода к умственной деятельности. Иначе придется говорить не об автоматизации, а об «отгрузке» заводу автоматического оборудования. Например, пуск автоматической линии точного литья на Горьковском автозаводе долгие месяцы тормозился из-за отсутствия квалифицированных кадров, о подготовке которых «вспомнили» с опозданием.

Такова реальность, вытекающая из объективной передислокации трудовых затрат и требующая ответной передислокации общественных забот.

На первый план выдвигается поощрение личности и ее способности, поощрение и защита человеческой активности, творящего человеческого мозга. Тем, кто до сих пор видел в человеке только работника, придется наконец понять, что сам работник ценит в себе творческую личность и лишь при таком же восприятии со стороны общества способен плодотворно трудиться.

Именно в этой точке выявляется тесная зависимость между научно-технической революцией и дальнейшим развитием культурной революции. При этом о культуре следует говорить в самом емком смысле — как о подъеме человека на уровень творца, об овладении рабочими духовным потенциалом человечества для непосредственного применения в собственной практике. Здесь мы полностью солидарны со старейшим философом-марксистом ГДР Альфредом Куреллой, который называет «собственной характеристикой человека» особую счастливую категорию его бытия — с п о с о б н о с т ь. Реальная способность позволяет человеку прорываться в новое, создавать никогда ранее не существовавшее, вершить земной творческий акт.

Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Теперь это звучит не только гордо, но и сугубо по-деловому.

По мнению американских экономистов, по крайней мере две трети—три пятых общего прироста продукции в США после 1929 года следует отнести за счет внедрения результатов научных исследований, повышения квалификации работников и улучшения организации труда и лишь одну треть—две пятых считать результатом роста занятости и увеличения основного капитала. Если же говорить о главном из этих факторов — о квалификации работников, то трудно найти сегодня серьезную книгу, в которой бы не упоминались следующие подсчеты академика С. Г. Струмилина: в 1940 году 16,1 процента прироста национального дохода в нашей стране было получено за счет повышения уровня квалификации рабочих, в 1950 году эта доля составила 20,6 процента, а в 1960 году — 23 процента и вылилась в сумму 33,7 миллиарда рублей. Та же методика расчета, примененная в 1962 году, позволила определить, что повышение квалификации рабочих обеспечило уже 27 процентов прироста национального дохода.

В статьях некоторых наших экономистов о научно-технической революции непременно упоминается об управлении структурой и синтезом веществ, отдается должное значению кибернетических устройств, о человеке же — часто мимоходом, иногда в самом негативном смысле: «освобождение от присущих человеку ограничений»... Тем самым проблема выворачивается наизнанку. Парадокс научно-технической революции в том и состоит, что приобретения «в вещах» здесь все более зависят от дееспособности людей. И дело не только в элементарной подготовленности рабочего к обслуживанию новой техники. «Вопрос ставится зна-

чительно шире, — говорил Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС, — о создании условий, благоприятствующих всестороннему развитию способностей и творческой активности советских людей, всех трудящихся, то есть о развитии главной производительной силы общества».

Социалистическая формула научно-технической революции есть, таким образом, прежде всего формула гуманистическая.

Остановимся лишь на нескольких сюжетах этой необъятной темы.

В период, когда быстро нарастала потребность в рабочих, обладающих глубокой теоретической и профессиональной подготовкой, гибкой способностью реагировать на технические перемены, у нас все еще значительно преобладало обучение в производственных условиях.

Производственное обучение короче и, как казалось поборникам формально-го хозрасчета, дешевле. Оно продолжало преобладать, подстегиваемое своими же собственными недостатками. Отрабатывая навыки исключительно для выполнения отдельных операций, а не в полном объеме данной профессии, каждый круг такого обучения вызывал необходимость в повторении, как только менялись условия производства или совершался переход рабочего с места на место. Объем суеты определялся степенью фактической неподвижности. Гордость разных сводок — внушительные цифры подготовленных и переподготовленных на производстве рабочих во многих случаях отражали не столько успехи развития, сколько консервацию состояния или даже самовоспроизводство застоя.

Принципиальным поворотом в этой области явились решения, направленные на расширение системы профессионально-технического обучения и ее переориентацию на подготовку рабочих новых профессий одновременно с окончанием курса средней школы. Разрыв дурного «круга» и новые вложения в развитие способностей человека принесут свои плоды не только потому, что ведущие отрасли народного хозяйства нуждаются в новых рабочих, среди которых 36—58 процентов должны иметь 8—10 классов образования и солидную профессиональную подготовку, но и вследствие того, что такие рабочие, в сущности, решают проблему эффективности производства. Слесарь-ремонтник, окончивший производственно-техническое училище, за пятнадцать лет создает прибавочного продукта на 10, а наладчик на 35 процентов больше, чем рабочие этих специальностей, подготовленные непосредственно на производстве.

Приблизительно то же самое можно сказать, касаясь темы общего образования. Теперь рабочих без среднего образования никто, как бывало в прежние времена, прямо не именует «наиболее желательным» контингентом. К новой и новейшей технике, как поясняют сами рабочие, нужен «другой ум». И фактически стремление рабочих к обучению находится в четкой зависимости от этой техники. Отсюда велик «соблазн» вообразить, будто технический прогресс сам по себе все делает.

Мало того, что подобная позиция лишила бы научно-технический прогресс необходимого задела, она перечеркнула бы личность рабочего. Проблема усложняется вследствие того, что интерес к дальнейшему обучению гораздо сильнее у образованных рабочих и явно слабее у тех, кому образования не хватает. Надежды на самотек привели бы лишь к увеличению разрыва между группами образованных и малообразованных рабочих, к его превращению в хронический.

Стимулирование образования без отрыва от производства в современных условиях столь же актуально, как и усиление стимулов к труду. По мнению некоторых социологов, настало время в масштабе страны установить обязательный минимум образования (образовательный ценз) для присвоения высоких производственно-квалификационных разрядов. Справедливость такого порядка вытекала бы из растущей роли знания в производстве совокупного общественного продукта. Подсчеты показывают, что эффект труда человека со средним образованием сегодня превышает более чем в два раза итоги труда человека без такого образования. В свою очередь, ценность результатов труда работника с высшим образованием примерно в три раза (в среднем) превосходит ценность вклада человека со средним образованием.

В качестве другого сюжета выдвигается злостная проблема рабочего места. Сегодня она выглядит уже не так, как вчера.

Человеку, живущему вчерашним днем, всегда кажется, что действительность ведет себя вызывающе. Стремясь «посадить» ее ход на привычные колодки, он в движении рабочей силы (и самостоятельных миграционных процессах вообще) видит лишь «текучесть», то есть «беспорядок». При этом учитывается только ущерб от ухода работника с предприятия, общие потери всех предприятий от ухода всех работников и затраты в человеко-днях при их трудоустройстве. Волнение вызывает то, что работник в данный момент не приставлен к месту, но то, что он долгое время прозябал не на своем месте, волнует меньше. Консерватор все еще уверен, что только место красит человека. В свете такого негативного «хозрасчета» суммирование дает астрономические цифры, которые становятся основанием для требований «ликвидировать текучесть». В таком случае логично было бы требовать и «ликвидации» образования: ведь рабочие со средним образованием вдвое чаще переходят с одного предприятия на другое из-за неудовлетворенности трудом, чем те, кто закончил всего пять—семь классов.

Между тем требуется определить, какое движение представляет из себя следствие прогресса и, в свою очередь, стимулирует прогресс, а какое является реакцией на состояние или даже результатом некоего оценивания.

Характерным признаком современного развитого общества является мобильность. Происходит постоянное обновление знаний и техники, профессий и потребностей, бытового уклада и форм организации, вещественной среды и человеческой личности. Образно говоря, своевременные «перебежки» становятся надежнее любого «окопа». Исследования показывают, что «движение рабочей силы» является по преимуществу реализацией экономического закона перемены труда.

Высвободившиеся рабочие Щекинского химкомбината переподготовлены и переведены на вновь построенный завод синтетического волокна; в результате механизации и автоматизации на Горьковском автозаводе несколько гысяч рабочих перешли со вспомогательных операций в основное производство; технический прогресс на Кузнецком металлургическом комбинате передвинул часть людей на соседний металлургический завод. Окончив техникум или институт, рабочий чаще всего оставляет свой станок. И если формуляры не различают понятий «движение рабочей силы» и «текучесть кадров», если все это называется просто «увольнениями», то виновата в этом не действительность, а ее толкователи. Кроме бухгалтерии экономических потерь, есть расчет экономических и социальных приобретений. Ведь внедряя новую технику или новое изделие (первая промышленная серия), предприятия идут на временные затраты. Новое место работника также часто таит в себе огромные резервы — «кладовые самораскрытия».

Но есть и собственно «текучесть», которая во много раз превосходит объективные передвижки. Она связана с отношением рабочего к своему насущному состоянию, или, как пишет социолог Н. А. Аитов, «с проблемой удовлетворенности или неудовлетворенности своим положением на производстве»¹⁰.

Вопрос имеет принципиальный, а не утилитарный характер. Марксисты критиковали буржуазный лозунг «свободы труда», разумеется, не за то, что в нем провозглашается свобода. Имелась в виду ее реальная цена в системе капиталистических отношений, где фикция «свободного» заключения договора о найме дополняется такой же фиктивной «свободой» перемены хозяина. Обратной стороной этой монеты может быть только «свобода труда» по-анархистски: «свобода» не работать, «свобода» самоснабжения и тунеядства. Таким образом, речь опять-таки идет не о свободе, а о ее суррогатах и антиподах.

Совершенно по-другому встает проблема свободы труда в развитом социалистическом обществе. Именно в с т а е т, а не просто снимается (ввиду отсутствия хозяина-капиталиста). В современных условиях незаменимую ценность представляет сама возможность беспрепятственного выбора рода занятий и места работы. Возражая против административных ограничений такого выбора, Н. А. Аитов ут-

¹⁰ «Социальные проблемы труда и производства», стр. 227.

верждает: «Право на труд, гарантируемое социализмом, есть право не на какой-либо абстрактный труд, а право на любимый труд, право на хорошие, удовлетворяющие работника условия труда, право на смену профессии, если таковая была выбрана неудачно»¹¹.

Принципиальная постановка вопроса проясняет и его практические аспекты. Отвечая на вопрос о причинах увольнений, рабочие говорят о «низкой заработной плате» и «неинтересной работе», о «плохих отношениях с администрацией» и «плохих условиях труда», о том, что «мало надежды получить квартиру», что «работы ниже квалификации» и «нет перспектив на выдвижение». В целом неудовлетворенность условиями трудовой деятельности вызывает примерно (по данным разных исследователей) 26—35 процентов всех увольнений, неудовлетворенность жилищно-бытовыми условиями — 27—30, неудовлетворенность заработками — 19—21.

Человек все же «ищет, где лучше». Он, например, стремится в большой город, так как все «стандарты» бытового и культурного обслуживания в крупном центре несравненно выше, чем в малом городе или рабочем поселке; выше и реальная свобода выбора занятий, форм досуга. Он, напротив, не стремится работать на предприятиях бытового обслуживания, поскольку (кроме происков сатирического пера) эти предприятия хуже остальных обеспечиваются жильем. Словом, исследования точно свидетельствуют: те же мотивы, что заставляют рабочего покинуть одно место, руководят им при выборе другого. «На наш взгляд, — заключает Н. А. Аитов, — единственная действенная мера борьбы с текучестью, не имеющая характера паллиатива, — это создание на предприятии таких условий труда (содержание труда, его физические и социальные условия, оплата труда, забота о быте, создание для всех возможностей выдвижения), при которых работник самому не хотелось бы уходить с предприятия (разрядка мая. — Л. К.)»¹².

Существует не только право, существует и усиливается реальная потребность в «любимом труде» и «хороших условиях». При этом потребность — как в первом, так и во втором — сегодня внутренне видоизменяется.

Объективный характер производственного действия влияет на действующую личность. Сущность новой квалификации программирует мотивы и стимулы труда. Передислокация трудовых затрат рабочего в сферу творчества порождает аналогичное перемещение его субъективных установок. Исследования, предпринятые у нас в последние годы, подтвердили то, о чем мы до сих пор могли знать по примерам и общему предположению. В ряду стимулов и мотивов трудовой деятельности современного советского рабочего сложилось определенное ядро наиболее устойчивых и животворных. Таким ядром мотивационной структуры является: во-первых, увлекательное содержание труда и особенно наличие в нем творческих начал; во-вторых, перспектива роста в избранной области деятельности; в-третьих, ориентация на заработок как признание трудового вклада и средство удовлетворения многосторонних потребностей, лежащих за пределами производства.

Пожалуй, никакое другое место из «Капитала» Маркса не цитируется так часто, как его знаменитое сравнение построек пчелы с производением зодчего, действий паука, ткущего паутину, с операциями ткача. В нем противопоставлено то, что «напоминает» друг друга только внешне: особенности труда, составляющие «исключительное достоинство человека», и «животнообразные инстинктивные формы труда». Пчела может и посрамить много человека-архитектора, «но, — продолжает Маркс, — и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, т. е. идеально»¹³.

¹¹ Там же, стр. 248.

¹² Там же, стр. 249.

¹³ К. Маркс. Капитал. М. 1953, т. 1, стр. 185.

Такова, по мысли Маркса, сущность всякого человеческого труда, его общий родовой признак, его абсолютный корень.

Однако сущность веками не становилась рабочей явью. И в этом драматическом несовпадении общей природы человеческой деятельности и ее определенных исторических форм заключался источник многих бед. Горькая ирония шведского рабочего-ткача по поводу мозга, который «с успехом можно было бы оставить на крючке в раздевалке», вовсе не гипербола, а скорее эпиграф к этой драме.

В условиях социализма научно-техническая революция включает главный движитель массовой трудовой деятельности — ее содержательные мотивы. Идеальный замысел, самостоятельно (вместе с другими) выработанная цель, творческое воображение, проект и возможность его осуществления все более ценятся каждым отдельным работником.

Для рабочих неквалифицированного ручного труда с высокой физической нагрузкой чаще всего подавляющим стимулом является заработок. Он доминирует, в частности, и потому, что другие стимулы просто отсутствуют. Высокие творческие запросы личности тут, наоборот, обернулись бы трагедией. Заработок лишь отчасти компенсирует бремя труда. Как правило, эти рабочие убеждены, что «за такую-то работу все равно мало». К ней можно притерпеться, но ею нельзя жить, что вполне относится и к труду на конвейере с принудительным ритмом. Но как только удастся раздвинуть обычные конвейерные рамки — переменным ритмом, переходом на смежные операции, — содержательные стимулы вновь получают высокое значение.

Уже на следующей ступени — в группе рабочих механизированного труда средней квалификации (станочники) — скрытое становится явным, косвенное — прямым. Особенно же рельефно выявляется ядро мотивов на уровне автоматизированного труда — средней и высокой квалификации, без навыков наладки и с навыками, — и, таким образом, мы возвращаемся к исходной позиции. Социологи сформулировали ее весьма четко: «Труд удовлетворяет современного рабочего как своим собственным содержанием, так и заработком; но для неудовлетворенности работой достаточно и того, чтобы она была бессодержательной».

Не менее существенно значение новой потребности в «хороших условиях».

Голодному человеку кажется, что его сущность — быть сытым. На этом держится дисциплина голода — той же «палки», бьющей изнутри. Однако многочисленные исследования современной структуры потребностей населения развитых стран показывают, что величина материального вознаграждения за труд играет решающую роль, пока его хватает только на удовлетворение «первого слоя» жизненных потребностей работника и его семьи, пока диктует нужда в самом прямом смысле этого слова. О свежем воздухе вспоминают, когда душно. Караванный путь рабски следует колодцу потому, что он проложен через пустыню: «спасительна вода у пересохших губ странника». Веками человек труда оставался этим странником, которому многообразные пути жизни были просто заказаны.

По мере того как «хлеб насущный» превращается во всеобщее достояние, стремление жить «не хлебом единым» также становится все более массовым. После того как работник устойчиво и уверенно сыт, он действительно выше сытости.

Само собой разумеется, нелепо полагать, будто рабочий — некий бесплотный ангел, который утратил потребности «политико-экономического» свойства (в вещах и деньгах) или тем более уже их удовлетворил. Однако сегодня интерес к заработку представляет собой очередной «айсберг». Подспудная толща этого интереса уже нередко формируется культурой. Как ослабление денежного мотива в сравнении с творческими, так и его усиление выражают одну и ту же тенденцию — укрупнение личности работника.

С этих позиций естественный интерес рабочего к заработку должен быть наконец выдворен за рамки традиционного подозрения в так называемой «погоне за длинным рублем». «Длинный рубль» — не является ли он наиболее заработанным рублем и в большинстве случаев экономической оберткой новых человеческих потребностей? За интересом советского рабочего к рублю, как правило, стоит интерес к его полноценному обмену, и не только на «лучший кусок хлеба».

Тому, кто связывает стремление рабочих к заработку непременно со «шкурническими побуждениями», можно было бы ответить данными об исполнении жизненных планов выпускников школ, пожелавших учиться дальше. В семьях с уровнем дохода до 50 рублей (на каждого члена семьи) продолжили обучение 65,4 процента подростков, при доходе от 50 до 70 рублей — 70,6 процента, при доходе от 70 до 90 рублей — 71,3 процента, если же доход превышает 90 рублей — 88,8 процента. Между тем исследование показало, что намерение учиться у подростков во всех этих семьях было примерно одинаковым¹⁴. В данном случае «корыстные» родители с помощью заработанного рубля стремятся дать своим детям полноценное образование. И предосудительно ли желание рабочего собрать библиотеку, приобрести телевизор, чаще смотреть спектакли, расширить возможности познавательных путешествий, иметь современные бытовые приборы, которые экономят время, например, для того же образования? Вековая забота человека труда о средствах существования постепенно уступает место новой заботе — о средствах своего развития¹⁵.

Чем же в таком случае зачастую являются потери от текучести? Что такое эти внушительные цифры в человеко-днях и рублях? (В прошлой пятилетке примерно пятая часть рабочих и служащих ежегодно меняла место работы, потери времени в среднем на переход одного человека с места на место составляют 25—30 рабочих дней.) А не более чем плата за формальную «экономия», налог с оборота «любой ценой», пени за несвоевременность забот, процент на невнимание к людям, своеобразный счет, предъявленный социалистическим прогрессом так называемым «чистым хозяйственникам». И чем, следовательно, является стремление «ликвидировать» текучесть административным путем? Попыткой уклониться от уплаты долга по законному счету, продлить состояние в ущерб развитию. Могут спросить: ну, а как же быть с летунами, рвачами? Ведь не станет же автор утверждать, что они перевелись! Речь здесь, разумеется, идет не о них. С летунством, рвачеством необходимо бороться как с общественным злом.

Принятая на XXIV съезде партии социальная программа проникнута идеей богатой человеческой потребности. Эту идею выражают и планируемый рост доходов всех категорий населения, особенно отрядов квалифицированного труда, и опережающее этот рост насыщение рынка товарами массового спроса, прежде всего товарами культурно-бытового назначения, и быстрое развитие сферы услуг. Общество планирует умножение средств развития, хотя известные слои населения все еще поглощены (реально и психологически) заботами только о средствах существования.

«СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?»

Поскольку развитие личности рабочего становится все более важным «ресурсом» экономики, неизбежна и поворотная мобилизация экономических возможностей для всестороннего подъема личности. Таким образом, планы социального развития производственных коллективов не были искусственным изобретением или неожиданно вспыхнувшей модой. Речь идет о том, чтобы не столько ожидать развития способностей рабочего в виде стихийного подаяния от экономического роста, сколько активно творить необходимые для этого условия.

...Теоретическая мода быстро превращает проблемы в свершения и, заглядывая в практику прямо в рот, мешает ей преодолевать сложности. Научная теория видит и в свершениях начало новых проблем. Одно дело оперировать вещественными элементами производства («организация неживой природы»), другое — управлять людьми с их многообразными индивидуальными особенностями и желаниями, которые не поддаются прямой регламентации. Где же выход?

¹⁴ См. В. В. Водзинская. О социальной обусловленности выбора профессии. «Социальные проблемы труда и производства», стр. 58.

¹⁵ На огромное значение новых потребностей в средствах развития внимание автора данной статьи обратил кандидат исторических наук М. Я. Гефтер, охотно предоставив свои материалы, в которых этот вопрос нашел освещение.— Л. К.

«Надо интернализовать!» — уверенно отвечает социолог-оптимист. То есть сделать постороннее как бы своим: внушить человеку, что полезное и есть приятное. Вот только найти бы подходящий «инструментарий»! Социолог-оптимист напористо говорит о «дополнительном объеме информации», о «своей нормативной базе» и «специфической системе показателей», необходимой для управления «специфическим объектом» — человеком.

Есть некая прибаутка о парнишке, который, учась грамоте, по слогам отчетливо произносил «са-по-ги», а вместе у него все равно выходило «валенки». Вероятно, единственными его сапогами, единственно доступными ему сапогами были именно валенки. При составлении плана социального развития по слогам старательно выговаривают «че-ло-век», а в итоге нередко все равно получается «машина». Только очень сложная, «специфическая» машина. Отвоевав у экономистов свое особое поле — поле человеческих проблем, социолог полагает, будто наконец вырвался за пределы традиционных стандартов планирования и шагнул великанским шагом прямо к новому качеству. По сути же он топчется в старых пределах, ибо заимствует принцип односторонней «лепки» из некоего пассивного материала, отношения к человеку как «объекту». Нормативы меняются, слепая вера в систему нормативов остается. С ее помощью об «объекте» как будто можно выяснить буквально все. Скажем, спросить человека: «Счастлив ли ты?» — и все составляющие человеческого счастья в твоих руках. (Именно такой вопрос был задан в одной из солидных социологических анкет. Самыми «счастливыми» оказались люди с неполным средним образованием, а самыми «несчастливыми» — с высшим и незаконченным высшим.)

К сожалению, ложные приемы бытуют не только в теории.

Предположим, дело касается освоения новых районов страны, иначе говоря — закрепления в этих районах новых работников. Рассмотрим один из вариантов в манере так называемой социологической «игры». Игра начинается. Ход «хозяев» (тех, кто приглашает и принимает) — приезжайте! Ход «гостей» (тех, кто откликается) — приехали, принялись за работу, однако чувствуют — тяжело, взялись за чемоданы. Ход «хозяев» — за счет механизации облегчили условия, ввели прогрессивку (повысили оплату с 5 до 8 рублей за человеко-выход). Ход «гостей» — остаются, заработали много, но нужного не купишь, вновь к чемоданам. Ход «хозяев» — товары завезли. Ход «гостей» — во времянках жить надоело, опять собираются. Ход «хозяев» — вот вам дом, и не простой, а городской, пятиэтажный, со всеми удобствами. Ход «гостей» — увязали вещи и... до свидания. «Хозяева» в недоумении: во всем старались угодить.

Слабость — в самом отношении (пусть и закавыченном) «хозяева» — «гости», где первые дают, а вторые ожидают, одни пытаются предугадать все, что могли бы захотеть другие. Кажется, все предусмотрено, но даже сумма предусмотренной не дает, не воспроизводит живого целого, идущего от человека. Что-нибудь всегда оказывается упущено, не учтено, даже не осмыслено.

Итак, «игра» проиграна. Можно, конечно, ссылаться на «неотработанность методики», «грубость индикаторов»... Главный архитектор края, где разыгрались описанные события (объясняя их печальный исход), мыслил проще: «Несколько лет назад попутал нас лукавый, и начали строить на селе только многоэтажные дома. Позабыли, что село не город. Нам бы за разумом на село податься да посоветоваться с народом на месте, каким должен быть его дом (разрядка моя.— Л. К.)». Мысль ясна: вместо того чтобы моделировать запросы «гостей», необходимо было создать условия, при которых люди смогли бы вполне почувствовать себя хозяевами.

Оспаривая прожекты некоторых социологов насчет «планирования личности», Т. И. Заславская, В. А. Заргаров и Р. В. Рывкина предлагают решить предварительный вопрос: «что может, а что не может быть объектом планирования?». Разумеется, вопрос поставлен не в смысле отказа от всякого планомерного воздействия на развитие личности, апологии стихийности. Напротив, предлагается так направить сознательные усилия общества, чтобы они не пропадали впустую. А именно — сосредоточить их на изменении обстоятельств, обогащая преж-

де всего «вещную среду», окружающую человека (жилища, в которых он живет; условия, в которых он работает; услуги, которые он может получить от общества).

Однако напомнив, что рабочий не только работает на предприятии, но и живет в городе и, следовательно, носит на себе «отпечатки» многообразных связей, что он к тому же обязательно относится к определенному типу личности со своей системой ценностных ориентаций, да еще в сложном их наборе, что в разных обстоятельствах ориентации сказываются по-разному, авторы резонно замечают: убеждение в возможности планирования личности, по-видимому, основывается на том, что допускается возможность создания одного варианта личности. Вывод: идея о плановой и быстрой перестройке личности — вредная иллюзия, так как подменяет задачи подлинными задачами эфемерными, вымысленными¹⁶.

Выход один: вообще не принимать человека за «объект».

В отличие от элементарной нужды в средствах существования (предметы и услуги, исчерпывающие этого рода потребности, вполне поддаются нехитрому арифметическому счету) потребности в средствах духовного развития не только не сводятся к стандартному набору изделий, но и не могут быть удовлетворены какими-нибудь унифицированными порциями «отпущенных» культурных благ. Ибо, во-первых, здесь действует закон постоянного возвышения и индивидуализации потребностей, а во-вторых, они являются прежде всего потребностями не в вещах, а в самой общественной жизнедеятельности и творческом самообнаружении. Планировать развитие личности в этом смысле — значит, планировать расширение пространства ее положительной свободы, свободы конструктивного вклада. (Например, отчисления от прибыли в фонды предприятия не случайно иногда называют «очень важными деньгами»: их можно использовать так, как это представляется нужным самому коллективу. Речь идет, так сказать, о фондах финансирования демократии.)

Этим кладется предел собственно управлению и открывается страница самоуправления, покидается объект и начинается субъект деятельности. «Нельзя сделать людей счастливыми, решая без них, за них, построить на имеющиеся деньги клуб или баню, детский сад или интернат... Важно не только то, что планируется, а то, кто планирует, и от второго во многом зависит первое, — замечает первый секретарь Тамбовского обкома КПСС В. Черный. — Важно договориться, является ли коллектив предприятия лишь объектом или также субъектом планирования»¹⁷.

Таким образом, наши представления о средствах развития расширяются. Обнаруживается их вторая, обратная сторона. Имеются в виду уже не только средства, выработанные обществом ради развития отдельной личности, но, наоборот, средства и возможности для вклада личности в развитие самого общества. Эти новые средства даны в демократии — благодаря ее специфическим «асигнованиям», в результате ее внутреннего «займа».

В некоторых социологических работах утверждается, что неудовлетворенность содержанием регламентированных трудовых функций рабочего может быть «смягчена», но не «снята» мероприятиями по расширению рамок производственной демократии. Подобная постановка вопроса о значении демократии живо напоминает поговорку «в огороде бузина, а в Киеве дядька».

Прежде всего хочется спросить: а как вам удалось это выяснить? Регламентированные производственные функции вы, конечно, имели. Но имелся ли при этом всякий раз такой уровень производственной демократии, который позволяет вынести окончательное суждение о ее возможностях? Нередко заблуждение возникает как раз из-за того, что добросовестно (правдиво) и по всем правилам (репрезентативно) воспроизводится объективно ложная, «свернутая» ситуация.

¹⁶ См. Т. И. Заславская, В. А. Заргаров, Р. В. Рывкина. Планы: мнимые или реальные. В кн. «Социальное планирование в условиях экономической реформы». Выпуск I М. 1971, стр. 132.

¹⁷ Из выступления первого секретаря Тамбовского обкома КПСС В. Черного на совещании по социальному планированию в Москве, 1970 год.

Возьмем пример. В апреле 1970 года начальник зеленоградского строительного управления В. Г. Локшин сказал своему бригадиру Н. А. Злобину: «Покупай-ка ты у меня этот дом весь с потрохами. Я -- заказчик, ты — подрядчик... Забирай все деньги, материалы, механизмы и распоряжайся как своими». Что же рабочие? Обычные правила и извлеченные из них, воспитанные ими чувства породили первую реакцию: «Нет, так не пойдет! Лучше по-старому...» За битые стекло и кирпич, сломанные доски, поврежденные панели, за брак и дефекты всегда расплачивалось государство из народного кармана. А теперь из своего? Понадобилось время, пока поняли и прочувствовали: вот оно, к чему стремились. Хозяева! Дом предстояло построить меньше чем за 160 дней вместо 235 по норме, и он был построен. Нет нужды перечислять подробности, каким образом был прекращен бой стекла, изжиты простои машин, изобретены и введены общими усилиями десятки хитроумных приспособлений, реорганизован весь процесс, в котором (вопреки исходной технологии) действия одного служили не границей, а динамичным «подхватом» действий другого.

Какая же ситуация берется за основу для выводов? Техническая реальность с ее регламентированными функциями — в обоих случаях та же самая, общественная — в значительной степени меняется. И это не изолированный пример. Переход на бригадную организацию труда с коллективным стимулированием всякий раз сопровождается резким улучшением качества работы, сокращаются простои и сроки текущего ремонта оборудования, усиливается (примерно вдвое) взаимопомощь между рабочими, меньше становится прогулов, опозданий и увольнений. Статус хозяев повышается в целом: рабочие бригады сообща решают вопросы нормирования и оплаты труда, устанавливают очередность в получении квартир, мест для детей в дошкольных учреждениях, отпусков и т. д. Организационно и экономически оформленная «забота об общем», то есть именно расширение рамок производственной демократии, повышает без каких-либо дополнительных материальных затрат производительность труда каждого рабочего в среднем на 8—10 процентов.

Факты говорят не о «голой», а о разной силе рубля, которую он получает при разных уровнях развития экономической демократии. В том числе о силе преодоления технологически регламентированных функций.

В одном случае, в случае обычной заработной платы в соответствии с обычным тарифом, рабочий оценивается как исполнитель узкой операции: в другом, поставленный в хозрасчетные отношения, — как хозяин всего производственного процесса. В первом случае признание получают его отдельные действия; во втором — его общественные стремления (коллективизм и способность к соперничанию). В первой ситуации поощряется забота о себе; во второй — забота о себе предполагает заботу об общем.

В первом случае рабочий получает то, что более или менее определено по своим размерам без него и за него; во втором — он сам определяет эти размеры. Одни деньги — обычный эквивалент, который рабочий только обменивает на средства существования и, может быть, на средства развития; другие сами являются рычагом общественного развития и непосредственным «эквивалентом» духовной активности рабочего. Первые стимулируют рабочего-профессионала и соответствуют уровню обобществления труда, в принципе достигнутому и капитализмом; вторые поощряют рабочего-общественника и отражают кооперацию высшего, социалистического типа¹⁸. Если первые посвящены рабочему-по-

¹⁸ «Если в средние века феодалы мешали развитию капиталистической кооперации, товарного обмена, — пишет советский экономист В. К. Вакшут, — то в наши дни частные собственники и их идеологи препятствуют кооперации интеллектуальных сил трудящихся, замедляя где можно их развитие... создавая искусственные барьеры между тружениками физического и умственного труда. Ф. Тейлор в свое время предложил сосредоточить всю умственную работу в отделах, а рабочему, который пришел с новой идеей, сказал: «Это не Ваше дело, за мысли платят другим». Кооперация умственных сил таит в себе такие возможности, которые не снились самым предпринчивым дельцам в пору капиталистической лихорадки. В отличие от эквивалентного товарного обмена здесь имеет место обмен неэквивалентный» («Проблемы духовной жизни рабочего класса СССР» Свердловск. 1970, стр. 63).

требителю, то вторые — рабочему-созидателю. Первые отражают статус-кво класса, вторые — момент его развития.

Социальный аспект нашей экономической реформы, ее единая направленность с научно-технической революцией, вообще говоря, заключается в том, что она не уместается в рамках традиционной модели «экономического человека» (*homo oeconomicus*). Реформа означает новое социальное положение рабочего на предприятии, дальнейшую передислокацию его трудового вклада в область духовной культуры производства. Хозрасчетная реконструкция производства позволяет преодолеть «ноту разлада», характерную для технологического процесса. Закалывание какого-нибудь гвоздя уже не противостоит его выдергиванию, наиболее твердый, изнутри прочный порядок дан в рабочей самодеятельности, цементированной и окрыленной экономически. Да, узкоспециализированные функции обременительны. Говоря о том, что труд облагораживает, следовало бы хоть иногда вспоминать, что он же и огрубляет, — смотря какой труд. Реальность расчлененного труда индустриального типа такова, что рабочий в первую очередь делает «только кольцо, гайку или резьбу» и лишь (по преимуществу) через эту эпизодическую роль выступает на сцене общественного труда. В течение 60-х годов незначительно сокращался удельный вес таких узкоспециализированных рабочих, абсолютное их количество продолжало расти. И этот технологический факт как таковой никакая производственная демократия не в силах отменить. Облегчить положение здесь помогает перевыбор рабочего места. Но ведь от этого покинутые места не исчезают, их вынуждены заполнить другие. Чья-то свобода «проявить себя» еще явно упирается в необходимость кому-то терпеть. И хотя результат перемещений в целом в пользу общества, общество не удовлетворено ограниченностью такой пользы. Рабочий-хозяин будто выгадывает у самого себя как у постороннего.

Однако перед лицом этого упрямого факта демократия выполняет самостоятельную, а не прикладную роль. Во-первых, только демократия превращает тот же технический прогресс и, следовательно, обогащение функций труда в общественную заботу рабочих. Она заменяет тягость ожидания пафосом действия, фигуру ожидателя — фигурой преобразователя. А это самоценное благо при любом уровне техники, его значение выходит за утилитарные пределы «смягчения» и даже «снятия», о которых говорят социологи. Тут просто разны вещи. Демократия не меняет технологии (ее ли это дело?), зато она выносит человека из ограниченного профессионального мира в широкий общественный мир, на собственные творческие просторы.

Но сегодня появляется и «во-вторых». «Нам бы ваши хлопоты!» — могли бы уже сегодня сказать рабочие новой квалификации. Для них никакая самая что ни на есть содержательная операция у станка не в состоянии даже «смягчить» бедность форм производственной демократии, если упомянутое узкое регламентирование на сей раз относится к ней.

Творческие стремления нового рабочего не укладываются в «детских туфельках» профессиональных интересов. Вернее, профессиональные интересы раздвигаются в профессионально-общественные. Ибо через научные знания и поток информации, путем приобретения разнообразных сведений, необходимых в труде, рабочий как бы ассимилирует многосторонние влияния общественной среды и лишь в зависимости от этих влияний способен эффективно продолжать собственный труд. Он уже не всегда готов проявлять личную самоотверженность, если дезорганизован общий ритм процесса, быть рачительным и бережливым на своем месте, если вокруг царит бесхозяйственность, — оставаться «трудолюбивой пчелой» при плохих «архитекторах» или явных просчетах в «архитектурных» решениях.

Например, предлагая разрабатывать бригадные и личные пятилетние планы, кузнец Горьковского автозавода А. Огнев закономерно увидел проблему как бы в двух измерениях: мы в своей бригаде мобилизуемся, но и вы, кто сопряжен с нами, обязаны ответить. Имелись в виду соседние участки и цехи, заводы — поставщики и потребители, подразумевались внутриотраслевая и даже межотраслевая связь, звенья производства и звенья управления.

Следует вообще заметить, что социалистическое соревнование довольно точно нащупывает актуальные потребности массовой производственной практики. Реагируя на эти потребности, оно, с другой стороны, как бы «надстраивает» через свои специфические контакты недостающие в силу техники и технологии производства связи и формы кооперированных действий. На эту важную роль соревнования в условиях научно-технической революции указывает постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования». И если сегодня соревнование выдвинуло такую форму, как комплексные планы развития производительности на каждом рабочем месте, если поставило во главу угла взаимные обязательства рабочих, специалистов и руководителей производства («их договор на совместный творческий труд»), если заставило считать рабочие обязательства составной частью государственного планирования и даже его предварительным условием, если связало эффективность современного производства с участием рабочих в управлении, то именно это говорит о действительных возможностях производственной демократии гораздо убедительнее, чем попытки мыслить о ее значении только через призму технологии.

ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ

С большим пафосом социологи Л. Н. Коган и В. П. Вальковская утверждают: «Невероятной вульгаризацией, грубым, непростительным упрощенчеством является истолкование роли рабочего класса в развитии культуры в том смысле, что он подменяет интеллигенцию в осуществлении этих задач. Нет, новые теории в науке разрабатывают ученые, организаторами производства являются инженеры, а шедевры искусства создают профессионалы-художники!»¹⁹. Авторы напоминают о решающей роли профессионалов в разработке «проблем политической экономии, философии, права или литературоведения», а также «в сфере управления».

Общее место способно выглядеть авторитетно. Между тем никто не ждет от рабочего трактатов по литературоведению или эпохальных открытий в области права. Допустим, рабочий никак не участвует и в «разработке проблем философии». Но разве это означает, что его роль столь же мала в иных видах духовного производства? Авторы разбираемых суждений ставят на одну доску сразу многие отрасли духовной деятельности, не замечая глубоких различий между ними по степени социальной актуальности, близости к материальному производству и труду современного рабочего. «Шедевры искусства создают профессионалы-художники» — это в основном верно, хотя известны исключения. «Новые теории в науке разрабатывают ученые» — это пока относительно тоже правильно. «Организаторами производства являются инженеры» — это уже очень неточно и поэтому неверно.

Знаменем времени являются как раз перемены, в результате которых, во-первых, далеко не всякий инженер выполняет роль организатора производства, во-вторых, все чаще организует и управляет не только инженер, а и рабочий коллектив. Оба эти обстоятельства оказываются тесно взаимосвязаны.

В самом деле, какие особые способности понадобились сегодня для компетентного управления? Разумеется, по-прежнему деловая квалификация, специальные знания. Однако становится не менее важным нечто сверх того. Рабочие и специалисты, имея в виду недостатки своих непосредственных руководителей, выделяют следующие: «мало интересуется мнением подчиненных» (19 процентов всех ответов), «не терпит никаких обсуждений своих распоряжений» (17 процентов), «не учитывает возможностей подчиненных» (16 процентов), «не допускает самостоятельности в работе» (9 процентов). Это означает, что даже верные решения, выработанные и принятые без коллектива и за его спиной, путем отчуждения мыслительной обработки трудового акта, все равно останутся внешним болезненным давлением на современного исполнителя.

Подспудное признание новых требований к управлению можно усмотреть хотя бы в кустарных попытках руководителей многих предприятий видоизменить пе-

¹⁹ «Проблемы духовной жизни рабочего класса СССР», стр. 21.

риодическую служебную аттестацию специалистов, дополнив критерии деловой квалификации некой «оценочной сеткой» с разнообразными пунктами об умении «мобилизовать подчиненных». Нельзя также считать случайностью, что при проведении той же служебной аттестации на некоторых предприятиях Свердловска, Горького, Новосибирска, Харькова, Минска, Донецка и других городов начали изменять опрос рабочих с целью выявить их мнение о стиле работы и качествах руководителей. Первоначальные опасения, будто апелляция к широкой рабочей общественности непременно привнесет анархические моменты, исказит объективную характеристику работника, оказались беспочвенными.

Более осмысленная и оформленная реакция на новую обстановку выразилась в современных методах подготовки и переподготовки работников управления. Дискуссия, публичная защита проекта решения, сопоставление вариантов, спор — таковы теперь эти методы в отличие от традиционных лекций и других назидательных видов передачи знания. Расчет — на цепкую реакцию. Освоив функции управления как практику демократического общения, руководитель-ученик, надо надеяться, будет соответствующим руководителем-наставником.

Специализация особой группы «инженеров» на выполнении функций управления людьми на первый взгляд кажется неким обособлением этих функций. На самом деле в условиях социализма здесь заключен важный момент демократизации. Ибо внутренней причиной такого «усечения» круга является, наоборот, потребность в его резком расширении за счет редкого человеческого таланта — умения возбуждать и развивать энергию многих людей. Демократия — не только общественное пространство для большинства, она и покровитель уникальных способностей личности, лучшая возможность для «каждого отдельного» меньшинства реализовать свой специфический вклад в общее дело.

Подчеркивается, нервно отстаивается роль специалистов управления и планирования... Только не заключена ли она в особой задаче таких специалистов скрупулезно учесть и синтезировать массовый рабочий опыт, увидеть и уловить варианты, рожденные коллективным знанием? Для того чтобы быть сегодня на высоте задач управления, инженер должен обладать кое-чем от высшего гения, как его понимал Гёте: «Это тот, кто все впитывает в себя, все умеет усвоить». И наоборот, обладай специалист даже энциклопедическими знаниями и виртуозностью индийского ткача, управлять сегодня в противовес коллегии — значит, оставаться своего рода ремесленником, представлять в сфере управления навык «кустаря».

Таким образом, инженеры являются организаторами современного производства в той мере, в какой они умеют это делать не одни. Но этого мало.

Сегодня и теоретики западного менеджмента громко заговорили о «партиципации» (соучастии) в управлении, о «человеческих отношениях», о необходимости расстаться с традиционным представлением о работнике как «экономическом существе» и с традиционными схемами «авторитарного управления».

Во всем мире ратуют за соучастие и управленческую экспертизу. Различие между двумя общественными мирами состоит в том, как они относятся к соучастию рабочего и эксперту-рабочему. Исторически противоположные типы управления связаны не столько с присутствием и степенью развития в нем плановых начал или наличием разветвленного аппарата специалистов, сколько с различиями в субъекте. Кто управляет? Как в «объеме массы», поднятой к фактическому участию в управлении?

Известный американский экономист и социолог Дж. Гэлбрейт в своей книге «Новое индустриальное общество»²⁰ показывает не только принудительный переход современных капиталистических корпораций к экономическому планированию, но и новый групповой механизм выработки и принятия управленческих решений. Уровень науки и техники, масштабы ее применения в производстве, огромные объемы капиталовложений, — все это, по справедливому мнению автора, требует принимать «все существенно важные решения» на основе информации, опыта, знаний, профессионального чутья или интуиции, «которыми располагает не один человек, а большое количество людей». Такую кооперацию специалистов для

²⁰ Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество, М. «Прогресс», 1969

выработки управленческого решения Дж. Гэлбрейт называет «техноструктурой». Техноструктура «является аппаратом для групповых решений — аппаратом для объединения и анализа информации, доставляемой множеством людей, с тем чтобы прийти к решениям, выходящим за пределы компетентности каждого в отдельности»²¹.

Автор легко опровергает тех, кто продолжает думать о коллегиальности как о «неэффективной процедуре». Напротив, именно общение создает оптимальный образ действий, позволяет каждому члену комитета проверить «интеллектуальные возможности коллег», «степень надежности их информации», «собрать информацию воедино», определить ее «достоверность и полезность», подметить «неуверенность» или «вскрыть ошибку». Предлагая не путать процесс выработки и принятия решений (это главное) с их утверждением (это второстепенное и несущественное), Дж. Гэлбрейт говорит о невосполнимых потерях, которые терпит производство, когда «не в меру решительные и прямолинейные» администраторы упраздняют «любые комитеты». После этого, упустив время, они прибегают к созданию разного рода «рабочих групп» и «особых бригад», то есть тех же коллегий под другой вывеской. Ибо общее правило состоит в том, что групповое решение может быть с уверенностью пересмотрено на основе аналогичных знаний аналогичной группы. Коллегиальность же как принцип приобретает абсолютное значение.

Этот вывод может вызвать у нас только согласие. Неприятие взглядов американского ученого появляется в тот самый момент, когда речь заходит о социальных границах группового управления — об участии в нем рабочих. Хотя Дж. Гэлбрейт и заявляет о «многочисленности» людей, так или иначе участвующих своим опытом и знаниями в выработке управленческого решения, хотя упоминает среди этих людей «работников в белых и синих воротничках», он тут же ограничивает роль последних «более или менее механическим подчинением распоряжениям и заведенному порядку». Коллегия коллегией, но не для рабочих. В любом случае рабочие выставляются за избранный круг. В любом варианте аппарат коллегии остается «особым цехом», действующим при закрытых дверях. «Повсюду группа владеет монополией на компетентное знание», — говорит Дж. Гэлбрейт, добавляя, что демократический контроль над ней «осуществлялся бы в ущерб компетентности».

Легко видеть, что здесь мы имеем дело не с теоретическим заблуждением, а с определенной классовой позицией. Когда Дж. Гэлбрейт рисует очертания совокупного работника современной индустриальной системы «в виде высокой урны», круто суженной у основания — в части «мускульного и однообразного труда» — и круто расширенной у вершины — в части науки, планирования и управления, — он прав. Только отводить при этом место современному рабочему исключительно на дне этого условного «сосуда» значит либо совершать подлог, либо оправдывать действительность бюрократического самодержавия монополий.

Столь же мало оснований приветствовать у сияющей вершины гэлбрейтовской «урны» интеллигенцию вообще. Запродав душу дьяволу и сомкнувшись в корпоративные ряды, часть специалистов противостоит не только рабочей массе, не только остальной массе интеллигенции, но и всему обществу как обособленный аппарат власти. Важным становится не то, что эти люди обладают образованием и выполняют некие умственные упражнения, а то, что они примыкают к капиталу. Это такие «ученые и инженеры», которые лишены общих идеалов, действуют не ради прогресса, а в целях его приспособления к самовозрастанию капитала и саморазбуханию аппарата, олицетворяющего капитал: новые объемы — дополнительные штаты — более высокое положение в иерархии. (Представьте себе, что речь идет о свирепых хищниках морей — касатках, которые, будучи сами китообразными, набрасываются, как утверждают зоологи, «по нескольку касаток в ряд, строй за строем» на своих огромных миролюбивых сородичей. норвоя вырвать у них из раскрытых глоток мягкие нежные языки, и оставляют безъязыкого ги-

²¹ Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество, стр. 119.

ганта умирать от потери крови. Поэтому китов-касаток, несмотря на их родовые признаки, называют «морскими волками, которые охотятся вместе».)

В гэлбрейтовской концепции техноструктуры отразилась объективная тенденция к дальнейшему обобществлению деятельности, властно охватившая ныне и сферу управления. Технократия в известном смысле отрицает традиционную бюрократию, заменяя единоличное управление групповым, авторитарные действия — коллективными. Но бюрократический принцип замкнутой касты остается. Обветшалые традиции уходят, бюрократия продолжается под видом застойной коллегии новых триумфаторов — «профессоров». Технократия есть неким образом шаг в сторону демократии, ее фермент в коридорах управления — здесь теперь сопоставляют варианты, а не просто командуют и механически исполняют. Однако эти узкие коридоры остаются ее «прокрустовым ложем», ее безъязыкой трагедией. Старая бюрократическая телега не идет на слом, напротив, побольше числом компания обученных седоков пытается переоснастить ее за счет электронного кучера или реактивного двигателя. «Трон» управления оборудуется «щитом» управления и становится вместительнее, становится групповым. Дж. Гэлбрейт сам вполне справедливо называет свою техноструктуру «удлиненной рукой бюрократии», достающей из более глубоких недр современного производства привилегированное обладание функцией управления. Здесь принцип частной собственности утрачивает непосредственно имущественное и приобретает функциональное содержание, а обычная страсть к наживе принимает вид служебного карьеризма.

То, что сегодня Дж. Гэлбрейт преподносит в виде нового откровения, для В. И. Ленина было одним из кругов (и притом кругов самых первых) социалистической перестройки управления на основе коллегиальности. В статье «Об едином хозяйственном плане» В. И. Ленин подвергает критике манеру сановников ставить «ударение чисто бюрократически» на необходимости «утвердить» план (решение): «Поправлять с кондачка работу сотен лучших специалистов, отделяться пошло звучащими шуточками, чваниться своим правом «не утвердить», — разве это не позорно?»²² В этих кратких строках, в сущности, исчерпано позитивное содержание идеи техноструктуры. Основное же для В. И. Ленина — выход за пределы групповой монополии на управление. В этом состоит смысл ленинской характеристики нового социалистического «аппарата» в лице всех членов партии, всех сочувствующих и примыкающих к ней, а затем и всех трудящихся.

Через коллегии специалистов дальше и глубже — к полному строю «тысячных собраний рабочих», к изучению и проверке фактов «в докладах, в печати, на собраниях и проч.».

Принцип техноструктуры — цеховая монополия на управление. Принцип социалистического управления — творческое объединение. Первая исключает рабочих и противостоит им как посторонняя сила. Второе является выражением совокупной идеальной силы всего производственного коллектива и немислима без прямого участия рабочих. Первая еще в рамках старого субъекта элитарного типа, хотя и содержит внутреннюю «тоску» по его преодолению. Второе воплощает новый субъект управления — его социалистическое обобществление.

Исключительное место деятельности управления среди всех иных видов духовного творчества определяется хотя бы ее кровным родством, интимной близостью с материальным производством. Она, собственно, «вплетена» в процесс производства, составляет его органическую часть. Политические и идеологические отношения еще отсутствовали, когда уже «работали» отношения управления, потому что уже работали, трудились люди. Первые обречены кануть в Лету по исчезновении классов, вторые непреходящи и могут исчезнуть только вместе с людьми, творящими совместное дело. Когда отпадет имущественное неравенство, неравенство по управлению еще предстоит преодолевать. Правильно, что отношения управления теснее экономических и духовных отношений в целом, но они в известном смысле и богаче, плотнее любых иных социальных контактов. Они свя-

²² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 343, 344.

зывают объективные моменты практики с субъективными, ход вещей — с направлением умов. В них перелетаются и сочетаются, сгущаются и завязываются все формы духовной жизни и ее главные проявления. Именно в деятельности управления как бы закодировано и бережно энциклопедически сжато то, что составляет сущность человека и его стремления к самовыражению. Игра ума и эмоций, логика мысли и ее поэтический полет, этика отношений и их эстетика, ощущение себя и ощущение другого — все собрано, умещено, соединено в этом специфическом узле общественных связей. Через участие в управлении лежит кратчайший, вернейший и прямой путь к участию в духовной жизни.

Речь-то не о разделении труда вообще, а о различиях между таким ключевым видом умственного труда, как управление, и таким гнетущим следствием труда физического, как голое исполнение. Речь не о смешении рабочего с интеллигентом, а об освоении рабочим операций такого уникального, традиционно нербочего «цеха», как деятельность управления.

Это и есть столбовая дорога социалистической культурной революции на современном этапе. Ибо суть ее не простое распространение знаний, а новая роль трудящихся в духовном производстве. второй акт, второй «вызов» рабочего движения. В понятии «культурная революция» сущест вительное — революция.

Именно эта проблема затрагивалась на XXIV съезде КПСС, где ей дано четкое разрешение. Отвергнута фигура работника управления, возмнившего, что ему открыты все секреты жизни, дающего указания «по всем вопросам», вместо того чтобы умело использовать опыт и знания других. Было подчеркнуто, что у нас давно выросли квалифицированные кадры, способные правильно решать задачи, входящие в их компетенцию. Сохраняются ли такие участки общественной практики, где рабочие кадры не могли бы расцениваться одновременно как кадры управления? Противопоставлять компетентность управления участию масс в управлении, деловитость — демократии значит мыслить в рамках старого элитарного опыта.

* * *

Эволюция «века электричества» наполняет век социализма новыми чертами. То, что брало основания главным образом в общественной системе, начинает вытекать также из технических условий производства. Бедное содержание трудовых функций только «компенсируется» производственной демократией: их богатое технологическое содержание предполагает демократию в качестве внутреннего повеления.

До поры демократия развивается в условиях, когда рабочий поглощен мыслями о «хлебе насущном» и озабочен главным образом не тем, полна ли демократия, а только тем, полна ли чаша; другое дело, если рабочий все более живет не «хлебом единым». Одна обстановка, если о демократии вспоминают в свободное время, если она плод и роскошь досуга, тогда как в рабочее время требуется только «засучать рукава»; другая — если демократический образ действий становится образом самой работы и содержанием сменного времени труда. Одна ситуация, когда демократические процедуры грозят дезорганизацией производства и, следовательно, банкротством управления таким производством; другая — когда эти процедуры «входят» в технологию, предопределяя деловитость и эффективность управленческих решений. Есть принципиальная разница между возможностью участвовать в управлении из-за простоты его функций и необходимостью такого участия ввиду их огромной сложности.

Речь идет о радикальной перестройке самого рабочего места, его сущности и границ. Исключительная способность рабочих к внутренней спайке благодаря техническому прогрессу возводится в высшую степень: с одной стороны, без прежних зазоров расчлененного труда, а с другой — без былой анонимности примитивных операций.

Огромная ценность автоматизированной техники, которой теперь управляет работник, и особенно многократное увеличение объема продукции, выпускаемой за единицу времени, колоссально усиливает ответственную взаимозависимость людей. «Пространственное» увеличение дистанции между рабочими, обслуживаю-

щими автоматическую технику, и ослабление видимых контактов между ними касается не существа кооперации, а лишь внешних форм ее проявления. Развивается коллективность органического порядка. Труд в собственном смысле (в смысле субъективных целеполагающих действий человека) становится целиком с о в м е с т н ы м.

С другой стороны, сущность новой квалификации означает преодоление элементарной ограниченности рабочего места. Последнее теряет свои четко, физически очерченные пределы. Выпуклую характеристику новых параметров действия рабочего дают социологи З. И. Файнбург и В. М. Лихачев: «В развитой автоматической производственной системе отпадает жесткое принудительное ограничение рабочего пространства. Им становится вместо нескольких квадратных метров непосредственно у станка, у конвейера, у пульта (или десятков квадратных метров у группы станков) вся площадь помещения, где находятся контрольные приборы. Поскольку нет необходимости в интенсивном активном наблюдении за ними, работник может с в о б о д н о (не по заданному маршруту) перемещаться по всему пространству рабочего помещения, работать с какими-то устройствами, приспособлениями, размещенными в любом месте этого помещения, и т. п. Его труд по времени регламентирован лишь крайними точками нахождения в рабочем пространстве. Его функция задана лишь в общем виде, где критерием успешности выполнения этой функции является широкое, творчески реализуемое теоретическое знание, а не элементарный полурефлекторный навык»²³. Первичные формы нового рабочего пространства уже теперь представлены новыми рабочими объединениями.

Рабочее место претерпевает принципиальное укрупнение. Место у своего станка либо вовсе исчезает, переходя в непосредственно групповое обслуживание автоматической линии, либо косвенно срастается с «многостаночной» линией обширных участков современного производства.

Старая связующая нить совместного труда — через технологические фазы обработки изделия — дополняется прямым кооперированием. Новую кооперацию держит новый стержень. Прежние ее формы сводились в конечном счете к «сцеплению рук», ныне превалирует соединение знаний. Последовательность физической обработки изделия дополняется логикой творческого духа, ритм машин ритмом мысли. Авторитарное управление оказалось субъективным образом именно индустриальной технологии, где внешняя диктатура вещественного процесса требует дублирования, своего рода «подстраховки» в безапелляционном приказе, жестком разделении командования и исполнения.

Управление новыми процессами в корне видоизменяется. В результате перераспределения трудовых затрат в сферу нестандартной деятельности сущностью отношений по труду становятся отношения по участию в эксперименте, связь по изобретательству. Эксперимент как форма обычного труда — вот самый несгибаемый «революционный демократ» эпохи технологического переворота. Он сближает рабочих и специалистов в общем поиске, не оставляя никому особых преимуществ, кроме возможности внести вклад в оценку уникальной ситуации и предложить наилучший вариант решения.

Границы рабочего места раздвигаются, «взаимоотношения с администрацией» попадают в новые границы. Общий труд и общий поиск требуют о б щ е й о р г а н и з а ц и и. А общая организация предполагает, чтобы все работники время от времени «дельно ссорились» (А. Платонов). В таких условиях традиционное социальное разграничение деятельности (типа «управляют инженеры») постепенно утрачивает почву. Старый «оттиск» теряет родственную ему «матрицу» и оступается... в никуда. Отныне его существование — вопрос инерции или искусственного самоподдержания.

Стоит, очевидно, согласиться с теми социологами, которые считают, что по мере развития процессов научно-технической революции управление — в части принципиальных решений — будет осуществляться при общем участии членов производственного коллектива. Роль руководителя должна проявляться в том, чтобы выступать авторитетным специалистом-организатором, труд которого орга-

²³ «Социальные проблемы труда и производства», стр. 280.

нически вплетается в коллективную управленческую деятельность. А это означает, что различия между работниками в осуществлении функций управления останутся впредь только несущественными, не имеющими ничего общего с сохранением особого «цеха».

«Чтобы проследить, хорошо ли вносятся удобрения, — приводит элементарный «земной» пример первый секретарь Тамбовского обкома партии В. Черный, — надо приставить к агрегату не менее квалифицированного, чем сам тракторист, контролера. Что я имею в виду? То, что не количество руководящих инстанций и контролеров, не количество указаний и проверок играет сейчас главную роль, а глубина изучения происходящих процессов во всей сложности и подлинно научное воздействие на них. Производство страны вступило в пору интенсивного развития, уже этим, на наш взгляд, обусловлена необходимость перехода и в управлении производством, если так можно выразиться, от экстенсивных к интенсивным способам»²⁴.

Беспутный мастерской Фома Пухов, герой повести А. Платонова, в общность не верил: «Было у хозяина, а теперь ничье!» Над Фомой смеялись: «Чудак ты... Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно... Революция, брат, — забота!» Общая забота есть главный признак века социализма, ее же требуют новые достижения «века электричества». Финал старого правила «сапожник, знай свои колодки» предрешен естественноисторической логикой развития производства. Место в коллегии ответственных за общее становится то же рабочим и тоже своим. Нельзя управлять современной техникой, не участвуя в управлении предприятием и, следовательно, не подступая к управлению страной. Рабочее место объективно развивается в синтезированную рабочую арену.

Значение демократических форм особенно бросается в глаза при разногласиях, но оно ничуть не меньше как повседневная возможность осмысленного согласия. Известно, однако, что никакие идеи не определяют эффективность действий человека, если у него нет опыта действий. Это целиком относится и к развитию демократии: ее дальнейшие успехи возможны лишь постольку, поскольку она будет освоена «всеми пятью чувствами» рабочих масс. В самом деле, какие решения в сфере производства должны сегодня приниматься только коллективно, какие — с непрременным участием коллектива, а какие — по-прежнему на основе единоначалия? Проблема требует детального исследования в разных плоскостях. Концепция исследования будет верна лишь в том случае, если учтет растущее значение кооперированных знаний в техническом управлении, развитие коллективных интересов в условиях экономической реформы и принципиально высокую роль общественности в управлении социальной жизнью.

Пролетарий, начинавший революцию, имел в виду некий идеал: «Общность!.. Революция, брат, — забота!» Кузнец Горьковского автозавода А. Огнев видит в этом прозаическое, как черный хлеб, условие ежедневного производительного труда. Дело не в том, чего мы вообще хотим, а в том, без чего исторически уже не можем.

²⁴ Из выступления первого секретаря Тамбовского обкома КПСС В. Черного на совещании по социальному планированию в Москве, 1970 год.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*

Н. И. КРЫЛОВ

★

ОГНЕННЫЙ БАСТИОН*

4. ВЫСТОЯЛИ И ВЫСТОИМ!

Когда выйдешь из каземата КП наверх, с гористого Крепостного переулка можно увидеть значительную часть Севастополя. Через город пролегал путь к переднему краю северных секторов. О воздушном налете на любой его район, о начавшемся артиллерийском обстреле мы узнавали быстрее, чем об очередной вражеской атаке на том или ином участке обороны. Как и в Одессе, многие события городской жизни, неразрывно связанной с жизнью фронта, заносились в армейский журнал боевых действий.

Но как ни близок был город, мне долго не представлялось возможности вновь походить по главным севастопольским улицам, запомнившимся такими, какими они были в октябре, когда мы прибыли в Крым.

Впервые с тех пор пошагать по ним довелось лишь в конце ноября, в один из наступивших относительно тихих дней, о которых в сводке «На подступах к Севастополю», публиковавшейся в местной печати, говорилось: «Положение на фронте без изменений, наши войска прочно удерживают прежние позиции».

Облик центральной части города, куда фашисты нацеливали свои массированные налеты, изменился сильно. Про разрушения, которые произвел тут враг, я, конечно, знал по донесениям штаба МПВО. Знал, что уже в четвертое с начала обороны помещение перешел горком партии — три здания, где он работал, были повреждены бомбами одно за другим. Однако, чтобы вполне представить, как ощутили ноябрьский штурм жители города, надо было увидеть центр Севастополя собственными глазами.

Население города составляло в мирное время свыше ста тысяч. Довольно значительная часть жителей была эвакуирована, и эвакуация людей, не связанных с обороной, продолжалась. Но к десяткам тысяч севастопольцев, оставшихся в городе, прибавились беженцы из других мест Крыма. И теперь все они, кроме живущих на окраинах, где бомбы падали пока редко, переселялись под землю.

Как и все в Севастополе, это происходило организовано, в строгом порядке. Многие из бомбоубежищ, существовавших раньше, годились лишь чтобы переждать там недолгую тревогу. Поэтому под жильё спешно приспособлялись — силами самих горожан, большей частью женщин — разные подземные склады, а в одном месте, кажется на Пироговской улице, даже минная галерея времен первой обороны. В толще горы, которую опоясывает кольцо центральных улиц, прорезались с помощью саперов, подрывников новые вместительные штольни с выходами прямо во дворы домов.

Обеспечить все население укрытиями, надежно защищающими от любой

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

бомбежки и обстрела, и постараться сделать это до того, как фашисты начнут новый штурм, — такую задачу поставил перед собой в те дни городской комитет обороны.

О севастопольском комитете обороны мне предстоит говорить и впредь (связь с ним становилась у нас чем дальше, тем теснее), и потому необходимо пояснить его роль, кое в чем отличную от роли таких комитетов в других городах, где они создавались.

Вопросами военными в прямом смысле слова, непосредственной защитой города на фронте севастопольский комитет обороны не ведал. Это был партийно-советский орган, сосредоточивший в своих руках всю полноту гражданской власти. Занимаясь прежде всего мобилизацией сил и ресурсов Севастополя на помощь фронту, он вместе с тем делал все что мог для поддержания нормальной — по осадным, конечно, понятиям — жизни в самом городе.

Авторитет городского комитета обороны был чрезвычайно высок. Не только его постановления, но и обращения, призывы — в этом мы убеждались постоянно — воспринимались населением как боевой приказ. Главу комитета Бориса Алексеевича Борисова и членов комитета, особенно Василия Петровича Ефремова — председателя горсовета, знали в Севастополе все.

Борисов и Ефремов носили флотские кителя и фуражки, и мы, помню, принимали их сперва за моряков. Знакомство с ними началось, когда на пополнение вышедшей из гор Приморской армии передавалось севастопольское ополчение — каждый из трех районов города сформировал по полку. А затем комитет обороны стал поставлять нашим частям оружие и боеприпасы местного производства.

Выпуск военной продукции на предприятиях Севастополя, в том числе на таких, с которых наиболее ценное оборудование и лучших специалистов эвакуировали в тыл, налаживали еще в августе—сентябре. Когда немцы подступили к Переполу, на Морском заводе, в железнодорожных мастерских, на полукустарном заводике «Молот», изготовлявшем раньше металлическую посуду, уже делались минометы, ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины.

Город не знал тогда, что ждет его спустя месяц или два. Фашистские самолеты появлялись над Севастополем редко, и их легко отгоняли. И никого, видимо, не смущало, что цеха, где осваивается производство оружия, стоят на поверхности земли, имеют обыкновенные стены и крыши, неспособные защитить ни от бомбы, ни от крупного снаряда.

А в начале ноября эти предприятия оказались под вражескими ударами, под огнем. Выпуск боевой продукции резко сократился как раз тогда, когда она была особенно нужна. Сократился не только из-за прямых повреждений цехов и механизмов — возникали перебои в подаче электроэнергии, рабочий ритм нарушали непрестанные воздушные тревоги.

Положение с военным производством обсудило командование Севастопольского оборонительного района. Приняли решение, единственно возможное в сложившейся обстановке: перенести это производство под землю. А конкретно — в штольни, вырубленные когда-то для флотских складов в прибрежных скалах у Северной бухты, в Троицкой балке.

Так положили начало знаменитому спецкомбинату № 1 — арсеналу осажденного Севастополя.

Не берусь судить, сколько недель, а может быть, и месяцев ушло бы на создание и пуск подобного предприятия в спокойное, мирное время. А в ноябре сорок первого, под бомбежками и артиллерийским обстрелом, когда в нескольких километрах отражались отчаянные попытки врага прорвать наш фронт, все это сделали под руководством городского комитета обороны за десять или одиннадцать суток. Причем ни на один день не прекращалось, пусть в сокращенном объеме, производство оружия, особенно ручных гранат, в наземных цехах.

А у комитета обороны хватало и других забот. Выходил из строя хлебозавод, требовалось восстановить поврежденные участки электросети и водопровода, приобрело чрезвычайную срочность переселение жителей в убежища.

17 ноября, в день напряженнейших боев на балаклавском направлении и в долине Кара-Коба, подземный завод в Троицкой балке дал первую продукцию — двести гранат...

— Там развертывается крупное предприятие, — делился впечатлениями член Военного совета армии Михаил Георгиевич Кузнецов, побывавший на спецкомбинате. — Штольни громадны. Похоже на туннель — не видно конца. И место очень надежное. Над головой — десятки метров скальной породы, так что не страшна даже тысячекилограммовая бомба...

Основные цеха комбината действительно были неуязвимы для врага. Но работа там началась в тяжелых условиях. От недостатка кислорода в глубине штолен гасла зажженная спичка. Через несколько дней провели вентиляцию, но когда близко падали бомбы, ее приходилось выключать — в подземелье втягивалась струей поднятая взрывами пыль. Половину рабочих составляли женщины и подростки, мужчины же — почти все преклонного, непризывного возраста.

Рядом с цехами оборудовали рабочее общежитие с двухъярусными койками, взятыми из флотских школ, — места в штольнях хватало и для него. Осваивались новые виды продукции — 50-миллиметровые, а затем и 82-миллиметровые минометы (местные рационализаторы придумали свою конструкцию подъемного устройства, упростив изготовление этого оружия без ущерба для боевых качеств). Комбинат стал принимать в ремонт орудия, танки. Но главной его продукцией оставались гранаты и мины.

Хочется подчеркнуть — и это относится не только к первым месяцам Севастопольской обороны, о которых идет сейчас речь, — что пущенный в штольнях военный завод не состоял ни на каком плановом снабжении. Чтобы комбинат действовал, требовалось постоянно изыскивать для него сырье и вообще проявлять много изобретательности.

Использовались старые трубы, кровельное железо, металлолом, собранный на заводских дворах и в разрушенных зданиях. Взрывчатку извлекали из имевшихся на флотских складах морских мин. Сперва корпуса гранат возили на заправку взрывчатым веществом на флотский склад в Сухарной балке — на другую сторону Северной бухты. Потом пустили свой «снаряжающий цех», организованный, между прочим, на основе сугубо мирной промартели «Химчистка».

Еще до пуска первого подземного комбината городской комитет обороны приступил к организации второго — для шитья и ремонта армейского обмундирования. Его создали на базе небольшой фабрики «Красный швейник» и сапожной артели с громким названием «Парижская коммуна». Разместили спецкомбинат № 2 в Инкермане, в укрытых глубоко под горою хранилищах шампанских вин. На этом предприятии работали почти исключительно женщины. При нем сразу же открыли — конечно, тоже под землей — детский сад и ясли. Позже открылась там и школа.

В двух спецкомбинатах, когда они полностью развернулись, работало до четырех тысяч человек. Они стали важными, я бы сказал — незаменимыми, звеньями в складывавшемся механизме обороны города. И по праву эти подземные предприятия поименованы вслед за защищавшими Севастополь воинскими частями на мраморных плитах мемориала, сооруженного после войны на площади Нахимова.

Освоением севастопольских подземелий занялись и наши армейские тыловики, прежде всего медики. По соседству со спецкомбинатом № 2 в огромных пустах-пещерах, образовавшихся от многовековой добычи инкерманского камня (историки считают, что отсюда его брали еще на строительство древнего Херсонеса и дворцов Византии), создавался самый крупный в Приморской армии госпиталь.

Именовался он, впрочем, просто 47-м медсанбатом, входившим в состав Чапаевской дивизии: Инкерман относился к ее тыловому району. Но суть не в названии. На Севастопольском плацдарме, где тылы были понятием условным, эвакуация раненых не укладывалась в обычную организационную схему и медсанбаты имели функции, более широкие.

В книге об обороне Одессы я уже писал о том, что наш начсанарм военврач 1-го ранга Давид Григорьевич Соколовский всегда стремился — и умел! — вести свое дело с размахом. В полной мере проявилось это его качество и в Севастополе. С ходу установив контакт с флотскими медиками, с горздравом, используя оказавшийся в его распоряжении медперсонал из 51-й армии (когда в степном Крыму был рассечен фронт, часть ее тылов примкнула к приморцам), Соколовский развернул пять госпиталей.

Медсанбат-госпиталь в инкерманских штольнях являлся гордостью начсанарма. Но заслуга создания этого подземного дворца для раненых принадлежит не только медикам. Оборудовал его инженерный отдел флота, обеспечивший госпиталь даже автономной электростанцией.

Человека, попадавшего сюда, охватывало необычное в осажденном Севастополе ощущение покоя. Толща породы поглощает все наружные звуки, даже разрывы бомб. Длинной галереей уходят вдаль ярко освещенные палаты-залы с ровными, слегка искрящимися стенами...

Рассчитанный на 700 мест, этот госпиталь при необходимости мог вместить и две тысячи раненых и больше. А просторные операционные деятельный армхирург профессор В. С. Кюфман, ни в каких условиях не перестававший заботиться о повышении квалификации своих младших коллег, превратил в своего рода учебный центр, через который пропускались врачи всех соединений.

Оговорюсь, однако, что таким инкерманский госпиталь стал несколько позже. В конце ноября подземелье еще только обживалось, решалась проблема вентиляции. Но уже виделись огромные возможности этого необычного медсанбата.

В итоге ноябрьских боев мы имели 7600 раненых (вернувшиеся после перевязки в свои подразделения в счет, понятно, не шли). Как и в Одессе, мы руководствовались принципом: всех, кого нельзя относительно скоро, в пределах месяца, возвратить в строй, отправлять при первой возможности на Большую землю.

Кроме санитарных транспортов, раненых принимали на борт приходившие в Севастополь боевые корабли. В этих случаях требовалась особая оперативность: корабли не могли задерживаться и эвакуаторам пригодился одесский опыт спешных ночных посадок. Как свидетельствует старая сводка, всего в ноябре было вывезено на Кавказ 5700 раненых.

Необычно суровая зима сорок первого года уже давала себя знать и на юге. По словам севастопольских старожилов, в иные годы в ноябре тут кое-кто еще купался, теперь же стояли морозы, лежал снег. Все это прибавляло забот хозяйственникам.

О наших тыловиках следовало бы сказать гораздо больше — за это время они сделали очень многое. Но читатель поймет, что и после того, как ноябрьский штурм мы отбили, в поле зрения штаба армии, а значит, и моем находился прежде всего непосредственно фронт.

Предстояло как можно быстрее и абсолютно точно определить, где и как проходит теперь, после напряженных боев, наш передний край — в каждом секторе, на каждом участке обороны. Не полагаясь на донесения из соединений, мы выясняли это на местности всем составом оперативного отдела. И на моей рабочей карте появилось немало существенных поправок.

У нас еще нередко говорилось, что знать передний край мы обязаны «как в Одессе». Однако Одесса могла служить в этом отношении эталоном разве что на первых порах.

Севастопольский плацдарм был теснее, возможности маневра здесь резко ограничивались, и само понятие «жесткая оборона» приобретало смысл куда более категорический, ибо всякий неприятельский клинышек сразу означал угрозу плацдарму в целом. В таких условиях штарму надлежало знать и фактическое расположение линии фронта со всеми ее изгибами, и состояние любого батальонного участка не «как в Одессе», а лучше, детальнее.

В укреплении фронта вопросом вопросов оставалось инженерное оборудование позиций. То, что наша оборона и в таком виде, в каком застал ее первый натиск врага, в целом его выдержала, успокаивать не могло. Неподготовленность передового рубежа и отсутствие запасных, промежуточных обошлись на правом фланге дорого. Иногда бойцам приходилось вгрызаться в твердый каменный грунт уже под огнем. И где успевали окопаться мало-мальски сносно, а где и не успевали...

Инженерные работы не прерывались ни на один день. В них участвовали специальные части (военно-полевые строительства), подчиненные генерал-майору А. Ф. Хренову, армейские саперы, бригады жителей города, а на переднем крае на своих участках обороны — все войска. В отчетных документах появлялись довольно внушительные цифры, обозначавшие число вырытых окопов и поставленных мин, протяженность ходов сообщения и проволочных заграждений и разные другие итоги.

Но приедешь в дивизию, пройдешь по позициям — и опять убеждаешься, что сколько ни сделано, остается сделать больше. И в который раз спрашиваешь себя: управимся ли сделать — пусть не все, но хоть самое важное — до того, как снова настанут жаркие дни?

30 ноября командование СОР утвердило окончательный план оборонительных рубежей, приведенный в соответствие с конкретной обстановкой как она сложилась после первого наступления противника, а также с реальным наличием сил и средств.

Изменения касались главным образом передового рубежа, линию которого определили результаты ноябрьских боев. На правом фланге он начинался теперь у Генуэзской башни над Балаклавской бухтой, проходил по западному склону высоты 212,1, за которую велись такие упорные бои, потом через Камары и Нижний Чоргунь, в центральной части обвода — у хутора Мекензия и далее у станции Бельбек, а на левом фланге, как и прежде, включая Аранчийский опорный пункт.

Местами этот рубеж стал на три-четыре километра ближе к городу, чем был намечен сперва (именно намечен, потому что оборудовать тогда успели, да и то не полностью, лишь опорные пункты). Но общая его протяженность сократилась незначительно и составляла около 45 километров. Прежним оставалось основное назначение передового рубежа — запираеть подходы к Севастополю по Ялтинскому шоссе, долине Кара-Куба и долинам рек Черная, Бельбек, Кача.

Второй, или главный, рубеж подлежал дооборудованию и усилению в основном по первоначальной его линии. То, что он пролегал слишком близко от города и что на неприятельской стороне находился ряд командных высот, уже никак не могло быть изменено. Оставалось получше использовать возможности тех высот, через которые он проходил, — Федюхиных, Инкерманских, холмов за Бельбеком: они позволяли создать достаточно сильные опорные пункты и узлы, перекрывающие выгодные для наступления противника направления.

Третий — тыловой — рубеж, как уже говорились, был к началу обороны в наибольшей готовности из всех. Теперь он дополнялся в районе к югу от города двумя отсечными позициями, прикрывающими аэродром у мыса Херсонес, Стрелецкую бухту, береговые батареи. Необходимость в подкреплении обороны в глубине правого фланга подтвердили бои на балаклавском направлении, в ходе которых не раз возникала угроза прорыва сюда вражеских танков.

Траншеи траншеями, но холода заставляли форсировать и строительство утепленных землянок. Их строили на 20—30 человек — отрыть в каменной земле одну большую все-таки проще, чем две или три поменьше, да и железных печек не хватало, хотя их и начали изготавливать в городе.

Командарм держал эти работы под личным контролем. Помню, когда особенно похолодало — кажется, в ночь на 27 ноября, — он потребовал, чтобы весь состав штабов и политотделов соединений отправился в роты и проследил, обеспечены ли солдатам возможность обогреться.

По-хозяйски, домовито обживали свои позиции артиллеристы.

— Был сейчас в Пятьдесят первом артполку у Бабушкина, — рассказывал

Николай Кирьякович Рыжи. — Так у него, знаете, такие землянки, что жить можно почти как в казармах мирного времени. Когда только успели!

Но артиллеристы успели сделать и немало другого, еще более важного. Для полевых батарей оборудовались запасные позиции. Увеличивалось количество пристрелянных участков, на которые за считанные минуты мог быть направлен огонь. На огневых позициях дальнобойных дивизионов создавалось по два фронта: для стрельбы в основном направлении и для поддержки войск в других секторах. Обеспечивалась также возможность быстро повернуть все орудия в сторону моря — в случае, если бы немцы паче чаяния попытались высадить где-то у Севастополя десант.

Командующий и штаб армии продолжали много заниматься Первым сектором: здесь фактически заново создавался передовой рубеж и надо было довести до конца организационные меры, начатые перегруппировкой войск в ходе ноябрьских боев.

После формирования полнокровного полка из пограничников уже ничто не мешало, не ожидая подкреплений с Большой земли, возродить дивизию Новикова — бывшую 2-ю кавалерийскую, первым командиром которой был под Одессой Иван Ефимович Петров.

Теперь в нее, временно названную 2-й стрелковой, вошли полки: пограничный — в командование им вступил майор Рубцов, 383-й и 1330-й, а также 51-й арtpолк майора А. П. Бабушкина, противотанковый и минометный дивизионы и некоторые другие части. Два месяца спустя Наркомат обороны переименовал эту дивизию в 109-ю стрелковую, присвоив новые номера и ее полкам.

Как раз к восстановлению дивизии до нас дошло постановление правительства о присвоении Петру Георгиевичу Новикову генеральского звания. Он стал четвертым генералом во всей Приморской армии.

Новикову было тридцать пять лет, и восемнадцать из них он провел на военной службе. Петр Георгиевич имел орден Красного Знамени за Испанию, в Отечественную войну вступил опытным, с трехлетним стажем, командиром полка. От первой же встречи с ним в начале Одесской обороны у меня осталось впечатление, что на этого спокойного, немногословного полковника с выразительным грубоватым лицом можно положиться в самом трудном — не подведет. И в этом никогда не пришлось усомниться.

В ноябре Первый сектор не удержал часть своих позиций, но сперва Новиков имел слишком мало сил, а помочь ему армейскими резервами мы смогли, лишь убедившись, что главный удар не наносится в другом месте. Начав получать подкрепления, комендант сектора использовал их очень разумно. Новиков вообще умел «думать за противника», угадывать и упреждать следующий его шаг. И как ни нажимали гитлеровцы, каких ни достигали местных успехов в борьбе за балаклавские высоты, наша оборона на правом фланге крепла. После ноября она на много месяцев стала здесь совершенно непреодолимой для врага.

Не сомневаюсь, что Петр Георгиевич знал буквально каждый метр переднего края своего сектора. На Севастопольском плацдарме все командные пункты, в том числе и дивизионные (они же секторные), располагались близко от передовой — соблюдать дистанции, рекомендуемые наставлениями, не было возможности. Но и на КП, максимально приближенном к линии фронта, Новикову не сиделось. Приедешь туда — и оказывается, что комендант сектора или в Генуэзской башне, или где-нибудь еще на полковом наблюдательном пункте, в батальоне.

Кто-то из политработников рассказывал, что бойцы 2-й дивизии говорят о своем комдиве «наш Суворов». Высокая солдатская похвала генералу, которого привыкли видеть в окопах!

Военкомом восстановленной дивизии снова стал А. Д. Хацкевич — опытнейший политработник, участник гражданской войны, получивший к этому времени звание бригадного комиссара, начальником штаба — подполковник С. А. Комарницкий. Кстати, штадив формировать заново не пришлось: он сохранился в прежнем составе.

Несмотря на увеличение собственных сил Первого сектора, командарм решил пока оставить тут и полк Капитохина — 161-й стрелковый, который, как помнит читатель, был переброшен в критический момент на правый фланг обороны с левого. Генерал Петров считал весьма вероятным, что при следующем наступлении немцев главные события снова развернутся вдоль Ялтинского шоссе, поскольку здесь можно шире, чем на других направлениях, использовать танки.

Левый фланг представлялся Петрову менее опасным не только потому, что на том направлении фронт отстоял пока значительно дальше от города — в наших руках находились и Мамашай (Орловка) и Аранчи (Суворово). Там существовало и такое серьезное препятствие для продвижения врага, как Северная бухта.

Как-то, не в связи с конкретными событиями, а просто размышляя о положении наших флангов, Иван Ефимович сказал:

— Допустим худшее: немцам удалось выйти к Северной бухте... Было бы невероятно тяжело, и все-таки это еще не конец, держаться еще можно, если между Северной и Балаклавой стоим прочно. А вот если танки прорвутся с юга куда-нибудь к Дергачам — считайте, что они в городе.

В принципе это было верно. Однако предположение, что противник повторит главный удар там, где наносил его в прошлый раз, как известно, не оправдалось.

При выездах в войска я старался поближе знакомиться с новыми командирами полков. Связисты обеспечили возможность соединиться почти с каждым из них напрямую. Но даже для того, чтобы правильно оценивать сведения, получаемые по телефону, важно хорошо знать человека, который на том конце провода. А тех, кто командовал полками под Одессой и Ишунью и кого привык понимать с полуслова, оставалось в строю уже не так много.

Правда, некоторые из вновь назначенных командиров вообще-то были мне знакомы.

В командование 241-м стрелковым полком в дивизии Воробьева вступил капитан Н. А. Дьякончук, недавний оператор штадива (но этому оператору под Одессой не раз доводилось лично возглавлять контратаки!). Вверили полк, пока временно, и еще одному капитану — В. И. Петрашу, комбату из Чапаевской дивизии, тоже многократно отличавшемуся в одесских боях. Оба были полны понятной при таком повышении молодой самолюбивой гордости. Но также и сознания ответственности. А недостававший опыт предстояло ускоренно приобретать в боевой работе.

Когда знакомился затем с командиром 1-го Севастопольского стрелкового полка — солидным бородатым полковником Павлом Филипповичем Горпищенко, — невольно подумалось, что те капитаны годятся ему в сыновья. Горпищенко — начальник флотской школы оружия и пошел в окопы вместе со своими питомцами, которых готовил в корабельные артиллеристы. А раньше он, как выяснилось, командовал многими береговыми батареями, в том числе 19-й, той, что сейчас помогла остановить врага у Балаклавы. Но и в пехоте воевал не впервые: в молодости побывал рядовым царской армии, потом красноармейцем.

Ни внешне, ни характером этот смуглый бородач, кубанец родом, не походил на северянина Якова Ивановича Осипова, командира 1-го морского полка в Одессе. И все же чем-то его напоминал. Тот и другой прошли огромную жизненную и боевую школу. Тот и другой, встретив нынешнюю войну уже немолодыми, решили, что их место на передовой, нисколько при этом не заботясь, чтобы фронтовая должность соответствовала оставленной в тылу.

Полк Горпищенко держал оборону во Втором секторе, как и морской полк майора Н. Н. Тарана, храбрейшего командира, фамилия которого вполне соответствовала его активной, напористой натуре. Флотская форма вообще встречалась здесь часто — подразделения моряков пополнялись и другие части. У коменданта сектора командира 172-й дивизии полковника Ласкина появился даже моряк-адъютант — богатырского сложения старшина, выглядевший особенно внушительно рядом с невысоким худощавым комдивом.

Иван Андреевич Ласкин рассказывал, как он этого адъютанта нашел. Примечательно, впрочем, не сам факт, а обстоятельства, при которых сие произошло. Вспоминая сейчас этот эпизод, я думаю о том, насколько точно, метко в мемуарах генерала П. И. Батова, знавшего комдива-172 не по Севастополю, а раньше — по сравнительно недолгим боям под Перекопом, — Ласкин назван «командиром переднего края». Вот уж кто действительно не мог руководить боем издалека.

В тот раз командир дивизии прибыл вечером в один полк, чтобы разобраться, почему днем не удалось удержать небольшую высотку и какие последствия имеет захват ее противником. На месте он пришел к выводу, что высотку необходимо вернуть. Того же мнения был и командир полка, опасавшийся, однако, что для этого у него не хватит сил. Комдиву же пока не было ясно, хватит или не хватит. А задач нереальных, невыполнимых Ласкин никогда не ставил.

Что же делает командир дивизии? Он требует маскхалат, натягивает его и ползет как рядовой разведчик в «ничейную» полосу, решив лично обследовать подступы к высотке. Причем сопровождать себя никому не разрешает: до неприятельских позиций всего полтора-два метра и у одного больше шансов остаться незамеченным.

На другом этапе войны, через год-полтора, подобные действия командира соединения, пожалуй, невозможно было бы и представить. Да и тогда, в конце срока первого, они заслуживали скорее осуждения, нежели похвалы. И все же следует помнить, насколько необычной была севастопольская обстановка, то и дело заставлявшая всех нас поступать в чем-то «не по правилам».

А уж в использовании наличных сил требовалась такая сверхрасчетливость, что можно простить комдиву и вылазку за передний край, если она помогла принять верное решение на бой.

Ласкин благополучно дополз до бугорка, который себе наметил, полежа там, осмотрелся и понял, как именно следует брать высотку, чтобы обойтись без лишних потерь, а также как поддержать атаку артиллерией. Удовлетворенный своей разведкой, он повернул обратно. И на полпути наткнулся в кустах на какого-то крупного человека, которого чуть не принял за перерезающего ему путь немца.

Тот шепотом представился:

— Старшина первой статьи Ляшенко. Имею приказание командира полка не упускать вас, товарищ командир дивизии, из виду. А если что — вынести...

Когда они добрались до своих окопов, комдив уже знал, что старшина до недавних пор служил на линкоре, откуда в числе других добровольцев пошел защищать Севастополь. Здоровенный моряк приглянулся командиру дивизии, и он взял его к себе адъютантом. Прежнего комдив только что послал чем-то командовать.

Старшина (впоследствии лейтенант) Иван Ляшенко оставался адъютантом Ласкина всю Севастопольскую оборону. Как мне известно, они и потом еще долго служили и воевали вместе.

«Мастер вселять в людей веру в свои силы» — так, помню, охарактеризовал однажды полковник Ласкин начальника политотдела своей дивизии старшего батальонного комиссара Г. А. Шафранского. Это действительно был боевой политработник и очень смелый человек. Но хочется сказать, что такого рода мастером, умевшим ободрить людей одним своим появлением на трудном участке фронта, являлся и сам комдив-172.

Я знаю, как однажды Ласкин и военком его дивизии полковой комиссар П. Е. Солонцов явились вдвоем на полуокруженный наблюдательный пункт командира морского полка майора Тарана в такой момент, когда там могли ждать разве что связного, но уж никак не дивизионное начальство.

Было это на Госфортовой горе, над долиной реки Черной, где расположено Итальянское кладбище времен Крымской войны. Голая, без единого дерева гора с кладбищенской часовней на вершине представляла собой очень беспокойное место и в период общего затишья — противник многократно пытался овладеть выгодной позицией в центре обороны нашего Второго сектора. Малочисленный полк

Тарана, хотя на него работала почти вся секторная артиллерия, держался тут с трудом. А в тот день командир дивизии особенно тревожился за этот участок, потому что с НП Тарана, откуда майор управлял полком, прервалась связь.

Не считая возможным ждать, пока ее восстановят, Ласкин и Солонцов ночью сами пошли к Тарану хорошо знакомой им тропой, чтобы на месте выяснить обстановку и принять решение. И застали полковой НП уже полуокруженным.

— Как вы сюда попали, товарищ комдив? — изумился майор Таран. — Немцы в шестидесяти метрах. У меня с трех сторон от НП лежат матросы с гранатами...

— Матросов с гранатами видел, — отвечал полковник Ласкин. — А я тут потому, что вы тут. Но объясните-ка, как вы умудряетесь управлять отсюда полком.

Ласкин с Солонцовым обошли и батальоны полка, в тот момент соответствовавшие по числу штыков в лучшем случае нормальным ротам. Наверное, их видел почти каждый боец, а кто не видел — слышал, конечно, об их приходе от товарищей. И как знать, не помогло ли поредевшему морскому полку продержаться еще сутки (затем сюда было прислано подкрепление), в частности, то, что ночью на Госфортовой горе побывали комдив и военком, морально поддерживав обороняющих ее людей.

В 172-й дивизии привыкли к тому, что комдив и военком почти всюду бывают вместе. Никакой командир не обладал правом подбирать себе комиссара — единственного в соединении или части человека, который ему не подчинен, в равной с ним степени за все ответствен и облечен фактически равной властью. Но если бы дать такое право полковнику Ласкину, он, не сомневаюсь, выбрал бы своим боевым товарищем именно Солонцова.

И в других дивизиях командиры и военкомы работали, как правило, дружно. Однако эти двое как-то особенно удачно дополняли друг друга. Петр Ефимович Солонцов, кадровый политработник, незадолго до войны окончил академию. Он располагал к себе уравновешенным характером, здоровой рассудительностью, за которой чувствовалась ум и опыт, и, наверно, мог многое подсказать, посоветовать своему комдиву. А Ласкин, сам вдумчивый и, при всей его решительности, чуждый самонадеянности, был не из тех, кто может не прислушаться к толковому совету, пренебречь правилом «ум хорошо, а два лучше».

В их отношениях нельзя было не заметить большого взаимного уважения и искреннего товарищеского чувства. Им хотелось быть вместе на передовом НП дивизии на Федюхиных высотах, ходить вдвоем в полки и батальоны. Думается, эта честная, безкомпромиссная дружба двух старших начальников, двух смелых и мужественных людей, постоянно находившихся на глазах у всей дивизии, сыграла не последнюю роль и в том, что среди всего ее командного состава был силен дух боевого товарищества.

К тому, как работают Ласкин и Солонцов, заинтересованно присматривался командарм. Мы вообще уделяли в то время несколько повышенное внимание 172-й дивизии как новой в Приморской армии и к тому же только что переформированной после потерь, понесенных до Севастополя.

Состав дивизии был весьма разнородным. В одних подразделениях — их называли теперь «ротами отцов» — преобладали бойцы старшего возраста из первоначального контингента (дивизия формировалась уже после того, как призвали более молодых запасников), в других — матросский молодежь, в третьих — вчерашние ополченцы. Одна рота состояла почти целиком из рабочих маленького заводика «Бром», находившегося где-то на севере Крыма: когда туда подступил враг, они все ушли на фронт, и командовал ими бывший директор завода, а политруком роты был учитель местной школы...

Нетрудно представить, какие усилия требовались от командиров и политработников, чтобы сплотить, спаять все это в единый, четко управляемый боевой организм.

— Вы знаете, — спросил как-то Иван Ефимович Петров, — что в дивизии

Ласкина уже сложили свою песню? Это хорошо. И поют ее с гордостью, сегодня сам слышал.

Потом услышал эту песню и я. Начиналась она, помнится, так:

Родилась боевая, в пороховом дыму,
Сто семьдесят вторая дивизия в Крыму...

Под Одессой у нас имел свою песню только артиллерийский полк Богданова. За месяцы Севастопольской обороны обзавелась своей песней почти каждая защищавшая город часть. Но «Песня 172-й стрелковой дивизии» была едва ли не самой первой.

Ради укрепления штадива 172-й пришлось расстаться с одним из лучших работников штарма — майором М. Ю. Лернером, которому я совсем недавно передал оперативный отдел.

Михаил Юльевич показал себя отличным начопером, но тяготился тем, что вынужден почти невылазно сидеть в каземате на Крепостном переулке, и все настойчивее просил перевести его в войска. Ласкин же искал возможности заменить своего начальника штаба более подготовленным и, узнав о желании Лернера, переговорил о нем с командармом. Генерал Петров сказал, что это решать Крылову. Ну а я перед дружным натиском обоих «заинтересованных лиц» не устоял. Тем более что повышения майор Лернер безусловно заслуживал, и за штаб, который он возглавит, я мог быть спокойным.

Как было знать, что отпускаю его навстречу гибели... Правда, не такой еще скорой. Сделать в дивизии он успел многое.

А в исполнение обязанностей начальника оперативного отдела штарма вступил майор Ковтун-Станкевич.

Закончу, однако, начатый рассказ о новых командирах полков. Все в той же 172-й дивизии к ним относился подполковник Василий Васильевич Шашло. Он заменил в 514-м стрелковом полку И. Ф. Устинова, раненного в последний день ноябрьского наступления немцев и эвакуированного на Большую землю.

Шашло попал в дивизию из погранвойск и продолжал в память о службе в них носить зеленую фуражку. На висках у него серебрилась ранняя седина. А по характеру — невозмутимо спокойный и на редкость молчаливый человек, полная противоположность темпераментному комиссару полка Осману Караеву. Комдив Ласкин, сам живой и общительный, признавался, что сперва ему было с Шашло трудно:

— Какую ни поставишь задачу, вопросов не задает, только и скажет: «Слушаюсь». Думаешь: да понял ли он?

Но скоро комдив убедился, что молчаливый и хмурый на вид Шашло предельно собран и просто не нуждается в излишних уточнениях, в переспросах. На его короткое «слушаюсь» можно было положиться — и понял и сумеет выполнить. А когда мне приходилось соединиться с ним по телефону — для него внезапно, — он буквально несколькими словами исчерпывающе освещал обстановку.

Понадобилось немного времени, чтобы за Шашло утвердилась в Приморской армии репутация одного из наиболее умелых полковых командиров.

Зеленую фуражку носил, разумеется, и майор Рубцов — статный темнобровый командир сводного погранполка, который в середине ноября прочно занял позиции на правом фланге Севастопольской обороны. У Балаклавы, начиная с высоты, увенчанной Генуэзской башней, где пограничники несли дозор и до войны, их форма стала преобладающей. И как и в полку Маловского под Одессой, здесь жили по правилу: твой рубеж — та же граница, а ее, как известно, положено держать на замке.

На значительной части участка рубцовского полка передний край проходил невыгодно для нас — под высотами, где укрепились немцы. Тем не менее линия фронта тут сделалась неизбежной. Командарм, отмечая это, вспоминал, как Рубцов, приняв участок, заверил его: «Пограничники сделают все, чтобы не отступить ни на шаг».

Герасима Архиповича Рубцова, командира очень волевого, отличала также высокообразованная самостоятельность. Причем самостоятельность в лучшем смысле слова — разумная, зрелая. Вот уж кому — это он доказал быстро — можно было предоставить решать боевую задачу так, как считает выгодным он сам. Очевидно, к этому приучает вся обстановка пограничной службы. Там каждая застава — отдельная часть, отряд — фактически соединение, хотя людей в нем и немного. А погранотрядом Рубцов уже командовал. Порой думалось: а ведь этот майор, если надо, справился бы не только с полком!

Глубокое уважение вызывали командиры 40-й кавдивизии, ветераны первых битв за молодую республику Советов. Не только комдив Филипп Федорович Кудюров и начштаба Иван Сергеевич Стройло, но и немало других конников имели ордена Красного Знамени за гражданскую войну. Участвовал в ней почти весь командный состав дивизии, включая и младший. Сержантам тут, как правило, было за сорок. Солидно выглядели и бойцы — призванные из запаса кубанские станичники.

Дивизия создавалась как легкая кавалерийская, предназначалась для стремительных рейдов по неприятельским тылам. А воевать ей пришлось совсем иначе. В последнее время, под Балаклавой, — уже в пешем строю. Но и в таких непривычных для них условиях конники держались хорошо. Не страшились ни фланговых охватов, ни окружения, очень ценили пулемет и умели его использовать, с кавалерийским азартом ходили в контратаки, выбивая немцев с захваченных высот.

Теперь дивизия Кудюрова находилась в армейском резерве. Вместе с влиятельными в нее остатками 42-й кавдивизии она не насчитывала и тысячи бойцов. Сохранялись, однако, три полка со штатным числом эскадронов. Берегли уцелевших коней. Конники верили, что спешатся они временно и, может быть, скоро снова будут в седле, вырвутся на простор крымской степи, развернутся там по-буденновски...

Помню разговор об этом с командиром кавполка Леонидом Георгиевичем Калужским — тем, который отличился в памятный день 17 ноября, когда фашисты чуть не ворвались в Балаклаву. Он разделял надежды своих бойцов.

Да разве не могли они сбыться? Под Ростовом, хотя врагу и удалось его захватить, как будто уже назревал перелом. Готовясь отражать новое наступление немцев, мы не только не исключали того, что в недалеком будущем сможем наступать сами, но очень на это рассчитывали (представить, что оборона Севастополя продлится много месяцев, было еще трудно). При изменении к лучшему общего положения на Юге, чего все ждали, задачей приморцев могло стать преследование противника, отходящего из Крыма.

Не без учета таких возможностей командарм Петров и считал целесообразным сохранять в малочисленной кавдивизии прежнюю внутреннюю организацию. Богатая и сейчас опытными командирами и бывальыми бойцами, она могла бы, приняв пополнение, сразу использоваться по прямому назначению.

Но пока конникам, как и морякам, предстояло настойчиво осваивать тактику пехоты. Что это необходимо, командиры 40-й кавалерийской вполне сознавали и не теряли времени даром.

Бывать на флагманском командном пункте флота — он же КП СОР, — находящемся у Южной бухты, довольно далеко от нас, мне случается не часто. Когда командарм и член Военного совета отправляются туда с ежедневным докладом командованию оборонительного района, я остаюсь старшим на армейском КП. Штаб СОР, начальником которого я несколько дней числился и который теперь занимается практически делами чисто морскими, обычно требует от штарма лишь оперативные сводки и отчеты.

В Одессе отношения со штабистами-моряками были как-то ближе и теплее — такие, как здесь с Моргуновым и Кабалюком, с которыми мы и живем под одной крышей и все, что целесообразно делать сообща, так и делаем.

Всех нас, естественно, интересовали и волновали и морские дела, неотделимые в Севастополе от сухопутных уже потому, что от морских перевозок полностью зависела боеспособность армии.

Новости о том, что происходит на море и что оттуда ожидается, привозили с флагманского КП командарм и Кузнецов. О приходе кораблей, о прибывающих на них подкреплениях и воинских грузах извещал меня также начальник оперативного отдела штаба флота капитан 2-го ранга О. С. Жуковский. Мы познакомились с ним в Одессе, когда готовилась ее эвакуация, и пока Жуковский находился в Севастополе, служба сводила меня с ним чаще, чем с кем-либо еще из флотского командования за исключением береговиков.

Корабли приходили из портов Кавказа регулярно. Опасения насчет того, что присутствие неприятельской авиации на всех аэродромах Крыма сделает рейсы в Севастополь рискованными чрезмерно, к счастью, пока не оправдывались. После потопления «Армении» — транспорта, на котором в начале ноября погибли тысячи эвакуируемых севастопольцев и ялтинцев, — потерь на морском пути к Большой земле не было.

Для перевозок часто использовались крейсера и эсминцы, более быстроходные, чем транспорты, и менее уязвимые. Но благополучно доходили под охраной боевых кораблей и грузовые суда, танкеры с бензином для самолетов и автомашин.

Радуюсь их появлению в бухтах, тревожась за них, когда к городу приближались вражеские самолеты, мы, конечно, сознавали, что привести сюда любой корабль из Новороссийска или Поти нелегко.

Самыми трудными считались у моряков последние перед Севастополем мили. Здесь к угрозе атак с воздуха прибавлялась возможность обстрела дальнобойными батареями и, главное, мины. Как они сбрасываются фашистскими самолетами, иногда было видно даже с бруствера над нашим КП: в луч прожектора, освещающего цель зенитчикам, попадал вдруг парашют, спускающийся с грузом где-то за Константиновским равелином, над внешним рейдом...

Каверзные магнитные и акустические мины немцев, о которых много приходилось слышать еще в Одессе, теперь, правда, были уже не так страшны нашим кораблям, как вначале, — на вооружении появились и размагничивающие защитные устройства и специальные тралы. Но полной гарантии безопасного плавания все это пока не давало. Тем более что противник вводил в действие новые образцы мин.

Вокруг находились также наши минные заграждения, поставленные в первые дни войны на случай, если бы враг попытался нанести по Севастополю удар с моря. Для своих судов были оставлены неширокие, обозначенные лишь на картах проходы — секретные военные фарватеры. Об их чистоте неустанно пеклись моряки из ОВРа — охраны водного района. Возглавлял это соединение контр-адмирал В. Г. Фадеев.

Маленькие кораблики ОВРа — такие катера, как тот, на котором мне довелось идти в октябре из Одессы, и разные другие — встречали и провожали каждое проходящее в Севастополь судно. По ночам катера, а в тихую погоду и шлюпки расхаживали по фарватерам и караулили падение мин, чтобы поточнее обозначить буйками места, где они легли на дно.

Рассказывали, что когда буйков выставлялось много, контр-адмирал Фадеев переходил со своего командного пункта в Стрелецкой бухте на рейдовый пост у Константиновского равелина и оттуда, имея все «поле боя» перед глазами, сам руководил обезвреживанием засеченных мин. Уничтожали их различными способами. Иногда пользовались и таким: сторожевой катер, на борту которого находились только добровольцы, маневрировал на больших ходах в районе падения мины, шумом винтов вызывая ее взрыв на себя. Приведя механизм мины в действие, катер за остающиеся до взрыва секунды успевал отдалиться настолько, чтобы не погибнуть. Но сильнейшее сотрясение не проходило бесследно ни для механизмов, ни для людей. Нормальным считалось, если с катера, после того как опал скрыв-

ший его на мгновение столб воды, передавали на рейдовый пост: «Тяжелораненых нет, ход имею...»

Так расчищали путь большим кораблям скромные герои севастопольских фарватеров.

Все приходящие крейсера и эсминцы, даже если их стоянка ограничивалась несколькими часами, немедленно включались в общую систему артогня оборонительного района. Как только корабль ошвартуется, на борт передают специальный телефон, через который поступают целеуказания и корректура. Непосредственно управляет огнем кораблей флагманский артиллерист флота капитан 1-го ранга А. А. Руль. А распределение целей Рыжи и Ковтун обговаривают с Жуковским.

Нарком Военно-Морского Флота, как дошло до нас, потребовал от черноморцев использовать корабельную артиллерию под Севастополем шире. В частности, для уничтожения подтягиваемых к фронту, накапливаемых для нового наступления неприятельских резервов.

В одну из ночей в последних числах ноября из Поти пришел флагман Черноморского флота — линкор «Парижская коммуна». К этому времени разведка установила, что в ряде пунктов в районе Байдарской долины сосредоточиваются части новой, переброшенной из-под Харькова 24-й немецкой пехотной дивизии, и в том числе артиллерийские. Туда и решили направить огонь двенадцатидюймовых орудий линкора.

Стрелял он не входя в бухту, с огневой позиции у мыса Феолент — от нашего КП по прямой километров пятнадцать, если не больше. Мы поднялись наверх, и картина стоила того. От могучих линкоровских залпов над морем вспыхивали грозные зарницы, потом докатывался басистый грохот выстрелов и очень не скоро — слитный звук далеких разрывов.

Наверное, эту полуночную стрельбу видели или слышали все по обе стороны севастопольского фронта. Немцы на огонь не отвечали, притихли. Будь это днем, при летной погоде, подняли бы небоеь бомбардировщики со всего полуострова...

Во втором часу богатырская канонада смолкла и линкор скрылся в темном море. Утром Николай Кириякович Рыжи сообщил, что общий вес выпущенных кораблем снарядов — около 80 тонн. О том, какой урон нанесен противнику, судить было пока трудно. Флотские корпосты разместились в эту ночь на самых высоких из доступных нам вершинах, полевые батареи помогали им осветительными снарядами. Тем не менее стрельба корректировалась лишь частично, а в основном велась по площадям.

В обороне конкретные результаты стрельб дальнобойной артиллерии часто остаются неизвестными или выясняются много времени спустя. Но несомненно одно — враг нес потери от корабельного огня там, где наземные батареи не могли его достать.

Через одну ночь огонь по дальним целям вел крейсер «Красный Крым», много раз поддерживавший приморцев под Одессой. Его командир капитан 2-го ранга А. И. Зубков искусственно накренил корабль, перекачав мазут из одних цистерн в другие, и увеличил этим угол возвышения орудий, что позволило бить дальше обычного.

Стрельбы крупных кораблей, всем заметные, вызывали много разговоров, поднимали настроение и на переднем крае обороны и в городе. Самый тот факт, что любые корабли могли прийти и приходили на помощь Севастополю, говорил людям убедительнее всех слов: Черное море остается нашим, господствует на нем наш флот!

...Когда отмечалось двадцатипятилетие обороны Севастополя и мне была оказана честь сделать доклад на состоявшейся в городе военно-исторической конференции, я мог сказать: «У командования Приморской армии никогда не вызывали беспокойства фланги, упиравшиеся в море. Мы не боялись удара с моря в тыл нашим войскам».

5. ПЕРЕД ВТОРЫМ ШТУРМОМ

В журнале боевых действий армии появилась запись, не относящаяся к положению на нашем участке фронта: «Командарм потребовал от всех командиров и комиссаров дивизий, бригад и полков, чтобы все до одного бойцы знали о разгроме немецко-фашистских войск под Ростовом».

Там, у ворот Кавказа, произошли знаменательные события. Гитлеровцы, захватившие было Ростов, смогли продержаться в нем лишь неделю и теперь отброшены с огромными потерями на рубеж реки Миус.

А на другом конце фронта, вблизи Ленинграда, продолжается наше контрнаступление под Тихвином.

Люди живут этими радостными известиями, проникаются уже не надеждой, а уверенностью, что вот-вот, в самые ближайшие дни, «наша возьмет» и под Москвой, что иначе просто не может быть. Как хочется всем верить, что близится или уже настает общий решительный перелом в ходе войны!

Некоторые наши товарищи начинают даже сомневаться, будут ли фашисты еще раз наступать на Севастополь. До того ли, мол, теперь немцу?

Особой активности противник действительно не проявляет, ограничиваясь методическим обстрелом наших позиций и разведкой мелкими группами автоматчиков. Были раз такие сутки, когда потери армии свелись к двум убитым и шести раненым. В отдельные дни над городом совсем не показываются вражеские самолеты. И не только из-за погоды: наша разведка не обнаруживает их и на крымских аэродромах — должно быть, летают к Ростову...

Однако начальник разведотдела штарма майор В. С. Потапов абсолютно уверен: ни одной наземной части — пехотной, артиллерийской или иной — противник из-под Севастополя не снял. Наоборот, на усиление сосредоточенной против нас группировки перебрасывается сюда из района Керчи еще, по крайней мере, одна пехотная дивизия, а возможно, и две. (Как потом подтвердилось, перебрасывались две — 73-я и 170-я, но первую Манштейну все-таки пришлось направить затем под Ростов.)

Мы, конечно, не могли знать, что Гитлер, вынужденный отдать в начале декабря приказ о переходе на востоке к стратегической обороне, одновременно потребовал от Манштейна взять Севастополь в кратчайший срок. Но что в результате последних событий на советско-германском фронте гитлеровскому командованию особенно важно скорее высвободить войска, застрявшие в Крыму, скованные силами СОР, это было ясно.

И все же противнику, по-видимому, приходилось откладывать новое наступление на Севастополь.

Мы ждали его еще 26 ноября, имея на то определенные основания, и принимали соответствующие меры вплоть до выдвижения на танкоопасные направления некоторой части зенитных батарей в качестве запасных противотанковых. Ждали затем 8 декабря, получив заслуживавшие доверия сведения, что оно на этот день назначено. Но и 8-е прошло спокойно.

Продлившуюся передышку стараемся должным образом использовать. Интенсивно идут фортификационные работы. Дополнительно минируются подступы к переднему краю (до тысячи мин в сутки, в основном противотанковых, поставляют городской спецкомбинат). Проверяем размещение артнаблюдателей и всю систему взаимодействия артиллерии с пехотой.

Данные разведок 8-й морской бригады и других частей подтверждают, что немцы готовятся наступать. Видимо, они чего-то выжидают — может быть, стабилизации положения под Ростовом. Но чтобы они отказались еще от одной попытки овладеть Севастополем без каких-то новых неблагоприятных для них событий на других фронтах — представить трудно. Уверен, что не допускал мысли об этом и Иван Ефимович Петров.

В первых числах декабря я побывал на командном пункте и в штабе Четвертого сектора у генерал-майора В. Ф. Воробьева, с которым не виделся с начала

ноябрьских боев. Его КП — за Братским кладбищем, в усадьбе совхоза имени Софьи Перовской, бывший директор которого В. В. Красников командует теперь партизанским отрядом в горах, поддерживая связь с нами.

Совхоз ближе к городу, чем к переднему краю, и никакой другой дивизионный командный пункт так не расположен.

Недавно у немецкого унтера, убитого в стычке с нашим боевым охранением — причем именно в зоне Четвертого сектора, — обнаружили карту, на которой обозначены командные пункты обороняющих Севастополь дивизий. Всех, кроме дивизии Воробьева.

Так или иначе, комдив 95-й мог быть удовлетворен. Вообще же разворотливость неприятельской разведки заставляет призадуматься. Тем более что мы такими сведениями о противостоящих немецких дивизиях похвастаться не можем.

С Василием Фроловичем Воробьевым, как обычно, говорили не только о служебных делах, которые меня к нему привели.

Вспомнили Гавриила Даниловича Шишенина, первого начальника штаба Приморской армии, а для Воробьева, кроме того, товарища по курсу в двух военных академиях. Повод для воспоминаний невеселый. На днях до нас дошло, что генерал-майор Шишенин — он возглавлял в последнее время штаб 51-й армии П. И. Батова, обороняющей Кубань, — погиб где-то между Таманью и Краснодаром, далеко от фронта: прорвавшиеся «мессершмитты» перехватили «У-2», на котором он возвращался из частей к себе в штаб. Крупный штабной работник, ветеран Красной Армии, прослуживший в ее рядах всю сознательную жизнь и отдавший все силы, чтобы справиться с неудачами тяжелого начала войны, и он оказался в числе уже многих-многих, кто, беззаветно веря в нашу победу, сам не увидел даже ее зари...

Василий Фролович рассказывал про свою семью — она в Москве, и оттуда письма доходят, хотя и не быстро. Жену его, Серафиму Софроновну, активную общественницу, я помню по Дальнему Востоку. Мы с Воробьевым хоть и надолго потеряли друг друга из виду, перед тем как встретились в Одессе, однако, знакомы, как-никак, с двадцатых годов — по дорогой нам обоим 1-й Тихоокеанской дивизии.

Я привык относиться к Василию Фроловичу, одному из первых моих наставников в штабной работе, с большим уважением. И не просто как к старшему, но и потому, что знал его честность, преданность делу, широкую военную образованность. И не мог не уважать его еще больше после того, как генерал Воробьев, давно уже служивший в крупных штабах и академиях, в самую трудную пору войны, в августе сорок первого, добился, видя в этом свой долг, назначения в строй — командиром отступавшей тогда стрелковой дивизии.

Приняв на подступах к Одессе 95-ю Молдавскую стрелковую дивизию, он освоился в ней достаточно быстро. Нашлась у него и твердость и решительность, а высокая военная культура помогала осмысливать опыт боев. Дивизия его держалась на своих рубежах крепко, стояла в армии на лучшем счету.

А комдива почти всегда можно было застать на КП, оборудованном в его вкусе — с максимально возможными удобствами для работы и быта.

В тот приезд к Воробьеву мне очень хотелось ощутить в нем прежнюю, «одесскую», мужественную уверенность в себе. И казалось, она к нему вернулась.

Под Севастополем Василию Фроловичу не пришлось с ходу вводить свою дивизию в бой, как Ласкину или Чапаевцам. После того как отбили попытку врага прорваться к городу со стороны Дуванкоя, Четвертый сектор, а особенно его левый, приморский фланг, надолго стал наиболее спокойным местом на фронте СОР. Тут имелось больше, чем где-либо, возможностей осмотреться и подготовиться к будущим боям.

И сделали здесь немало, прежде всего по инженерному оборудованию рубежей. Генерал Воробьев гордился тем, что близко знал Д. М. Карбышева, выдающегося теоретика полевой фортификации, которую высоко ценил. По этой ча-

сти он успел отдать несколько подробных приказов и тщательно следил за их выполнением.

В дни Одесской обороны еще спорили, не лучше ли вместо обычных окопов отрывать индивидуальные ячейки (этим новшеством, некритически заимствованным из практики войны в Испании, увлекался тогда наш начинж Г. П. Кедринский, да и не только он). В Севастополе вопроса об этом уже не возникало — традиционный русский окоп доказал всем, что он и надежнее и выгоднее в смысле затраты труда.

Позиции дивизии выглядели хорошо обжитыми. Василий Фролович — в этом нельзя не отдать ему должного — не только сам любил устроиться поудобнее, но умел позаботиться о фронтовом быте бойцов. Землянки во взводах добротные, теплые. Если позволяет обстановка, ночью в окопах могут оставаться одни караулы с пулеметами. Для печурок организованно заготавливается топливо, в дивизионных тылах работают бани. Там же шьют из старых шинелей рукавицы и ушанки — тех, что доставляют армейские интенданты, не хватает.

Полки 95-й дивизии основательно пополнены (правда, далеко не до полного штата, как и остальные). Воробьева беспокоит, и это понятно, что полк Капитохина, взятый на правый фланг армии, все еще находится там. Василий Фролович согласен за возвращение этого полка отдать в армейский резерв бригаду Вильшанского, подчиненную ему как коменданту сектора, чтобы держать здесь оборону одной своей дивизией. Эту мысль он уже высказывал командарму и повторяет мне.

Затевать такую перегруппировку смысла мало, а полк командарм обещал Воробьеву вскоре вернуть и так. Но пока это откладывается. Иван Ефимович продолжает считать, что, когда противник перейдет в наступление, резервы нам понадобятся, вероятнее всего, у Ялтинского шоссе, как и в прошлый раз. В значительной мере он полагается тут на интуицию, ибо ясности насчет того, где планируют теперь немцы главный удар, у нас, к сожалению, нет.

Что касается Четвертого сектора, то генерал Петров находит возможным при благоприятных условиях несколько расширить именно на этом направлении наш плацдарм наличными силами. Мыслится, что составной частью наступления с ограниченными целями на левом фланге явится высадка за Качей небольшого десанта с моря. Предварительные указания Воробьев от командарма уже получил и начал готовиться.

Сама мысль о наступательных действиях, пусть пока только для улучшения позиций, подымает у людей дух. Едва заговорили об этом, воодушевился и Василий Фролович. Теперь ему не нужно доказывать, что значило удержать Севастополь, когда Военный совет решил вести армию сюда. Подойдя к карте, Воробьев размечтался о том, как можно, если Южный фронт продвинется от Миуса дальше на запад, а Черноморский флот высадит десанты, окружить в Крыму всю армию Манштейна...

Всем хочется скорее поддержать удары, которые Красная Армия наносит врагу на других фронтах. Лишь бы только наши товарищи не начали думать, что под Севастополем самое трудное уже позади!

Передышка на фронте сразу сказалась на городе. Даже когда просто проезжаешь через него по пути в войска, нельзя не заметить, насколько оживленнее стало на улицах.

Переселение жителей центрального района в подземные убежища не отменено — для этого нет оснований — и идет своим чередом. Повсюду роют новые щели, чтобы укрытие всегда было близко, где бы ни застал человека воздушный налет или артиллерийский обстрел. Но завалов, возникших при больших ноябрьских бомбежках, уже почти не видно, воронки, мешавшие движению, засыпаны. Открылись многие магазины, парикмахерские. Только витрины заложены мешками с песком.

Однажды, проезжая центральными улицами, я увидел трамвайный вагон. Не стоящий с разбитыми стеклами под оборванными проводами, как было недавно, а двигающийся.

Что это значило тогда для горожан, мне, пожалуй, не передать, и потому позволю себе привести небольшой отрывок из воспоминаний Б. А. Борисова — первого секретаря Севастопольского горкома партии и председателя городского комитета обороны: «Севастопольцы очень любили свой миниатюрный голубой трамвайчик... Мы, конечно, прекрасно понимали, что в условиях бомбежки и артиллерийского обстрела пуск трамвая не может иметь сколько-нибудь серьезного значения и принесет городу чистый убыток. Но зато в моральном отношении это сыграет большую роль: немцы под боком, а по улицам как ни в чем не бывало, звеня и погромыхивая, снуют проворные вагончики.

Так мы и сказали руководителям городского трамвая товарищам М. М. Гурскому и Д. Г. Стукалову.

— Через три дня надо пустить трамвай, — подтвердил председатель горисполкома Ефремов.

— А вы представляете себе, насколько разрушено наше хозяйство? — всполошился Гурский. — Вагоны искалечены, рельсовый путь поврежден, троллей порван.

— Поэтому вам и дается трехдневный срок, — отпарировал Ефремов. — Иначе мы сказали бы: завтра к утру! Сегодня у нас что? Вторник? В субботу ждем вашего доклада.

В субботу Гурский и Стукалов доложили: пустить трамвай не удалось. Накинули еще три дня. Связавшись со штабом МПВО, Ефремов попросил прислать на помощь трамвайщикам бойцов.

Во вторник, встретившись с Ефремовым в штольне КП, я спросил:

— Ну как? Пошел наконец?

— Пошел, — каким-то загадочным тоном ответил он.

...Оказалось, восстановили не все кольцо, а лишь отдельные небольшие участки, по которым, подобно челноку швейной машины, курсировало несколько вагончиков. Ефремов было рассердился на Гурского и Стукалова, но потом понял, что большего они и не смогли бы никак сделать... Несколько дней трамвай ходили необычным «маршрутом». А вскоре стали бегать нормально по всему кольцу города.

С какой гордостью и умилением говорили севастопольцы о своем трамвае, как радовались ему бойцы, попадавшие в город!»

Конечно, с передовой в город могли попасть не многие. Но о том, как он живет, рассказывают фронтовикам и сами горожане. У соединений армии (так было и под Одессой) налажился обмен делегациями с предприятиями ближайшего городского района.

По старой привычке гостей из города называют в войсках шефами. Однако дружба, которая завязывалась в Севастополе между гражданскими и воинскими коллективами, шла куда дальше прежнего шефства, значила много больше. Потом, в горячие дни обороны, не раз бывало, что севастопольцы, пришедшие проведать «подшефное» подразделение на его рубеже, участвовали вместе с ним в бою, заменяли выбывших из строя стрелков, пулеметчиков, медсестер. Командир танкового батальона, посылая в ремонт поврежденную машину, мог запросто попросить, чтобы в мастерских подобрали и надежного парня на смену убитому или раненому механику-водителю.

А пока на передовой не очень жарко, туда добирались и школьники — передать бойцам подарки, порадовать их самодеятельным концертом. Помню случай, когда такой концерт, устроенный в сарайчике недалеко от передового рубежа, всполошил немцев. Бойцы, восторженно принимавшие выступления ребят, после какого-то номера программы грянули «ура», которое донеслось до вражеских позиций, и оттуда открыли наугад минометный огонь. К счастью, никто в сарайчике не пострадал.

Самые будничные факты из жизни Севастополя в осаде приобретают, доходя до войск — в этом неоднократно доводилось убеждаться, — огромную агитационную силу. Да и на командном пункте армии известия из города, касающиеся чего-нибудь совершенно обыденного по прежним понятиям, часто вызывают и восхищение и гордость. И напоминают о нашей солдатской ответственности перед мирными людьми, живущими рядом.

— В Севастополе возобновляются занятия в школах! — сообщил кто-то в начале декабря.

Разве не говорила такая новость о том, как крепко надеются жители города на его защитников? И политотдел армии позаботился, чтобы агитаторы рассказали это всем бойцам.

Школьные занятия прервали месяц назад, когда враг оказался на подступах к городу, а Приморская армия еще пробивалась к нему через горы. Теперь городской комитет обороны решил открыть восемь школ в подготовленных для них подземных помещениях. Самая крупная — средняя школа № 13 — открывалась на улице Ленина в большом убежище, соединенном с глубокими подвалами соседних зданий. В этом месте потом часто можно было видеть ребят, выбегавших, если нет воздушной тревоги, наверх, на свежий воздух во время перемены...

Много интересных городских новостей приносят на КП член Военного совета Михаил Георгиевич Кузнецов, постоянно поддерживающий связь с комитетом обороны и другими севастопольскими организациями, и комиссар штарма Алексей Васильевич Готов. Но командарм и сам заезжает, возвращаясь из частей, то на спецкомбинаты, то к железнодорожникам, то к рыбакам.

Железнодорожники давно уже работают только для фронта. В их мастерских изготавливается и ремонтируется оружие. В ноябре единственным составом, уходящим со станции Севастополь, был бронепоезд «Железняков». Однако скоро сможет отправляться еще один — без пушек и брони, но тоже очень нужный: генерал Петров подал идею оборудовать для обслуживания фронтовиков поезд-баню, чтобы подавать его (пути это позволяют) по ночам в войсковые тылы.

А в колхоз «Рыбацкая коммуна», расположенный в черте города, на Северной стороне, командарма в первый раз привела заявленная рыбаками претензия: кто-то из наших тыловиков, не в меру разворотливый, употребил их сети для маскировки своих складов — все равно, мол, рыбу пока ловить не будете, никто вас из бухты под огонь не выпустит!

Рыбаки действительно с некоторых пор в море не выходили. Обычные их места лова — у Качи — стали недоступны: рядом враг. Но можно, утверждали они, найти другие, например у Херсонеса. А рыба-то — большое подспорье и городу и армии.

Снасти колхозу, разумеется, возвратили. Рейдовая служба получила от вице-адмирала Октябрьского приказание выпускать рыбацкие суда из бухты. Ну а рыбу рыбаки нашли. И стали добывать ее десятками и сотнями центнеров — среди минных полей, нередко под артиллерийским обстрелом, а иногда подвергаясь и атакам «мессершмиттов» (генералу Острякову случалось специально для прикрытия баркасов «Рыбацкой коммуны», выбирающих сети с уловом, поднимать в воздух истребители).

Во время лова бывали и потери — убитые, раненые, как были они в Севастополе везде, кроме разве надежно укрытых подземных цехов. Но рыбаки уходили за камбалой и хамсой вновь и вновь, лишь бы позволяла погода. Этот коллектив мужественных людей, большей частью пожилых, возглавляли председатель колхоза И. Е. Евтушенко и парторг П. И. Котко, они же начальник штаба и политрук одного из участков МПВО Северной стороны.

Продолжала наперекор врагу заниматься своим делом и артель рыбаков, существовавшая в Балаклаве, — потомки описанных Куприным в его «Листригонах»... А там условия еще тяжелее.

Если подчас трудно провести границу между фронтом и тылом в Севастополе, то что сказать о Балаклаве? Улочки этого городка, прилепившиеся к уступам горы над маленькой бухтой с всегда спокойной, почти неподвижной водой (благодаря очень узкому, зажатому скалами входу), немцы, захватив гребни соседних высот, могли обстреливать не из дальнобойных орудий, а из минометов, пулеметов, автоматов...

Без крайней необходимости в Балаклаву машины ходили лишь с наступлением темноты, и я, когда бывал в первом секторе обороны, видел ее обычно ночью. Но какова обстановка в городе днем, представить мог и невольно спрашивал себя: как же все-таки живут там люди, почему те, кто не связан с этим местом долгом службы, не переселятся хотя бы в Севастополь?

Не знаю точно, сколько жителей осталось в Балаклаве из прежних пяти—семи тысяч, но городок, простреливаемый оружием ближнего действия, обитаем. Остановились местные предприятия, вышел из строя водопровод, вместо улиц надо ходить по тропинкам и траншеям, однако часть населения, несмотря ни на что, не покинула родного крова, надеясь, должно быть, что так не продлится слишком долго.

Рыба балаклавского улова (ловля ее тут сводится иногда к тому, что рыбаки после очередного минометного обстрела просто собирают оглушенную кефаль) доставляется в Севастополь. А жены рыбаков стирают белье бойцам рубцовского полка, занявшим оборону в нескольких сотнях метров от рыбацких домиков.

Обслуживает бойцов маленькая, защищенная скалой парикмахерская. Работают хлебопекарня, баня. И школа в Балаклаве действует — в штольне рудоуправления. Там же, почти на линии фронта, открыта детская кухня... Это и по севастопольским меркам казалось чем-то исключительным. Но так было.

В подвале бывшего клуба Эпрона (до войны в Балаклаве находилась известная эпронская школа водолазов) поместился штаб обороны, связанный полевым телефоном с командными пунктами ближайших батальонов. Штаб ведает в городе всем, заботится, чтобы в нем могла продолжаться «нормальная жизнь». И готов в любую минуту подать сигнал, по которому все способные держать оружие присоединятся к бойцам, а остальные покинут Балаклаву.

В критические дни ноября до этого чуть не дошло. Но и без такого сигнала в боях участвовало немало жителей городка. Недаром в первых списках награжденных защитников Севастополя среди имен отличившихся командиров и бойцов стояло имя балаклавской комсомолки Любы Харитонской, удостоенной ордена Красного Знамени.

Севастополь узнал за эти недели многих женщин-героинь. В 25-ю дивизию вернулась из госпиталя и снова командует расчетом «максима» раненная под Одессой Нина Онилова — девушка, истребившая, наверное, уже сотни фашистов, новая Анка-пулеметчица, как зовут ее чапаевцы, знакомые с первой Анкой по любимому фильму. Продолжает увеличивать личный счет уничтоженных врагов снайпер Людмила Павличенко. В бригаду Жидилова пришла начмедом врач с Корабельной стороны А. Я. Полисская: отправив на Большую землю детей, она добилась назначения именно в эту часть, чтобы заменить мужа, военного врача, погибшего в боях на севере Крыма...

А на Историческом бульваре, возле Панорамы, занимаются по вечерам строевой и тактической подготовкой женские добровольческие роты — единственные подразделения городского ополчения, которые, несмотря на настойчивые просьбы их личного состава, не влиты пока в состав действующих частей. Можно не сомневаться: и эти севастопольские женщины, стремящиеся на фронт, будут, если понадобится, смелыми бойцами.

Но и среди женщин, не ставших пулеметчицами или снайперами, тоже появились настоящие героини.

В декабре мы узнали, сперва из местной газеты, об Анастасии Чаус, двадцатипятилетней штамповщице консервного завода в Симферополе. Спасаясь от гитлеровцев, она добралась до Севастополя, стала тут к станку штамповать уже не

консервные банки, а детали для гранат и чуть не на следующий день, продолжая работу во время воздушного налета, получила прямо у станка тяжелое ранение осколком бомбы, в результате чего лишилась левой руки. Но выйдя через четыре недели из больницы, Чаус наотрез отказалась эвакуироваться, уверяя всех, что лишней во фронтовом Севастополе не будет. Не без колебаний ее приняли на спецкомбинат, снова на такую же работу — штамповать детали гранат. И по прошествии нескольких дней она выполнила за смену две нормы. Потом стала давать и по три — с одной рукой!.

Некоторое время спустя командарм Петров вручил Анастасии Кирилловне Чаус орден Красной Звезды. Трудовой подвиг этой работницы сделался как бы символом негнбимой стойкости жителей Севастополя, мирных граждан, не устающих в доблести бойцам.

И все же мы тогда, пожалуй, не представляли, что имена таких людей облетают весь мир, запоминаются в самых далеких его уголках.

После войны второй секретарь Севастопольского горкома партии во время обороны Антонина Алексеевна Сарина рассказала, как на международном женском конгрессе ее отыскала делегатка из Мексики. «Вы из Севастополя? — спросила взволнованная мексиканка. — Скажите, пожалуйста, где теперь Чаус? Мы так восхищались и ею и Ниной Ониловой!..»

Не могу не вспомнить и женщин, чьи патриотические дела выглядели, может быть, более скромно, не приносили им такой широкой известности, но вызывали огромную признательность наших бойцов.

Чей это почин, кто организовал в Севастополе первую женскую бригаду помощи фронту — назвать не берусь. Наверно, свои первые нашлись бы в каждом районе города, на каждой из его окраин, откуда рукой подать до рубежей обороны. Такие бригады вызывала к жизни материнская забота о красноармейцах и краснофлотцах, которые совсем близко сражаются за Севастополь и которым нужно же что-то постирать, что-то починить, заштопать, сшить... Этим и занялись сотни немолодых женщин, кому не под силу было стать к станку или взять в руки оружие.

Домохозяйка из пригородной Бартедьевки Мария Лукьяновна Анисимова попросила красноармейцев вмазать у нее во дворике найденный ею где-то старый котел и, подбив на доброе дело соседок, пустила в ход домашнюю прачечную, которая стала обслуживать несколько зенитных батарей.

На окраинной Керченской улице такой же котел установили во дворе у Марии Тимофеевны Тимченко — матери трех фронтовиков, внучки участника первой Севастопольской обороны. Здесь женщины со всей улицы стирали белье богдановцам. Они же, узнав, что тыловики не управляются заготовлять маскхалаты, взяли общими силами шить их для дивизии Ласкина, притащив два десятка швейных машинок в самый просторный подвал.

В другой самодеятельной мастерской, на квартире у Лидии Алексеевны Раковой, шили для бойцов теплые шапки, сперва из материала самими раздобытого, а когда мастерскую «признали» интенданты, из казенного. Тот, кому доставалась шитая тут ушанка, находил в ней записку: «Носи, дорогой, и будь невредим!» Где-то еще пряли шерсть (один старик изготовлял веретена), вязали варежки — с двумя пальцами, как нужно для стрелков.

Бригады помощи фронту возникали во всех концах города, при каждом из крупных убежищ. Армейские хозяйственники стали обеспечивать швей тканью и прикладом, прачек мылом. Из бани на Корабельной стороне, обслуживавшей по ночам фронтовиков, шоферы везли белье в стирку по знакомым уже адресам, забирая там чистое. Ни о какой плате за работу не было, разумеется, и речи.

«Фронтовые хозяйки» — так стали называть бойцы женщин из этих бригад. Они бывали на позициях батарей, в окопах, в дотах, чинили на месте порванное обмундирование, наводили уют в землянках, выспрашивали у солдат и старались заметить сами, в чем еще есть нужда. Главных «хозяек», активисток этого замеча-

тельного движения, знали в «своих» частях едва ли не все поголовно. Как, например, Марию Тимофеевну Тимченко в 172-й дивизии.

Комиссар Осман Асанович Караев с волнением передавал мне, как комдив Ласкин представлял Марию Тимофеевну командирам полков и как выступала она у них — в подразделениях 514-го стрелкового. О том, какое впечатление производили выступления Тимченко, слышал я и от артиллеристов-богдановцев. Эта домашняя хозяйка, вряд ли произносившая когда-нибудь публичные речи, говорила о войне, о Севастополе, о своей ненависти к врагу так, что ее негромкие слова зажигали бойцов. Подняв автоматы, они клялись перед нею: «Пока мы живы, фашистским гадам в Севастополе не быть!»

Седая женщина, пришедшая к солдатам, чтобы по-матерински их обласкать, облегчить их ратный труд и воодушевить на подвиги, становилась для них олицетворением самой Родины.

Большой популярностью пользовались в частях также Александра Сергеевна Федоринчик, старейшая севастопольская учительница. У нее, как и у Тимченко, были на фронте три сына. Четвертого, еще подростка, она проводила в горы, в партизанский отряд. А сама возглавила многолюдную бригаду из педагогов, учеников и их родителей. За что только эта бригада не бралась! И белье стирала, и блиндажи строила, и помогала с передовой раненых выносить...

Делясь на КП за ночной кружкой чая мыслями об увиденном в городе, мы иногда сравнивали Севастополь с Одессой. И там население самоотверженно, не считаясь ни с чем, помогало армии, как помогали войскам жители каждого прифронтового города, и там было множество примеров мужества и бесстрашия мирных людей, а подчас озорного, бесшабашного пренебрежения опасностью — дань веселому, задорному духу Одессы мирных дней...

Севастопольцы обычно держались перед лицом опасности сдержаннее, строже. Но самым характерным для них была особая организованность, умение соблюдать дисциплину. Причем иной раз казалось: трудности, заботы, обязанности, принесенные чрезвычайной обстановкой, для многих из них не то чтобы привычны, но словно бы не неожиданны.

Когда у нас заходила об этом речь, знатоки и любители истории спешили напомнить о славных севастопольских традициях. Что и говорить, ими город богат, а поддерживать их безусловно помогали его кровные, органические связи с военным флотом — Севастополь всегда являлся морской крепостью и базой.

Однако главное, наверное, заключалось все же не в этом. В Севастополе уделялось много внимания тому, что потом стали называть гражданской обороной. Здесь настойчиво, последовательно готовили население к возможной войне, пусть представляя ее и не совсем такой, какой она сюда пришла.

Постепенно мы узнали об этом немало примечательного. Да и с самого начала сталкивались с фактами, свидетельствовавшими, если можно так выразиться, об оборонной предусмотрительности городских руководителей.

Для развертывания сети артиллерийских наблюдательных постов нам не хватало радистов. Узнав об этой нашей нужде, заведующий военным отделом горкома партии Иосиф Ионович Бакши сказал:

— Радистов найдем.

И прислал 60 человек — даже больше, чем в тот момент требовалось, причем неплохо подготовленных. А это происходило много времени спустя после мобилизации запасников, уже после того, как в наши соединения влились ополченцы и ушли в армию сами работники горвоенкомата (потому изыскивать дополнительные резервы только и мог военный отдел горкома).

Или такой факт: Севастополь оказался в состоянии дать армии более 800 обученных медсестер, сотни санитаров.

Высокой подготовленностью отличался состав местной противовоздушной обороны, бойцами которой были около пяти тысяч рабочих, служащих, домашних хозяйек. В учениях МПВО — а они в последние год-полтора перед войной устраивались тут часто — участвовало практически все население. Городская система

МПВО включалась, помимо того, и в учения флота. Люди привыкали к тревогам. Генерал Моргунов, начальник гарнизона, рассказывал, как заботился секретарь горкома Борисов о том, чтобы городские учения начинались внезапно, в том числе и для руководителей. И результаты сказались уже в ночь на 22 июня при первом вражеском налете: команды МПВО быстро прибыли куда надо, знали, что им делать.

В городе, насчитывавшем немногим более ста тысяч жителей, было 50 тысяч осоавиахимовцев. Тут работали в мирное время школы и клубы, готовившие связистов, шоферов, снайперов, специалистов для флота, учившие защите от бомб и газов, тушению пожаров, оказанию первой помощи... Не нужно объяснять, как пригодились эти знания тем, кто ушел на фронт. А оставшиеся в Севастополе смогли увереннее чувствовать себя на дежурствах при воздушных налетах, в заводских и уличных группах самозащиты, в разных других отрядах и командах — гражданских, но с военной дисциплиной и частично находившихся на казарменном положении, создания которых потребовала обстановка.

Понадобилась, например, команда по очистке города от неразорвавшихся авиабомб — и сразу нашлись гражданские люди, добровольцы, достаточно к этому делу подготовленные: команда инженера Козлова.

Неразорвавшихся бомб уже за ноябрь набралось довольно много, причем крупных, зарывшихся глубоко в землю. Сперва думали: может быть, они с песком и это помогают нам неведомые друзья во вражеском стане? Но, очевидно, бомбы не срабатывали просто из-за каких-то дефектов, а были и замедленного действия.

Откапывали их в нелетную погоду, когда не могла начаться новая бомбежка. Оповещенные жители окрестных кварталов уходили в убежища. Опасная работа завершалась тем, что машина со смертоносным грузом, предваряемая подвижным оцеплением милиционеров, медленно проходила — иногда через весь город — к оврагу за Воронцовой горой, где бомбу взрывали. Впоследствии самоотверженные люди из этой же команды стали разоружать отдельные бомбы — ради того, чтобы дать спецкомбинату взрывчатку для лишней партии гранат.

Героическое становилось в Севастополе будничным. «Не допустить ни одного случая малодушия» — это сделалось повседневной практической задачей, которая так и формулировалась комитетом обороны перед всеми руководителями, перед партийным и комсомольским активом. А активистами считались все оставшиеся в городе коммунисты и комсомольцы.

В течение ноября было эвакуировано на Кавказ еще около 25 тысяч человек. Как утверждали моряки, корабли, приходившие за это время, могли бы взять больше. Уезжали главным образом жители других мест Крыма, нашедшие в Севастополе временный приют. Коренные севастопольцы нередко воспринимали предложение эвакуироваться как обиду, как незаслуженное недоверие к ним, спрашивали: «За что?»

От нашего начальника связи майора Л. В. Богомолова, имевшего дело с гражданскими связистами, я услышал о таком случае. Монтер телефонной станции снимал в какой-то освобождавшейся квартире аппарат и прихватил оставленную там банку варенья. Товарищи по работе, увидев его в этом, потребовали, чтобы провинившийся был удален из города. Они считали, что участвовать в обороне Севастополя или содействовать ей, работать в этом городе — честь, которой достоин лишь человек, ничем себя не запятнавший.

Иногда и городские руководители, давая кому-нибудь то или иное задание, предупреждали: «Не справишься — отправим из Севастополя...»

Вот какая атмосфера была в городе. Таким был тот наш тыл, который умещался на одном с войсками плацдарме, отделенном от Большой земли сотнями миль морской дали. Вместе с нами этот тыл готовился к новым боям.

Пришли наконец радостные вести из-под Москвы. Поздно вечером 12 декабря радио передало сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана окру-

жения и взятия советской столицы. Наши войска, перешедшие в контрнаступление, освободили на подступах к ней сотни населенных пунктов, в том числе Михайлов, Истру, Солнечногорск...

В течение какого-нибудь часа это известие облетело весь наш фронт.

— Все знают и торжествуют! Никто не спит! — отвечали с командных пунктов, с которыми мы связывались после полуночи по телефону.

У всех отлегло от сердца. Тревога за Москву, все нараставшая с начала октября, пошла на убыль.

Поднимало настроение в войсках и прибытие подкреплений с Большой земли.

После того как СОР во второй половине ноября перешел в непосредственное подчинение Ставке, мы стали получать пополнения регулярно, и все более значительные. 2 декабря высадил на севастопольскую землю тысячу бойцов крейсер «Красный Кавказ» (этим же рейсом он доставил полтораста тонн снарядов). За 3—5 декабря прибыло на разных судах еще восемь маршевых рот.

А в Потю, как мы уже знали, сосредоточивалась для погрузки на суда 388-я стрелковая дивизия, выделенная на усиление Приморской армии из состава Закавказского фронта. Для переброски ее флот направлял туда — в курсе этого меня держал капитан 2-го ранга О. С. Жуковский — группу наиболее быстроходных транспортов и боевые корабли.

Разумеется, новую дивизию мы ожидали с огромным нетерпением. Тем более что, судя по данным, полученным моряками для перевозочных расчетов, она по числу штыков значительно превосходила любую из наших. Иметь в армейском резерве дивизию почти полного состава (с одним артиллерийским полком) — это, надеялись мы, позволит, как бы ни складывалась обстановка, действовать на нашем плацдарме гораздо увереннее. Правда, кроме примерной численности дивизии, о ней ничего не было известно.

Полки 388-й стрелковой прибывали в течение нескольких дней. В это время стояла сплошная низкая облачность, так что неприятельская авиация помешать перевозке дивизии не могла. Единственным происшествием на ее пути в Севастополь явился взрыв немецкой мины недалеко от борта транспорта «Абхазия», на котором находилось свыше двух тысяч бойцов. Но и тут обошлось благополучно, от сожжения пострадали лишь судовые приборы.

Однако сам переход морем дался людям, как видно, нелегко. Красноармейцы выглядели измотанными, вялыми. Значительная их часть была уже в годах. А многие командиры в ротах и взводах, наоборот, очень молоды (оказалось, досрочно выпущенные курсанты Подольского военного училища).

Бросалось в глаза и другое: некоторые бойцы не очень хорошо понимали подаваемые при выгрузке команды, их приходилось повторять, а потом отдельным красноармейцам еще что-то объясняли сержанты или их товарищи. Как выяснилось, не все красноармейцы знали русский язык. Дивизию укомплектовали запасниками из глубинных районов Кавказа, людьми многих национальностей.

Комдив подполковник А. Д. Овсенко и военком старший батальонный комиссар К. В. Штанев доложили, что формирование соединения закончено около двух месяцев назад. Так что времени на организационное сколачивание и боевую подготовку было маловато. Русские командиры подразделений успели выучить некоторое количество слов из родных языков бойцов, что, конечно, помогло делу.

Несколько месяцев спустя 388-я дивизия по своим боевым качествам сравнялась с кадровыми и смогла внести достойный вклад в оборону Севастополя в тяжелейшие ее дни. А тогда, в декабре, она представляла собою соединение, в подготовку которого к боям требовалось вложить еще много труда. Но действительное состояние дивизии, степень ее подготовленности не оценишь по первым отрывочным впечатлениям. Встречая 388-ю стрелковую, мы не предвидели, какие осложнения она доставит нам в ближайшем будущем.

Бедой ее в то время — в этом мы разобрались несколько позже — явилось то, что многие бойцы, мобилизованные в самые трудные месяцы сорок первого года

в глухих горных районах, не успели проникнуться характерной уже для наших фронтовиков уверенностью, что немца, как он ни силен, одолеть можно. Вдобавок их привезли на «пятачок», вокруг которого с трех сторон враг, а с четвертой — море. Чтобы почувствовать, понять, как настроены здесь люди, как крепко держат оборону, тоже требовалось время.

Как бы там ни было, у нас прибавлялось десять с лишним тысяч бойцов (в маршевых ротах мы получили до этого около шести тысяч), 26 пушек и гаубиц, 150 минометов, дивизион зениток. А на то, что в резерве Закфронта найдется для нас кадровая дивизия с солдатами молодец к молодцу, такая, какую в сентябре Ставка прислала под Одессу, мы особенно не рассчитывали.

Штаб 388-й дивизии вместе с одним стрелковым полком разместили в Инкермане, два остальных — на Северной стороне, в Буденновке и Учкеевке, артиллерийский полк — близ станции Мекензиевы Горы. Такое рассредоточение стрелковых полков позволяло быстро поддержать ими прежде всего Четвертый сектор, но также Третий и Второй. Артполк сразу же включался в общую систему огня.

После морского перехода личному составу дали отдохнуть. Затем предполагалось, оставив дивизию во втором эшелоне, развернуть в ней интенсивную боевую учебу — конечно, если позволит обстановка. Начальник поарма Л. П. Бочаров немедленно стал выяснять, каких политработников, знающих языки и обычаи народов Кавказа, можно перевести в новое соединение из других.

Надо сказать, что за недели передышки политотдел армии продуманно составил наличный политсостав с учетом состояния доукомплектованных и переформированных частей. Только что закончились сборы военкомов по секторам, семинары секретарей парторганизаций. Наши политотдельцы, находясь в основном в частях первого эшелона, сами очень много сделали для налаживания там боевой партийно-политической работы, подчиненной насущным задачам укрепления Севастопольской обороны, для воспитания нового актива.

Особое внимание уделялось тому, чтобы непосредственно на переднем крае находилось больше коммунистов.

Вошли в число действующих все восемь стационарных батарей, оснащенных орудиями с «Червоной Украины» и поврежденных эсминцев. Эти корабельные пушки били на двадцать километров. Новые батареи и артполк 388-й дивизии прибавили Севастополю четыре с лишним десятка стволов среднего и крупного калибра — по стволу на километр фронта.

А зенитной артиллерии, к сожалению, убавилось. Из трех находившихся в Севастополе флотских зенитноартиллерийских полков два отправили на Кавказ — прикрывать Новороссийск и другие порты, куда перебазировались черноморские корабли. В числе этих двух ушел 62-й полк, вооруженный новейшими, лучшими в то время 85-миллиметровыми орудиями. Так решило высшее военно-морское командование.

Не берусь судить, можно ли было как-то иначе усилить противовоздушную оборону кавказских баз. Знаю только, что в Севастополе, хотя сюда и стянулись к началу его обороны подразделения зенитчиков, прикрывавшие раньше Евпаторию и флотские аэродромы в центре Крыма, ни одна батарея не являлась «лишней».

Зенитная артиллерия служила на севастопольских рубежах не только средством ПВО — она часто вела огонь и по наземным целям. Батареи упомянутого 62-го полка не раз выдвигались на передний край и помогали отражать атаки вражеской пехоты и танков.

Словом, отпускать зенитчиков на Большую землю было жалко.

Беспокойно положение с боеприпасами для полевой артиллерии. Ответственность за снабжение войск, обороняющих Севастополь, Ставка возложила в начале декабря на Закавказский фронт, который, как нас известили, должен был, помимо отгрузки четырех боекомплектов, запланированных на текущую потребность Приморской армии в этом месяце, обеспечить создание у нас неснижаемого запаса (два с половиной — три боекомплекта) на случай перебоев в доставке. Но создавался

этот запас медленно. Мало поступало 122- и 152-миллиметровых снарядов, что ограничивало возможности использования наиболее мощных полевых орудий.

Между тем противник — это явствовало из разведанных, которыми мы располагали, — подтягивал к Севастополю новые артиллерийские части. Поступали сведения о том, что у немцев появилась здесь не вводимая пока в действие артиллерия особой мощности.

Полной картины состава неприятельских сил и расстановки их вокруг Севастополя, особенно расположения вторых эшелонов и резервов, наша разведка в то время не давала. Исходя из сложившихся представлений о вероятном направлении главного удара при новом наступлении немцев, мы поддерживали наибольшую плотность обороны во Втором секторе и на примыкающих к нему флангах Первого и Третьего. Недостаточностью достоверных сведений о противнике объяснялось и существовавшее вплоть до середины декабря мнение, что немцы, хоть и подтягивают сюда новые части, к решительным действиям против нас, по-видимому, еще не готовы.

С 10 декабря во временное исполнение обязанностей командующего Севастопольским оборонительным районом вступил контр-адмирал Г. В. Жуков. Вице-адмирал Ф. С. Октябрьский ушел на крейсере в Новороссийск.

16 декабря, вернувшись от контр-адмирала Жукова, генерал Петров объявил, что нам приказано подготовиться к наступлению в направлении Симферополя с задачей сковать силы противника и не допустить вывода его резервов на Керченский полуостров. Это неожиданное в тот момент приказание, конечно, заставило предположить: там, на Керченском полуострове, должно что-то произойти.

Однако приступить к подготовке наступления нам фактически не пришлось.

Конец первой части



В МИРЕ НАУКИ

М. ШАРГОРОДСКИЙ,
профессор

★

ЭТИКА ИЛИ ГЕНЕТИКА?

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

А. С. Пушкин.

Какова природа человека, добр он или зол? Хорош или плох? Что вызывает преступления и что вызывает героические, самоотверженные поступки — природа человека, среда, воспитание? Эти вопросы тысячелетиями занимали и занимают философов, юристов, психологов, а в последнее время и биологов.

Если Ж.-Ж. Руссо считал, что все является добрым, поскольку выходит из рук творца, но вырождается под руками человека, то по утверждению Гоббса человеческая природа первоначально побуждается только эгоизмом, стремлением к самосохранению и наслаждению, а Гельвеций полагал: мотивом всякой деятельности является себялюбие человека. Если на заре буржуазного общества Гегель и Кант исходили из свободы человеческой воли, то затем на смену этим индетерминистическим воззрениям пришли позитивисты, постулировавшие ранее абсолютную детерминированность поведения человека биологическими факторами (Ломброзо и его последователи), а затем различными факторами — биологическими, космическими, социальными (Ферри, Гарофало, Лист, Принс, Тард и другие). Особенно широкой популярностью пользовались в последнее десятилетие XIX века различные биологические концепции, объяснявшие поведение человека то строением его тела, то формой головы, то весом мозга, и, наконец, сейчас среди подобных воззрений наиболее популярной стала концепция, исходящая из того, что нравственные качества человека приходят к нему вместе с генами его родителей.

В журнале «Новый мир» опубликована статья В. Эфроимсона «Родословная альтруизма» (1971, № 10). Эта очень интересная, частично спорная, а частично, с нашей точки зрения, неправильная статья затрагивает вопросы, имеющие большое значение для социальных наук. Исходя из того, что человеку биологически (генетически) свойственны совесть, альтруизм, благородные, самоотверженные поступки, В. Эфроимсон рассматривает генетические дефекты как причину самых разнообразных этических недостатков и даже исторических событий.

Автор настоящей статьи не генетик, не биолог, а юрист, социолог. Он не считает себя компетентным в области генетики, он принадлежит к числу тех читателей, которыми, как пишет В. Эфроимсон, его взгляды покажутся «недопустимым переносом биологических закономерностей в социологию» (стр. 202). А «претензия на применение естественнонаучных теорий к обществу... заставляет нас обратить на них внимание» (Ф. Энгельс. Дialeктика природы. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 516).

По мнению В. Эфроимсона, и хорошие и дурные поступки порождены генетической природой человека, будет ли это «условный» ген А, приводящий к альтруизму, или общий ген преступности у однояйцевых близнецов, или лишняя хромосома, порождающая преступность.

Такие выражения, как «этический генофонд» (стр. 210), наследственный задаток, условно называемый «геном альтруизма» (стр. 200), весь анализ вопроса об однояйцевых близнецах и лишней хромосоме У не оставляет сомнений в том, что В. Эфроимсон иско-

дит из существования этических генов, которые у одних имеются, а у других отсутствуют. Между тем ни агрессивность, эгоизм и хищность, ни справедливость, способность к подвигу и самоотверженности, если даже признать их генетическими свойствами, сами по себе не порождают ни преступлений, ни хороших поступков.

Под терминами «совесть», «альтруизм» В. Эфроимсон понимает «всю ту группу эмоций, которая побуждает человека совершать поступки, лично ему непосредственно невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям» (стр. 199). Он исходит из того, что «свойственное человеку стремление совершать благородные, самоотверженные поступки не является простой позой (перед собой или другими), не порождается только расчетом на компенсацию раем на небе, чинами, деньгами и другими материальными благами на земле, не является лишь следствием добронравного воспитания. Оно в значительной мере порождено его естественной эволюцией» (там же).

По мнению В. Эфроимсона, люди, обладающие геном альтруизма, жертвуя собой, спасали лиц, у которых, по его теории, должен быть тоже высокий процент этого гена. Но тогда возникает естественный вопрос: почему другие лица, также обладающие высокоморальным геном А, сами не гибнут? Сравним две группы внутри племени — одну, обладающую геном А и жертвующую собой, и другую, не обладающую этим геном. При постоянных столкновениях племен на заре человечества жертвующие собой обладатели благородных генов должны погибнуть, а не жертвующие собой (те, у кого отсутствовал ген А) за их счет должны были сохраняться. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением В. Эфроимсона: «Ген индивидуально невыгодный, но способствующий сохранению ближайших родственников и даже менее близких, будет распространяться особенно интенсивно, если своим самопожертвованием индивид спасает множество людей» (стр. 200). Мы, однако, думаем, что дело вовсе не обстояло таким образом, никаких генов альтруизма не было и нет, а общество, которому нужны были люди, способные к самопожертвованию, стимулирует развитие этой способности мерами социальными. Эту функцию выполняла и надпись на плите в честь героев битвы при Фермопилах:

Странник, весть принеси всем гражданам:
Верно исполнив закон, здесь мы в могиле лежим,—

и вечный огонь над могилой Неизвестного солдата. Зачем нужны были бы ордена и медали, памятники и оды, если бы все определялось наличием гена А,— ведь общество никого не стимулирует к тому, чтобы он был высокого роста или имел голубые глаза. Стимулируй не стимулируй — от гена в этом отношении пока никуда не уйдешь!

Весь смысл положительной моральной оценки среды заключается в том, чтобы стимулировать индивида жертвовать своими интересами, интересами своих близких в интересах целого, но именно такой индивид имеет меньше шансов выжить, да и моральные оценки такого порядка далеко еще не едины. Прежде всего это чувство альтруизма развивается и поощряется у взрослых в отношении детей (как известно, оно в какой-то мере имеется уже и у животных). На следующем этапе развития общество стремится привить индивиду альтруистическое отношение «более высокой пробы», то есть способность жертвовать не только собой, но и своими детьми и другими близкими в интересах племени, нации, государства. Тарас Бульба воспринимался читателем как герой потому, что он за измену убивает своего сына. Здесь общество поощряет желательное ему, но еще «противоестественное» социальное поведение. Следующий этап социального развития в этом отношении не пройден даже сегодня, и, несмотря на то, что уже давно поставлен вопрос о человечестве в целом как едином и общем, несмотря на то, что интернационал является лозунгом сотен миллионов, принесение в жертву своего народа, своей нации, своего государства в интересах человечества будет рассмотрено и моралью и правом как измена.

Далеко не все, что социально или лично полезно, генетически закреплено, и не все, что вредно, генетически противопоказано. Многие выявленные историческим опытом человечества вредные для человека поступки, тенденции никакими генами ему не противопоказаны и ему не противны, а, напротив, часто привлекательны. Потребовались специальные запреты (религиозные, моральные, правовые) для того, чтобы бороться с подобными вредными для человека желаниями. Так, одна религия запрещает пить

спиртное, другая—есть свинину и т. д. Если бы эти и другие подобные запреты были генетически запрограммированы, они не нуждались бы в социальной регламентации. Мораль, право и религия никогда не устанавливали запрета есть гвозди или пить керосин, и, очевидно, никакой нормальный человек этого все же не делает — здесь явно имеется генетический запрет.

Никто, очевидно, не придерживается точки зрения, что «воспитание — полный, единственный и безраздельный творец этических, моральных, нравственных начал в человеке, а их передача от поколения к поколению целиком обусловлена только социальной преемственностью» (стр. 193). Мы против «легкомысленных побасенок о том, что якобы достаточно заучить сумму цитат, чтобы сдвигать горы и нравственно очиститься» (П. Демичев. Разработка актуальных проблем строительства коммунизма в решениях XXIV съезда КПСС. «Коммунист», 1971, № 15, стр. 34), мы также считаем, что «неверно также возложить всю ответственность за аморальные поступки только лишь на слабую воспитательную работу» (М. Иовчук. Современные проблемы идеологической борьбы, развития социалистической идеологии и культуры. «Коммунист», 1971, № 15, стр. 106). Однако те передаваемые генетически особенности личности, которые действительно имеют место, сами в себе не содержат ни этического, ни нравственного, ни морального элемента, они лишь создают возможность развития этих качеств, но они же могут создавать возможность для развития аморальных, безнравственных начал. Одинаковые поступки в различные исторические эпохи разными классами и разными группами населения признаются в одних случаях моральными, а в других аморальными, ибо нравственная оценка поступка зависит от того, действует субъект в интересах этой социальной группы или против ее интересов. В классовом обществе никогда не было и нет единой морали. Тот, кто герой для одной нации, одного класса, тот изменник, предатель, преступник для другой нации или другого класса.

Человек с определенным генетическим набором (мы имеем в виду психически нормального человека) проявит свои генетические свойства в различной среде, но моральная оценка его действий будет различна. Он может быть самоотверженным бандитом и самоотверженным милиционером, честным ростовщиком и честным кассиром. Даже альтруизм здесь ничего не меняет, ибо гангстер может пожертвовать собой, чтобы спасти свою банду, он может, несмотря на обещания сохранить ему жизнь, не выдать соучастников преступления и т. д.

В. Эфроимсон в обоснование своих взглядов ссылается на болезнь Леш-Нигена, которая вызывается резким повышением уровня мочевой кислоты в крови (из-за чего больные становятся крайне агрессивными), на подагру, которая вызывает раздражительность, злобность. Он высказывает догадку, что подагра наследовалась в доме Медичи, а тяжелейшей формой этой болезни страдала Екатерина Медичи, вдохновитель и организатор Варфоломеевской ночи (см. стр. 208). В. Эфроимсон ссылается на ряд наследственных болезней, вызывающих эмоционально-этическую деградацию личности (хорея Гентингтона и т. п.). Еще большую, по его мнению, социальную роль играют широко распространенные наследственные отклонения, близкие к норме: характерологические особенности эпилептоидов, шизоидов, циклотимиков. В связи с этим автор отмечает: «Нас не должно удивлять и существование людей, этически дефективных полностью или в том или ином отношении» (стр. 209). Мы не спорим против того, что имеются субъекты «этически дефективные», весь вопрос заключается только в том, может ли и является ли этическая дефективность результатом генетических недостатков.

Раздражительность и злобность, конечно, могут порождаться болезнью. В любом обществе в любое время имеется вполне достаточное количество раздражительных и злобных людей, немало и больных подагрой, немало их было и среди королей, однако ведь не все они совершали преступления.

Проанализируем кое-какие факты, относящиеся к XVI веку, когда во Франции правила Екатерина Медичи. В Англии царствует Генрих VIII (1491—1547), в Испании Филипп II (1527—1598), во Франции правит Екатерина Медичи (1519—1589), в России Иван IV (1530—1584), в «Священной Римской империи» Карл V (1500—1558). Опричнина и Каролина, инквизиция и Варфоломеевская ночь. Почему в XVI веке на тронах сконцентрировалось так много генетических дефектов и подагр, которые сразу проявились в кровавых делах? Между тем социальные причины вызвавшие появление кровавых и гроз-

ных правителей в Европе XVI века, достаточно хорошо известны и блестяще показаны К. Марксом в XXIV главе первого тома «Капитала» — «Так называемое первоначальное накопление» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 744—752).

Из большой подагрой старухи может получиться злая теща, отвратительная соседка в коммунальной квартире и Екатерина Медичи. Все зависит от условий.

Утверждение, что есть «основание считать — в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению» (стр. 194), очень приятно и заманчиво звучит, но при проверке ничего не дает, так как нет ни вечной, ни одинаково оцениваемой справедливости, подвигов и самоотверженности.

Нет, конечно, оснований утверждать, что «этические начала... порождены лишь воспитанием, религией, верой, убежденностью», но они действительно «являются особенностями, целиком приобретаемыми каждый раз наново под влиянием среды в ходе индивидуального развития, то есть ненаследственными» (стр. 195); и как же может быть иначе, если то, что одна микросреда, одна эпоха считает добром, другая микросреда, другая эпоха считает злом? Какие же и чьи «этические начала» переходили по наследству, как могут «совесть», «благородные, самоотверженные поступки» порождаться естественной эволюцией (см. стр. 199), если сами эти понятия для различных групп людей и в разное время имеют различный смысл, в них вкладывается различное содержание?..

Те же черты человека, которые дают основание для его положительной оценки, могут при определенных условиях являться основанием для его отрицательной моральной оценки. Среди немецких солдат во время войны 1941—1945 годов, среди «вервольфов» в конце войны безусловно были храбрые и искренние молодые немцы, жертвовавшие своей жизнью для спасения гитлеровского рейха, но кто же из нас даст им морально положительную оценку?

Человек не «продукт воспитания», он продукт той социальной среды, в которой живет. Верно, что воспитание не делает человека моральным, если под воспитанием понимать только слова «будь хорошим». Поведение человека определяется не тем, что ему говорят о плохом и хорошем, а тем, какое поведение он видит вокруг в своей микросреде, как оценивает различные поступки, различное поведение его микросреды, какие последствия (в широком смысле слова) в его среде эти поступки за собой влекут.

Конечно, «...полное благополучие в семье отнюдь не гарантирует этическую полноценность детей» (стр. 209), но ведь микросреда человека, в том числе и ребенка, не ограничивается семьей. Точно так же, как в хорошей семье, хоть и редко, может вырасти преступник, в плохой семье (хоть тоже редко) может вырасти порядочный человек. Из 200 проверенных в Ленинграде подростков, совершивших преступление и живших в семье, в 160 случаях оказалось, что отец или мать или оба родителя — алкоголики. Поговорка «яблоко от яблони недалеко падает» имеет под собой многовековой народный опыт.

Биологическая история человека не могла у него выработать моральных критериев, именно поэтому здесь действует социальный запрет, связанный с угрозой наказания, и социальное стимулирование (моральное, религиозное, правовое). Общество применяет социальные нормы там и только там, где не действуют законы биологические, ибо если действия человека вызваны его генетическими особенностями, то его за них нельзя ни хвалить, ни порицать. Это, однако, вовсе не исключает социально выработавшихся на протяжении тысячелетий элементарных, общепринятых правил поведения, элементарных норм общезжития.

В. Эфроимсон полагает, что «на половой инстинкт самой природой, именно наследственным инстинктом, наложено биологически чрезвычайно важное ограничение» (стр. 203), но это утверждение просто не соответствует действительности. По его мнению, межгрупповой отбор отметал племена с кровосмесительными браками и поддерживал племена, где эти браки запрещались, но ведь большую часть человеческой истории господствовали беспорядочные половые сношения и человечество не вымерло. Лишь через много тысяч лет наиболее умные люди в племени установили, что дети от кровосмесительных связей часто больные и слабые, а так как генетически ничто таким связям не противостояло, то были введены строжайшие религиозные запреты. Но ведь многие тысячелетия «излюбленной ортодоксальной формой брака являлся брак между

братом и сестрой» (Л. Я. Штернберг. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. Л. 1933, стр. 113). Как писал К. Маркс, «в первобытную эпоху сестра была женой — и это было нравственно» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 42). Человечество, подобно другим животным, начало с беспорядочных половых сношений (см. Поль Лафарг. Очерки по истории культуры. М.—Л. 1926, стр. 241), и никакие гены этому не препятствовали. Утверждение, будто «влечение просто начисто отсутствует», еще в какой-то мере верно для настоящего времени и только для наиболее близких степеней родства (брат и сестра, родители и дети), но и здесь криминалистам и криминологом известно сверхдостаточное количество противоположных фактов (на них, как известно, построен комплекс Эдипа). Отсутствие полового влечения в большинстве подобных случаев вполне объяснимо близостью с детства и социальными запретами

Точно так же утверждения В. Эфроимсона, будто развитие человечества естественно вело к появлению генов моногамии, к прочным семейным инстинктам, к однолюбию, не соответствует ни историческим фактам, ни современному положению вещей. Автор считает, что, «по-видимому, в условиях частого голода, холода, нападения хищников и врагов женщины и мужчины, часто менявшие партнеров, разрушавшие свою семью, значительно реже доводили своих детей до половой зрелости и реже передавали свои гены потомству, чем мужчины и женщины с прочным влечением друг к другу, с прочными семейными инстинктами» (стр. 203). Но ведь большая часть истории человечества не знала и не знает ни моногамной семьи, ни запрещенного кровосмешательства, а для охраны потомства от диких зверей и врагов нужны были силы не моногамной семьи, а всего племени. Семья кровного родства, по взглядам Л. Г. Моргана и Ф. Энгельса, построена таким образом, что между представителями различных поколений половое сношение запрещено, но внутри одного и того же поколения оно существует без различия кровной близости, так что все братья родные и боковые без ограничения вместе сожительствуют со своими сестрами (см. Г. Кун о в. О происхождении брака и семьи. М. 1923, стр. 21—22). В семье пуналуа, хотя половые отношения между некоторыми степенями родства социально запрещены, они коллективны и имеет место групповой брак. Изучение первобытной истории «показывает нам состояние, при котором мужья живут в многоженстве, а их жены одновременно — в многомужестве...» (Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 36). Ни при синдамической семье, ни при патриархальной семье нет моногамии¹. Формальная стойкость брака в капиталистических странах, имевшая место ранее, не соответствовала и тогда фактической стойкости брака, так как он сопровождался внебрачными связями, обычно случайными и кратковременными. Вряд ли сейчас для современного общества можно серьезно говорить о реальном моногамном браке. Те, кто знаком с положением вещей в этом отношении у верхушки современного капиталистического общества, у хиппи, кто знает о развитии проституции и т. д., тот вряд ли будет утверждать, что позиции моногамии и однолюбия становятся более крепкими. Эмоции моногамной любви на всю жизнь не кажутся мне противоестественными (см. стр. 204), но имеют они место лишь у очень небольшого количества людей, а вот утверждение, что «тех, кто эти эмоции не способен был испытывать, естественный отбор отметал достаточно беспощадно, разумеется, не потому, что они сами гибли, а потому, что оставляли мало потомства, не оставляли его вовсе или оставляли потомство, зараженное внутриутробно либо в ходе родов» (стр. 204), вызывает серьезные возражения. Веками существовало и во многих местах существует и сейчас многоженство, в семьях с большим количеством жен (в том числе и семьях гаремных) вопреки мнению В. Эфроимсона потомство было многочисленным. Автор полагает, что «чадолюбивый крестьянин оставлял обычно больше детей, чем ловеласы, донжуаны, мессалины и клеопатры» (стр. 204). Ничего не могу сказать об упомянутых лицах, сколько они оставили детей — не знаю, но гаремы и сейчас сохраняются в Турции, Иране, Афганистане, Северо-Западной Индии и в некоторых других странах и детей там совсем не мало.

¹ Автору, конечно, известно, что взгляды Л. Г. Моргана, Вахофена, Ф. Энгельса и вся марксистская концепция истории семьи и брака не разделяются многими буржуазными учеными (Виндельбанд, Дильтей, Риккерт, Ратцель и многие другие). Однако критическое рассмотрение их взглядов остается за рамками данной статьи.

Противопоставление «комплексу Эдипа» Фрейда утверждения о генетическом запрете кровосмешательства столь же необоснованно, как и теория Фрейда. Запрет кровосмешательства возник после выявления его биологической вредности, но сам он человеку генетически не присущ. Об Индии С. А. Данге пишет: «Как и все первобытные люди, арии долгое время не замечали, к каким последствиям приводит промискуитет (беспорядочные половые сношения.— М. Ш.) или кровосмешительство... он еще не понимал нежелательности брачных отношений между сыном и матерью, между отцом и дочерью или между братом и сестрой. Поэтому такие отношения, считающиеся в настоящее время преступным кровосмешительством, не запрещались» (С. А. Данге. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. М. 1950, стр. 89).

Отсутствие моногамии на протяжении большей части истории человечества и наличие группового брака подтверждается многими авторами в различных частях земли. Так, Л. Я. Штернберг писал о гиляках на Сахалине: «Все лица, связанные между собою званием апзеј и ри (муж и жена), действительно имеют супружеские права друг на друга, т. е. не только имеют право вступать между собою в регулярные браки или иметь половое сношение до вступления в регулярный брак, но сохраняют права на половое общение и тогда, когда лица этих категорий состоят уже в индивидуальном браке» (Л. Я. Штернберг. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии, стр. 25). В Индии, по материалам С. А. Данге, «отношения самкальпы (исторически первая общественная форма половых сношений в Индии.— М. Ш.) — это совершенно беспорядочные отношения промискуитета, регулируемые лишь простым желанием сторон вступить в эти отношения, не имеющие никаких общественных или индивидуальных ограничений». При следующей форме брака в Индии — самспарша — существует групповой брак, и только в наиболее поздних стадиях развития появляется парная семья (майтхуна и дванда; С. А. Данге, там же, стр. 88).

«Дети, лишённые одного из родителей,— пишет В. Эфроимсон,— имели мало шансов дожить до самостоятельности» (стр. 205), но ведь сотни тысяч лет дети даже не знали своих отцов, а отцы своих детей, эпоха матриархата закончилась сравнительно недавно, а человечество выжило, значит, выжили и дети.

В. Эфроимсон, пытаясь генетически объяснить существование морально положительных, с его точки зрения, человеческих свойств (альтруизм, запрет кровосмешательства, моногамия и т. д.), также генетически объясняет и такое отрицательное явление, как преступность.

Автор исходит из того, что «...одними социальными факторами всю преступность полностью не объяснить» (стр. 207). Необходимо, однако, внести ясность в этот вопрос. Там, где общественно опасные действия личности вызваны биологическими факторами, там нет ни преступления, ни наказания. Ведь ни гены, ни хромосомы наказанием ни исправить, ни устранить нельзя, а значит, наказание не имеет в этих случаях никакого смысла. Там, где общественно опасное действие вызвано биологическими факторами, там к человеку применяется не наказание, а меры медицинского характера (статьи 58—62 УК РСФСР). Убийство, поджог, кража могут быть совершены маньяком, шизофреником и т. д., но их действия тогда социально не детерминированы и здесь нет преступности как социального явления.

Когда преступление совершается человеком здоровым, оно, конечно, тоже связано с личностью преступника, но причиной его являются не биологические, а социальные факторы. Рассматривая вопрос о том, какую роль в подлинной хронической рецидивирующей преступности играют биологические и генетические факторы, мы ясно видим, как в разных социальных условиях резко изменяется характер этой преступности и как явно социальные условия влияют на ее существо. Достаточно сравнить структуру преступности, скажем, в США и в СССР, чтобы увидеть, какие же в действительности факторы влияют на это явление.

Социолог и криминолог могут и должны поставить и разрешить вопрос о том, подтверждается ли существование «генов преступности» криминологическими и социологическими материалами. На этот вопрос социолог-марксист может ответить только отрицательно. Отрицательно прежде всего потому, что на протяжении человеческой истории с момента возникновения понятия о преступлении никогда не было единого понятия преступления. Не существует «естественных преступлений».

Константин Симонов в июне 1942 года писал:

...Убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал...
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

А мораль и право воспринимали этот призыв не как подстрекательство к убийству, а как глубокое проявление патриотизма.

Даже те деяния, которые, кажется, всегда находились под общим запретом права и морали, были таковыми не во все времена и не у всех народов. Конкистадоры — с нашей точки зрения, грабители и бандиты, уничтожившие в Южной Америке население ряда стран, — были героями средневековой Испании. Инквизиторы, с нашей точки зрения, — садисты, но для католиков средних веков они были верными сынами церкви. Убийцы Варфоломеевской ночи, эсэсовцы в своей среде были героями, увешанными орденами и знаками отличия.

Какие же гены они передавали своим детям — гены преступности или героизма, и кто же были преступники: «неверные» индейцы, которых во славу католического бога травили собаками, гугеноты, мормоны и евреи, которых во славу того же бога жгли на кострах и убивали, или их убийцы?

Генетически могут передаваться и, очевидно, передаются психические свойства человека, при определенных условиях способствующие тому, что лица, обладающие этими свойствами, скорее будут становиться на путь преступности. Однако: 1) эти свойства неодинаковы для различных преступлений: бандиту и разбойнику необходима агрессивность, мошеннику — хитрость, карманному вору — ловкость и т. д.; 2) лица, обладающие этими свойствами, вовсе не обязательно становятся на преступный путь, агрессивность необходима не только бандиту, но и нападающему в футболе и спортсмену в регби. Как известно, гвардейские части всегда подбирались из лиц высокого роста. Вполне возможно, что уже давно практически было известно, что люди высокого роста более агрессивны, но в условиях войны это свойство вело не к преступлению, а к героизму. Хитрый в условиях капитализма может стать не только мошенником, но и директором банка или биржевым маклером, а ловкий — везде жонглером или фокусником.

Есть старая английская легенда. Во время войны Алой и Белой розы один из Йорков разбил в очередной битве очередного претендента на престол из рода Ланкастеров. Когда победитель был приведен в палатку Йорка, тот стал оскорблять своего врага, называя его изменником. На что Ланкастер совершенно резонно ответил: «Ваше величество, кто из нас изменник — только что выяснилось». У кого же из них были гены преступности?

Наибольшей популярностью среди сторонников биологических концепций в буржуазной криминологии пользуются сейчас взгляды, исходящие из того, что «наследственность — фактор преступного поведения, и притом важный фактор» (Robert G. Caldwell. Criminologie. 1956, p. 196). Подобные представления обосновывают обычно тем, что склонность к совершению преступлений переходит вместе с генами родителей и что это якобы подтверждается примерами однояйцевых близнецов (Штумпфль и другие). Между тем далеко не все лица, обладающие биологическими свойствами, способствующими тому, чтобы они совершали преступления, их совершают. Только в определенных конкретных условиях, в определенной среде они становятся преступниками.

В. Эфроимсон не отрицает значения среды, напротив, он неоднократно это подчеркивает, но мы отрицаем гены этики и преступности. Гены могут определять свойства темперамента, характера, волевые, интеллектуальные, эмоциональные и другие личные психические особенности и потенциальные возможности человека, которые в соответствующих условиях могут привести к совершению преступлений, но никак не этических генов и генов преступности существовать не может.

Уже много лет одной из наиболее распространенных попыток генетически объяснить преступность является анализ частоты преступности второго близнеца при преступности первого в случае их полной генетической идентичности. Не ушел от этого искушения и В. Эфроимсон. Он приводит таблицу, из которой видно, что если один из однояйцевых близнецов совершает преступление, то в 62,6 процента исследованных случаев второй также оказался преступником, в то время как такие же исследования двуяйцевых близнецов показали, что в подобной ситуации второй оказывается преступником только в 25,4 процента. Это, очевидно, должно доказать наличие у генетически идентичных однояйцевых близнецов общего им гена преступности. Однако такие представления уже давно опровергнуты не только в марксистской, но и в специальной буржуазной литературе.

Стоит напомнить: «Тот факт, что даже абсолютно идентичные генотипы (однойцевые близнецы) в разных условиях развития дают фенотипически различные варианты, признан всеми» (Г. Гохлернер. Проблема «внутреннего» и «внешнего» в эволюции органического мира. «Наука и жизнь», 1971, № 10, стр. 69).

В работе «Близнецы, пара и личность», опубликованной в 1960 году, французский психолог Рене Зазо подверг критике классический метод близнецов. Преодоление «парадокса однояйцевых близнецов» (ОБ) вызвано, по его мнению, отрицанием положения, лежащего в основе этого классического метода. Суть его состоит в том, что однояйцевые близнецы считаются полностью идентичными физиологически и психологически. Он полагает, что в основу экспериментального исследования был положен порочный принцип сравнения, мешающий выяснению степени участия среды и наследственности в формировании индивидуальных различий (R. Zazzo. Les jumeaux le couple et la personne, t. I. L'individuation somatique, Paris, 1960; цитирую по докладу О. М. Тутунджяна «Проблема генезиса и развития личности в трудах Рене Зазо». Сб. «Проблемы личности». Материалы симпозиума, М. 1970, т. II, стр. 112—130). Проведенные Р. Зазо исследования показывают «широкий диапазон поведенческих асимметрий, индивидуальных различий, обусловленных структурой близнецовой ситуации, и указывают на изыскание их генезиса вне сферы действия наследственных сил... различные асимметрии, проявляющиеся в близнецовой паре, с большой яркостью показывают индивидуально-психологические различия близнецов, несмотря на общее наследственное происхождение партнеров ОБ» (там же, стр. 123). Не следует упускать из виду также давно известное положение, что «каждый близнец есть часть среды другого».

Не обошел В. Эфроимсон и последнюю новинку в области биологического объяснения причин преступности — лишнюю Y-хромосому. Он пишет: «Подростки с лишней Y-хромосомой даже в хороших семейно-социальных условиях рано начинают выделяться не только высоким ростом, но и эмоциональной неустойчивостью, несдержанностью и агрессивностью, а затем и преступностью» (стр. 211). Не спорим. Однако если преступность этих лиц является результатом наличия у них лишней хромосомы Y (в чем они никак не повинны), то за что их порицать и наказывать при совершении ими преступления? Человек не может быть признан ответственным ни за свои биологические особенности, вызвавшие его действия, ни за свои психологические качества, вытекающие из биологических свойств. Суд в Австралии, признав, что 47 хромосома, которая была найдена у обвиняемого, является причиной совершенного им преступления, вынес ему оправдательный приговор. В тех случаях, когда биологические (психические) особенности человека так влияют на его разум и волю, что могут рассматриваться как причина совершения общественно опасного действия, он по законам СССР освобождается от уголовной ответственности. О наказуемом общественно опасном деянии — преступлении мы можем, таким образом, говорить только тогда, когда оно не вызвано биологическими причинами. Кроме того, далеко не все лица, имеющие лишнюю хромосому Y, совершают преступления. Не вызывает сомнений, что эта хромосома приводит к более высокому росту, к агрессивности, но вовсе не обязательно к совершению преступления. Одни и те же биологические и психические свойства в различных социальных условиях могут приводить к различным социальным последствиям.

Победа пролетарской революции меняет социальные условия и социальные детерминанты поведения, но не меняет человеческие гены, не влияет на гены однояйцевых близнецов, и биологические детерминанты поведения остаются те же. что и до социаль-

ной революции. Какими генетическими причинами можно объяснить то, что за последнее десятилетие преступность в США возросла на 170 процентов (в 1957 году — 1 422 285, в 1967 году — 3 802 300), какими генетическими причинами можно объяснить то, что динамика преступности в ГДР и ФРГ прямо противоположна? Единственное объяснение заключается в том, что преступность порождают не гены, не хромосомы, а социальные условия, в которых люди живут. Если следовать логике В. Эфроимсона, то расти во всем мире, и притом систематически, должно было бы число лиц с «положительным геном А», а значит, и преступность должна была бы падать, однако во всем капиталистическом мире она систематически растет.

Основной порок всех биологических теорий по рассматриваемому вопросу коренится в том, что их авторы не различают необходимые и случайные причины преступления. Поясним это на примере из другой области. Заболевание малярией порождают малярийные плазмодии, передаваемые специальным видом комаров — анофелес. Это причина, вызывающая малярию; если нет возбудителей — комаров анофелес, заболевания малярией исчезают. В тех местах, где была проведена осушка болот и уничтожены комары, малярия ликвидирована. Но гражданин А заболел малярией, так как приехал в город X и вечером гулял в парке, где его укусил малярийный комар. Не вызывает сомнений, что если бы А не приехал в город X и не гулял в парке, его не укусил бы комар и он не заболел бы малярией. Однако поездка А в город и прогулка в парке являются лишь случайными причинами отдельного заболевания малярией; отсутствие этих объективно-случайных обстоятельств избавило бы от заболевания гражданина А, но не ликвидировало вообще малярию.

Так же следует анализировать и вопрос о причинах преступности. Преступность связана с определенными социальными условиями. Однако то, что преступление совершает А, а не Б, это случайность, которая вызывается целым рядом именно случайных обстоятельств, в том числе психическими и физиологическими особенностями А. Если ликвидировать эти случайные обстоятельства, А, возможно, не совершит преступления, но преступность этим не уничтожится и преступления будут совершать если не А, то Б, В или Г, пока не будут уничтожены основные причины, порождающие преступность.

Далеко не все генетики придерживаются мнения В. Эфроимсона. Так, генетик Ш. Ауэрбах пишет: «...Преступность, подобно душевным заболеваниям, по-видимому, является результатом воздействия неблагоприятных условий среды на генетически восприимчивую конституцию. И опять-таки подчеркнем, что наследственная склонность к преступлениям не может считаться неотвратимым роком. Чем больше преуспеет общество в уничтожении факторов среды, порождающих преступления, путем улучшения социальных условий и воспитания, тем меньше будет случаев появления этих нежелательных генов в виде преступных актов» (Ш. Ауэрбах. Генетика. М. 1969, стр. 156).

Американец Р. Парк исходит из того, что «личность индивида, основанная на инстинктах, темпераменте и эндокринном балансе, окончательно формируется под влиянием представления индивида о себе. Это представление... определяется ролью, которую судьба поручает ему в данном обществе, и зависит от мнений и отношения к нему окружающих людей — короче, зависит от его социального статуса... (оно) ... является не индивидуальным, а социальным продуктом» (Р. Парк. Предисловие к книге E. Stonequist „The Marginal Man“, A Study in Personality and Culture Conflict. N. Y. 1961. «Вопросы философии», 1967, № 7, стр. 173).

Генетик А. П. Пехов совершенно правильно пишет: «Еще К. А. Тимирязев считал, что биологическая эволюция человека осталась за порогом его истории, то есть с началом истории человека его биологическое развитие уступило место социальному развитию и совершенствованию. Поэтому наследственность лишь предполагает, каким человек должен быть, но не каким он станет, ибо каким он действительно окажется, будет зависеть от взаимодействия наследственности и социальной среды.

Взаимодействие наследственности и социальной среды очень ярко видно на примере: «однояйцевых близнецов, идентичных с точки зрения генетики. Благодаря идентичным генотипам они имеют одинаковый пол, а также сходны по другим признакам —

груше крови, цвету глаз и т. д. Многие генетики неоднократно наблюдали, что такие близнецы, жившие и воспитывавшиеся в разных социальных условиях, всегда сохраняли физическое сходство, но отличались друг от друга по интеллекту и как личности. Эти наблюдения — доказательство того, что социальная среда оказывает решающее влияние на развитие психических и умственных способностей человека и что те или иные наследственные задатки проявляются и развиваются лишь в определенных условиях среды.

Никто не доказал и не мог доказать, что преступность, проституция, нищенство или другие опасные социальные явления передаются по наследству» (А. П. Пехов. Наследственность и социальная среда. «Здоровье», 1969, № 12, стр. 7). «Даже идентичным однойцевым близнецам свойственны различия в темпераменте» (William E. Blatz. *The Five Sisters*, New York, 1938; цитирую по Т. Шибутани, «Социальная психология». М. 1969, стр. 447).

Изучение личности преступника на основе психологии и социальной психологии является необходимым разделом марксистской криминологии, и поскольку гены (хромосомы) влияют на темперамент, характер, способности, интересы и потребности, то не вызывает сомнений и то, что «психические свойства человека в какой-то мере зависят от наследственных задатков, получаемых от родителей, но характер, поведение и личность человека в основном определяются условиями его жизни и воспитания, т. е. зависят от социальной среды, окружавшей его в детские и юношеские годы» (В. В. Алпатов. Предисловие к книге Ш. Ауэрбах «Генетика», стр. 7—8).

Прекрасно известно, что лица, находящиеся в одинаковых социальных условиях и в сходных конкретных ситуациях, вовсе не все и не всегда совершают преступления. Личные их свойства (которые в какой-то мере определяются и биологически и через которые внешние социальные факторы действуют) имеют важное значение для детерминации их поведения (см. О. Е. Фрейеров. О так называемом биологическом аспекте проблемы преступности. «Советское государство и право», 1966, № 10, стр. 112). Личность действительно «включает в себя как социально обусловленные, так и биологически обусловленные черты» (К. Платонов. Изучать личность преступника. «Литературная газета», 1968, № 38), однако когда мы ставим перед обществом задачу исправления личности, то мы имеем в виду воздействие не на биологическую природу человека, а на ее социальную обусловленность. Суть вопроса заключается в том, что «преступной личности, равно как преступных качеств и свойств личности, не существует, поэтому биологических причин преступности нет» (Н. А. Стручков. О механизме взаимного влияния обстоятельств, обуславливающих совершение преступлений. «Советское государство и право», 1966, № 10, стр. 115).

Профессор Калифорнийского университета Т. Шибутани пишет: «Биологическое наследственное снаряжение не определяет, что человек будет делать, но оно накладывает известные ограничения на то, что он может делать» (Т. Шибутани. Социальная психология. М. 1969, стр. 448).

Признание того, что преступность хотя бы частично может быть объяснена биологически, исключает возможность полной ликвидации преступности путем применения социальных мер.

Не вызывает сомнений, что генетически действительно передаются многие элементы темперамента, характера, эмоциональные, волевые, интеллектуальные свойства субъекта, которые, конечно, детерминируются не только биологически, но и социально, они *ceteris paribus* могут быть детерминантами при совершении конкретного преступления. Однако в других конкретных условиях они же могут детерминировать не общественно опасное, а общественно полезное поведение. Субъекты с одинаковыми эмоциональными, волевыми и интеллектуальными особенностями могут в одной ситуации стать виновными в хулиганстве, а в другой выступить на защиту человека, подвергшегося нападению, или с риском для собственной жизни участвовать в ликвидации аварии на производстве.

Насколько следует быть осторожным с выведением подобного рода «закономерностей», можно видеть на следующем примере: если на десять тысяч человек, проживающих дома, ежегодно умирает x человек, то на десять тысяч человек, находящихся в больницах, умирает много больше, скажем $3x$. Из такой статистики нетрудно сделать абсурд-

ный вывод, что нахождение в больницах является одной из важных причин роста смертности. Однако всякому ясно, что хотя между этими явлениями имеется связь, но нет не только причинной связи, но и детерминированности вообще, так как нахождение в больнице и смертность порождаются общей для них причиной — болезнью субъекта.

Если одно обстоятельство сопутствует другому, если они «сосуществуют», это еще вовсе не означает, что одно из них является причиной второго, такие явления могут быть как взаимодействующими, так и порожденными другими общими для них третьими явлениями. Давно была вскрыта логическая ошибочность положения *post hoc ergo propter hoc*², не менее ошибочно и подобное причинное связывание сосуществующих явлений.

В условиях эксплуататорского строя преступность порождается антагонистическими противоречиями внутри общества, и существование преступности неизбежно, пока эти противоречия не будут уничтожены.

Однако далеко не каждый человек становится преступником даже в условиях эксплуататорского общества. Неизбежность преступности как социального явления вовсе не означает неизбежности для отдельного лица стать преступником.

Преступление совершается конкретным человеком. Другой человек в таких же самых условиях не совершает преступления. Одни и те же интересы у разных людей создают разные мотивы поведения, а одинаковые мотивы побуждают разных людей к разным действиям. «Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, неповторимых свойств: человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет свое отношение к окружающему» (С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. М. 1959, стр. 122).

Будем ли мы подходить к личности человека с точки зрения тех психологов, которые исходят из «установки личности», или тех физиологов, которые исходят из динамического стереотипа, при любом материалистическом подходе мы признаем, что внешние условия приводят к определенному поведению, проходя через волю и разум, то есть через индивидуальность субъекта.

Объективные причины преступности объясняют необходимость или возможность преступности как социального явления. Но только объективные причины преступности не объясняют, почему А совершил преступление, а Б не совершил. Они объясняют лишь конкретную возможность совершения субъектом преступления.

Объяснение заключается в том, что «...внешние причины (внешние воздействия) всегда действуют лишь опосредствованно через внутренние условия. С таким пониманием детерминизма связано истинное значение, которое приобретает личность как целостная совокупность внутренних условий для закономерностей психических процессов...

При объяснении любых психических явлений личность выступает как связанная воедино совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия» (С. Л. Рубинштейн. О мышлении и путях его использования. М. 1958, стр. 8; его же «Бытие и сознание». М. 1957, стр. 307; его же «Принципы и пути развития психологии», стр. 137). Социальные явления, в том числе и преступность, обусловлены действием многих факторов, поэтому преступность следует рассматривать как результат взаимодействия различных причин, избегая преувеличения роли одной из них. Ни теория, согласно которой преступление есть результат только внутренних причин, ни теория, объясняющая его одними внешними воздействиями, не может описать это явление достаточно полно.

Вся цепь причин человеческого поведения зависит от внешнего детерминирования. Интересы личности определяются общественными отношениями, условиями, в которых человек живет, мотивы человеческих поступков определяются тем же, сами свойства личности определяются воспитанием и все это в своей совокупности определяет поступки человека.

Мозг — это «только орган психической деятельности, а не ее источник. Источником психической деятельности является мир, воздействующий на мозг. Связь

² После этого — значит, вследствие этого.

психических явлений с внешним миром выступает, таким образом, при рассмотрении и связи психических явлений с мозгом и их гносеологического отношения к объективной реальности» (С. Л. Рубинштейн. Бытие и сознание, стр. 6).

Мы должны всегда учитывать, что В. И. Ленин, ссылаясь на Энгельса, писал: «...необходимость природы есть первичное, а воля и сознание человека — вторичное. Последние должны, неизбежно и необходимо должны, приспособиться к первой...» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 196). Однако в отличие от живой природы в обществе не только следствия, но и причины приобретают форму целесообразности. Причина действия человека выступает в форме целей, желаний, стремлений людей. Это и есть то принципиально новое, чем отличается причинность в общественной жизни от причинности в природе (см. Л. В. Воробьев, В. М. Каганов, Л. Е. Фурман. Основные категории и законы материалистической диалектики. М. 1962, стр. 79—80).

Зависимость психических явлений от материальных условий жизни и деятельности людей не односторонняя. Обусловленные объективными условиями жизни психические явления, в свою очередь, обуславливают поведение людей.

«...Цели человека,— писал В. И. Ленин,— порождены объективным миром и предполагают его,— находят его как данное, наличное» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 171). Но наличие целей, понуждающих людей к деятельности, не означает избавления от причинности. Сами цели, желания людей причинно обусловлены.

Преступление детерминировано, таким образом, двумя линиями обстоятельств. Те побуждения, которые вызывают общественно опасное поведение субъекта, детерминированы окружающей обстановкой. Круг интересов и потребностей людей детерминирован социальными условиями, в которых люди живут, однако эти интересы и потребности у различных лиц вызывают различные цели и поступки. Одни и те же внешние побудительные стимулы воздействуют на различных субъектов по-разному. В той же самой обстановке у различных субъектов возникают разные цели или применяются разные средства для их достижения. Таким образом, конкретное поведение людей детерминировано средой и личностью. Но сама личность есть в значительной мере продукт, производное от тех же общественных отношений, в которых она развивалась и находится (см. А. Г. Ковалев. Психология личности. М. 1970, стр. 14).

«Личность формируется во взаимодействии, в котором человек вступает с окружающим миром. Во взаимодействии с миром, в осуществляемой им деятельности человек не только проявляется, но и формируется» (С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии, стр. 121).

Среди причин преступности следует различать: причины, с одной стороны, определяющие общую «установку» личности, и с другой — причины, вызывающие конкретные преступные мотивы.

Один из первых марксистов, занимавшихся вопросами преступности, Поль Лафарг, писал: «...не в человеке, не в его свободной воле, не в его нравственной и физической природе следует искать причин, обуславливающих движение преступности, а вне человека, в окружающем его мире» (Поль Лафарг. Преступность во Франции с 1840 по 1886 гг., исследование ее причин и развития. „Neue Zeit“ за 1890 год, №№ 1—3, цитирую по «Проблемам марксизма», сб. второй. Проблема преступности. Киев. 1924, стр. 145).

Волюнтаризм, да и все другие виды индетерминизма в социологии принимают за исходное, определяющее цель, желание, волю человека, упуская из виду самое главное — скрытые причины: потребности человека, его экономические и другие отношения и т. д.

Индетерминизм и различные идеалистические теории характеризуются именно тем, что в области общественной жизни, ее познания они стремятся обосновать волюнтаризм и свести все к воле и сознанию человека. Между тем человек сам есть совокупность всех общественных отношений, он включает в себя и духовные и материальные факторы, но факторы материального производства, производственные отношения играют решающую роль в формировании и личности. Большое значение имеют также индивидуальные и коллективные психические факторы, существующие в данном обществе, чувства и настроения, эмоции

и привычки. Внутренние условия также определяются воспитанием, традициями, предшествующей историей, то есть, в конце концов, тоже внешними факторами.

Объективным фактором, детерминирующим человеческое поведение, является социальное положение личности, однако характер влияния этого детерминирующего условия, его воздействия на человека определяется степенью осознания субъектом его положения, то есть проходит через разум человека. Таким образом, возникают мотивы его поведения, а возникшие мотивы, которые разнообразны и часто противоречивы, проходя через разум и волю человека, определяют его действия, поведение (см. Б. Г. Кремнев. Проблема общества и личности в современной американской психосоциологии. В сб. «Критика современной буржуазной философии и социологии». М. 1961, стр. 174—175).

Итак, нравственность человека, его поведение, полезное или вредное для общества, определяются социальными условиями его жизни и деятельности. «...люди суть продукты обстоятельств и воспитания», а «обстоятельства изменяются именно людьми и... воспитатель сам должен быть воспитан» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 2).

Генетическое объяснение преступности приводит нас к выводу о неизбежности зла на земле. Получается, что для изменения общества необходимо перевернуть «человеческую природу, а не преобразовать человеческое общество» (Вальтер Холличер. Человек в научной картине мира. М. 1971, стр. 402). Мы же исходим из того, что преступность порождается обстоятельствами и надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека.

Ленинград.



Б. НИКИФОРОВ,
профессор

С. ОСТРОУМОВ,
профессор

Н. СТРУЧКОВ,
профессор

★

ПОСЕРЕДИНЕ — ПРОБЛЕМА

Если считать, что человек начинается с австралопитека, и «положить» историю человечества на метровую линейку, то наша, «историческая эра» займет около одного сантиметра. Не мудрено, что на этой короткой дистанции мы не смогли в полной мере выполнить сократовский завет о самопознании. Правда, за последние пять— семь тысяч лет мы немало разглядели вокруг, начали заглядывать в самих себя и вместили в полторы тысячи кубических сантиметров нашей черепной емкости такое огромное количество информации, что уже сегодня ее излишки приходится хранить в электронно-вычислительных машинах. Однако не следует забывать, что человечеству предстоит пройти еще долгий путь все ускоряющегося развития, и очень может быть — через какие-нибудь сто—двести лет потомки будут с улыбкой взирать на некоторые наши сегодняшние споры. Слова Ф. Энгельса: «...мы, по всей вероятности, находимся еще почти в самом начале человеческой истории, и поколения, которым придется поправлять нас, будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех поколений, познания которых мы имеем возможность поправлять теперь, относясь к ним сплошь и рядом свысока»¹ — кажется, звучат сегодня особенно актуально.

И если, надо полагать, не подвергнутся пересмотру тысячекратно проверенные практикой ньютоновские законы механики или гелиоцентрическая система Коперника, то наши идеи о самих себе, по-видимому, не останутся непоколебленными. Судя по тому, что в этой области происходит, по сути дела, на наших глазах, есть все основания предполагать: привычные представления об основаниях, характере и границах ответственности человека за свои действия и их результаты также не останутся в стороне от ветра перемен. Не так давно, каких-нибудь пятьсот—восемьсот лет назад, никто не сомневался в том, что вполне резонно применять жестокие наказания за голый факт причинения малозначительного вреда, никто не сомневался, что наказание должно применяться и к душевнобольным. Сегодня нанесение даже смертельной раны, если при этом не было умысла или неосторожности, не влечет наказания. Однако и сейчас почти непреложным правилом является «полная» уголовная ответственность за действия, о запрещенности которых их автор не имел представления (не все знают, что этот порядок нам завещали суровые римляне), а также за содеянное в состоянии психической аномалии, не составляющей невменяемости, в состоянии пьяного бесчувствия. Сегодня именно такие решения представляются нам, или и в самом деле являются, необходимыми. Однако не усмотрит ли завтрашняя наука достаточно высокую степень не преодоленной только, а непреодолимой, жесткой детерминированности там, где мы, свысока отвергая всякое иное решение, видим избирательное поведение, обосновывающее высокую степень ответственности?

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 87.

Все это говорится, разумеется, не для того, чтобы настроить других и самим настроиться «недоверчиво к нашему нынешнему познанию»². Напротив, мы хотим подчеркнуть все более настоятельную необходимость неустанного научного поиска в самопознании. Все более настоятельную потому, что именно в наше время, с началом социалистической эры, человек из игральщика стихийных сил природы и общества превращается в их господина и поэту вершителя своей собственной судьбы.

В самом кратком описании суть интересной и увлекательно написанной статьи В. Эфроимсона³ состоит в том, что и такая сложная сфера человеческого духа, какой является этика, формируется под влиянием не одной только социальной среды, но имеет и свою важнейшую наследственную компоненту. Автор считает: генофонд, определяющий генетические основы этики современного человека, вырос на глубоких корнях, уходящих не только в доисторические эпохи превращения человекоподобной обезьяны в человека, но и в бездонные глубины эволюции животного мира. Понимая под «совестью» или «альтруизмом» всю группу эмоций, которая побуждает человека совершать поступки, лично ему непосредственно невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям, В. Эфроимсон находит причины наследственного закрепления «эмоций человечности, самоотверженности, благородства, жертвенности, непрерывное восстановление которых остается подчас загадкой или представляется алогичным с вульгарно-материалистических позиций», в закономерностях производства самого человека, продолжении рода. Он ссылается на Ф. Энгельса, считавшего, что «производство самого человека, продолжение рода» является наряду с производством средств жизни важнейшей стороной производства самой жизни как определяющего момента истории. Его идеи созвучны взглядам Ч. Дарвина, который писал, что каково бы ни было происхождение симпатии, это сложное чувство должно было усиливаться путем естественного отбора, и ряда прогрессивных дарвинистов — русских и иностранных, таких, как П. А. Кропоткин, Д. П. Филатов, Дж. Б. С. Холдейн.

«Есть, однако, факты,— пишет далее В. Эфроимсон,— как бы опровергающие эволюционно-генетическую гипотезу становления этики». К их числу он относит «воистину бессовестную преступность». В ее существовании он видит «главное возражение» против своей теории. В этом пункте на сцене — на правах уже не присутствующих только, а причастных и участвующих — могут появиться юрист и криминолог. Видя очертания знакомых предметов, они внимательно вглядываются в них. Вчитываясь в статью В. Эфроимсона, они приходят к выводу, что автор, пожалуй, видит в преступности не столько «возражение» против своей теории, сколько отклонение от той самой «человеческой общности», которая порождает альтруизм и порождается им.

Приведа мысль генетика Добжанского о том, что эволюционные процессы могут создавать этические коды, способные действовать вопреки интересам отдельных индивидов, но зато помогающие той группе, к которой они принадлежат, В. Эфроимсон вновь ссылается на Дарвина. «Никакое общество,— писал Дарвин,— не ужилось бы вместе, если б убийство, грабеж, измена и т. д. были распространены между его членами; вот почему эти преступления в пределах своего племени клеймятся вечным позором, но не возбуждают подобных чувств за его пределами». Быть может, мысль К. Маркса: «Наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования, каковы бы ни были эти условия»⁴ — включает в себя и эту идею?

В какой мере научна и в этом смысле «перспективна» точка зрения на преступность как на нарушение первоначально «клановой», «племенной», а затем, по-видимому, иной человеческой общности, «генетической» целостности человеческой организации? Ответить на этот вопрос нелегко. Главная трудность здесь — историческая изменчивость, подвижность содержания взаимосвязанных понятий преступности и разрушаемых ею общественных ценностей. М. Шаргородский уместно напоминает нам, что конкистадоры, инквизиторы и опричники, действовавшие в интересах определенных социальных групп и поэтому бывшие «героями» своего времени, представляются нам

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 87.

³ См. «Новый мир», 1971, № 10.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 531.

разбойниками, насильниками и убийцами. Давней и новой истории известно немало и таких случаев, когда люди, показавшие себя подлинными и самоотверженными ревнителями блага человеческого, подвергались за это жестоким наказаниям и официальному «опозорению».

Практика такого рода — не только воспоминание, она представляет собою самую что ни на есть сегодняшнюю действительность капиталистических государств. Положение осложняется здесь тем, что нередко альтруистическая деятельность людей, направленная против политики монополий, буржуазными уголовными законами оценивается как преступная. Естественно, пропагандистская линия идеологов буржуазии заключается в том, чтобы попытаться скрыть или, по крайней мере, смазать глубокое социальное и моральное отличие деятельности такого рода от подлинной преступности.

В ряде выступлений президента США Никсона в ходе избирательной кампании по выборам в конгресс 1970 года была ясно выражена мысль: преступность на улицах — это всего лишь разновидность насилия, другим проявлением которого являются выступления оппозиционных элементов. «Насилие в сегодняшней Америке, — говорил он, — порождено не войной, не репрессиями властей. Оно не вдохновляется романтическими идеалами. Не будем представлять этих людей в несвойственном им виде. Они не романтики революции. Это те же головорезы и хулиганы, которые всегда были бедствием для добрых людей»⁵.

При этих условиях выработка объективного критерия для оценки действий, запрещенных буржуазным уголовным законом в качестве преступных или общественно полезных, разработка понятия преступности подлинной в отличие от мнимой становится вопросом не исторической только, а злободневной политической ориентации в развертывающейся на мировой арене борьбе между силами прогресса и силами реакции.

Но возможно ли это? Разве приведенные примеры не подтверждают «всеобщей относительности» морали, не говорят о том, что и в самом деле, как пишет М. Шаргородский, «нет ни вечной, ни одинаково оцениваемой справедливости, подвигов и самоотверженности»?

Эта широко распространенная точка зрения, при всей ее привычности и, казалось бы, очевидности, далеко не бесспорна. И в первую очередь именно потому, что она молчаливо исходит из принципиальной невозможности объективной оценки политического качества социальных явлений.

Между тем... «Среди немецких солдат во время войны 1941—1945 годов, среди «вервольфов» в конце войны, — пишет М. Шаргородский, — безусловно были храбрые и искренние молодые немцы, жертвовавшие своей жизнью для спасения гитлеровского рейха, но кто же из нас даст им морально положительную оценку?» Никто, конечно. Но разве суть дела здесь не заключается в том, что эти люди жертвовали собою не ради добра, а для торжества гитлеризма? И не в том, что вполне объективную отрицательную оценку их самопожертвования даст история того самого человечества, которое гитлеризм стремился уничтожить, в том числе история самого немецкого народа?

Весьма интересно и, на наш взгляд, показательно то обстоятельство, что на протяжении почти всей «исторической эры» вновь и вновь предпринимались попытки отыскать объективный критерий для отделения права от неправа и правильного, чего закон запрещать не может, от неправильного, что подлежит запрету. Софисты и Сократ, Аристотель и стоики, римские и средневековые юристы, Гуго Гроций, Локк, Руссо, Кант и Гегель — все они и каждый из них проявляли к этой проблеме большой интерес. Он обострился в период вызревания в недрах феодального общества форм капиталистического уклада и в связи с этим развитием буржуазной правовой идеологии.

До тех пор, пока буржуазная революция сохраняла демократический характер, тезис о необходимости ограничить усмотрение законодателя предписаниями «естественного права» продолжал оставаться на переднем плане не только в теории, но и в законодательстве. «Закон, — читаем мы в статье 5 французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года, — вправе запрещать лишь действия, вредные для общества».

⁵ Weekly Compilation of Presidential Documents. vol. 6. Number 5. pp. 1519—1924.

Однако буржуазная революция недолго оставалась демократической. И по мере того как трудящиеся все яснее отдавали себе отчет в действительном содержании «естественных прав», в том, что, по сути дела, «одним из самых существенных прав человека провозглашена была... буржуазная собственность»⁶, учения естественного права, с одной стороны, все отчетливее обнаруживали свой характер демагогической фикции и поэтому все в меньшей степени могли выполнять свою маскировочную функцию. С другой, сама буржуазия, которая отныне должна была уже «...не штурмовать твердыни феодализма, а укреплять... социальные завоевания революции»⁷, все больше теряла интерес к ею же недавно провозглашенным лозунгам.

Гуманные, прогрессивные идеи — доктрина естественных прав, отказ от смертной казни и другие, оказавшие серьезное влияние на французский уголовный кодекс 1791 года, Тарже, один из составителей уголовного кодекса 1810 года, считает «соблазнительными, но бесплодными». Их место — «...в воображаемом мире, в который души простые и чистые любят иногда погружаться...»⁸.

Быть может, из-за того, что все попытки отыскать объективное мерило преступного до сих пор одна за другой терпели неудачу, возникло убеждение, что они бесплодны принципиально. Высмеивая ученых, стремящихся «выявить и изучить неправду, которая была бы абсолютной и вечной, а не просто представляла бы собой нарушение норм статутного или прецедентного права, меняющихся в зависимости от времени и места», американский юрист П. Таппен заявляет: «По существу, это старое метафизическое стремление открыть закон природы»⁹.

Насколько метафизично стремление постигнуть законы природы в свете возможностей современной науки, мы не беремся судить. Что касается попыток определить «абсолютную неправду», то не по той ли же самой причине они до сих пор ни к чему не приводили, по которой до наступления социалистической эры терпели неудачу все попытки построить свободное, на разумных началах организованное общество? Быть может, эта причина заключается в том, что в условиях эксплуататорского строя поиски объективного мерила преступности могут в конечном счете привести, как пишет тот же Таппен, в этом случае весьма пронизательный, к «бортовым залпам по «существующей системе»¹⁰, к обнаружению того, что преступен сам покоящийся на насилии и обмане капитализм?

Строю социализма подобные разоблачения не грозят, и ему чужды опасения, возникающие на почве мнительности такого рода. Особенностью социалистического общества, определяющей отсутствием в нем антагонистических противоречий, его природой «всеобщей общности», является то, что в нем право не противостоит морали. Это значит: в условиях социализма преступление — убийство, спекуляция, хулиганство — одновременно является поступком, нарушающим нормы социалистической морали. В этих условиях отрицательная правовая, иначе говоря — государственная, оценка поступка есть его всеобщее («всем обществом») моральное осуждение. Как ни соотносить народ, общество и государство, очевидно, что при социалистическом строе преступление, будучи нарушением государственного закона и посягательством на общественный интерес (оно общественно опасно), тем самым причиняет ущерб или грозит причинением ущерба народу. В известном и весьма важном смысле слова преступность в социалистическом государстве «антидемократична». В. Эфроимсон мог бы с полным основанием назвать ее «антиальтруистической».

В условиях капитализма не только государство противостоит обществу, но подавляющее большинство народа является не субъектом общественных взаимодействий, а объектом эксплуатации. В этих условиях действия, направленные против государства и даже против буржуазного общества, могут быть на пользу народу и, напротив, акции в пользу буржуазного государства или общества могут иметь антинародный характер.

Подходя к нашей задаче с этих позиций, в принципе не так уж трудно среди дей-

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 17.

⁷ М. М. Исаев. Вступительная статья к книге «Французский уголовный кодекс 1810 г.». М. 1947, стр. 53.

⁸ Там же, стр. 57.

⁹ «Социология преступности (Современные буржуазные теории)». М. 1966, стр. 60—61.

¹⁰ Там же, стр. 66.

ствий, предусмотренных буржуазным уголовным законом, отличить преступные от «преступных».

«Преступная» антивоенная деятельность доктора Спока, «преступное» разглашение тайн Пентагона профессором Эллсбергом — эти и подобные им действия суть проявление сдвига большей части американского общества влево на почве углубляющегося сознания того, что в настоящее время Америка переживает органический кризис общественного строя, основанного на угнетении, коррупции, эксплуатации, лишении людей их человеческого достоинства. «Преступления» такого рода направлены не к подрыву той «общности», которую представляет собою американский народ, а к ее физическому и моральному сохранению и укреплению. По В. Эфроимсону, это «альтруистическая преступность».

Напротив, подлинная преступность независимо от того, о каком ее виде идет речь, представляет собою не что иное, как незаконное продолжение «законного» буржуазного насилия и обмана.

Это относится не только к преступности буржуазии, но и к общеуголовной, «уличной» преступности, в которой мы по давнему наивному стереотипу хотим видеть только форму войны бедности против богатства и охраняющих его несправедливых законов. Если этот стереотип когда-то и отвечал действительности, сегодня он нуждается в серьезных поправках. Сегодня «головорезов и хулиганов» можно считать борцами против «истеблишмента» не больше, чем борцов против «истеблишмента», по рекомендации президента Никсона, считать головорезами и хулиганями. Принимая «институционные» цели буржуазной структуры и в этом смысле адаптируясь к ней, уличные преступники для достижения этих целей всего лишь используют незаконные средства, хотя опять-таки смоделированные по образу «законных» буржуазных методов «устройства дел».

Разумеется, когда мы говорим о преступности как об «объективной неправде», мы имеем в виду не «размытые» края этого явления, которые постоянно меняют очертания в зависимости от изменения законодательства, а его относительно устойчивое «ядро», составленное из таких «насилованных» и «корыстных» преступлений, как убийство, изнасилование, причинение телесных повреждений, разбой, кража, мошенничество и некоторые — немногие — другие. Фигурируя в одной и той же или похожей обрисовке в уголовном законодательстве всех народов и чуть ли не всех времен, они лучше характеризуют состояние и динамику преступности, чем все остальные преступления, взятые вместе. Статистика, отражающая только эти преступления (такова американская федеральная статистика), в определенной мере репрезентативна и «убедительна» для всех. Статистика, которая отражала бы одни только «остальные» преступления (такой статистики не существует), мало что говорила бы даже специалистам. Не будучи криминологом, В. Эфроимсон тем не менее правильно выделяет «бессовестную преступность». И в другом месте: «...Рассматривая преступность как явление прежде всего социальное, в ее биологических аспектах, мы должны ограничить свой анализ профессиональными преступниками, рецидивистами, то есть той чисто паразитической прослойкой, для которой преступление — основная, более или менее постоянная форма существования». При всей неточности этой формулировки с юридической стороны (закон — статья 24 УК РСФСР — определяет «особо опасного рецидивиста» иначе), она имеет в виду в основном те самые «ядерные» преступления, о которых идет речь и у нас. Таким образом, с соответствующими поправками на необходимость видеть в преступности «явление прежде всего социальное» (так говорит В. Эфроимсон), постановка вопроса об относительной устойчивости понятия преступности со стороны его содержания не представляется нам ни ненаучной, ни праздной.

Но если дело обстоит таким образом, то естественно и необходимо попытаться разобраться и в другом вопросе, который в предварительной постановке выглядит примерно так: существует ли биопсихический личностный комплекс, образующий «субъективную сторону» «бессовестной преступности», или, как говорят юристы, «вкладывающийся» в нее?

В. Эфроимсон, по-видимому, считает, что такой «комплекс этических реакций» существует. Он говорит об агрессивности и бессовестности, об умственной отсталости,

незрелости, ограниченности, о взрывчатости, догматизме, бесчувственности, безответственности и о других подобных биопсихологических свойствах.

Признавая за социальными факторами решающее значение в развитии этических свойств, он все же считает, что «накоплен ряд фактов, позволяющих наконец трезво, деловито поставить вопрос о том, какую роль в подлинной, хронической, рецидивирующей преступности имеют биологические и генетические факторы». Объясняя, как это произошло, он формулирует интересную мысль: «...Подобно тому как с улучшением материальных и санитарных условий среди заболеваний выходят на передний план наследственные дефекты, оттесняя дефекты, порожденные средой (инфекции, последствия недоедания, авитаминозы и т. д.), так и с ослаблением острой нужды и других чисто социальных предпосылок преступности начинают яснее выступать предпосылки биологические».

Приходится пожалеть, что в этом важном пункте между юристом М. Шаргородским и генетиком В. Эфроимсоном диалога не получилось. Как это нередко (не слишком ли часто?) случается «на стыке наук», получилось два монолога. В одном юрист М. Шаргородский утверждает, что «общество применяет социальные нормы там и только там, где не действуют законы биологические», потому что «ни гены, ни хромосомы наказанием ни исправить, ни устранить нельзя...». Но ведь и генетик В. Эфроимсон не утверждает иного. Он, напротив, не только декларирует, что «человеку ценой миллиардов жертв, жестоким естественным отбором досталась способность мыслить, различать добро и зло» и что «он должен всегда и во всем быть судьей своим собственным делам, сознавать, что за свои поступки всегда отвечает он сам», но и объясняет: «личная ответственность остается», и именно потому, что «человек благодаря развитию лобных долей мозга слишком далеко ушел, чтобы не понимать совершаемого и не прогнозировать следствия». Итак, не только «должен», что относится к этике, но и «может», что в данном случае принадлежит генетике. А генетику генетиково, и пусть генетики спорят между собой. Если же говорить о юристах, то можно полагать, что социальные нормы не применяются в сфере и с к л ю ч и т е л ь н о г о действия биологических законов, например при психозе. Когда этого нет, когда биологический импульс не подавляет сознания и воли — именно это имеет место при уменьшенной вменяемости, к сожалению, не признаваемой из самых лучших побуждений нашими психиатрами, — угроза наказанием вполне может помочь делу. Она играет здесь роль милиционера, появляющегося на сцене в тот самый момент, когда должен был сработать (и именно поэтому не сработал) «импульс». Кстати, если невменяемость как предпосылка безответственности проистекает от ущербной биологии, то по логике и по существу вменяемость как предпосылка ответственности проистекает тоже из биологии, только доброкачественной. При этом невменяемость и безответственность как категории негативные, по сути дела, означают отсутствие соответствующих психических и психозических свойств. Поэтому особенности душевного заболевания, приводящего к невменяемости, естественно, не могут влиять на решение вопроса о количестве и качестве ответственности. Если же продолжить эту мысль, то мы приходим к выводу, что особенности доброкачественной биологии могут и должны влиять на меру и характер ответственности.

В этом пункте мы, как в сказке, выходим на перепутье трех дорог: одна — генетика, другая — биология, а третья, это, конечно, право.

Вопроса о наследуемости биологических свойств мы касаться не будем по той простейшей причине, что мы не экипированы необходимыми для этого познаниями. Какое бы впечатление ни производили на нас приводимые В. Эфроимсоном данные о частоте преступности второго однояйцевого близнеца при преступности первого, мы не можем пройти мимо возражений против «метода близнецов» со стороны специалистов, на которых ссылается М. Шаргородский. Ведь сам В. Эфроимсон пишет: «Когда говорят о роли наследственности, молчаливо подразумевается — «при прочих равных условиях», а уж разобраться в том, во что сформируются бесчисленные разнообразные генотипы в бесчисленно разнообразных и притом меняющихся условиях, пока нам не под силу». «Нам» — это не нам. «Нам» — это генетикам. А уж нам, юристам, и вовсе...

Впрочем, М. Шаргородский, юрист, с достаточной определенностью высказывается за признание генетической наследуемости ряда биологических свойств. «Гены могут,— пишет он,— определять свойства темперамента, характера, волевые, интеллектуальные, эмоциональные и другие личные психические особенности и потенциальные возможности человека». Более того, он допускает также: эти особенности и возможности «в соответствующих условиях могут привести к совершению преступлений». Иными словами, в «соответствующих условиях» между генетикой и этикой личности может протянуться нить.

Согласно преобладающей в советской криминологии точке зрения, биологические свойства личности в криминологическом отношении нейтральны. Не являясь причинами преступного поведения, они иногда играют роль условий, способствующих правильному нравственному формированию личности или затрудняющих его. А вот уже неправильно сформировавшаяся личность в соответствующих условиях может встать на путь совершения преступлений. Чтобы этого не произошло, следует учитывать свойства личности при организации воспитательной работы и заботиться о том, чтобы личность, особенно в процессе ее формирования, не подвергалась давлению этих «ответствующих условий».

Признание за биопсихологическими свойствами личности определенного места в генезисе совершённого преступления — проявление заметного за последние годы более дифференцированного и, нам представляется, более реалистического подхода к вопросу об основаниях уголовной ответственности. Так, базируясь на прежнем (до 1960 года) законодательстве, относившем ревность к числу «низменных побуждений» (статья 136 УК РСФСР, 1926 г.), наши теоретики считали, что убийства из ревности совершаются на почве пережитков «частнособственнического отношения к женщине». Несоответствие этой концепции жизненной практике стало очевидным, когда выяснилось, что убийства из ревности совершают не одни только мужчины. Кроме того, осуждение ревности как низменного побуждения в законе и вытекавшее отсюда обращенное к гражданам моральное требование при всех условиях «воздерживаться» от этого чувства бесспорно противоречило человеческому естеству. В действующем законодательстве упоминаний о ревности не содержится.

По формуле «может в соответствующих условиях» ревность способна привести или не привести к преступлению в зависимости от ряда обстоятельств. В одном случае она может быть беспричинной и породить трагический результат независимо от поведения другой стороны (вспомним Отелло или Арбенина). В другом даже при наличии оснований для этого чувства субъект может вести себя в высшей степени сдержанно и великодушно. Нередко встречающиеся ситуации включают в себя в качестве «условий» неудачный брак и адюльтер. Разумеется, в конкретных эпизодах эти элементы располагаются различным образом. Ревность может быть вызвана неудачным браком, но может быть и так, что брак становится неудачным в результате ревнивых преследований, и это приводит к адюльтеру.

Как видно, элементы «может» и «в соответствующих условиях» сложно взаимодействуют друг с другом и при современном уровне наших знаний предвидеть конкретную форму и результаты взаимодействия мы не можем. Для этого иной раз необходимо знать такие детали биографии субъекта, о которых он сам не имеет никакого представления. «К сожалению, мы еще слишком мало знаем о законах развития детской психики и действующих при этом механизмах усиления и торможения,— очень точно пишет В. Эфроимсон,— чтобы установить, какое влияние на индивидуальную этику оказывают младенческие и детские восприятия, способные тысячекратно воспроизводиться в памяти усилительными механизмами психики и пускать в ход разнообразнейшие цепные процессы». И далее: «...Нелегко будет еще найти то внешнее событие, воспитательное воздействие которого окажется по своей направленности решающим и пока еще «нейтрального» ребенка или юнца повернет к правдоискательству, злу или безразличию».

При всей неясности этой стороны дела приведенные выше «варианты», по-видимому, свидетельствуют о том, что биопсихологические свойства личности далеко не так «нейтральны» в криминологическом плане, как это может показаться на первый взгляд. Мы видим заслугу В. Эфроимсона в том, что он показал нам это.

Здесь может быть полезным предварительное замечание. Указанный «первый взгляд» объясняется отчасти нашей собственной языковой неряшливостью: безусловно или преимущественно социально отрицательным свойствам личности мы нередко присваиваем широкие, неоднозначные наименования, включающие в себя социально положительный вариант значения слова. Если это не относится к таким «абсолютным» свойствам, как ревность, лживость и злобность, то к «агрессивности» относится в полной мере. Отсюда и мысль М. Шаргородского: «...Агрессивность необходима не только бандиту, но и нападающему в футболе и спортсмену в регби» — и его соображения о «нейтральности» этого свойства. Неточностей такого рода можно было бы, нам думается, избежать, если говорить не об агрессивности, а, точнее; о драчливости, конфликтности, склочности. Подобные свойства, кажется, никого, в том числе и нападающих в футболе (кстати, если их называть по-старому форвардами, может быть, им и агрессивность потребуется в меньшей мере?), никогда не доводили до добра.

Активный характер биопсихологических свойств особенно отчетливо виден в тех случаях, когда они, обладая особой интенсивностью, подчиняют себе «соответствующие условия» или создают их из ничего. Если рядом все с той же ревностью поместить еще и недоверчивость, подозрительность, мнительность, то они «в пределах емкости» нередко komponуют жизненные факты по-своему, придают им неожиданную окраску и создают из них более или менее фантастический мир, функционирующий по своим собственным законам. Они и в реальном мире нередко из различных «сред» предпочитают такую, которая подходит им, и нередко там, где мы обнаруживаем влияние среды на человека, вначале было избрание человеком этой среды. «...Уже в детстве, — пишет В. Эфроимсон, — человек активно выбирает среду на основе некоторых критериев, неосознаваемых им самим, вероятнее всего связанных с его биологической природой». Для того, чтобы подростком завладела «улица», он должен сделать хотя бы — а может быть, в первую очередь — внутреннее движение по направлению к ней.

Наконец, не последняя по значению потенция биопсихологических свойств личности — их реакция (часто бурно активная, нередко социально отрицательная, на первый взгляд непрогнозируемая, а в действительности определяемая свойством этого свойства) на воздействия, идущие из микросреды. В. Эфроимсон подчеркивает большую роль широко распространенных наследственных отклонений, близких к норме характерологических особенностей эпилептоидов, шизоидов, циклотимиков. «...При несоответствующей микросреде, — пишет он, — целеустремленная настойчивость эпилептоидов оборачивается взрывчатостью, а абстрактное мышление и уход во внутренний мир шизоидов — догматизмом, бесчувственностью и фанатизмом; доброта, общительность циклотимиков — безответственностью. Воспитание и самодисциплина могут подавить нежелательные проявления личностных особенностей, но метод проб и ошибок достаточно мучителен и дорог». Мы не знаем, насколько технически точен имеющий хождение термин «притертый олигофрен»¹¹, но он с большой выразительностью описывает людей, психические аномалии которых не мешают им быть полезными на своем месте до тех пор, пока необычные для них обстоятельства не окажут на них непреодолимого для них давления. Под его воздействием они иной раз совершают тяжкие преступления и, разумеется, расплачиваются за них полной мерой. Однако, право же, трудно сказать, мера ли это их вины или нашего непонимания. «Надлежащий человек на надлежащем месте» — это не только, как правильно пишет В. Эфроимсон, «оптимальное решение для характерологических отклонений, потенциально ценных, но в особых условиях». Это также программа «профилактических» мероприятий, которые в наших условиях должны быть направлены не на обезвреживание потенциально опасных элементов, а на создание стимулирующих «особых условий» для потенциально полезных людей. Общество вправе рассчитывать на определенное поведение своих членов, если оно создало такие условия, в которых это поведение возможно для них.

¹¹ Олигофрен — лицо, страдающее той или иной степенью слабоумия.

* * *

Доктрина изначальной сопричастности человека ко злу, его первородной греховности, не раз подвергавшаяся модернизации с привлечением данных современной этим попыткам науки, как это ни печально, представляла собою в значительной мере и обобщение и объяснение повседневной практики человечества. В середине текущего столетия было подсчитано, что в течение предшествующих 3421 года войны продолжались 3153 года, а мирное сосуществование народов всего 268 лет. Если вновь воспользоваться методом метровой линейки, то на мир придется неполных 8 сантиметров. Все остальное — боль, страдания, слезы и кровь людей. За это же время было заключено 800 генеральных и региональных мирных договоров, призванных обеспечить мир на вечные времена. Каждый из них действовал в среднем два года¹². Добавим к этому массовое кровавое и бескровное истребление людей на почве религиозных и политических преследований, при подавлении сопротивления колониальных народов и сопутствовавшие всему этому вероломство, продажность и обман, представим себе всю эту картину целиком — и мы должны будем прийти к выводу, что была нужна не только большая внутренняя смелость, но и немалая вера в человека и человечество, чтобы выступить против доктрины «злого человека», заявить, как это сделал знаменитый Беккариа, что лучше не наказывать, а предупреждать преступления просвещением, ибо добро находится в прямом отношении к распространенности знаний¹³, и возложить социальную ответственность за предупреждение преступлений на общество.

Такую ответственность впервые в истории смогло — и захотело — взять на себя социалистическое общество. Только здесь слова К. Маркса: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него»¹⁴ — могли стать и стали руководством к практическому действию. И именно потому, что в этой области уже многое сделано и достигнуто, можно видеть, что события развиваются не совсем так и не так быстро, как первоначально предполагалось и как хотелось бы. «Предполагалось, что крайние формы антисоциального поведения, в частности преступность, — пишет В. Эфроимсон, — исчезнут вместе с жестокой социальной нуждой, с неграмотностью. Этого, однако, пока не произошло, хотя существенно снижались и пережитки капитализма, и пережитки нарушений норм социалистической законности, а экономический, культурный и образовательный уровень резко поднялся». Это правильная и важная мысль. А вот вывод, который из нее делает автор, неточен и, главное, должно быть, по этой самой причине не соответствует всей концепции В. Эфроимсона. Он пишет: «При всей их значимости одними социальными факторами всю преступность полностью не объяснить». Нет, вопреки этой формулировке из программы «надлежащий человек на надлежащем месте» следует другое. Из нее следует, что социальными факторами объясняется вся преступность, только, и это хорошо показал сам В. Эфроимсон, природа и «рядность» этих факторов существенно различны.

Чтобы не быть вынужденным наказывать за преступления, совершаемые из нужды или по невежеству, законодатель, уничтожая нужду и рассеивая невежество, несомненно, воздействует на социальные факторы преступности. В этом случае он «приспосабливает» индивида или дает ему возможность «приспособиться» к требованиям общества. Чтобы не оказаться перед необходимостью наказывать преступления, совершаемые на почве конфликтности, злобности или жадности людей, мудрый законодатель стремится по возможности поставить их в такие условия жизни, которые не провоцировали бы проявления этих свойств. В этом случае он также воздействует на социальные факторы преступности, однако «приспосабливая» условия жизни людей или давая им возможность «приспособить» эти условия к особен-

¹² См. А. Н. Трайнин. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества. М. 1956, стр. 19.

¹³ См. Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М. 1939, стр. 395—405.

¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 1, стр. 131.

ностям их личности. И хотя проводимое в наших городах расселение людей по отдельным квартирам преследует в первую очередь не эту цель, оно приводит — об этом свидетельствует статистика — к резкому уменьшению числа конфликтов на квартирно-бытовой почве. Не идя «навстречу» нужде и невежеству, законодатель не может в какой-то мере — возможной сегодня, расширяющейся с ростом нашего общественного богатства — не считаться с такими человеческими «слабостями», на которые он не в состоянии воздействовать непосредственно. В нашей печати немало написано на тему о том, чтобы у нарушителей общественного порядка «под ногами земля горела». Если гуманизм видеть в отношении к человеку как к цели, а не как к средству, то, может быть, стоило бы (в переносном и в буквальном смысле — было бы дешевле) куда более серьезно, чем это делается сейчас, заняться такими вопросами, как организация молодежного досуга.

Таким образом, факт существования преступности и в самом деле не опровергает эволюционно-генетическую гипотезу становления этики. Напротив, мысли В. Эфроимсона о преступности хорошо «ложатся» в контекст доктрины «добротного человека», предложенной им на место существующей теории «младенца, ждущего своего творца». Эти мысли, разумеется, нуждаются в самом серьезном обсуждении, более того — они настоятельно требуют и заслуживают его. При этом дело не только в том, что «добрый человек» родился не вчера и что в числе его восприимчивых находятся Дарвин и Кропоткин.

И тот, кто хочет попытаться опровергнуть эту концепцию, должен прежде всего доказательно опровергнуть аргументы, выдвинутые В. Эфроимсоном. Мы не верим в бога и не признаем божественного начала в человеке, но это не освобождает нас от необходимости, напротив — делает еще более настоятельной необходимость найти научное объяснение той поразительной воображение быстроты, с которой верования, выступавшие под флагом человечности и справедливости, завоевывали и в течение сотен и тысяч лет сохраняли доверие многих и многих миллионов людей. В. Эфроимсон предлагает такое объяснение. Он видит его в том, что церковь умело, изощренно эксплуатировала свойственное человеку, естественное для него чувство справедливости, столь часто подвергавшееся поруганию.

Казалось бы, именно с позиций «злого человека» или «младенца» проще и убедительнее всего объясняется быстрое озверение огромного числа людей под влиянием человеконенавистнических «идей» фашизма. Не правда ли, вот она, всесильность «воспитательного» воздействия на людей, готовых к восприятию зла! Но В. Эфроимсон обращает внимание на то, что эти насильственные идеологии преподносились и преподносятся народам «в обманной облатке справедливости, а жестокие средства оправдывались высокой целью. Главное же заключается в том, что во всех случаях предварительно пришлось уничтожить свободу совести, свободу слова, печати, собраний, тайну голосования, — словом, прежде всего лишить народ возможности узнавать правду...». Но еще более доказательным нам представляется другое наблюдение автора — массовое возрождение «общечеловеческих этических принципов почти сразу после снятия тех исключительных форм подавления», которые, казалось бы, навсегда исключили возможность их претворения в жизнь.

Что касается соображений В. Эфроимсона о преступности, то мы оценили бы их как заслуживающую внимания и для условий социалистического общества весьма показательную попытку дальнейшего усиления гуманистического начала в социально и эмоционально напряженной сфере борьбы свойственными социализму средствами с таким сугубо антигуманистическим феноменом, каким является преступность. Они не только будоражат мысль, как это всегда происходит в случае вторжения компетентного представителя одной науки в сферу привычных представлений другой. Мы попытались показать, что они дают пищу для интересных и полезных размышлений. Здесь, как и, пожалуй, во всей затронутой В. Эфроимсоном проблематике, связанной с вопросами криминологии, он и М. Шаргородский защищают противоположные позиции. «Принято думать, — хорошо сказал кто-то, — что между крайними точками зрения находится истина». Это неверно: между ними находится проблема. Эти слова характеризуют суть возникшей полемики достаточно точно.

От редакции. Статьи В. Эфроимсона и Б. Астаурова («Новый мир», 1971, № 10) вызвали широкий отклик читателей. Редакция получает письма и статьи ученых самых различных областей знания — генетиков, философов, математиков, юристов, медиков, социологов, физиков. Среди авторов писем — рабочие, инженеры, писатели, деятели культуры.

Подавляющее большинство авторов разделяет концепцию В. Эфроимсона. «Этические принципы, изложенные в статье,— пишет доктор биологических наук Н. Соколов (Москва),— ...имеют ясную антирелигиозную заостренность. Они противостоят известному положению «человек человеку — волк». Н. Соколов видит в выступлении журнала прямой отклик на прозвучавший недавно со страниц «Правды» призыв академика Ф. Константинова детально разрабатывать проблему «человек, его сущность, природа, интеллект».

Кандидат биологических наук В. Мирек (Москва) отмечает, что идеи, высказанные в статьях, помогают в борьбе с псевдомарксистскими догматическими воззрениями и потому «имеют большое, если угодно, принципиальное значение». Драматург А. Крон пишет: «Мне кажется, что опубликование этих статей — общественное и литературное событие». Ценность концепции В. Эфроимсона, отмечает он, «прежде всего в том, что она является одной из первых попыток научного марксистского, чуждого вульгарному социологизму подхода к проблемам нравственности». По мнению профессора В. Алпатова (Москва), «в статьях блестяще показана роль наследственности в формировании человека и его этического облика как организма общественного».

Положительно оценивают статьи В. Эфроимсона и Б. Астаурова также академик АН БССР П. Рокицкий (Минск), профессор Л. Крушинский (Москва), литературовед Бернгард Райх (Москва), врач М. Мясников (Калуга) и многие другие.

Некоторые авторы откликов, принимая в целом концепцию В. Эфроимсона, не соглашались с отдельными положениями статьи. Так, например, экономист А. Захаров (Москва) и слесарь В. Дунец (Якутск) считают недостаточно аргументированной идею о происхождении моногамной семьи.

Профессор-юрист П. Дагель (Владивосток) утверждает: «В принятом автором аспекте статья имеет несомненно положительное значение», но считает тем не менее, что «по некоторым положениям позиция автора представляется недостаточно аргументированной и даже спорной». Подобной же точки зрения придерживается еще ряд авторов. Академик А. Александров (Новосибирск) в своей статье констатирует, что «проблема альтруизма концепцией В. Эфроимсона не решается». Этот взгляд разделяет и профессор Я. Харাপинский (Москва), который утверждает, что «критический разбор статей профессора В. Эфроимсона и академика Б. Астаурова приводит к выводу, что у морали и этики нет эволюционно-генетической основы».

Публикуемые в этом номере журнала статьи профессора М. Шаргородского (Ленинград) и профессоров Б. Никифорова, С. Остроумова и Н. Стручкова (Москва) по-разному оценивают один из аспектов концепции В. Эфроимсона.

Доктор медицинских наук профессор А. Лапчинский (Москва), высоко оценивая статью В. Эфроимсона, приходит к выводу: «Несомненно, что попытка биологического обоснования некоторых моральных сторон поведения человека заслуживает серьезной разработки и обсуждения в свете передовой советской науки».

Этот вывод полностью разделяет редакция и полагает, что поднятая проблема найдет отражение на страницах специальных органов печати. Свою же миссию, печатая статью В. Эфроимсона, редакция видела лишь в том, чтобы привлечь внимание общественности к важной проблеме.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДУБРОВИН

★

ПОСТУЛАТЫ НА ОЧНОЙ СТАВКЕ

1. Бездетно-многодетная Мелхола

Бог искушал Авраама», — гласит Священное писание. И в том же Священном писании, только на другой его странице, мы прочтем: «Бог не искушается злом и сам не искушает никого».

Сколько таких несоответствий нашли в религиозных текстах воинствующие безбожники! В Евангелии от Матфея одно, от Луки — другое; в одном месте Библии — «бога никто никогда не видел», в другом — «я видел бога лицом к лицу»; в одном — «пять сыновей Мелхолы», в другом — «у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее»...

Если богословы как-то еще пытаются объяснить все эти противоречия, то большинство простосердечных христиан наивно принимает на веру как видимого бога, так и невидимого, как искушающего, так и не-искушающего. Написано — значит, верь. И нечего там сомневаться, проверять, уточнять. Только в грех себя вводить.

Не правда ли, поучительно: до чего доводит людей благоговение перед буквой религиозных текстов!

Впрочем, только ли религиозных?

Характеризуя свое эстетическое и литературоведческое хозяйство, мы, бывает, спешим изобразить бесповоротно минувшим то время, когда иные авторы в качестве аксиом с ходу принимали те или другие утверждения, даже не потрудившись сопоставить их между собой, чтобы выяснить, насколько они соответствуют друг другу. А такое сопоставление бывает иногда не вредным.

Положа руку на сердце приходится сказать: инерция чересчур доверчивого приятя отдельных положений не преодолена нами до конца и по сию пору. Она подчас сказывается даже в содержательных и по-настоящему творческих работах.

Плодотворные традиции марксистской эстетики и сегодняшнее состояние этой науки дают основание надеяться, что наконец-то мы распрощаемся с рецидивами некритического подхода к разного рода «априорным истинам». Даже встречая те или иные спорные положения, часто видишь, что поиски нового, пусть не совсем уверенные и не во всем успешные, продиктованы желанием продвинуться дальше в понимании ряда вопросов, еще вчера казавшихся не подлежащими обсуждению.

Именно таким поиском отмечена статья А. Иезуитова «Ленин с национальной культурой», опубликованная в 1970 году в четвертой книжке журнала «Нева». Статья во многом уязвима, но характерно стремление исследователя найти выход из некоторых противоречий, не всегда замечаемых нами в литературоведческих работах.

В частности, решительно осуждая идеализацию минувшего, «восхищение всем национальным лишь на том основании, что это национально», автор резко возражает и против следования концепциям, ведущим к умалению роли культуры прошлого, борется за бережное отношение к художественным ценностям. Жаль только, что в споре с огрубленными толкованиями учения о двух культурах сам он в ряде случаев выдвигает слишком поспешные выводы, полагая, например, что «в 1918—1924 гг. существенно меняется... само отношение Ленина к вопросам культуры и его истолкование национального культурного наследия». «Если в 1912—1917 гг., — пишет А. Иезуитов, — был крайне вреден недифференцированный подход к национальной культуре (как будто он не вреден и теперь! — А. Д.)... то в 1918—1924 гг. особенно опасен был сектантский подход, намерение строить новую социалистическую культуру лишь из элементов «пролетарской культуры».

Но ведь и до Октября позиция Ленина,

партии в отношении культуры была не менее чужда сектантству, чем в советские годы. Вспомним хотя бы положительную ленинскую оценку сборников «Знание», где печатались такие разные писатели, как Горький и Чехов, Серафимович и Куприн, Вересаев и Бунин!

Конечно, после революции встали совершенно новые задачи, определившие иную, чем прежде, постановку акцентов в вопросах культурного развития, но основные принципы подхода к этим вопросам отнюдь не пересматривались.

Критика уже напоминала об этих принципах в связи с некоторыми положениями других работ — брошюра: Л. Ершова и А. Хватова «Листья и корни» и статьи В. Мачавариани «Нация, ее культура и язык», напечатанной в 1971 году в июньском и июльском номерах «Литературной Грузии». С этими авторами убедительно, на мой взгляд, полемизировал В. Оскоцкий в «Литературной газете» (15 сентября 1971 года). Отвергая противопоставление дооктябрьского и послеоктябрьского отношения Ленина к проблеме культурного наследия, критик писал: «Не безбрежный культурный фонд прошлого и не только его «последовательно демократические и социалистические элементы» альтернативно взяты в каждом из этих случаев. Речь идет о другом. О том, что социалистическая культура наследует целиком и полностью и что она подвергает своей критической переоценке».

Все это так. И однако же не случайно возникает спор. Выводы авторов «Листьев и корней» — это, так сказать, листья; а где же питающие ее методологические корни? Думается, что такие концепции являются реакцией на некоторые эстетические догматы прошлого, с которыми мы до конца все-таки не рассчитались, на непроясненность в нашей гуманитарной мысли ряда теоретических проблем, освещавшихся довольно противоречиво.

Вот об этом и хочется поговорить.

Возьмем два тезиса, из которых подчас исходили в литературоведческих книгах и статьях. Не касаясь пока вопроса о том, насколько каждый из них верен, посмотрим сначала, в какой мере один соответствует другому.

Тезис первый: всякое подлинное искусство по самой природе своей правдиво.

Тезис второй: история художественной

мысли — это история борьбы непримиримых идейных лагерей в искусстве, борьбы правды с неправдой, более того, именно последняя в условиях реакции занимает главные, ключевые позиции в искусстве эксплуататорского общества.

Так как же все-таки: искусство (если это действительно настоящее искусство) не может обманываться и сеять иллюзии или, наоборот, ложные представления в нем способны даже преобладать?

Не будучи в принципе приверженцем безадресной полемики, я несколько ниже обращусь к конкретным примерам возведения критических и литературоведческих конструкций на фундаменте этих двух утверждений, назову некоторые книги и выступления. Пока же подчеркну: задача моя не в том, чтобы указать на кого-то пальцем, ведь дело не только в отдельных именах и отдельных высказываниях, а в определенной тенденции, место которой я не хотел бы преувеличивать, но не хотел бы и преуменьшать.

Два названных здесь положения, особенно второе, зачастую лишь подразумеваются, не «выпирают» в системе рассуждений, в целом глубоких, сложных и тонких. Но авторы порой не замечают, что безоговорочное отрицание самой возможности существования неправдивого искусства не очень-то увязывается с постулатом о господстве такого искусства на протяжении целых эпох.

Самое любопытное, что иногда обе посылы преспокойно соседствовали в одних и тех же историко-литературных курсах и монографиях. Так ли уж далека подобная «универсальность» взглядов от утверждения, что Мелхола, дочь Саулова, оставаясь бездетною, была в то же время матерью пятерых сыновей?

В солидных эстетических трудах вы могли найти утверждение, скажем, такого рода: «...нынешняя реакционная литература использует законы искусства и художественного восприятия...» Заметьте: не просто пытается использовать, а уже использует в своих целях. И тут же следовали утверждения, способные привести читателя в полное замешательство: «Но такое использование законов искусства ведет к разрушению искусства». Как же все-таки: законы искусства используются или же, наоборот, нарушаются? Или возможно совмещение того и другого? Понять такое

было трудно. И это приводило к противоречиям в литературно-критических оценках.

К примеру, на дискуссии о гуманизме в литературе один из докладчиков в качестве характерного образца антигуманистического обмана или заблуждения, выступающего под маской гуманности, назвал творчество Альбера Камю. У слушателей создавалось впечатление, что Камю нельзя назвать талантливым писателем, мастером искусства: неверная тенденция «обеднила и иссушила» его произведения. Да и можно ли назвать произведением искусства, говорил докладчик, книгу или картину подобного рода? Таким образом, отдавалась дань первому из упомянутых теоретических тезисов — о невозможности неправды в искусстве. И в то же время, принимая тезис второй — о возможности неправды в искусстве, — автор доклада сам же утверждал, что она, неправда, существует не только вне искусства, но и проникает в художественное творчество: «Отражая острее противоречия современности, в мировом искусстве наших дней борются и различные, в корне враждебные друг другу, эстетические концепции» — концепции «правды» и концепции, «порывающие... с объективной правдой жизни». Выходило, что последние тоже воздействуют «не только тем или иным тезисом, но и художественными средствами, иногда очень сильными, если речь идет о книге подлинно талантливого художника». «Талантливым писателем» при этом признавался и Камю¹.

Эти же два постулата сталкиваются на узеньком мостике и над той широкой рекой, которая зовется историей литературы минувших веков. Откройте книгу, где, как указано в предисловии, «не затрагиваются вопросы, являющиеся в настоящее время предметом научной дискуссии». Иначе говоря, ставка здесь — на бесспорное. Одна из таких «бесспорных истин» состоит, как вам сообщают, в том, что художественная правда «является сущностью подлинного искусства и обуславливает силу его идейно-эстетического воздействия на людей». Хорошо запомнив эту формулировку, прочтите в этой книге другие слова, написанные с не меньшей уверенностью, словно

высеченные на скале; относятся они к такому значительному историко-литературному явлению, как романтизм: «В условиях напряженной общественной борьбы наряду с активным, прогрессивным романтизмом складывался и романтизм пассивный, реакционный, искавший выхода из противоречий эпохи не в борьбе с действительностью, а в отходе от нее в мир личного совершенствования, религиозных исканий, исторической экзотики (в Германии — Л. Тик, Ф. Новалис; во Франции — Ф. Р. Шатобриан; в России — В. А. Жуковский и др.)»².

Так кто же он такой, в конце концов, этот Жуковский, только и знающий, как привычно возвещается, что «отходить» от действительности? Если верить первому из постулируемых положений, его творчество не более чем лжеискусство, не так ли? Тогда его надо бы просто-напросто вычеркнуть из историко-литературных трудов. А уж если писать о нем, то только так: эти, с позволения сказать, «произведения» некоего Жуковского... Или же его наследие — это, согласно постулату номер два, явление искусства, явление заметное и потому, надо полагать, особенно вредоносное? Бедный автор «Людмила» и «Светланы»! Но как быть: к рылеевскому стану его действительно не причислишь...

Целостная концепция художественного творчества и литературного процесса невозможна, пока мы будем эклектически соединять столь различные положения, слепо принимая их на веру.

А может быть, они сочетаются в каком-то диалектическом единстве? Но тогда его надо отыскать, это единство, надо еще показать, что оно существует, и посмотреть, в чем оно состоит.

На первый взгляд может показаться, что увидеть такую диалектику легче легкого. Просто в искусстве, как и в жизни, неправда встречается не «в чистом виде», она бывает перемешана с правдой; и напрашивается как будто вывод: этими-то «элементами правды» произведение и оказывает на нас художественное воздействие.

Но это — мнимое решение задачи.

Мнимое потому, что, не выводя неправдивые образы или сцены за рамки произведения, мы, рассуждая таким обра-

¹ См. сб. «Гуманизм и современная литература». М. Изд-во АН СССР. 1963, стр. 168, 169, 172, 176, 177

² «Краткий словарь по эстетике». М. Политиздат. 1964, стр. 4, 133, 306.

зом, все-таки оставили их за рамками подлинного, впечатляющего искусства, что «не соответствует заданному»: ведь, согласно одному из двух соперничающих исходных положений, «кривда» в художественном творчестве не только «примазывается» к правде, но и сама воздействует эстетически («использует законы искусства и художественного восприятия»).

Да и в самом деле: если допустить, что книга, в чем-то ошибочная, будет производить художественное впечатление только заключенными в ней «элементами правды», то придется признать существование своеобразного сепаратора, механически отделяющего в произведении истинное от ложного: истинное впечатляет, ложное — нет. А так ли это?

Например, в «Крейцеровой сонате» Льва Толстого на нас художественно воздействует безжалостно правдивая критика гнилой, фарисейской семейной морали буржуазно-дворянского общества; но разве нравственная доктрина толстовства, подвергнувшая критике В. И. Лениным, не нашла там также в какой-то мере своего эстетического выражения? По словам Ленина, «...горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю»³. Когда Ленин пишет здесь «в своих произведениях», он имеет в виду, конечно, и художественные произведения. Толстой, отмечает он, «поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость»⁴ (подчеркнуто мной.— А. Д.).

Наконец, еще об одной попытке совместить упомянутые постулаты. Возможна ли такой аргумент: оба они верны и не исключают друг друга, потому что в первом из них слова «художественное», «искусство», «правда» имеют один смысл, а во втором — другой. Но если бы это было и так (а чаще всего дело обстоит иначе), зачем он в дан-

ном случае нужен, такой разницей в словопотреблении?

Определенность, однозначность понимания художественной правды — не синоним одноплановости, застывшей метафизичности. Нет ничего ошибочнее, чем считать, будто истинное знание о мире — это некий окостеневший эталон и стоит лишь протянуть руку и сверить с ним художественное произведение, чтобы иметь основание вынести приговор, правдиво это произведение или же ложно. Увы, так бывало. Достаточно было иной раз тому или иному картонному персонажу произнести на подмостках высокопарный монолог о том, что он, мол, желает зеленой улицей прибыть в будущее собственной персоной, — и готово: тех, кто в этой декламации не видел настоящей правды с душевным богатстве человека, тех, кто смел заикнуться о фальши драматургических построений, тут же объявляли антипатриотами, иванами, не помнящими родства, и еще бог знает кем. Потом проходило время — и для всех становилось очевидным, что такие творения имели довольно отдаленное отношение к настоящим дорогам в будущее, которым противопоставлен грубый примитив. И то, что сначала объявляли правдой, оказывалось во многом липой, суррогатом, спекуляцией, против которой наше общество, партия выступают прямо и остро.

Виновато ли, однако, понятие правды искусства в том, что его по-разному изображали в зависимости от моды и сезона? Постигание правды не нуждается в таких трансформациях именно потому, что оно уже само по себе внутренне подвижно.

Печально, когда подлинная диалектичность в трактовке понятия правды подменяется всякими релятивистскими парадоксами, двусмыслицами и софизмами. Тогда категория правды трактуется так вольно, так субъективистски, что от самой правдивости остаются рожки да ножки. Когда «правду века» выводили из предвзятых, априорных схем и отрывали от фактов или, наоборот, отдельные факты брали вне исторических связей и законов действительности, это была уже вовсе не диалектика.

Отмежевавшись от такой методологии, присмотримся внимательнее к двум упомянутым постулатам — о правде и неправде в искусстве. Разумеется, сопоставление этих постулатов между собой не приведет к истине без сопоставления их с действительностью, без попытки рассмотреть во-

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 21.

⁴ Там же, стр. 20.

прос исторически. Ведь сама художественная правда неодинаково выражается в разных национальных, социальных, культурных условиях. Правдой своих образов искусство каждой эпохи; и каждого народа по-своему участвует в духовной жизни общества, в борьбе классов. Но для исследования всей этой сложности художественного процесса нужны определенные методологические предпосылки.

Необходимость самого пристального внимания к ним со всей остротой подчеркнута в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», принятом в этом году. Центральный Комитет отметил, в частности, что «на развитии критики отрицательно сказываются серьезные недостатки в постановке научно-исследовательской работы», и поставил задачу «повышения идейно-теоретического уровня литературно-художественной критики», без чего невозможен рост «ее активности и принципиальности в проведении линии партии в области художественного творчества»⁵.

Практика нуждается в развитии теории. А теория оперирует не только с конкретными фактами, но и с отвлеченными категориями. Плохо, когда абстракции оборачиваются схоластикой, но столь же плохо оставаться в тисках эмпиризма. В теоретической мысли пагубны не абстракции сами по себе, а неправильные, неплодотворные способы абстрагирования, отрыв абстракций от живой, конкретной реальности.

Вот отчего меня прежде всего занимает немаловажный вопрос: всегда ли наши научные инструменты вроде названных «исходных» положений приспособлены для исторически точного изучения искусства? Хочется еще раз испытать их в действии, исходя из их «устройства», из их внутренних возможностей. Поглядим, способны ли они привести к решению сложных литературоведческих проблем, не толкая нас к упрощенчеству, но и не заставляя жертвовать четкостью критериев.

2. Правда, только правда и ничего, кроме правды?

Перед нами два противоречащих друг другу положения. Чтобы не увязнуть в умозрительном споре о том, можно или

«не можно» впрячь их в одну телегу, рассмотрим каждый из них в отдельности.

Начнем с первого: художественность — это, согласно привычным представлениям, непременно правда; настоящее искусство всегда правдиво.

Утверждение это настолько прочно вошло в общее сознание, что чаще всего возможность оспаривать его никому как-то даже не приходила в голову. Оно все повторялось и повторялось. И всего несколько лет назад сама попытка каких-либо уточнений могла показаться кощунственной. «Искусство не может лгать и не умеет ошибаться». Приведа эти слова В. Архипова, газета «Литература и жизнь» поучала в редакционной статье: «Все это, очевидно, и должны бы принимать в расчет критики...»⁶. Постулаты, как представлялось тогда, «очевидны» и, так сказать, обжалованию не подлежат.

Художественное правдиво. Неправдивое нехудожественно. Подкрепляемые подчас авторитетными цитатами из Белинского и Чернышевского, такие мысли стали общим местом. И теперь еще глаз нередко скользит по ним — и не замечает. И пишет рука эти фразы машинально, привычно, так, словно мы не задумываясь невольно сворачиваем в знакомый, сотни раз исхоженный переулочек. Казалось бы, все здесь ясно и все известно.

Одно только смущает: почему же мы тогда так дружно нападаем на теорию «единого потока» за недооценку ложных тенденций в литературе? Вот ведь выступил же П. Трофимов «против антимарксистской буржуазной теории «единого потока», затушевывающей классовую борьбу в области художественного развития буржуазных наций»⁷, а между тем он сам, по сути дела, признал в современном искусстве лишь один «поток» — правдивый и прогрессивный. Разве не такой вывод вытекает из следующего утверждения П. Трофимова: искусство, ведущее «поход против реализма, высокой идейности и жизненной правды», так деградирует, что это уже, собственно говоря, и не искусство; «неизбежным следствием отказа представителей буржуазной культуры от объективной истины» является то, что его направления «ничего об-

⁶ «Литература и жизнь», 29 июня 1962 года.

⁷ П. С. Трофимов. Эстетика марксизма-ленинизма. М. «Советский художник», 1964, стр. 83.

⁵ «В Центральном Комитете КПСС. О литературно-художественной критике». «Правда», 25 января 1972 года, стр. 1.

щего не имеют с подлинным искусством и эстетикой»⁸.

Будем мало-мальски логичны: коль скоро правда — постоянная и непременная суть, душа художественного творчества, то, очевидно, произведения настоящего искусства, при всех их различиях, союзники в деле воссоздания верной картины мира? Художественный талант есть свидетельство о причислении к лику служителей истины? А те книги, где жизнь предстает в кривом зеркале, — это, выходит, опусы, лишённые силы художественного воздействия; стоит ли тогда их серьёзно принимать в расчет искусствоведами? Надо ли тратить энергию на борьбу со лживым реакционным «искусством» средствами художественного творчества и эстетической критики, если оно и так только и делает, что само себя сечет, «разлагается», «гниет», «распадается», «увядает», «прозябает», «находится в упадке» и т. п.?

Да, оно увядает, но не становится сразу бессильным и безвредным.

Пока мы себя утешаем словами о «распаде», закидывая ими, как шапками, отвергаемые нами течения или мотивы, некоторые из таких мотивов знай себе живут и воздействуют на людей, именно художественно воздействуют. Обнаруживая это, мы хзатаемся за голову: нельзя недооценивать опасности! А потом опять как ни в чем не бывало начинаем: «увядает, прозябает, распадается, разлагается»...

Нет уж, давайте строго отделять то, что действительно умирает, от того, с чем жизнь обязывает спорить. Спор этот не шуточный, вести его надо умело, учитывая, что оружие художественности, как и прочее оружие, иной раз может оказаться опасным.

В нашей теоретической литературе указывается, что «понятие художественности употребляется в двух смыслах: специфичности и качества»; в первом смысле это «понятие родовое, отличающее литературу (шире — искусство) от других видов идеологической деятельности», во втором — понятие, обозначающее не просто наличие основных свойств искусства, а полноту их выражения: «Стихотворения Пушкина художественнее стихотворений Дельвига...»⁹.

Я придерживаюсь того понимания худо-

жественности, которое ближе к первому из указанных значений; впрочем, второе — не что иное как степень проявления первого (нередко в первом случае говорят «художественное», во втором — «высокохудожественное»).

В известном смысле высокая художественность действительно есть категория качества. Но определение степени художественности произведения — это еще не всесторонняя качественная характеристика. Всегда ли мера художественности «прямо пропорциональна» его прогрессивности, воспитательной и познавательной ценности, народности, гуманистической роли? Это не аксиома, а вопрос, требующий, думается, размышлений.

И уж, во всяком случае, вряд ли можно отрицать тот факт, что иногда произведения, в чем-то ложные по содержанию, все-таки воздействуют в определенной степени эстетически, по законам искусства. «Что вы! Какое там искусство! Жалкая поделка, ничего общего с настоящим искусством не имеющая!» — в подобных возгласах, выражавших справедливое возмущение каким-нибудь «антиингилистическим» романом или черносотенными стишками, фашистским плакатом или воинственной песней колонизаторов, буржуазно-мещанским фильмом или иступленно-религиозными действиями, звучала, к сожалению, недооценка вреда этой, если можно так выразиться, эстетизированной демагогии. А ведь борьба с ней — одна из наших важных традиций.

Я перечитываю речь Николая Тихонова 1935 году на парижском писательском конгрессе в защиту культуры «Нэт,— говорил он,— Гёте не возвышается над Германией. Лучшим поэтом признаю Дитрих Экерта. Ради него уничтожена премия имени Лессинга, школа имени Лессинга переименована в школу имени Дитриха Экерта. Кто же он, этот мудрейший поэт? Мы слышим знакомый голос. Певец такого рода сопровождал по меньшей мере войско крестоносцев, шедшее на священный грабёж на Восток.

Штурм, штурм, штурм, штурм, штурм,
штурм.

Гремит колокол от башни к башне.
Летят искры, рассыпаются.
Иуда пытается завоевать государство.
Гремит кровавый колокол, веревка красна.
Вокруг только огонь, жертвы, трупы.
Гремит набат, гудит земля.
Под грохот грома спасительной мести,
Германия, проснись!

⁸ Там же. стр. 238, 239.

⁹ Л. И. Тимофеев. Основы теории литературы. М. «Просвещение». 1971, стр. 116, 115.

...Поэты живут мечтой, как их вожди, повторить Тевтобургский лес в мировом масштабе. Но для победы в этом гиперболическом лесу, которым может стать и вся Европа, должны умереть многие. Пусть они умрут не рассуждая, пусть умирают не считая, — их заранее назвали героями. С них довольно сего названия. И вот создается поэтический пафос легкой смерти... Над всей Европой встает злобещая тень стального «романтического шлема».

С трибуны конгресса поэт говорил о стихах тех бардов Германии, Японии, Италии, которые «звенели мечами» в унисон с фашистской и милитаристской пропагандой: у таких творений только одно поэтическое достоинство — краткость; этот набор бездарных слов «трудно было бы вынести в большом количестве».

Что и говорить, от искусства высокого, от Гёте, некогда «возвышавшегося над Германией», всевозможные пронацистские, расистские, агрессивные песнопения были бесконечно далеки. И тем не менее не зря же фашизм, который отменен умел жечь книги и крошить в щепы культуру, все-таки прибегал и к средствам художественного воздействия на людей, видя в эстетическом эффекте оружие особое способное и растлевать души своими сугубо специфическими методами. В той же тихоновской речи об этом справедливо, с полным пониманием опасности и с солдатской ненавистью к врагу, держащему перо в руке, сказано: «Маленький человек улицы не должен понимать сложного, — говорит Геббельс. Для этого человека с улицы, запуганного, изголодавшегося, такие стихи... являются райскими песнями». Являются, да! В том-то и дело, что являются, причем именно песнями, входящими в сознание и чувство по своим особым, «песенным» канонам: «создается поэтический пафос легкой смерти».

Доктор Геббельс добивался появления такого искусства, которое, по его словам, не «отравляло» бы... «желанием и познанием!» «Немецкое искусство ближайших десятилетий, — вещал он, — будет героическим, будет стальной романтикой, будет вещественным без сентиментальности, национальным — с огромным пафосом, будет вообще обязывающим и связывающим — или его не будет вовсе». Да, многого в немецком искусстве гитлеровской поры «не стало вовсе», об этом позаботились коричневые банды фюрера А были и новые вернопод-

даннические сочинения, призванные агитировать за гитлеровские порядки.

Вот как, например, расписывалась в 1933 году в немецком журнале «Музыкалиенхандель» увертюра Франца Тайля «Третья империя», воспевавшая нацистские отряды, и в частности их оголтелый антикоммунизм и антисоциализм: «Увертюра дает картину последних лет. Она рисует борьбу национальных отрядов против прежних партий... Заканчивается произведение ликующим гимном, прославляющим Третью империю... Немецкий композитор, музыкальный язык которого доступен всем, немецкая музыка, которая захватывает простого человека из народа и воодушевляет специалистов...»

Кому не ясно, как подло лицемерен этот захлебывающийся «музыковедческий» панегирик! И однако кого-то привлекала ведь такая «стальная романтика» — шествовали же по дорогам Европы завоеватели, с упоением горланя бравурные марши, «музыкальный язык» которых был столь «доступен» любому оккупанту...

Забывать об этом нельзя.

Нельзя упускать из виду и вопрос совсем иного рода — о том, что и у художников, честно стремящихся служить своим творчеством благородным идеалам, могут сложиться концепции, содержащие ошибки, которые хоть и сильно вредят порой художественности произведений, но неизбежно уничтожают ее вовсе и способны бывают «заразить» читателя.

Даже в произведении, обладающем большой художественной силой, автор может в чем-то глубоко заблуждаться, и при этом он вовсе не обязательно лишается своего дара. Тому, кто хочет объективно разобраться в его творчестве, вряд ли поможет сомнительная дилемма: «Если художественное — значит, целиком правдивое, а где неправдивое. — там нехудожественное». Заявим так, а потом по своему произволу притягиваем произведение либо к одной, либо к другой рубрике.

Это случалось. Лишенный диалектики подход ставил перед выбором: либо подавить в себе чувство удовлетворения по поводу появления интересной, но не бесспорной пьесы, стихов, прозы и начать отлучать автора от искусства, либо, если уж признаем какие-то из его образов вкладом в художественную культуру, объявить их чуть ли не безошибочно воссоздающими эпоху.

Подобные конъюнктурные операции проделывались с рядом писателей.

Не будем упрощать вопрос. Конечно же, даже в своих заблуждениях настоящий писатель дает нам ценное художественное свидетельство того, как отзывается действительность в душе людей, подобных ему. Однако выразив правду их переживаний, он не всегда с тою же последовательностью отражает правду исторических обстоятельств. И в этих случаях на читателя подчас художественно воздействует и правда, и вплетающиеся в нее помимо воли автора нити неисторичных оценок.

Таким образом, понятия «художественное» и «правдивое в искусстве», в целом тяготея друг к другу, могут в отдельных случаях находиться в своеобразном конфликте. Такой конфликт не становится менее напряженным оттого, что писатель — если только это не сознательный лжец и демагог — со всей искренностью принимает свои иллюзии, предрассудки и заблуждения за правду святую. Наоборот, именно субъективная художническая честность придает подчас известную эстетическую силу и убедительность голосу писателя даже тогда, когда он проповедует взгляды, которые, как рано или поздно обнаруживает ход жизни, не во всем оказываются верными.

Поэтому ценна в нашем литературоведении вопреки затвердевшим канонам прямая постановка вопроса о «возможности искажения художественной правды и в подлинном искусстве». Подлинным в том смысле, что в нем проявляются закономерности художественного мышления и эстетического воздействия: «...Верно ли, что художественно правдивое отражение жизни — извечное, природное свойство искусства? И да, и нет. Да — потому что, отражая реальную жизнь, художественное произведение не может не заключать в себе элементов художественной правды. Нет — потому что стремление к правдивому отражению действительности — лишь только всеобщая тенденция искусства, а не автоматически проявляющееся извечное его свойство»¹⁰.

Участие в борьбе идей подсказывает подобные мысли и самим художникам. Последнее подтверждение тому — недавняя

статья народного артиста СССР С. Образцова в «Известиях». «Искусство,— пишет он,— по своему содержанию и эмоциональной силе может и развращать и воспитывать ненависть, садизм, шовинизм, расизм, человеконенавистничество... Все это «не искусство»? — продолжает автор.— Нет,— отвечает он,— искусство. тем-то оно и страшно...»¹¹.

Художественность — пусть не с равным успехом — может оказаться носителем как правды о мире и человеке, так иной раз и искаженных представлений о них.

3. Об искусстве «господствующем»

«Пусть не с равным успехом?»

«Иной раз?»

Да, такие оговорки нужны, если задуматься над вопросом: а глубокий ли след оставляют в истории литературы произведения, содержащие ложные идеи?

«Правдивость в показе отдельных отрицательных явлений жизни при ложном освещении общественных отношений в целом» — так характеризуются в «Истории английской литературы» произведения Киплинга. Но при этом подчеркивается: «Это единственный — не только в Англии, но и вообще на Западе — писатель империалистического лагеря, чье творчество отмечено печатью несомненного таланта»¹². Единственный! Если это и преувеличение, то не такое уж большое.

Да и с самим Киплингом дело обстоит не просто. Даже в наиболее одиозных его произведениях разве не и правды чувств? Поэзию Киплинга надо знать, — у нас ее знают недостаточно.

Порывшись в памяти, найдем пример, другой, третий, когда неправдивое в искусстве талантливо и значительно. Но разве эти единичные случаи определяют общую картину литературного развития?

— Постой-ка... Не впадаешь ли ты в противоречие? — возразят мне.— Сходятся ли у тебя концы с концами? Только что утверждал, будто художественность необязательно связана с открытием истины, а теперь...

И теперь. Я готов повторить, что на самом деле течения в искусстве, деформирующие суть реальных процессов, совсем

¹⁰ «Основные проблемы советской литературы на современном этапе». М. Изд-во ВПИИ и АОН при ЦК КПСС. 1962, стр. 158—159.

¹¹ «Известия», 1972, № 59, стр. 5.

¹² «История английской литературы». М. Изд-во АН СССР. 1958, т. III, стр. 279, 256.

не всегда такие уж слабенькие, безобидные, художественно беспомощные (другое дело, что впоследствии многие из таких течений отсеиваются, нейтрализуются или переосмысливаются; об этом речь впереди). В известные периоды они могут даже затмевать в сознании множества людей искусство, верное ходу жизни. Борьба с ними будет оставаться одной из серьезных задач. Полностью вычеркивать их из истории художественной мысли было бы опрометчиво. Но каково их соотношение с правдивым искусством — вот что еще важно. В художественной литературе решающую роль, как правило, все-таки играют произведения, несущие правду о жизни. Дорога правды — не единственный, но генеральный путь, на котором создаются сильные художественные творения.

Так мы переходим ко второму из столкнувшихся в «поединке» постулатов: к положению о том, что литературный процесс — это прежде всего процесс борьбы двух лагерей в литературе: лагеря правды и прогресса и лагеря, противоположного ему, занимающего главные позиции в искусстве реакционных эпох. Все ли и здесь бесспорно?

Необходимо с уважением сказать: советской эстетикой многое сделано для выяснения места художественного творчества в борьбе общественных классов. И сегодня мы вновь внимательно перечитываем работы, посвященные этой проблеме. В них говорится об искусстве как арене классово-вой борьбы и в то же время справедливо подчеркивается: «...Подчинить все искусство задачам господствующего эксплуататорского класса сложнее, чем другие формы общественного сознания»¹³. Всегда ли, однако, это обстоятельство учитывается литературоведением?

Тезис о постоянной борьбе реализма с антиреализмом дружно признан неправильным. Говорится иначе, примерно так: история искусства — это прежде всего история такой борьбы двух художественных культур, когда элементы искусства правдивого, прогрессивного, демократического противопоставляются искусству, затушевывающему правду, которое объективно служит правящим верхам эксплуататорского общества и в условиях реакции является развитым и гос-

подствующим. На этом понятии и хочется в первую очередь остановиться.

Слово «господствующий» в применении к художественному творчеству употребляется метафорически и потому требует расшифровки. Искусство, играющее на руку реакционным правящим классам, правомерно называть господствующим в условиях антинародного строя в том смысле, что это орудие господ, которые используют все имеющиеся в их распоряжении материальные средства для заказа, насаждения и пропаганды угодных им произведений, а сознание значительной части публики, исторически ограниченное условиями эксплуататорского общества, оказывается в известной мере подготовленным к приятию этих произведений.

Но можно ли считать подобное искусство «господствующим» в том смысле, в каком мы говорим о господстве капитала или о господстве политических и юридических норм буржуазного общества? Можно ли забывать, что правда в искусстве не только часто перерастает рамки отдельных неразвитых «элементов», но и составляет основу художественной культуры народа?

Можно ли не учитывать того, что даже в условиях реакции художественная правда пробивает дорогу к своей аудитории?

Изображать неправдивое искусство как почти всеподавляющее значит запугивать себя, а паника всегда только мешает борьбе.

Читая иные историко-литературные труды, можно подумать, будто внутри литературная борьба одних произведений — правдивых — против других, искажавших действительность, была чуть ли не важней борьбой оружием художественной правды с реакцией в остальных сферах общественной жизни.

В чем, например, как бы вы думали, заключалось «величие передовой русской реалистической литературы», ну, хотя бы той поры, когда творили Толстой, Достоевский, Чехов? «Величие передовой русской реалистической литературы 70—90-х годов заключалось в том, что она страстно боролась против реакционно-дворянской и буржуазной литературы, против мелочного натурализма, пошлости, безыдейности»¹⁴. Как будто заслугой критического реализма было срывание масок не столько с угрум-

¹³ А. Егоров. Искусство и общественная жизнь. М. «Советский писатель». 1959, стр. 68.

¹⁴ «История русской литературы». М.—Л. Изд-во АН СССР. 1956, т. IX, ч. 2, стр. 622.

бурчевых или пришибевых, сколько с романиста Боборыкина или рассказчика Лейкина!

Да и в прогрессивной литературе наших дней в качестве главной черты мы иногда указываем не на широкую социальную борьбу, ведущуюся художественными средствами,— борьбу за лучшее общественное устройство, за гуманистические идеалы — а лишь внутрিলитературную, против того самого модернизма, который сами же объявляем дряхлым и дряблым

Исходя из априорно принятого тезиса, суть которого была только что изложена, мы зачастую выдаем за серьезных противников правды в искусстве каких-нибудь пигмеев, невольно лстя им.

А иногда неоправданно сталкиваем художников лбами, с подозрительностью и недоверием относимся к тем из них, чье творчество никак не заслужило такого отношения, и несправедливо противопоставляем их другим.

До сих пор, например, сравнивая Есенина с Исаковским, подчас односторонне подчеркивают лишь достижения последнего и ограниченность первого. Даже в академической «Истории русской советской литературы» говорится так: «Новое в поэзии Исаковского — и это самое существенное — черты его лирического героя, ярко отразившие характер советского человека этих лет, которые так зорко увидел и так точно определил А. М. Горький. Великий писатель первый противопоставил Михаила Исаковского и Сергея Есенина — этих двух поэтов, различно решавших деревенскую тему. Горький отметил жизненную правду картин и явлений в советской деревне, отраженных в поэзии «крестьянина Михаила Исаковского»...»¹⁵.

Ну, а Есенин? Не было у него «жизненной правды картин и явлений»? Спору нет, в своем мироощущении Исаковский был свободен от тех пут, от которых приходилось избавляться Есенину в художественных методах поэтов были существенные различия, и, поддерживая певца новой деревни, Горький верно ориентировал растущую литературу социалистического реализма. Но, во-первых, за противопоставлением двух советских поэтов не ускользает ли их общность в гуманистическом пафосе, в народности, в любви к своей стране?

Или есенинский лирический герой, которого, конечно, никто не назовет героем эпохи, не «советский человек этих лет»? Во-вторых, не менее, чем эта общность, важны различия поэтов, благодаря которым каждый из них, будучи по-своему правдивым, и становится неповторимой творческой индивидуальностью. А в-третьих, нельзя же забывать и о том, что значительность вклада писателя в литературу определяется и масштабами его таланта, способностью передать истину и красоту чувств. Не можем ведь мы согласиться с такой горьковской оценкой Есенина, одного из самых выдающихся русских поэтов: «Художником он был невысоким, скажем прямо». Лучше вспомнить не эти сказанные в запальчивости полемики, а другие слова Горького о нем: «Отличный поэт». Или: «...орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».

Со всей силой надо подчеркнуть: смазывать идеологические разногласия, отдавать дань либеральной всеядности недопустимо. Бывает в литературе так, что заблуждения друзей наносят ущерб в борьбе с врагами. Но, критикуя первых, в прошлом их порой сближали со вторыми или отыскивали промахи и срывы даже там, где их не было. А на этот путь толкал и постулат, раздувавший возможности неправды в искусстве, преувеличивавший ее место в художественном процессе.

Перечитываешь нынче некоторые статьи — и глазам своим не веришь: тем из советских художников, чье творчество подвергалось критике, отказывали иной раз зачастую объективной честности, им давались такие односторонние характеристики, о которых неловко и вспоминать.

Разумеется, крайних, обнаженных выводов из концепции, преувеличивающей роль и возможность искажения жизни в искусстве, теперь встречается все меньше. Но с самой концепцией до сих пор зачастую обходятся довольно деликатно, словно затронуть ее значит покуситься на краеугольные камни исторического материализма. Но он-то не дает для этого оснований.

Не дает их, в частности, известный тезис из «Немецкой идеологии», повторенный затем в «Коммунистическом манифесте»: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мысля-

¹⁵ «История русской советской литературы». М. «Наука». 1967, т. II, стр. 426.

ми»¹⁶. Иногда рассуждают так: тезис этот относится ко всем «мыслям господствующего класса»; художественная мысль — их составная часть; следовательно, можно сказать, что искусство господствующего класса есть в равной степени господствующее искусство.

Но разве все, что относится к целому, мы можем с тем же правом отнести к любой отдельно взятой его части? Разве Маркс и Энгельс называют господствующими мыслями идеи и представления, играющие одинаково важную, решающую роль в каждой форме общественного сознания, в том числе и в искусстве? Нет, в общественном сознании в целом. Развивая положение о господствующих мыслях эксплуататорского класса, они пишут об «иллюзиях этого класса о самом себе»¹⁷, об «иллюзиях идеологов вообще», например «юристов, политиков (включая и практических государственных деятелей)», о «догматических мечтаниях и извращениях этих субъектов»¹⁸.

Искусство по самой своей специфике больше сопротивляется отмеченным Марксом и Энгельсом «догматическим мечтаниям и извращениям», чем различные теории политиков или юристов. Принципиально и в нем возможны «извращения» — об этом уже было сказано, — но талантливый художник менее всего идет от «догматических мечтаний»; образы подсказываются ему в значительной мере воздействием самой жизни в ее конкретности, хотя и преломленной через то или иное мировоззрение и мироощущение. Да и читатель невольно «сверяет» художественное изображение с действительностью, и грубое конструирование образов, соответствующих ложной схеме, грозит потерей эстетического эффекта¹⁹. За примерами ходить недалеко. Попытался был недавно беллетрист И. Шевцов придать художественную убедительность своей, мягко говоря, не слишком объективной интерпретации происходивших у нас процессов духовной жизни — и что же? Получился литературный конфуз.

Наконец, еще одно соображение, которое надо принять во внимание: в подлин-

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 45.

¹⁷ Там же, стр. 46.

¹⁸ Там же, стр. 49.

¹⁹ Правда, при этом следует помнить, что сущность жизненных процессов не всегда находит себе такое внешнее выражение, которое доступно невооруженному глазу.

ном искусстве, как говорил на дискуссии о гуманизме Н. Гей, «происходит максимальная реализация именно человеческого взгляда на мир, чисто человеческого, эмоционального образа мира». А отсюда и правдивость выражения переживаний.

Чем более развито общественное самосознание людей, тем более чутко реагирует их слух на неверно взятые ноты, на отзвуки тех или иных «догматических мечтаний и извращений».

Мысль Белинского и Чернышевского о противопозанности неправды искусству, которую, как уже говорилось, не надо превращать в догмат, заключает в себе, тем не менее, ценное содержание: писателю, художнику очень часто оказывается не под силу придать фальшивой идее эстетическую привлекательность.

Только с учетом своеобразия искусства можно правильно применить к нему и то положение В. И. Ленина, о неточных толкованиях которого я уже говорил в начале этой статьи. Перечитаем внимательно еще раз ленинские слова: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры»²⁰.

В статье А. Иезуитова, которой я коснулся выше, понятие господствующей культуры рассматривается как категория, относящаяся не к искусству, а лишь к политике: «...именно политическая культура господствующего класса является господствующей «национальной культурой» в буржуазном обществе». Вообще, ленинское противопоставление демократической и социалистической культуры «национальной культуре» пуришкевичей в статье А. Иезуитова рассматривается преимущественно в собственно политическом плане: «...две культуры в национальной культуре — это, по сути дела, две демократии (одна — для трудящихся, другая — для эксплуататоров), две классовые платформы в политике». Я уж не говорю о термине «две демокра-

²⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 120—121.

тии» (это Пуришкевич-то демократ?!); мне важно указать на направление самой мысли, заключающей в себе невольную недооценку поляризации в искусстве. Но вместе с тем хочу еще раз подчеркнуть: есть в статье А. Иезуитова разумное, здоровое зерно.

«Особенно неправомерно,— пишет он,— механическое применение к исследованию русской художественной культуры ленинской поляризации культур (Чернышевский — Пуришкевич), поскольку речь здесь идет не о собственно художественной культуре». Так бы я не сказал. Я сказал бы: не только о собственно художественной культуре, не о ней одной. И — что верно, то верно — механически и применяя к ней все то, что относится к различным сторонам культурной сферы, незачем.

А то ведь и вправду классическую ленинскую характеристику культуры в капиталистическом обществе мы подчас так интерпретировали в применении к искусству буржуазной, а заодно и добуржуазной эпохи, что получалось, будто Пушкину, «хотя и неразвитому», противстоял «развитый» Кукольник, «неразвитому» Горькому — «развитый» Арцыбашев или будто лицо западной литературы определяет всевозможная гниль, а все то, что достойно называться честным и правдивым искусством, это так, всего лишь отдельные «элементы». Между тем и тезис В. И. Ленина относится к культуре в целом, а не к одной лишь отдельно взятой ее области — художественному творчеству.

Для лучших работ советских литературоведов, исходящих из ленинских взглядов на культуру во всем их объеме, характерно резкое неприятие концепций, преувеличивающих место ошибочных воззрений в искусстве. «...Когда идет речь о художественных шедеврах писателя,— справедливо подчеркивает М. Храпченко,— мы не можем и не должны рассматривать их с позиции более или менее механического уравнивания «разума» и «предрассудка», с точки зрения одинаковой «доли» того и другого»²¹.

Нельзя недооценивать методологическое значение известных ленинских слов о Толстом: «...если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы

из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»²². Отмечая противоречия в творчестве Толстого (о чем уже было сказано), Ленин в то же время исходил из того, что в художественных произведениях писателя перевешивал «самый трезвый реализм»²³. Сила правды — вот что несравненно более характерно для художественных произведений Толстого, нежели для его же философско-нравственного учения, страдавшего исторически обусловленной слабостью: «Изучая художественные произведения Льва Толстого, русский рабочий класс узнает лучше своих врагов, а разбираясь в учении Толстого, весь русский народ должен будет понять, в чем заключалась его собственная слабость, не позволившая ему довести до конца дело своего освобождения»²⁴. Показательно, что среди кричащих противоречий, характерных для Толстого, Ленин отметил и следующее: «С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе»²⁵.

Приведенные мысли Маркса, Энгельса и Ленина имеют громадное значение для понимания литературного процесса. Идея правды никогда не господствовала в обществе царящей лжи и угнетения. Идеи Пушкина не господствовали в пушкинское время в николаевском обществе, идеи шестидесятников не господствовали в официальном обществе 60-х годов. Но это не значит, что правда в известном смысле не господствовала в художественной литературе! Хотя произведения, где выражены ложные идеи, в условиях реакции официально поддерживаются, хотя они могут преобладать количественно, заполняя рынок и тлетворно влияя на читателя, в своей массе они бывают не в состоянии соперничать по художественной ценности с произведениями правдивыми. Что касается большого искусства, то в нем как раз ложное, искажающее жизнь составляло лишь отдельные «элементы». Но само то оно, это высокое искусство, не могло в силу причин, определявших обществен-

²¹ М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М. «Советский писатель». 1970, стр. 13.

²² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 206.

²³ Там же, стр. 209.

²⁴ Там же, т. 20, стр. 71.

²⁵ Там же, т. 17, стр. 209.

ное развитие, многими из своих произведений принадлежать к сфере господствующих в эксплуататорском обществе факторов. А в социалистическом обществе такие художественные творения входят в господствующую культуру.

Не только реализм, но и разного рода художественные утопии и догадки, как показывает время, часто способны образному познанию реальности. В песнях «чижа, который лгал», оказывается иногда больше правды, чем в сентенциях «дятла — любителя истины».

К этому надо добавить, что и в искусстве, выражающем сочувствие обреченным на гибель эксплуататорским классам, могут сохраняться такие художественные обобщения, которые передовая общественная мысль не вправе игнорировать. Даже когда художник сокрушается по поводу обреченности старого мира, было бы упрощением видеть в его образах одну только неправду. Она тут есть хотя бы потому, что консервативные идеалы автора в какой-то мере вольно или невольно выдаются за идеалы человечества; но сама тоска по уходящему и отжившему еще не является художественной неправдой. Разве не верно, что гибель любого строя кому-то приносит боль? И если художник выражает эту боль, следует говорить не столько об эстетической неправде, сколько об исторической неправооте, хотя и она бывает относительной. В этой связи уместно в тысячный раз привести слова Энгельса о Бальзаке: «Его великое произведение — нескончаемая элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества; все его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание»²⁶. И здесь же Энгельс говорит о замечательной правдивости художника!

В некоторых случаях чувства симпатии к «высшему обществу» в значительной степени связаны с непроясненностью исторических перспектив и с критической настроенностью писателя по отношению к набирающему силу варварству нового типа, например к «вульгарному богачу-высочке»²⁷, идущему на смену остаткам дворянского уклада. Но и в других случаях грусть писателя по уходящему, а порой и злоба по отношению к новым процессам и явлениям жизни еще не дают оснований для

упрощенных оценок. «Дюжина ножей в спину революции» — так назвал сборник, выпущенный в 1921 году в Париже, А. Аверченко, которого, как известно, Ленин охарактеризовал как «озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца». Но вспомним ленинскую заметку о нем: «Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности». И не только яркими, но и верно изображающими «впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, обвешанной и объедавшейся России». О таких впечатлениях и настроениях Ленин пишет с убийственной иронией, и в то же время он подчеркивает и правдивость их воспроизведения, особенно в тех рассказах, где автор поднимается «до настоящего пафоса»: «Вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие».

В данном случае правде сопутствует не просто «привкус», «оттенок» или «налет» неправды, а густой ее слой. «Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов», — говорит Ленин; это значит, что именно такой революция не является в действительности. Вот, кстати, еще одно доказательство несостоятельности первого постулата — о невозможности искажений действительности в искусстве. Но и второй постулат, преувеличивающий силу и роль этих искажений, не выдерживает напора таких фактов. Книжку Аверченко, несущую в себе, по существу, признание обреченности реакционных сил перед лицом победоносной революции и невольное саморазоблачение «обвешанной России», Ленин считает настолько талантливой, что пишет: «Некоторые рассказы, по моему, заслуживают перепечатки»²⁸. Если так обстоит дело даже с отдельными произведениями откровенно реакционных авторов, то что же говорить о книгах писателей, само мировоззрение которых зовет к истинному отражению действительности!

Вредно было бы возрождать теорию «единого потока», но можно, мне кажется, с полным основанием говорить об искусстве верного познания действительности как о «главном потоке» в истории художественной мысли, не всегда самом

²⁶ «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М. «Искусство». 1967, т. 1, стр. 7—8.

²⁷ Там же, стр. 7.

²⁸ В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 249—250.

широком, но зато самом богатом и перспективном. Это ни в коей мере не означает какого-то ослабления классово-борьбы на фронте литературы. Наоборот, это даст возможность яснее видеть противника, которого разят своим творчеством передовые художники: он ведь не только в самом искусстве, он и в других областях идеологии, в морали, психологии людей, в быту, в политическом и экономическом строе и т. д. А мы, характеризуя литературный процесс, зачастую переносим центр тяжести на борьбу правды с неправдой внутри искусства. Нет, определяющим, самым характерным для него и самым значительным был и будет голос правды.

4. Направление художественного поиска

Но отчего же тогда так драматична «внутренняя жизнь» искусства? Отчего столько в нем столкновений? Ну, хорошо, отнесем призывы «угробить» старый реализм или «расстрелять» Растрелли за счет излишней горячности эстетических споров, но ведь сами-го споры возникали на какой-то основе, и возникали постоянно! Не может же, в самом деле, правда спорить с правдой...

Не может? А почему, собственно, не может?

Как все-таки мастерски выпрямляет метафизика извилины нашего мозга! Поддавшись ее плоской логике, мы, если уж допустили существование правдивого «главного потока» в литературе, не сможем представить его себе иначе как гладеньким, ровненьким, без порогов и водоворотов». А ведь история литературы знает много таких фактов, когда в самом этом потоке волны набегали на волны, сшибались в схватке, и уже не «борьба правды с кривдой» составляла сущность такой схватки, а своеобразная «борьба правды с правдой». Я имею в виду не дешевые манипуляции по противопоставлению «правды века» «правде дня», «правды обобщения» «правде факта», не те произвольные операции со словом «правда», о которых я здесь уже говорил. Сейчас речь идет о другом. Совсем о другом.

В 1917 году, за несколько месяцев до Октябрьской революции, в «Правде» было опубликовано стихотворение безымянного поэта «Узники»:

В черной пещере жарко пылает
Пламя костров,
В черной пещере падают звенья
Ржавых оков.

Весело пляшут красные искры,
Молот гудит,
Эхо смеется... Песня грядущей
Воли звучит.
Длиться не вечно будет глухая,
Черная ночь.
Мы из проклятой черной могилы
Вырвемся прочь.
Цепи свергаем, ржавые цепи,
Волю куюм.
Скоро, о, скоро! Стены темницы
Мы разобьем!

И в том же 1917 году Анна Ахматова написала такие стихи:

По твердому гребню сугроба
В мой белый, таинственный дом
Такие притихшие оба
В молчании нежном идем.
И слаще всех песен пропетых
Мне этот исполненный сон,
Качание веток задетых
И шпор твоих легонький звон.

Кто станет отрицать, что в семнадцатом году звучание одного из этих стихотворений идейно контрастировало со звучанием другого, подобно тому как звон разбиваемых кандалов контрастировал со звоном офицерских шпор! Можем ли мы на этом основании назвать стихотворение А. Ахматовой фальшивым, лишенным художественной правды? Конечно, нет. Четверостишия талантливой поэтессы были художественно совершенней агитационного стихотворения безвестного пролетарского поэта, но сила воздействия последнего умножалась на силу созвучного революционной эпохе мироощущения. Воспитывая сегодня чувства юности, мы знакомим его и с этими чистыми строками А. Ахматовой, полными поэзии любви и счастья. Но в ту пору правда одного стихотворения плохо уживалась с правдой другого, и в своеобразной художественной полемике таких произведений участвовала вся их поэтика, весь их образный строй. В одном случае — «черная» ночь, идущая к концу, «темница», «черная» пещера, откуда надо вырваться; в другом — радующая белизна снега и нежный путь к «белому» дому. В одном случае слышится «песня грядущей воли», в другом — «исполненный сон» «слаще всех песен пропетых». В одном случае звучат громкие, сотрясающие воздух звуки («молот гудит», «эхо смеется»), в другом — звуки еле слышны («притихшие», «в молчании», «легонький звон»). В одном случае — интонация гимна, гражданского пафоса, лозунга борьбы, в другом — блаженной умиротворенности...

Может быть, всякое противопоставление таких произведений — всего лишь досадное недоразумение? Может быть, объективно они не сталкивались, а сосуществовали в разных плоскостях и одно могло гармонически дополняться другим? Нет, в тех условиях произведения подобного рода не могли «побрататься»: революция требовала такой сосредоточенности на своих задачах, такого пафоса, активности, эмоционального подъема, которым тихое умиление, далекое от больших гражданских идей, было глубоко чуждо. По-иному, чем приведенная лирическая миниатюра А. Ахматовой, звучали ее патриотические стихи «Когда в тоске самоубийства...», гордо отвергающие зов на чужбину, хотя именно в них — в первых двух строфах — проявилось и непонимание правды о революционном народе²⁹. Прочитанное же стихотворение поэтессы о любви как раз нельзя упрекнуть в нарушении жизненной и художественной правдивости.

Правду ведь можно говорить о разном и по-разному. Всего не охватишь. Ни творчество писателей, ни восприятие читателей практически не в состоянии «вместить» бесконечного многообразия форм и содержания, в принципе доступных литературе. Приходится выбирать. И характер такого отбора связан с позициями писателя.

«Не важно, о чем и в какой форме писать, — важно, с каких позиций» — это часто повторяемый довод не выдерживает критики уже потому, что с тех или иных позиций не безразлично, как писать правду и чему посвящать произведения. Хочу, чтобы меня правильно поняли: я говорю здесь не о предпочтении какой-нибудь художочной повестушки о современности выдающимся произведениям на другие темы. Нужны по-настоящему талантливые книги, которые «сосредоточивают внимание на действительно важных проблемах коммунистического воспитания и строительства»³⁰.

5. С течением времени...

Вот, казалось бы, и создается картина литературного процесса. Впрочем...

«Картина процесса!» Ох, как режет ухо это словосочетание! Можно ли процесс

²⁹ См. об этом: А. Метченко. О социалистическом реализме и социалистическом искусстве «Октябрь», 1967, № 6, стр. 193.

³⁰ «Материалы XXIV съезда КПСС». М. Политиздат. 1971, стр. 87.

изобразить на неподвижной картине? Тут уж скорее нужна кинокартина.

И когда застывший кадр сменится ожившим изображением, вдруг произойдет чудо: те соотношения, о которых говорилось до сих пор, неожиданно начнут изменяться. Художественность, правда искусства, борющиеся тенденции в нем — границы всех этих понятий станут перемещаться на наших глазах.

Произведение живет разной жизнью в душе у разных читателей, в разных условиях, в разное время. По-разному участвует оно в острой социальной борьбе, по-разному воздействует и эстетически. В одном случае оно может оказывать подлинно художественное воздействие, в другом оно же теряет эстетическую убедительность; бывает и так, что одни сумеют найти в нем правду, других оно обманет; в одних обстоятельствах оно выступает как антипод какой-либо книги, в других оказывается в том же русле, что и она. «...Воспринятое, воссозданное, осмысленное у каждого читателя будет в сравнении с воссозданным и осмысленным другими, вообще говоря, несколько иным, своеобразным. Иногда разность результата становится резко ощутимой, даже поразительной», — справедливо отмечает В. Асмус. Нельзя, конечно, порелятивистски преувеличивать возможности различного влияния одних и тех же образов: «объективная «ткань» или «строение» произведения кладет предел субъективизму восприятия и понимания»³¹. Но важно и другое: та же объективная «ткань», объективное строение произведений обуславливает в известных пределах возможность различного субъективного восприятия. Отсюда вытекает, в частности, необходимость, анализируя литературное произведение, рассматривать его в «контекстах» разных периодов — того, когда оно было написано, и последующих. И в научных работах, и в вузовской и в школьной практике, мне кажется, историзм должен состоять не только в попытках воскресить былое звучание произведений (как часто делается до сих пор), но и в упоре на ту новую жизнь, которую они получают в творимой сегодня истории.

Стала уже банальной истина, что произведение проходит испытание временем. Но каким временем? Тем, когда это произведение было создано, или будущим?

³¹ В. Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. М. «Искусство». 1968, стр. 63, 61.

И тем и другим. Поэзию Демьяна Бедного рано сдавать в архив, и все же с годами, нужно прямо сказать, она бледнеет; но она сделала свое дело, с честью выдержала испытание при жизни поэта, оказав заметное художественное и политическое воздействие на массы, и зачеркивать это было бы несправедливо. А вот «Облако в штанах» не могло, конечно, получить широко-го отклика в народе; массы, которым поэма, при всех ее противоречиях, по духу была бы близка, оставались еще не подготовленными к ее восприятию, да и теперь еще большинство читателей не готово ее оценить и полюбить; но можно ли сомневаться, что это великое произведение выдержит испытание многими и многими годами!

Таким образом, сила художественного воздействия — это не внеисторическое понятие.

То же самое можно сказать о понятии литературной борьбы. Приходя в библиотеку, мы видим на стене ряд чинных портретов писателей — все в добром соседстве, в одинаково солидных рамках; а ведь какая непримиримая борьба иногда разыгрывалась между этими людьми, между литературными лагерями, какие мучительные конфликты возникали, какие ожесточенные споры — не только по частным, но и по серьезным идейным вопросам! Сейчас мы редко вспоминаем об этом, твердо помня одно: все классики — «золотой фонд». И в этом есть свой резон.

По мере поступательного развития общественной мысли острее становится критический анализ историко-литературных явлений и в то же время появляются возможности для все более бережного подхода к культурному наследию. Диапазон эстетических и других интересов нашего читателя расширяется, зрелость его воззрений возрастает, и в его духовный обиход все больше входят разнородные произведения, часть из которых раньше просто отменялась, а теперь как бы «фильтруется», перерабатывается сознанием и в наиболее ценных своих проявлениях впитывается представлениями и чувствами, обогащает их.

Возможны, впрочем, и такие ситуации, когда полузабытые литературные столкновения вновь обретают актуальность.

Так или иначе, и понятие литературной борьбы исторически изменчиво.

Наконец, и проявления правды и неправды в искусстве не отличаются каменной неподвижностью.

Издавна даже самые правдивые произведения приносили многим людям ту иллюзию, которой мы нередко поддаемся и по сию пору. В одном из старых стихотворений Е. Евтушенко были такие строфы:

Вот книга...

Я прочесть ее решаю!

Глава —

ну так,

обычная глава,

а не могу прочесть ее —

мешают

слезами заслоненные глаза.

...А мне бубнят, и нету с этим сладу,
что я плохой,

что с жизнью связан слабо.

Но если столько связано со мною,

я что-то значу, видимо,

и стою?

Без всякой иронии можно ответить: да, герой лирики Евгения Евтушенко «стоит» и «значит» немало. Однако же его поэтическая аргументация, средства защиты от бубнящих моралистов в данном случае были жидковаты. Увы, сколько мир знал не таких, как этот лирический герой, а действительно ничего не «значащих» и ничего не «стоящих» людей, у которых вот так же наполнялись слезами глаза при чтении какого-нибудь трогательного романа! И точно так же они в этот момент казались себе чего-то стоящими, и что-то значащими, и «с жизнью связанными», и вовсе не такими уж «плохими».

Но этот утешающий обман будет все менее нужен людям. И те самые произведения, которые навевали на «почитывающую» часть старой публики сладкий сон, внушавший ей, что она достаточно «с жизнью связана», в изменившихся обстоятельствах действительно все крепче связывают нового читателя с жизнью.

Книги, подобно людям, живя в новых условиях, подчас в большей или меньшей степени «меняют убеждения», они наполняются новым смыслом, хотя каждая буква в них и остается на своем месте. И здесь нет никакого мистицизма.

Возьму в качестве примера «Бесов» Достоевского — произведение, которое получило прочную репутацию клеветнического и долго не издавалось. Можно только радоваться тому, что теперь у нас все наследие великого писателя, включая и это произведение, вновь привлекает к себе пристальное внимание. Роман напечатан в собрании сочинений Достоевского, и напечатан очень большим тиражом — не для

историков литературы, а для широкого читателя. (К сожалению, в качестве приложения не помещена глава, которую в свое время не решился опубликовать Катков,— «У Тихона». Надо думать, в новом издании мы ее найдем.)

Исследуя полифоническую структуру романов Достоевского, М. Бахтин высказывает мысль, что авторская позиция в этих произведениях не является внешней, сторонней по отношению к той полемике, которая их постоянно насыщает, и не сводится к прямолинейной защите какой-либо одной «стороны»; концепция автора как бы вбирает в себя сталкивающиеся точки зрения, она сама есть непрекращающийся внутренний спор. При всем том нельзя, думается, не признать, что в этом многоголосии выделяются доминирующие пристрастия и антипатии писателя. В «Бесах» это проявилось со всей очевидностью.

Не пытаясь анализировать роман в целом³², я хочу восстановить в памяти читателя только одно откровенно тенденциозное место, когда некий профессор (названный так без уверенности) произносит политическую речь о крепостном праве и о положении в пореформенной России. Вот, казалось бы, квинтэссенция реакционности писателя. Читая это место, мы, конечно, смеялись не только островам оратора — мы смеялись и над ним самим. Он предстал перед нами пошлым, крикливым и ничтожным. Тенденция не убила художественности. Все резервы своего искусства мобилизовал против ненавистных ему идей великий мастер слова. Все предшествующее развитие сюжета должно было вести к развенчанию этих идей. До профессора, в чьи уста вложил автор эту речь, на идиотски задуманном губернаторшей

³² Напомню лишь ленинскую оценку Достоевского и его романа «Бесы». Вл. Бонч-Бруевич вспоминает:

«Беспощадно осуждал Владимир Ильич реакционные тенденции творчества Достоевского... Вместе с тем Владимир Ильич не раз говорил, что Достоевский действительно гениальный писатель, рассматривавший боковые стороны современного ему общества, что у него много противоречий, изломов, но одновременно — и живые картины действительности».

Относясь резко отрицательно к «Бесам», он говорил, что при чтении этого романа надо не забывать, что здесь отражены события, связанные с деятельностью не только С. Нечаева, но и М. Бакунина.. В общем и целом Владимир Ильич ценил талант Достоевского».

празднике выступают Липутин с виршами Лебядкина, сатирически обрисованный писатель Кармазинов, читающий нудный опус, и, наконец, жалкий и нелепый в своем проповедничестве старик Верховенский. Атмосфера все более накаляется, читатель ждет скандала. Профессора мы видим еще до его появления перед публичной расхаживающим за кулисами и машущим кулаком с видом маньяка. И вот он выбегает на сцену. И портрет его, и жесты, и описание обстановки настраивают нас крайне иронически. В конце речи переполюх бедного оратора кто-то тащит за кулисы, он вырывается, его опять тащат; другие бегут его освободить; разбивается и падает какая-то загородка; и в довершение всего — сытенькая девица в сопровождении смертельного врага своего — гимназиста — заявляет (не первый уже раз!) протест по поводу «страданий несчастных студентов». И сама речь профессора так «вписывается» в эту картину, что должно, казалось бы, оставаться впечатление пасквиля на идеи прогресса. И оставалось!

Но известно, что и в заблуждениях бывает зачастую скрыто много истинного. В определенных условиях оно «очищается», выдвигается на первый план, становится более заметным и впечатляющим. Так случилось и с речью профессора в «Бесах»: содержание-то ее уже вовсе не кажется глупым и даже воздействует само по себе вопреки всему облику оратора. Отвратительна профанация передовых идей, а сами эти идеи высоки и правдивы. Согласитесь, речь эта, не лишенная остроумия, может показаться взятой из самого что ни на есть прогрессивного, даже революционного произведения. Чего стоит хотя бы картина пореформенного «процветания»: «Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке по очереди, в пожарный сезон. На судах соломоновские приговоры, а присяжные берут взятки единственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голоду. Крепостные на воле и лупят друг друга розгами вместо прежних помещиков. Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету, а в Новгороде, напротив Древней и бесполезной Софии — торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины».

Ведь это не только логически, но и эстетически убеждает! Я уж не говорю о том,

сколько поразительной правды в характерах героев этого романа. Есть в произведении и печать предвзятости, оттиснута она сильно; но чем дальше, тем трудней ей будет сойти в наших глазах за печать, заверяющую подлинность написанного, и уже теперь наиболее зоркий читатель сравнительно легко «соскребает» ее. Ему хорошо видны реакционные черты мироощущения писателя, но они не передаются ему, не заражают его, он достаточно зрел для этого. В сцене, о которой идет речь, и изображение обстановки и обрисовка оратора накладывают отпечаток на его выступление, однако сегодня образы так переосмысливаются, что в значительной степени вопреки замыслу писателя перед нами оказывается не столько пародия на революционные идеи, сколько пародия на опошление этих идей, — такое опошление, которое и нам ненавистно. Противоречивые чувства вызывает этот роман. Многих его читателей охватывает то «мрачное, гнетущее впечатление», ощущение «трагической обреченности на земле всего высокого и прекрасного», о котором пишет исследователь «Бесов» Ф. Евнин³³. И вместе с тем, читая книгу Достоевского, мы не только не попадаем в «ловушку реакции», но и становимся умней, зорче, добрей к человеку и злей к омерзительным, жестоким сетям политиканства, прикрывающегося «социалистическими», ультрареволюционными, левозэкстремистскими фразами, смеемся над дубовым чиновничеством и над либерально-фрондерской модой, учимся приглядываться к тонким и сложным извилинам человеческой психологии, еще больше проникаемся пафосом духовных исканий.

Одним словом, старые образы обретают новую жизнь. Могут сказать, что тут все дело не в произведении, а в новой «интерпретации», которую дает ему наше вос-

приятие. Но ведь не всякое произведение можно так «интерпретировать»! Значит, в самой книге гениального писателя была объективно заложена возможность такого ее переосмысления.

Итак, в ходе литературного процесса одни и те же произведения и образы получают новое качество. При этом бывают и потери и приобретения. В основном приобретения, если говорить о значительных, талантливых произведениях. Большие писатели, непохожие и спорящие, встречаясь через годы, десятилетия, века,жимают друг другу руки.

Таковы некоторые предварительные соображения, вызванные столкновением двух постулатов, которые, казалось, готовы были претендовать на право неприкосновенности.

Каждый студент — филолог, эстетик, искусствовед знает: надо остерегаться как теории «единого потока», так и вульгарного социологизма. Не допускать их. Борьбаться с ними. И все было бы прекрасно если бы на практике с «единым потоком» порой не боролись методами, несколькими отдающими вульгарным социологизмом, а в борьбе с вульгарным социологизмом не делали уступок позициям «единого потока». Избежать же этого трудно, не окинув критическим оком некоторых теоретических «истин», считавшихся почти непреложными.

Во всяком случае, нужно признать: в изучении таких принципиальных вопросов концепции литературного процесса, как соотношение художественности, правды и борьбы в искусстве, сделано многое, направление научных исследований в целом верное — и, тем не менее, не все спорные моменты уже «за шеломянем». Вопросы эти еще требуют самого вдумчивого изучения.

И никуда мы от них не уйдем, ничем их дальнейшую позитивную разработку не заменим.

Если, конечно, всерьез хотим покончить с литературоведением «от Матфея».

³³ Сборник «Творчество Ф. М. Достоевского». М. Изд-во АН СССР. 1959, стр. 225.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Финк. Нравственность человеческая... — Лев Озеров. Глоток кислорода.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Марушнин. Из истории политических процессов на Западе.

Литература и искусство

НРАВСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ...

Нора Адамян. Красный свет. Повесть. «Звезда», 1971, № 11.
Михаил Роцин. Валентин и Валентина. «Театр», 1971, № 12.

У каждого времени — свои тревоги, свои проблемы. Обычно чем труднее они решаются, тем больше о них говорят и спорят, тем пристальнее внимание к ним, тем шире они обсуждаются и в повседневном общении и на страницах книг.

«Многим кажется, что высотные здания, счетные машины и «спутники» приближают нас к прекрасному будущему. Предположим. Но дело не только в этом. Пока мы не перестроим нравственность человеческую, до прекрасного будущего все еще будет очень далеко». Эти слова принадлежат старой оперной актрисе Татьяне Викторовне, о которой сочувственно и уважительно рассказывает Нора Адамян в своей новой повести «Красный свет».

«Перестройка человеческой нравственности» — и основная тема и основная задача повести, которая тем самым оказывается в русле самого мощного, пожалуй, потока современной литературы. Сегодня не счесть художников, исследующих нравственные истоки нашей военной победы или моральные конфликты, возникающие внутри производственных коллективов. За последнее время заметно повысился интерес и к более узкому освещению нравственной жизни.

Появились произведения на «семейные» темы — «Красный свет» Н. Адамян, «Никто никогда» Н. Давыдовой, «Вот пришел великан...» К. Воробьева; «семейные» пьесы — «Сказки старого Арбата» А. Арбузова, «С вечера до полудня» В. Розова, «Валентин и Валентина» М. Роцина.

Мораль как основа общественного поведения... Мораль как основа личных отношений в семье, в быту... В личных, интимных отношениях старое оказывается упорнее, именно здесь основное прибежище пережитков прошлого — эгоизма, равнодушия к чужим судьбам, циничной жажды накопительства. Несответствия в области морали не являются чем-то неожиданным, ведь, по мере того как наша революционная практика решает одни задачи, устраняет одни противоречия, диалектика общественного прогресса ставит перед нами новые цели, новые задачи.

Неравномерностью в развитии нравственных представлений, видимо, и продиктован возрастающий интерес к семейной тематике, особенно со стороны художников, склонных к исследованию драматизма современной жизни. Однако исследование личных, внутрисемейных отношений может

стать плодотворным только в том случае, если оно будет вестись достаточно широко и многогранно, если исследуемая сфера не окажется замкнутой, изолированной от важнейших проблем общественного бытия. И поэтому нельзя не сказать о том, что освоение семейной тематики в современной прозе происходит отнюдь не без существенных потерь.

Но вернемся к Норе Адамян. Писательница ведет нас в травматологическую больницу, где люди обречены находиться во власти физических и моральных страданий, иногда на грани жизни и смерти. Уже эта исходная ситуация позволяет остро обнажить человеческие характеры и отношения. Здесь у больных достаточно времени, чтобы наблюдать над другими и обдумывать собственную жизнь. У Зои Георгиевны Богатовой перелом бедра. Она сравнительно дешево заплатила за то, что среди шумной городской толчи как слепая пошла на красный свет. Здесь, в больнице, она узнает, что врачи подозревают попытку самоубийства, ищут внутреннее, психологическое объяснение физической травмы. И Зоя Богатова вынуждена пристально и придирчиво заглянуть в свой внутренний мир.

Уже давно нет покоя ее душе, нет мира в ее «квартире из трех комнат, убранной и ухоженной с изобретательностью женщины, с достоинством произносящей «мой дом». Она старается не видеть, не замечать, как этот дом дал трещину, как примитивно лжет муж, оправдывая свое отсутствие по вечерам работой в библиотеке. «Она знала, что Леонид вернется не раньше двенадцати, но, когда бы он ни пришел, у него должно быть ощущение возврата в семью, незыблемую и надежную». Так она приучила себя жить ложью, самообманом, иллюзией «незыблемости и надежности» того, что на самом деле давно распалось.

Нора Адамян не считает нужным подробно рассказать о том, когда и как оборвалась эта счастливая пора, когда у Леонида появилась «необходимость и радость» видеть Валюшу каждый день.

Мы узнаем только, что и Леонид и Зоя лгали друг другу не месяц, не год, а годы. «Простодушие и мягкость, которыми он привлекал людей, ее даже раздражали... Благородный, воспитанный на уважении к правде, он много раз был готов принести на ее суд все, что она и без того давно знала. Каждый раз ей нужно было большое напряжение и изворотливость, чтобы

предотвратить его признания. Она презирала его за эту потребность в откровенности, усматривая в ней эгоизм». Так долгие годы два человека мучительно барахтались во лжи, пока не произошла катастрофа и в ее неумолимом красном свете стало очевидным, что дальше так жить нельзя. Валюша была первой, взвалившей на себя тяжелый груз решений: «Не приходи больше, милый. Я тебя и ждать не буду. Нельзя».

Надо сказать, что характер Валюши удался Норе Адамян. Злая разлучница отнюдь не демоническая красавица, не эгоистка, не сердцеедка. Одинокая, грустная женщина, которая не умеет и не хочет насильственно отвоевывать свое счастье, радуется любому пустяковскому знаку внимания, искренне «удивлялась, что ее полюбил такой красивый, такой умный и прелестный человек».

Наверно, будь она хищницей или хотя бы энергичнее, требовательнее, настойчивее, Леониду пришлось бы решать. Теперь же окончательное слово принадлежит Зое. И она, признавшись, что «все последние годы ее жизни были фальшивыми», только на больничной койке приходит к выводу, что отныне «ее ждет одинокая жизнь с подрастающим сыном, которому скоро не будет до матери никакого дела». Горько иронизирует она над парадоксальностью ситуации: ей самой нужно действовать, чтобы обречь себя на тоскливое одиночество.

Так ситуация проясняется окончательно. «Благородный» Леонид, которого мучительно любят две женщины, изо дня в день проявляет «дрянное бессилие» характера, которое заставляет усомниться в подлинности его благородства, потому что не называют «благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим»... Он «отступает от всего, на что нужна широкая решимость»... Признаюсь в маленькой мистификации — взятое здесь в кавычки, касающееся Леонида, позаимствовано из знаменитой статьи Н. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». Дрянное бессилие характера тургеневского Ромео осмысливается великим критиком отнюдь не как случайное, исключительное явление, а как коренное, неотъемлемое свойство определенного типа, «типичного представителя», по словам Г. Плеханова, чья «нерешительность и трусость составляют отличительное свойство не одного только этого героя, но и большинства героев наших лучших беллетристических произведений»...

А повесть Норы Адамян? Дает ли она

возможность для таких широких раздумий? Есть ли в повести материал для социального осмысления характера Леонида? К сожалению, на эти очень важные вопросы можно ответить только отрицательно: нет и нет.

Такое изначальное качество реализма, как социальная детерминированность характеров, вовсе не гайна для Норы Адамян. Иные эпизодические персонажи повести «Красный свет» в этом отношении написаны достаточно убедительно. Обаянием мудрости и высокой интеллигентностью привлекает симпатии старая оперная певица Татьяна Викторовна. Деловита, мужественна, энергична Клавдия Степановна, вместе с которой в больничную палату входит привычная для нее атмосфера строительного прорабства. Беззастенчивая мешанка Гося, кажется, до самого доньшка пропиталась духом агрессивного приобретательства. Но в самом важном, в исходном для понимания повести характере Леонида — загадочная пустота и недосказанность. От этого смысл повести предстает измельченным и даже, хуже того, приобретает некую странную кривизну.

Если свести трусость, фальшивое поведение Леонида к ничем не объяснимому и ничего не представляющему казусу, если нет в этом случае ни обусловленности, ни репрезентативности, то повесть «Красный свет» — только холостой выстрел по ничтожной мишени. А как нам не вспомнить здесь ленинское определение насчет того, что «нравственное уродство мещанина есть качество... совсем не личное, а социальное». Что же мешает Н. Адамян выявить социальность поведения ее героя?

В этом свете мне представляется необходимым подчеркнуть один, пожалуй, самый существенный авторский просчет. В повести есть упоминание о том, что Леонид — нефтяник. Есть слова: «Из кабины уличного автомата Леонид Сергеевич позвонил к себе в управление». И через страницу другие слова: «Оставшись один, Леонид Сергеевич пожалел, что не пошел в институт. Он не мог заняться ничем». Эта небрежность очень показательна — Н. Адамян, в общем-то, безразлично, где и чем занимается Леонид Сергеевич. Его трудовая деятельность исключена из тех координат, на которых строится характер. Однако герой Н. Адамян — не тургеневский Ромео. Вне профессии или без профессии дрянное бессилие его характера трудно осмыслить как факт социально выразительный. От этого в

повести возникает мотив необъяснимой случайности всех бед Зои Богатовой, и этот мотив по мере развития действия звучит все сильнее и сильнее, постепенно приобретая широкое, обобщающее значение.

Чистая случайность необъяснима и в силу этого неотвратима. Неужели в основе тех бедствий, которые уже измучили Валюшу, Зою, Леонида, их сына Серезу, а также и тех, которые еще могут ждать их впереди, лежит только его величество случай? Это очень грустная мысль, ибо она не вооружает человека желанием и умением бороться с бедой. И наверно, именно в этой мысли и прячется причина той грустной интонации, которая так серьезно и значительно окрашивает финал повести, когда речь идет о постоянном круговороте больничной койки. По длинным коридорам и лестницам везут на смену Зое новую постоялицу с перебитой рукой и сломанным ребром, а сама Зоя проводит в это время без сна свою последнюю ночь в больнице, «готовясь к мучительному счастью человеческой жизни».

Эту емкую заключительную фразу читатель может толковать по-разному. Наверно, справедлива мысль о том, что счастья в нашей сегодняшней жизни нельзя достигнуть вне суровой, напряженной борьбы, требующей мужества в преодолении мук и страданий. Но, к сожалению, в самой повести даны основания и для того, чтобы воспринимать мучительность как нечто неустрашимое. Возможность такого мировоззренчески неприемлемого вывода рождается в результате слабости социального анализа. Нельзя разрывать связи между личной, семейной жизнью человека и основной сферой его деятельности без ущерба для глубины философского осмысления действительности, для художественной правды. Отсюда и суженный объем характера, и метафизическая изолированность личного от коренных проблем социального бытия.

Примечательно, как современный театр всей своей сутью восстает против плоского и одностороннего освещения проблем бытия «личной жизни», внутреннего мира людей. Успех пьесы обычно связан с богатством и сложностью характеров, поставленных в такие конфликтные ситуации, которые помогают выявить богатство и сложность самой жизни.

Пьеса М. Роцина «Валентин и Валентина» — о любви. Все действующие лица, кажется, только тем и заняты, что непрерывно и по-разному отвечают на сомнения, про-

звучавшие уже в первой фразе: «...Какая любовь в наше время! И зачем она?»

Нетрудно услышать в этой прямолинейной наивности авторское лукавство. Есть вопросы, которые как бы сами собой предполагают ответы, вопросы всем ясные, для всех решенные, но стоит только задуматься — и сразу обнаружится, как много неожиданного можно прочитать в их простой канве. Статьи, в пьесе не раз звучит известное стихотворение Евгения Евтушенко «А снег повалится, повалится. и я прочту в его канве...». Звучит, очевидно, недаром.

На первый взгляд очень незамысловата сюжетная канва пьесы. Двое восемнадцатилетних полюбили друг друга. Но жить им вместе негде да и не на что. Его мать и хотела бы им помочь, да нечем. Ее мать может, но категорически не хочет. Удержится ли любовь под напором внешних невзгод? Вот, кажется, единственный вопрос, возникающий непосредственно из сюжета. Однако стоит вчитаться — и в бытовых неурядицах и раздорах обнаруживается другое: столкновение мировоззрений, характеров, жизненных позиций.

Любовь Валентина и Валентины оценивают по-разному: одни не верят или, по крайней мере, не одобряют, другие помогают, одни сомневаются и смеются, другие восторгаются. Особенно трудно приходится Валентине, потому что самые близкие ей люди — мать, бабушка, сестра — словно бы соревнуются в поисках способов, чтобы отнять у нее радость любви.

Молодым трудно и потому, что у них еще нет своих, твердо выношенных жизненных принципов. Каждое возражение, которое они слышат, может возникнуть через какое-то время и в их собственном сознании. Поэтому огромное значение приобретает для них каждая встреча с людьми, уже твердо познавшими жизнь.

Веселый и молодой капитан-лейтенант Саша Гусев с первой же секунды знакомства воспринимается как воплощение энергии, жизнерадостности, даже самодовольства. Напор, бравада, щегольство так и слышатся в повелительном наклонении его глаголов («бросьте... уважьте... берем... велим»), в нарочито-современной лексике («шеф... подписные... аморалка... один — ноль... я бы вам оторвал такого Чайковского»), во всей его лихой, бесшабашной манере общаться с людьми.

И вдруг прозвучит его обращение к Валентине: «Приезжайте в Севастополь, выйдите за меня замуж, подождите меня с полгодика с моря — тогда я вам, может, что-нибудь расскажу». Так не увлекают девушек, особенно если перед этим было четко и многозначительно сказано, что море «не страшной войны». Но Гусев, оказывается, и не собирается завлекать. За внешней бравадой («Любви, конечно, нет») прячется истинная душевность: «Но очень хочется, чтобы она была». И умное, глубокое, не побоимся слова — рыцарское отношение к женщине: «Любовь — это когда хочется все отдать, когда ходишь и ждешь: кто возьмет, кому отдать, что еще сделать?» Понимаешь: это встреча с обаятельной, умной восемнадцатилетней Валею вызвала в капитан-лейтенанте Гусеве такой душевный подъем. Он испытывает на сто ящ у ю боль, когда слышит, что Валентина любит другого.

Эпизодическая роль Гусева помогает понять, что достоинство пьесы «Валентин и Валентина» — в определенности эстетического идеала произведения. Высокие нравственные ценности нового общества, человеческие качества наших современников неотделимы от обстоятельств их «личной» жизни, от их социальной активности, от их дела, их труда. Добытчик сибирской нефти Володя по мере знакомства выказывает себя личностью, несущей немалую жизненную силу. Именно он внушает Валентину серьезное отношение к любви, именно он предлагает реальный план преодоления жизненных невзгод — уехать Валентину на северную буровую, трудом завоевать себе место в жизни, право на самостоятельность поступков и решений. Он-то имеет право, так сказать молодым студентам: «Парнишки в ваши годы уже польвоны прошли, родину отстаивали, а вы девок своих отстаивать не можете...» Гусев — военный человек, Володя — рабочий человек, они очевидно отличаются друг от друга, и в то же время в их отношении к молодым людям есть разительная общность, обнажающая их социальное родство.

Есть в пьесе свой центральный образ, вся сила и поэзия которого как раз в таком открытом обнажении социального характера. Это Лиза, мать Валентина, проводница пассажирских поездов. Именно трудовой опыт диктует ее исходную позицию: в решении основной сюжетной коллизии: «Проехал бы рейс со мной, — говорит она сыну, — ...поглядел бы... Бывает, какую-нибудь та-

кую невесту провожают, слезы рекой, чуть к милому в окошко не прыгает, до светофора ручкой машет, а ночь прошла — уже с попутчиком в вагоне-ресторане ля-ля разводит или полночи в тамбуре стоит!»

Лиза однажды, еще девчонкой, «обмерла», встретив своего будущего мужа, и потом сумела долгие годы прожить с ним в «трудностях», так и не растеряв душевного трепета. Она-то знает, как это нелегко, и есть у нее все основания опасаться, что у избалованной, изнеженной девочки Валентины все может произойти иначе. А вдруг от этих самых жизненных трудностей «любовь выскочит из нее, как пар»?

Однако жизнь вооружила Лизу не только сомнениями, но и только познанием трудностей: хорошо усвоила она и то, что для преодоления житейских невзгод нет лучшего средства, чем человеческая солидарность, чем чувство локтя, единения с другими людьми. Солидарность была важнейшим принципом нашей морали с первых шагов ее становления, и сегодня приверженность к взаимоподдержке, взаимовыручке неизменно составляет отличительную черту рабочего человека. Лизе органически чужда даже малейшая возможность какого-то иного отношения к людям. Когда мать Валентины предлагает ей объединиться ради того, чтобы разлучить молодых, Лиза с порога отвергает любое насилие над их волей и судьбой. «Да если б я могла! Я бы им все отдала, пускай живут!» Так голосом Лизы решается с позиций человеколюбия конфликт пьесы.

И здесь мы вторгаемся в самую сложную проблему. А чем же обусловлен этот конфликт? На первый взгляд все несчастья молодых влюбленных от того, что ее мать не верит в подлинность их чувства, даже, точнее, в его возможность. У матери свой жизненный опыт. Когда-то муж оставил ее с двумя детьми, и ей всю жизнь приходилось очень нелегко. К тому же и старшая дочь живет одиноко после неудачного замужества. Теперь матери кажется, что любовь сулит Валентине одну-единственную перспективу: «Искалечит себе жизнь, бросит институт, будет голодать, плодить нищих».

В этой тираде так мало понимания современной жизни и такой длинный, такой очевидный шлейф прошлого, что очевидно проясняется и конфликт. У матери нет веры ни в человека, ни в обстоятельства. Свое несчастье, тусклое, одинокое житие она толкует безмерно расширительно. У нее нет ни настоящих идеалов, ни высоких духовных

интересов — тонко, без нажима рисует М. Рощин современную, хорошо замаскированную мешчанку. «Пусть весь мир развалится от грязи, но моя дочь должна быть чиста как Афродита. И если каждая мать сделает так, — грязь отступит!»

На первый взгляд отлично сказано. Но если задуматься? Принципы нашего общества требуют заботы о дальних. Пьеса убеждает: если каждая мать будет сражаться только за собственную дочь, чистоты от этого не прибавляется. Наоборот, отчаянные усилия матери Валентины приводят только к тому, что ее дочь вместе со своим возлюбленным едва не задохнулась от житейской грязи. Мещанская опасливость и плохо замаскированный эгоизм и не могли привести ни к чему иному.

Герои пьесы не раз вспоминают о Ромео и Джульетте. Юные веронцы выбирали между любовью и смертью, потому что цельность, сила, бескомпромиссность их чувства не позволяла им жить в страшном мире ненависти и непреодолимого социального отчуждения. Внешние преграды, возникшие перед двумя московскими студентами, вполне преодолимы. Сложнее другое: созрел ли Валентин внутренне для самостоятельных решений? способна ли Валентина поддержать его на этом пути? сумеют ли они душевно, нравственно отстоять свое чувство, стать достойными собственных высоких слов о любви?

В мире, где живут Валентин и Валентина, несказанно возросла мера человеческой свободы по сравнению с условиями существования тех «средневековых пацанов», о которых они вспоминают с ревнивой симпатией. Но чем свободнее человек, тем ответственнее. Любовь молодых должна проверить и их самих — на прочность, на мужество, на возможность быть настоящими людьми. Не отступят ли они, не растеряют ли свое чувство, не увлекут ли кого-нибудь из них соблазны легкой жизни?

Нас не может не волновать их будущее, потому что любовь, искренность, честность, человеческая глубина и тонкость неотделимы от нашего общественного богатства. И хочется, чтобы пьеса сказала не только о том, что с ними будет. Гораздо важнее понять, какими они будут. Но М. Рощин не отвечает на этот вопрос. Драматургу удалось поставить проблему, но не удалось написать характеры, в которых была бы заключена очевидная перспектива их развития. Известно, что сформировавшиеся, усто-

явшиеся характеры схватывать легче, чем только становящиеся, только формирующиеся. Решить задачу повышенной сложности М. Рощин не сумел, и, видимо, поэтому он дал возможность очень разных сценических истолкований литературного материала.

Однако полнокровность характеров и Лизы, и Гусева, и Володи — всех тех, для кого новые моральные принципы так же естественны, как дыхание, — не оставляет сомнения. И в этом вторжении новой общественной нравственности в самое интимное и сокровенное, думается, и заключена подлинная причина успеха пьесы М. Рощина.

Справедливо сказать о том, что М. Рощин отнюдь не первооткрыватель темы, коллизии. Перечень современных пьес, дающих широкое социальное истолкование личных коллизий, достаточно велик — от «Золотой кареты» и «Обыкновенного человека» Л. Леонова до «Иркутской истории» А. Арбузова, пьес В. Розова. И автор «Валентина и Валентины», не повторяя предшественников, довольно плодотворно используя их опыт, создал произведение, современное по самой сути своей, заставляющее думать и спорить.

Куйбышев.

Л. ФИНК.

★

ГЛОТОК КИСЛОРОДА

Ирина Снегова. Три дождя. Стихи. «Советский писатель». М. 1971. 158 стр.

Давным-давно канули в Лету так называемые женские стихи. Женщина не хочет казаться слабой. И не только казаться — быть. Порой даже поражаешься избыточности волевого, действенного начала у наших поэтов-женщин (читатель видит, что я осмотрительно не называю их поэтессами). Дело дошло до того, что сила неприятия подлости, лжи, лицемерия, двоедушия подчас звучит в их лирике убедительней, чем сила любви, доброты, нежности, верности.

Новая — восьмая по счету — книга стихов Ирины Снеговой «Три дождя» — книга очень современная, очень острая. И дело тут не только в современной интонации, в ритмике фразы. В этих стихах нет ни каких-либо специальных технических терминов, которыми увлекаются многие поэты, ни злободневных эпитафий. Тут дело в нравственном максимализме автора. Все время сопоставляются деяния человека и высота им же самим поставленных задач. Сущее и чаемое. Все время идет взыскательная проверка душевных качеств человека, которые необходимы для большого дела, может быть, для подвига.

Не откликаясь на каждое из событий жизни, поэт тем не менее пропускает их через себя, через свое сердце. Не может не пропускать, если он художник; они, эти события, так или иначе дадут о себе знать в чутко реагирующем на всё строе образов. Читатель ценит в художнике эту чуткость — всегда есть потребность в честном и действенном слове поэта-гражданина. Более того, в

наших газетах все чаще и охотней дают слово лирикам. И лирическое признание ложится на полосу рядом с сообщением о важных событиях, нисколько не противореча этим сообщениям, поддерживая их (я не говорю о суетном подрифмовании газетных статей, такое, к счастью, встречается все реже). В книге «Три дождя» я нахожу стихи, знакомые мне именно по газетным публикациям автора. Они-то и навели меня на это рассуждение.

Ирина Снегова не ищет ни сглаженной речи, ни, как это часто бывает по контрасту, преднамеренной шероховатости. Ритмику она целиком подчиняет смысл своей поэзии. Ее синтаксис взорван. Но именно потому, что страсть, вложенная в стихи, взрывчата.

Будто рвет нутро небес
Динамитом,
Будто лес
Рубит в щепки,
Бьет с обиды...
Льет! Слепит! Закрой глаза,
В этот день — всегда гроза.

Все окна и двери в этих стихах распахиваются от налетевшего предгрозового ветра. Слышится звон стекла, где-то форточку сорвало с петель. Поток стихотворной речи из одной строфы летит в другую, задевая третью.

Речь поэта не лишена изящества, но решительно избавлена от сопутствующих изяществу уклончивости и кокетства. Ирина Снегова говорит доверительно:

Я не страшилась грома и огня.
Я вздрагивала в сумерках от скрипа.

Это очень понятно. И в этом тоже выразился современник. Он действует, этот современник. Он мыслит. Он чувствует. И не спешит давать советы. Давать советы просто, но рискованно. И все же один важный совет — другу, возлюбленному, читателю — мы услышали:

Будь причастен, слышишь, будь причастен,
Главному причастен — причастен,
в этом суть.

А быть может, это совет самой себе? Такая догадка не лишена основания: «Сердце болит — это значит я — есть. Я — живу». Эта боль включает в себя и весь тревожащий мир современности, и досаду по поводу не к месту сказанного другом слова. Сердце болит — вот сама справляйся и со своим сердцем и со своей болью. Так повелось издавна

Когда началось оно —
В детстве когда-то.
Упала? Бежала?
Сама виновата.
Побили ребята?
Сама виновата.

Этот мотив усиливается, он звучал тихо — звучит громко.

День вытянул жилы?
Зачем через силу,
Весь век до упала!
Сама виновата.

Стихотворение, рисующее нам одновременно жизненный путь и характер человека, получает достойную разрядку:

...Сквозь благовест рая,
Сквозь ада набаты
Услышу, я знаю,—
Сама виновата.

Поэзия дает возможность и читателю и поэту разговаривать «по душам» даже в том случае, если поэт жил сто и двести лет назад. Тем в большей мере такая возможность дана нашему современнику-поэту, и плохо, если он ею не пользуется.

Ирина Снегова подчас ведет разговор чересчур возбужденно, не до конца выслушивая собеседника, перебивая его, превращая диалог в монолог. Но ей нельзя отказать в умении говорить, что называется, «как на духу», пусть и поспешно, но «на нерве». Впрочем, напряженность сиюминутного разговора автор пусть редко, но все же перемежает картинами относительного

покоя, уравновешенности, или, выражаясь старинным слогом, гармонии. Нужна «пеленька среди сверхскоростей». Кричат приморские птицы, нежно ударяют руладами «по снам и по спящим», а поэт говорит им:

А вы бы потише — покоя
На этой земле не хватает.

Но время неумолимо. Отсюда ее раздумья о стесненных сроках бытия. Сохранить ощущение отрочества — сохранить свежесть ощущения мира, когда конец — это начало, а начало — конец. Вот в чем суть!

Начала, концы —
Жизнь свивается в жгут...
И поздний и ранний
Жасмины цветут!

Мотив: жизнь коротка, надо торопиться — повторяется, с навязчивостью, диктуемой зрелостью. Зрелость ничего не откладывает «на потом», она во всем хочет поспеть к сроку, нет, до срока.

Никогда, никого
Не зовите обратно.
Обратимость — вранье,
Суть движенья злорадна,
Ни его, ни ее
Не отдаст вам обратно.

Человек начинает ценить все «вместившееся в этот миг» — сейчас, сегодня. И еще. Зрелость не хочет перекладывать ответственность на чужие плечи. Раз «сама виновата» — значит, за все сама отвечай.

Ах, как мы любим валить наши вѣны
На плечи третьих, даже на солнце!

Этот по поводу того, что войны, мол, возникают в «год беспокойного солнца». Так, начавшаяся с малого, очень личная тема («сама виновата») развернулась широко и стала гражданственно полнозвучной и энергичной.

У Ирины Снеговой, как и у каждого поэта, «энергия жизни» не сразу перелилась в энергию стиха. Многие думают, что для этого «переливания» необходимо, как у нас говорят, «овладеть мастерством». Но это лишь одна сторона дела. Другая — когда личный опыт художника, его повесть сопрягаются со временем. Когда поэт перестает отделять переживание от слова. У Снеговой это произошло, повторяю, не с первой книги («Лирические стихи», 1958), а позднее — в книге «Август» (1963), это стало еще ощутимей в «Крутизне» (1967) и теперь в «Трех дождях».

Энергия стиха чахнет воплощение и в

предметном—зримом и слышимом—образе: «Вмерзла в небо звезда», «Не заживет — минует, как на реке рубец весла» (здесь психологическое переключено на зримое); «Лежит на соснах, провисая, небо, как перемокший невод на плетне» (в этих двух строках заключена целая картина). Поэт стремится передать порыв «бритвенно-острых ветров» и показать целое через небольшую деталь: «Колотит природу, как лист на осине». Этот глагол «колотит» выбран рискованно-смело, но он на месте и он дает образ, ведет его. Память зрения подкреплена в Ирине Снеговой памятью слуха.

В каком-нибудь скрипнувшем бабкинском
кресле
Вдруг всхлипы лесные... Вдруг охнет
и треснет...

Услышать в старой мебели «всхлипы лесные» может только художник впечатлительный и чуткий.

В пределах каждой отдельно взятой миниатюры Ирина Снегова знает, как поставить строку и слово на свое место, положить, как говорится, в свое гнездо. Что же касается композиции книги в целом, то здесь царит беспорядок. Хорошее стихотворение, поставленное не на свое место, положенное не в свое гнездо, во многом теряет, и, конечно же, теряется среди себе подобных, дубликатов. В сборнике стихи расположены так, что лирическое повествование нарушается, оно то буксует, то стремительно рвется к концовке. Получается нежелательная композиционная скороговорка, такая лирическая стенограмма, которую только еще предстоит обработать, править. Впрочем, не всегда «виновата» и композиция. Есть в сборнике стихи, на мой взгляд, случайные для творчества Ирины Снеговой.

Ничего. Проживем. Вот и март.
Долгий день. Легкий свет. Новый старт.
Март велик — не в пример февралю.
Март игрок. Выше нос! По нулю.
Первый тайм. Главный ход. Новый счет.
Эй, о чем ты? Выльем порастет!
Март не выдаст. Нокаут февралю.
Отобьемся. Игра. По нулю!

Возможно, у этих выкриков на стадионе, у этой стихотворной морзянки найдутся свои защитники и любители. Уверен, что найдутся. Скажут: новый стиль, искания, разговорная речь, вводимая в высокую лирику И все же я отдам предпочтение раздумчивым, проникающим в суть явления, зорким и воспаленным строкам Ирины Снеговой. Телеграфный стиль претендует на новшество, он тшится передать лапидарность времени, его стремительность. Быть может, это и так. Но элегические, раздумчивые строки убеждают меня больше. И, главное, они-то дают ощущение времени, нашего времени.

И никуда не денешься! Со всеми
Или один, в пустыне и в толпе —
Не время нас несет! Мы носим время
В самих себе. Всегда в самих себе.

У Ирины Снеговой немало именно таких стихов. В них есть воздух. При чтении их не испытываешь «кислородного голодания», о котором так убедительно написано в книге «Три дождя». «Уделите, кто может, глоток кислорода!»—это серьезная просьба. Кому же, как не художнику ответить на нее делом. Лучшие стихи книги помогают избавлять эту самую гипоксию — кислородное голодание. А то, что строка у Ирины Снеговой подчас задыхается, словно сердце подступает к самому горлу, это не от кислородного голодания, а от восторга перед жизнью, перед кратким ее мгновением, перед чудом ее.

Лев ОЗЕРОВ.

★

Политика и наука

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЗАПАДЕ

Е. Б. Черняк. Приговор венов. М. «Мысль». 1971. 437 стр.

В один прекрасный день 1616 года вюрцбургский городок Герольцгофен был взбудоражен чрезвычайным происшествием: четыре его пожилых обитательницы были арестованы по подозрению в колдовстве. При допросе старухи не только признались, что они самые что ни на есть

подлинные слуги сатаны, но и сообщили леденящие кровь подробности о чудовищном успехе мерзких дьявольских козней среди добрых граждан Герольцгофена. «Во всем Герольцгофенском судебном округе, — заявили ведьмы, — вряд ли найдется 60 человек старше семилетнего возраста, кото-

рые не были бы так или иначе причастны к колдовству». Перепуганные власти кинулись принимать экстренные меры: начались аресты, оговоры, запылали костры на площадях. Князь-епископ издал указ-разнарядку: «Местные власти должны отныне еженедельно по вторникам, кроме дней великих праздников, учинять сожжение ведьм. Каждый раз их надо ставить на костер и сжигать душ 25 или 20 и никак уж не меньше чем 15». За два года в крошечном городке сожгли 187 человек. Герольцгофенское «избиение ведьм» не было локальным явлением. Эпидемия процессов в XVI—XVII веках охватила почти всю Западную Европу.

С высоты XX «космического» века невероятным представляется это ожесточенное истребление людей, вызванное чудовищным невежеством. Но вот эпизод, происшедший каких-нибудь двадцать лет назад в одной из наиболее развитых стран западного мира. В марте 1948 года некая Дороти Бэйли, сорока одного года от роду, гражданка Соединенных Штатов, выпускница Миннесотского университета, была неожиданно и бесцеремонно уволена из федеральной службы занятости, где она проработала пятнадцать лет. Основание для увольнения — анонимный донос, обвиняющий мисс Бэйли в принадлежности к компартии США. И хотя женщина с жаром отвергала инкриминируемые ей «опасные связи», соответствующие инстанции, не представив ни единого доказательства, с непостижимой логикой бюрократии поддержали обвинение.

Как и процесс в Герольцгофене, происшествие с мисс Бэйли — не изолированный исторический казус. С конца 40-х до начала 50-х годов более четырех миллионов человек в США прошли так называемую «проверку лояльности». Имелись ли какие-нибудь рациональные основания для этой современной «охоты на ведьм»? Как позднее признал председатель управления по проверке лояльности государственных служащих С. Ричардсон: «За этот период не было раскрыто ни одного случая шпионажа и не было собрано никаких данных, которые указывали бы на то, что такие случаи действительно имели место».

Сопоставление приведенных фактов, заимствованных из различных стран и различных эпох, лишней раз говорит о поразительной «генегической» преемственности реакции, как будто забывающей о вре-

мени и пытающейся остановить движение вперед с помощью тех самых средств, которые полностью доказали свою несостоятельность в прошлом. Эта мысль — центральная в книге известного советского ученого, доктора исторических наук Е. Б. Черняка «Приговор веков».

Оговоримся сразу: его работа не претендует на систематическое изложение истории политических процессов в западных странах. Это не каталог и не летопись занимательной судебной хроники. Это и не специальное юридическое исследование, занятое выяснением роли процессов в развитии права, в изменении функций различных судебных учреждений. «Приговор веков» — историческое сочинение особого рода, попытка посмотреть на огромный отрезок истории Запада со специфической точки зрения — с точки зрения использования оружия политического процесса как формы подавления политических противников. Правомерны ли подобные ракурсы в исторической науке? Или точнее: соотносен ли конечный результат с затратами усилий на исследование хирургически выделенных исторических срезов?

«Приговор веков» — не первая и не единственная работа Е. Черняка, выполненная в указанной манере. Ей предшествовали «Пять столетий тайной войны», «Жандармы истории», «Химеры старого мира» — книги, исследующие историю разведки, психологической войны, контрреволюционных интервенций и заговоров. То, что читатель проголосовал за подобный тип исследований, самоочевидно: указанные работы быстро исчезли с полок книжных магазинов. И дело здесь не только в увлекательности сюжетов и изложения. Необычные исторические ракурсы позволили исследователю осветить то, что обычно оставалось вне поля зрения, но что тем не менее является важным для полноты понимания развития исторического процесса. Современность часто задает прошлому вопросы, которыми раньше историки не занимались. В этом смысле исследование «исторических срезов» представляется как перспективная линия в развитии науки. Изучение специфических форм борьбы реакции против прогресса на протяжении длительного периода дает возможность выявить определенные закономерности, учесть уроки истории в разветвляющемся на наших глазах глобальном противоборстве двух миров.

В то же время лабораторное исследование одного или нескольких исторических явлений вовсе не обязательно ведет к «гербаризации» истории. Все зависит от методики работы автора, от широты его подхода к историческому материалу. Ведь если говорить о тематике рецензируемой книги, то во многих политических процессах, как в фокусе, сосредоточились классовые противоречия, политические столкновения того времени. Политические судебные дела нередко становились важными вехами гражданской истории, выражали специфику социальной психологии, быта и нравов. Процессы являлись той областью борьбы, в которой особенно ярко проявлялись человеческие качества, нравственный облик ее участников, где остро ставились проблемы морального характера. Одной из наибольших удач монографии Е. Черняка является то, что перед нами не беспристрастная летопись препарированных фактов, а живой рассказ о событиях, взятых во всей полноте прямых и опосредствованных связей с главными проблемами и конфликтами эпохи.

Если говорить о генезисе исследуемого явления, то важные судебные процессы, сыгравшие заметную политическую роль, известны уже в истории Древней Греции и Рима. Однако оружие политического процесса как формы подавления политических противников использовалось далеко не всегда и не везде. Восточные деспоты игнорировали эту форму практически начисто. Олигархия, правившая Венецией, долгие годы предпочитала тайную расправу открытым судебным разбирательствам. В большинстве случаев так же поступал и фашистский режим. Гитлер, отправляя на плаху антифашистов и отделяваясь от неугодных ему лиц, обычно не прибегал к содействию даже послушной судебной машины (исключение составляют Лейпцигский процесс и суд над генералами — участниками заговора в июле 1944 года). «К политическому процессу,— пишет Е. Черняк,— обращались в том случае, когда власти ощущали необходимость заручиться поддержкой общественного мнения, когда, наконец, судебная форма политического подавления превращалась в своего рода устойчивый обычай, нарушение которого было бы невыгодным для правительства. К политическому процессу прибегали обычно отнюдь не потому, что не имелось других способов расправы с противником

а потому, что это оказывалось наиболее удобным способом». Этот вывод, опирающийся на исследованный материал, нельзя не признать логичным. Ведь даже в странах с развитыми буржуазно-демократическими формами государственного устройства, где судебные процессы являются традиционной и поэтому наиболее удобной «законной» формой политического преследования, к ним обращались скорее в виде исключения, когда не имелось другого средства или когда суд мог быть превращен в удобное средство компрометации противника.

Изучение закономерностей политических процессов, проделанное автором, подтверждает мнение о противоречивости прогресса в обществе с антагонистическими классами. Стоит, например, вдуматься во всю внешнюю несообразность такого распространенного явления, как «охота на ведьм», о чем упоминалось в начале рецензии. Она захватила самые культурные страны тогдашнего мира. Костры, на которых сжигали жертвы отвратительного суеверия, запылали вскоре после изобретения книгопечатания, в период бурного расцвета Возрождения, в эпоху великих географических открытий. А наибольшего размаха преследования достигли в десятилетия, когда передовые круги узнали о трудах Коперника, Кеплера, Галилея, познакомились с трудами Фрэнсиса Бэкона, Гуго Гроция и Декарта. Противоречие между общими тенденциями эпохи и ведьовскими процессами ясное и кричащее.

Как видим, конфликт между разумом и суеверием, о котором писали либеральные историки прошлого века, вовсе не так прост. Это не только спор Возрождения со средневековьем. Как раз в эпоху Возрождения в невиданных масштабах развивалась демонология и были отброшены установленные в средние века запрещения или ограничения в преследовании ведьм. В ведьовство — если взять для примера Англию — верили Шекспир и вольнодумец Рэлей, даже сам Бэкон и знаменитый естествоиспытатель Бойль. К числу демологов принадлежали некоторые наиболее яркие представители общественной мысли. Суть дела, по-видимому, заключалась в противоречии между передовым мировоззрением и религиозной оболочкой, в какую по необходимости должна была облачаться прогрессивная идеология в эту эпоху. Это приводило не только к тому, что некоторая часть

представителей передового мировоззрения оправдывала ведовские процессы. Даже критика демонологии не могла вестись последовательно и поэтому не затрагивала самой сути мифа.

В конечном счете, как убедительно показано в рецензируемой книге, ведовские процессы XVI—XVII веков — это следствие политических условий и идеологических форм, которые порождались в эту эпоху противоборством между феодальным и идущим ему на смену буржуазным строем. Они исчезли вместе с исчезновением этих условий и форм борьбы. «В то самое время,— писал Маркс,— когда англичане перестали сжигать на кострах ведьм, они начали вешать поддельвателей банкнот»¹.

Однако сыгравшие свою роль приемы и методы реакции вовсе не оказались сданными в архив. Как подтверждается собранным в книге материалом, империалистическая буржуазия берет на вооружение те формы борьбы против прогресса, которые применялись реакционными силами на протяжении всей истории человечества. Достаточно сослаться хотя бы на такой почти курьезный факт, как преследование теории эволюции Дарвина в США. Речь идет о получившем печальную известность «обезьяньем процессе».

В 20-е годы, когда американская реакция пыталась отстоять традиционное место религии и церкви в общественной жизни, в авангарде бескомпромиссных противников атеизма стояли так называемые фундаменталисты — сторонники буквального понимания Библии. Они решительно выступали против либералов, старавшихся в своих толкованиях несколько сгладить несоответствие Священного писания данным науки. В этой накаленной атмосфере начался знаменитый процесс, поводом для которого послужило нарушение учителем Г. Скопсом закона штата Теннесси, запрещавшего преподавание дарвинизма в школах. О правовом уровне процесса красноречиво говорит следующий эпизод. Во время судебного разбирательства адвокат обвиняемого Дэрроу привел отрывок из книги «Бытия» о последствиях соращения Евы змеем: «И сказал господь бог змею: за то, что сделал, проклят ты из всех скотов, и из всех зверей полевых; на чреве твоём ты будешь ходить, и прах будешь есть во все дни жизни твоей». Прочитовав это место Би-

блии, Дэрроу спросил прокурора Брайана, который одновременно выступал и в качестве эксперта по толкованию Священного писания:

«—Считаете ли Вы, что именно поэтому змей принужден ходить на своем чреве?»

— Я верю в это,— ответил вождь фундаменталистов.

— Представляете ли Вы, каким же образом передвигался змей до этого времени? — последовал новый вопрос.

— Нет, сэръ.

— Не знаете ли Вы, ходил ли он на своем хвосте?»

Судья Раулстон прервал заседание, запретил дальнейший допрос Брайана и изъял из протокола его предшествовавшие показания.

Любопытно, что закон, запрещающий преподавание теории Дарвина, формально остается в силе в Теннесси и по сей день. Подобный закон существует и в штате Миссисипи. В мае 1966 года — через сорок один год после «обезьяньего процесса» — аналогичный билль принимается и в Арканзасе. Правда, он был признан неконституционным. Однако и в конце 1968 года верховный суд Арканзаса продолжал рассматривать вопрос о том, допустимо ли преподавание дарвинизма в школах штата.

Спекуляция на невежестве, отсталости, косности — пожалуй, наиболее характерная черта политических процессов, инсценируемых реакцией в целях морально-политической дискредитации противников. Другой характерной чертой инсценируемых судилищ является вопиющее нарушение их организаторами тех самых норм законности и морали, на поддержание которых будто бы и были направлены соответствующие судебные преследования. Эта устойчивая традиция идет еще от древних времен, чуть ли не от процесса над Сократом (399 г. до н. э.), которого судили за отрицание официального религиозного культа и по другим «высокоморальным» соображениям. Хотя Сократ доказал несостоятельность выдвинутых против него обвинений, судьи вынесли философу смертный приговор. Современные «защитники» законности и морали далеко оставили позади свои древние прототипы. Достаточно напомнить о существующей в некоторых капиталистических странах практики фабрикации обвинений, произвольных арестов, добывания «доказательств» с помощью «допроса третьей степени». Не менее характерным является

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 765.

также соответствующий отбор судей и связанных нередко путем прямого нарушения соответствующего законодательства и другие аналогичные способы обеспечения «нужного» хода и исхода судебного процесса.

Поучительно сравнение таких, казалось бы, во всем различных и несопоставимых процессов, как процессы, связанные с убийством Линкольна, поджогом германского рейхстага и убийством президента Д. Кеннеди. В каждом из этих случаев влиятельные круги провокационно пытались приписать совершенные преступления своим врагам. Когда такие планы терпели провал, те же круги всячески старались выдать эти преступления за действия отдельных маньяков, дабы скрыть подлинных организаторов и вдохновителей злодеяния.

Монография Е. Черняка существенно расширяет наше представление об истории одной из важных сторон общественного бытия. Значит ли, что данная работа вовсе

лишена недостатков? Один из них — известная неравномерность расположения материалов и по эпохам и по странам. Эта неравномерность частично объясняется избранным автором критерием отбора фактов. Однако, не говоря уже о том, что в отдельных случаях он сам нарушает установленные им рамки, не совсем оправданным выглядит исключение из монографии таких важных событий, как, например, политические процессы времен Нидерландской революции или периода июльской монархии во Франции. Вряд ли также правомерно практическое игнорирование интересных материалов о политических процессах в Германии в XVIII—XIX веках.

Эти частные замечания, как и другие более мелкие, естественно, не меняют существа дела. Издана интересная и полезная книга.

Б. МАРУШКИН,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Вл. РАЗУМНЕВИЧ. *Степная радуга. Повесть-быль.* Саратов. Приволжское книжное издательство. 1971. 192 стр.

ВЛАДИМИР РАЗУМНЕВИЧ. *Сердце Чапая.* М. «Малыш». 1972. 42 стр.

Помню, лет пять-шесть назад я немало был удивлен, когда узнал, что детский писатель-юморист Владимир Разумневич, веселыми школьными повестями которого зачитывалась детвора, неожиданно обратился к жанру историко-революционному, выпустил сборник рассказов о легендарном Чапаеве и чапаевцах. И вот недавно я прочел еще две новые книги Вл. Разумневича о героях гражданской войны. Задорные солдатские шутки и присказки, пословицы и поговорки органично вплетаются в повествование, окрашивают его народным юмором, непосредственностью живой разговорной речи; детская веселость и озорная выдумка прежних книг писателя обрели на этот раз новые художественные качества. Автор не просто воскрешает славные революционные дела наших отцов и дедов, а пишет «любопытные истории, рассказанные теми, кто делал историю», создает невыдуманные рассказы о живых и любопытных случаях боевого прошлого.

От лица бывалого чапаевца Анисима Климова, который учит своего маленького внука, как надо «жить и народу служить», ведет автор повествование в книжке «Сердце Чапая». Спокойная, сказовая интонация помогает юному читателю почувствовать и полнее представить все то, что было сделано Чапаем в сражениях против врагов революции. В книжке последовательно, от рассказа к рассказу прослеживается фронтовая биография прославленного полководца: вот он поднимает на борьбу с белоказначеством деревенскую бедноту (рассказ «Добровольцы»), хитростью и смекалкой одурачивает вражеских разведчиков («Секретный разговор» и «Хитрец»), ведет за со-

бой в атаку красную конницу («Громкое «Ура!»), помогает выбраться из речного доворота дивизионному связисту Тимоше Зуйкову, а сам гибнет в суровых волнах Урала («Последний час»).

Верность чапаевской теме сохраняет автор и в повести-были «Степная радуга», адресованной взрослому читателю. Здесь среди действующих лиц мы встречаем не только Василия Ивановича, но и его родного брата Григория Чапаева, военного комиссара города Балаково. Описание гибели Григория во время кулацкого мятежа в феврале 1918 года, пожалуй, самые впечатляющие страницы повести.

Впервые узнаем мы и о подвиге «Дуни-большевички», Евдокии Архиповны Калягиной — председателя одного из активнейших комитетов бедноты на Саратовщине. Рядом с Дуней автор показывает на баррикадах революции чапаевца Архипа Полякова, пастуха Кирьку Майорова, боевитую Акулину Быструю и других комбедовцев.

Каждый из этих героев самобытен, индивидуален по характеру и внешнему облику. А вот предстатели враждебного лагеря кулаки Аким Вечерин и Ефим Поляков нарисованы в повести, к сожалению, на одно лицо. Окарикурировав их портрет, автор тем самым в ряде мест нарушил реалистическую ткань повествования.

Стремление как можно достовернее изобразить борьбу саратовской бедноты за власть Советов заставило Вл. Разумневича широко использовать исторические документы, воспоминания очевидцев. Все персонажи произведения — конкретные личности, введенные под настоящими именами, что отнюдь не свало творческих возможностей автора. Наоборот, это сделало повесть выразительной не только в художественном отношении, но и по фактическому материалу, который до сих пор был мало известен широкому читателю.

Алексей Мусатов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности. 32 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Как организовать соревнования? — Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»). 38 стр. Цена 4 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Авдеев. «Зайцем» на Парнас. Повесть и рассказы. 406 стр. Цена 76 к.

Б. Брайнина. На Старой Планине. Встречи с Болгарией. 424 стр. Цена 1 р. 5 к.

Э. Верба. Парус на лугу. Стихи и поэма. Перевод с белорусского Р. Казаковой. 86 стр. Цена 30 к.

Н. Воронов. Юность в Железнодорожье. Роман 430 стр. Цена 89 к.

О. Высотская. Звезды над крышей. Стихи. 128 стр. Цена 50 к.

Д. Дарчиев. Чинара Дзараха. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского М. Максимова. 110 стр. Цена 34 к.

И. Есенберлин. Хан Кене. Исторический роман. Перевод с казахского М. Сямашко. 320 стр. Цена 68 к.

А. Кривонос. Простая вода. Рассказы и повести. 239 стр. Цена 41 к.

Ф. Таурин. Далеко в стране Иркутской. Сибирское повествование. 606 стр. Цена 1 р. 30 к.

Л. Тераклян. Дыхание жизни. Очерки о современной советской многонациональной литературе. 351 стр. Цена 91 к.

А. Цветаева. Воспоминания. 527 стр. Цена 1 р. 19 к.

А. Якубов. Птица жива крыльями. Повесть. — Нелегко стать мужчиной. Роман. Перевод с узбекского. 360 стр. Цена 72 к.

Н. Якутский. Алмаз и любовь. Роман. Перевод с якутского Э. Эделя. 176 стр. Цена 28 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Айни. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 1. О моей жизни. — Дохунда. Роман. Перевод с таджикского. 510 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. Аннинский. «Как закалялась сталь» Николая Островского. 95 стр. Цена 22 к.

И. Анисимов. Мастера культуры. Анатолий Франс. Ромен Роллан. Теодор Драйзер. Генрих Манн. Вступительная статья Р. Самарина. 288 стр. Цена 90 к.

Б. П. Гальдос. Милый Мансо. Роман. Перевод с испанского. 286 стр. Цена 44 к.

Г. Гулям. Стихи. Перевод с узбекского. Вступительная статья И. Ле. 224 стр. Цена 90 к.

Живой в царстве мертвых. Сказки народов Непала. Перевод с непальского и наварского Л. Аганиной и К. Шрестха. 359 стр. Цена 64 к.

В. Иванов. Идейно-эстетические принципы советской литературы. 470 стр. Цена 1 р. 35 к.

Б. Лавренев. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 1. Повести и рассказы. 607 стр. Цена 1 р. 24 к. Т. II. Романы. 551 стр. Цена 1 р. 15 к.

К. Либнехт. Мысли об искусстве. Трактат, статьи, речи, письма. Перевод с немецкого. Составление и вступительная статья М. Кораллова. 359 стр. Цена 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Абу-Бакар. Даргинские девушки. — Чергери. — Снежные люди. — Браслет с камнями. Повести. Перевод с даргинского. 480 стр. Цена 1 р. 36 к.

Р. Андрияшин. К дому возврата нет. Романы. Перевод с украинского. 528 стр. Цена 21 к.

Ф. Мухаммадиев. Домик на окраине. Повести и рассказы. Перевод с таджикского. 239 стр. Цена 42 к.

В. Савченко. Открытие себя. Роман. Последействие Д. Виленкина. («Библиотека современной фантастики»). 303 стр. Цена 74 к.

Л. Стафф. Избранная лирика. Перевод с польского, составление и предисловие А. Эппеля. 80 стр. Цена 19 к.

Зврина-71. Ежегодник. Составители Н. Лазарев и Ф. Наумов. 429 стр. Цена 80 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Алексеев. Седьмое желание. Повесть и рассказы. 127 стр. Цена 32 к.

Балкарские и карачаевские народные сказки. Перевод и обработка для детей А. Алиевой и А. Холаева. Предисловие К. Кудинова. 191 стр. Цена 51 к.

В. Беляев. Кто тебя предал? Повесть. 222 стр. Цена 52 к.

Р. Бернс. В горах мое сердце. Песни, баллады, эпиграммы в переводах С. Маршана. 190 стр. Цена 28 к.

Глобус. 1971. Географический ежегодник для детей. 495 стр. Цена 1 р. 78 к.

С. Голицын. Тайна старого Радуля. Повесть. 239 стр. Цена 48 к.

С. Данилов. Манчары. Повесть в рассказах. 159 стр. Цена 37 к.

О. Коряков. Парень с космодрома. Повесть. 142 стр. Цена 35 к.

Д. Красицкий. Тарас художник. Рассказы о юности Т. Г. Шевченко. 127 стр. Цена 44 к.

К. Луческой. Этажи, озаренные солнцем (Рассказы о девятой пятилетке). 32 стр. Цена 48 к.

В. Маяковский. Мистерия-буфф. — Клоп. — Баня. Пьесы. Вступительная статья и послесловие А. Февральского. 256 стр. Цена 80 к.

Н. Носов. Незнайка на луне. Роман-сказка. 542 стр. Цена 1 р. 14 к.

Ф. Оржеховская. Пять портретов. Повести о русских композиторах. 160 стр. Цена 44 к.

Птица-правда. Испанские и португальские народные сказки. Перевод с испанского и португальского Т. Шишловой. 239 стр. Цена 1 р. 31 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Емельянов. На пороге войны (Годы и люди). 235 стр. Цена 56 к.

В. Панов. Поездка на Средний Дон (Письма из деревни). 64 стр. Цена 11 к.

Я. Ругоев. Хождение за надеждой. Стихи. Перевод с финского. 142 стр. Цена 48 к.

«ИСКУССТВО»

- Г. Бакланов.** Был месяц май... Сценарий. 127 стр. Цена 30 к.
С. Бирман. Судьбой дарованные встречи. 356 стр. Цена 1 р. 71 к.
М. Званцев. Заволжье. («Дороги к прекрасному») 111 стр. Цена 31 к.
Пути развития русского искусства конца XIX — начала XX века. Живопись. Графика. Скульптура. Театрально-декорационное искусство. Сборник очерков. 272 стр. Цена 4 р. 92 к.

«СОВРЕМЕННОСТИ»

- Г. Владимов.** Большая руда. Повесть. 110 стр. Цена 20 к.
С. Данилов. Вьется сердце. Роман. Перевод с якутского. 351 стр. Цена 1 р. 3 к.

«ПРОГРЕСС»

- Г. Хауштейн.** Методы прогнозирования в социалистической экономике. Перевод с немецкого. 398 стр. Цена 1 р. 41 к.
Б. Чопич. Горький мед. Юмористические рассказы. Перевод с чешско-хорватского. 336 стр. Цена 1 р.

«МЫСЛЬ»

- Э. Брегель.** Критика буржуазных учений об экономической системе современного капитализма. 295 стр. Цена 1 р. 37 к.
Вопросы политической экономии в трудах Ф. Энгельса. Сборник статей 190 стр. Цена 77 к.
Н. Лебедева и Р. Хабибулина. Советский рабочий класс. Традиции и преемственность поколений 181 стр. Цена 19 к.
Е. Пеньков. Социальные нормы — регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы методологии и теории. 198 стр. Цена 63 к.

«ЭКОНОМИКА»

- Организация управления.** Сборник статей. 237 стр. Цена 82 к.
Н. Фасоляк. Управление производственными запасами. 271 стр. Цена 1 р. 8 к.
Г. Эмерсон. Двенадцать принципов производительности. Перевод с английского. 223 стр. Цена 70 к.

«НАУКА»

- Древнерусская литература и русская культура XVIII—XX вв.** 383 стр. Цена 2 р. 52 к.

Историческая наука в КНР. Сборник статей. 303 стр. Цена 1 р. 54 к.

- С. Кацнельсон.** Типология языка и речевое мышление. 216 стр. Цена 1 р. 20 к.
Г. Климов. Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. 87 стр. Цена 29 к.
Г. Моисеева. Ломоносов и древнерусская литература. 284 стр. Цена 2 р. 20 к.
Ученые о науке и ее развитии. Сборник статей. 259 стр. Цена 96 к.
Н. Юлина. Буржуазные идеологические течения в США. Проблемы и противоречия «американского сознания». 131 стр. Цена 47 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- С. Абитова.** Герой литературы Октября. Становление и развитие героя адыгейских литератур. Чернесск Ставропольское книжное издательство. 182 стр. Цена 42 к.
В. Баранов. Правда образа — правда истории. Эстетические проблемы Ленинианы. Русская советская проза. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 152 стр. Цена 51 к.
Л. Завальнюк. Как ты близок мне, Дальний Восток! Песни. Благовещенск. Хабаровское книжное издательство. Амурское отделение. 87 стр. Цена 24 к.
Э. Капиев. Избранное. В 2-х томах. Составление Н. Капиевой. Махачкала. Дагкиноиздат. Т. I. Поэт. Аксайский дневник. Статьи и речи. 284 стр. Цена 60 к. Т. II. Записные книжки. Фронтовые очерки. Письма. 333 стр. Цена 59 к.
Г. Коновалов. Былинка в поле. Роман. Саратов. Приволжское книжное издательство. 256 стр. Цена 48 к.
Е. Озмитель. Литература горного края. Сборник статей о киргизской литературе. Фрунзе. «Кыргызстан». 136 стр. Цена 36 к.
Поэзия Дагестана. Антология. Переводы. Махачкала. Дагкиноиздат. 363 стр. Цена 1 р. 84 к.
В. Росляков. От весны до весны. Повести, романы и рассказы. Ставрополь. Книжное издательство. 334 стр. Цена 67 к.
О. Семеновский. В начале века. Из истории дооктябрьской марксистской литературной критики. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 312 стр. Цена 60 к.
Советская поэзия 20—30-х годов. Составитель О. Кузьмин. Предисловие А. Михайлова. Мурманское книжное издательство. 310 стр. Цена 1 р. 54 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 18/II 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 16/V 1972 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
 А 06786 Тираж 157.000 экз. Зак. 661.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636